

1

ISSN 0206-8680

КИНОСЦЕНАРИИ

1991

ИЗДАЕТСЯ
С 1973 ГОДА

КИНОСЦЕНАРИИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Сценарии

- 3 *А. Алиев*
**БИЛЕТ В КРАСНЫЙ ТЕАТР,
ИЛИ СМЕРТЬ ГРОБОКОПАТЕЛЯ**
- 29 *Я. Пужицкий*
ВЕЛИКИЙ ШУ (окончание)
- 67 *Л. Рошаль*
**ПОЦЕЛУЙ ВОЖДЯ,
ИЛИ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЧЕЛЮСТИ**
- 104 *Б. Бертолуччи*
ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ
- 133 *А. Чечулин*
**ЗАПИСКИ КОНФОРМИСТА,
НЕ ДОЖИВШЕГО ДО ПЕНСИИ (окончание)**

Точка зрения

- 173 *И. Ильин*
Проблема современного правосознания
- 181 *Е. Марголит*
Прощание с «уходящей натурой»
- 192 **Наши авторы**

1

1991

ГОСКИНО СССР
СОЮЗ
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ
СССР
МОСКВА 1991

Главный редактор Е. ГРИГОРЬЕВ
Редакционная коллегия:
О. АГИШЕВ, Ю. АРАБОВ, Е. ГАБРИЛОВИЧ,
В. ГОЛОВАНОВ, О. ГОРБАЧЕВА, А. ЛОКТЕВ (зам. главного редактора),
Б. МЕТАЛЬНИКОВ, В. СОЛОВЬЕВ,
В. ТРУНИН, В. ЧЕРНЫХ

Ответственный секретарь Н. РЮРИКОВА

Технический редактор Л. МАРКОВА

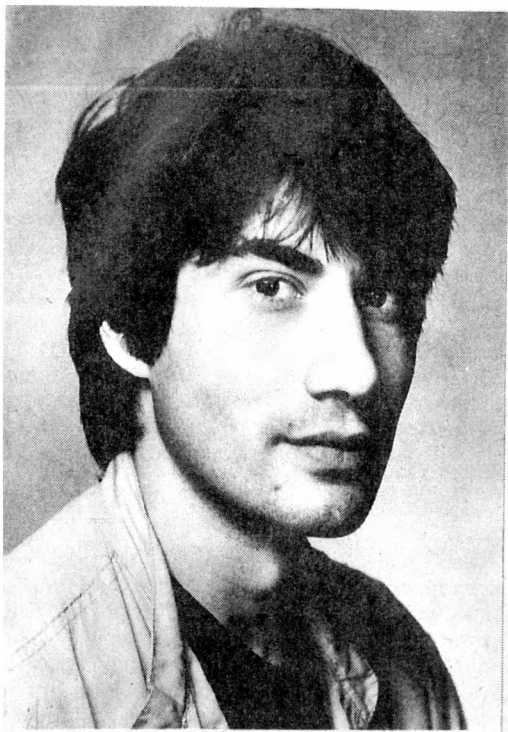
Корректор Е. ПЫЛАЕВА

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

© «Киносценарии»

Сдано в набор 31.10.90. Подписано к печати 12.12.90.
Формат 70×100 1/16. Усл. печ. л. 15,6+0,32. Уч.-изд. л. 23,51
Усл. кр.-отт. 16,24. Печать офсетная. Бумага типогр. «Сыктывкар».
Гарн. таймс. Тираж 33 450 экз. Заказ № 2217. Цена 1 р. 20 к.
Всесоюзное творческо-производственное объединение «Киноцентр».
123376, Москва, Дружинниковская ул., 15. Тел. 205-30-01
Адрес редакции: 103006, Москва, Воротниковский пер., 12.
Телефон 299-47-74

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат
Государственного комитета СССР по печати
142300, г. Чехов Московской области



**Ариф
АЛИЕВ**

БИЛЕТ В КРАСНЫЙ ТЕАТР, ИЛИ СМЕРТЬ ГРОБОКОПАТЕЛЯ

Время от времени я уговариваю Арифа Алиева писать прозу. Не только сценарии. В том, что он прозаик, меня убеждает его фраза, летучая, окрашенная иронией, неожиданно соединяющая в себе жаргонное слово с литературным, чистым словом, обладающая неповторимым ритмом. Когда дипломный сценарий Алиева обсуждался в нашей вгиковской мастерской, кто-то сравнил его фразу с булгаковской, что, конечно, является некоторым преувеличением. Но факт остается фактом — он более других работает над языком и стилем. Тем не менее прозу писать отказывается, ибо, по его словам, привязан к кинематографу и кинодраматургии давней и верной любовью.

Сценарий, который вы прочтете, рассказывает о времени великого притворства. Время это памятно всем. Тогда не притворялись лишь немногие, но их сажали в лагеря, выживали из страны, убивали. Как ни странно, палачи и убийцы тоже не притворялись и не особенно скрывались: они-то сознавали, кто хозяин страны. Так что карусель в сценарии с подменными фамилиями и бугылками — не более чем игра, зловещая романтика охраны. Не зря в сценарии она то и дело рассыпается. Но вот вопрос: не стала ли она в наше время и впрямь глубоко потаенной, более изоциренной и хитроумной? Какие нынче фамилии носят Пирожков и Масленников, какое задание и где выполняют? Советская жизнь по меньшей мере трехслойна. Первый слой, официальный, напичкан ложью, призванной замаслить суть второго, основанного на крови, насилии, преступлении; третий — обыденная жизнь обыкновенных людей, где все вперемешку: грех и святая вера, ложь и заблуждение, тупая ортодоксальность и попытки пробиться к правде. Алиев показал в сценарии эти последние два слоя в их крошечном переплетении лжи, святотатства, обиходных преступлений будничной суеты, привычного советскому человеку, тайных убийств и неизбывной в любые времена потребности в понимании истинной сути, случайно возникшей — у студентов, наивно-романтической — у «субреалистов», осознанной — у подполковника милиции. Обо всем этом он рассказал легко, весело, с бесстрашием свободного человека.

Владимир Машуков

Разбердеев поскользнулся на бегу и упал, до крови расцарапав лицо ветками колючего кустарника.

— Чего вы испугались, молодой человек? Мы хорошо договоримся! — близко услышал он астматический голос, но оборачиваться не стал, а рванул дальше через кустарник, с рывка подтянулся на стволе худосочной березки и спрыгнул на осевший апрельский лед безымянного елагинского прудка. Его преследователь спрыгивать следом поостерегся и остановился на берегу, засучил ногами прошлогоднюю листву, закричал бес толково:

— Держите его! По берегу обгоняйте! Обращаться со своими призывами преследователь мог только к оперотрядовцам, разгонявшим дикий нумизматический рынок, но к этому времени оперотрядовцев на Елагине уже не было, они перегнали незаконную толпу через Среднюю Невку и набивали теперь выборочными неудачниками заблаговременно поданные на Крестовский остров милицейские машины. У самого преследователя сил не осталось «по берегу обгонять!», преследование он прекратил, обнял худосочную березку, прошелушил лбом бересту и замер, пытаясь отдышаться.

Как бы то ни было, Разбердеев благополучно пересек по льду безымянный прудик и высочил на набережную Невской протоки.

Разбердеев приехал на Елагин остров с целью продажи памятной медали «За поход в Китай 1900—1901». Дело в том, что сегодня в утренних потемках перед общежитием на Ново-Измайловском проспекте объявился Микердыщев, бывший студент их института, а в настоящем дератизатор в Гавани...

Микердыщев содрал о ступеньки налипшую на сапоги глину, притулился к стене оттягивающую плечо дерюжную свертку и дернул закрытую на засов дверь.

Разбуженный вахтер выгребся с оттоманки к окну, сощурился на крыльцо и пошел открывать.

— В гости пускаем с семи вечера по запискам от студсовета, — строго предупредил он, но почему-то впустил Микердыщева в тамбур.

— Гвозди бы делать из этих людей! — легко замирился гость и, хлопнув вахтера по плечу, протянул заранее приготовленный рубль.

За совместным перетаскиванием к вахте и последующим водружением на плечо гостя дерюжной свертки вахтером было задано несколько досужих вопросов:

— Значит, ты в Гавани на работу устроился? Заработками не обижают? Тебя, бишь, с какого курса отчислили? Обратного не желалешь восстановиться? Глиной где-то зяля-

пался, к подругам отмываться полезешь?

Однако ответ он получил только на последний:

— Должок надо снять с Разбердеева, пустаковый должок.

Микердыщев вошел в комнату, бросил на пол свертку и шумно потянулся.

— Через неделю отдам, — сообщил из-под одеяла Разбердеев.

— У него перезайми, — предложил Микердыщев и потряс за спинку кровать соседа-однокурсника Леши Полуянова.

— Ходишь, канючишь. У тебя, наверное, денег нет? — обиделся Полуянов.

Микердыщев порывлся в карманах своего заляпанного глиной ватника и выложил на разбердеевскую тумбочку медаль.

— Попробуй продать на Елагине за триста пятьдесят. Будем в расчете...

Разбердеев, боясь проколоться с продажей медали, достаточно побродил среди нумизматических кляссеров и филокартистских бархоток, пока не стал свидетелем целомудренной продажи серебряного николаевского рубля. Пожилой коллекционер-астматик и в особенности солидный бумажник, куда тот как раз засовывал вырученные за один царский рубль две советские десятки, показались Разбердееву, и он недолго думая представил на ладони свой товар. Лицо коллекционера осталось равнодушным, но руки его предательски задрожали, он задышал гораздо громче и так и не сумел справиться с десятками и бумажником, зато сумел вытащить из сакvojа лупу.

— Откуда у вас вещь?

Придумать что-нибудь и ответить Разбердеев не успел. В одно мгновение все смешалось вокруг: продавцы сгребли в сумки кляссеры и бархотки и схватились за складные стульчики; зрители и мелкие покупатели, не имевшие вешной обуви, без промедления хлынули вон со ставшего вдруг опасного места, в толпе то тут, то там замелькали повязки оперотрядовцев, и где-то вдалеке стали нечленораздельно переговариваться по громкой связи передвижные наряды милиции. Разбердеев понял: облава — и рванул сначала вместе со всеми в сторону Крестовского, но услышал предупреждение задыхающегося коллекционера:

— Бегите к Приморскому! Там нет милиции! — И для убедительности коллекционер несколько раз заверил: — Мы с вами хорошо договоримся!

Разбердеев, продолжая сжимать в руке медаль, пустился бежать в указанном направлении, но вскоре сбился и свернул не на ту аллею.

— Налеву! — подсказал коллекционер, но было поздно.

Разбердеев обернулся, и со страху ему померещилось, что за ним гонится не только коллекционер, но и толпа оперотрядовцев. Он перебежал аллею, поскользнулся на бегу и упал, до крови расцарапав лицо ветками колючего кустарника...

Спортсмены-байдарочники открывали сезон на освободившейся ото льда Невской протоке. Вскрылась протока в этом году чуть не на месяц позже обычного — из-за жестких морозов гибельной для ленинградских яблонь зимы семьдесят девятого года. Разбердеев подумал, что теперь байдарочники будут тренироваться, пока не начнется ледоход на Ладоге и не поплывут по Неве самые последние, пористые, самые легкие льдины. И больше про байдарочников не думал, некогда было. Он пересек Приморский проспект и на Савушкина успел добежать до остановки раньше, чем возле нее остановился трамвай.

В трамвае он бухнулся на сиденье и первым делом завернул медаль в платок, а платок спрятал во внутренний карман пальто.

— Вы откуда такой грязный? — поинтересовался у Разбердеева некий самоутверждающийся очкарик.

— Завязывай нудить, очки! — попросил Разбердеев, но трамвай поддержал очкастого:

— Чего сиденья мараешь? Потом после тебя другие люди садиться смогут, эгоист? Несчастные родители! И рваный, и рожа расцарапана! Сядешь с таким рядом, облюет...

— Не в метро! — банально огрызнулся Разбердеев.

Но в метро его как раз и не пустили. Не помогло даже то, что в подземном переходе на Петроградскую он отряхнулся. Не милиционер, что было бы не так обидно, а служительница в оранжевом жилете много раз прокричала с разными интонациями: «Иди-иди» и в метро не пустила.

Пришлось пилить до Ново-Измайловского через весь город на наземном транспорте. И опять Разбердеева ругали или же сочувствовали ему, по-разному бывало, но везде одинаково замечали и выделяли, и от этого раздражение неимоверно усилилось.

В общежитие он решил идти не сразу, а завернуть сначала в универсам. В кармане имелась последняя пятерка, и Разбердеев решил на последнюю пятерку расслабиться. Да, после пережитых волнений просто необходимо было расслабиться на полную пятерку.

Выбирал он тщательно, благо, не торопили и не гнали, в винном отделе — первое впечатление — на его вид никто внимания не обращал. В «Ново-Измайловском» доступно было выбрать и купить на пятерку: две бутылки «Имбирной», три «Саперави», две «Гамзы», два аперитива «Медея», две «Клубничной», бутылку рома «Негро» или бутылку

«Старорусской». Отразив на своем лице сложные взаимосвязи между прописанными на этикетках спиртовыми процентами, а также объемами и вкусовыми качествами доступных напитков, Разбердеев решил покамест от покупки воздержаться, пойти посмотреть, нет ли чего более подходящего в отделе самообслуживания. За размышлениями он даже и не заметил, с каким нездешним ужасом смотрела на него продавщица соков.

В отделе самообслуживания Разбердеев, как всякий благонамеренный покупатель, взял проволочную корзину и, не останавливаясь, прошел мимо стеллажей с марочными винами прямоком к расчетным узлам. В контейнерах вперемешку лежали: вермут «Розовый», портвейн «Кавказ», вермут «Аромат степу», непонятная бормотень «Улыбка» и портвейн «72-й». По цене и по спиртовым процентам напитки почти не отличались, а по вкусовым качествам Разбердеев выбрал «72-й» и, удовлетворенный, положил в корзину два «фугаса». Опять же не торопясь, он оплатил покупку, поставил корзину на цинковый сортировочный стол и одну бутылку засунул во внутренний карман пальто, а другую решил засунуть... Решил, да не успел. Невесть откуда, а скорее всего — из-за пластиковой перегородки винного отдела на него наскочили два милиционера ППС. Они вывернули Разбердееву руки и, больно обдирая колючим шинельным ворсом расцарапанное лицо, заставили бухнуться на колени. Бутылка «72-го» из внутреннего кармана пальто выпала и разбилась. Разбердеев близко увидел пахучую лужу и отметил про себя, что портвейн оказался качественный и светлый — отмытая ненароком мраморная крошка чисто желтела под слоем разлитого винища.

Короче, заломали Разбердеева милиционеры, а что с ним дальше делать, не знали. Но знать им, очевидно, и не надо было: к универсаму подручила черная «Волга» с антенной на крыше, и из нее в стеклянную универсамовскую дверь поспешил толкнуться важный милицейский чин.

Разбердеев понял, что чин важный, по нижней его половине: и сапоги, и брючины, и полы шинели значительно отличались в лучшую сторону от обмундирования милиционеров ППС, а шинель к тому же оказалась мягче и ворсом лицо не обдирала. Чин очень поспешал к Разбердееву — даже шарфом не обмотался, нарушал форму одежды: шарф торчал у него из кармана шинели и свисал чуть ли не до сапожных голенищ. А как выглядела верхняя половина милицейского чина, Разбердеев видеть не мог, задрат голову не получалось, но если бы мог, то понял бы, что перед ним мнется не кто-нибудь, а подполковник милиции. Но больше всего его удивило бы, что в руке

подполковник держит лупу, почти такую же, какую имел коллекционер-астматик с дикого елагинского рынка.

— Половой маньяк? — осведомился подполковник у милиционеров, хотя наверняка знал, к кому примчался, а те, в свою очередь, наверняка не знали, потому что вместо ответа жались, подергивали плечами и молчали, покусывая губы.

— Кто вызывал? — опять спросил подполковник.

Один из милиционеров перестал кусать губы и кивнул в сторону стеклянных конусов с соками.

— Я звонила, — созналась продавщица сокового отдела.

Подполковник одобрительно хмыкнул, и сразу продавщицу обступили любопытные, а лица в спецодежде, нарушающие постановление Ленгорисполкома, сочли нужным подобру из винного отдела убраться, хотя и им хотелось узнать, кому и почему ломают руки в их родном отделе.

— Половой маньяк? — интересовались любопытные.

— Сволочь, — утверждала продавщица и таинственно ухмылялась.

Подполковник забежал Разбердееву за спину и, пугая скопление любопытных и заставляя их отшатнуться под облезлый транспарант «Благодарим за покупку!», приказал милиционерам:

— Ладони давайте!

Милиционеры выполнили приказание и дали подполковнику ладони Разбердеева, но сдурю стали выворачивать их в разные стороны. Разбердеев завопил от боли и боком осел в винную лужу.

— Выездная дактилоскопия, — разъяснила собравшимся продавщица соков.

— Ничего нет, — сказала подполковник после осмотра ладоней и приказал: — Лицо давайте!

Милиционеры дали лицо. Подполковник всмотрелся в выморочные глаза Разбердеева и достал из записной книжки фоторобот. После сличения фоторобота и личности задержанного у подполковника появилось непреодолимое желание харкнуть, но вокруг стояли люди, и харкать было некуда, поэтому пришлось толкаться, пинать на улицу стеклянную дверь и харкать на ступеньки.

— Карманы выверните на всякий случай! — приказал подполковник, когда вернулся.

Милиционеры выполнили и это приказание, и содержимое карманов Разбердеева оказалось на цинковом столе. Среди луковой шелухи и картофельного сора оказались: ключ, сложенная вчетверо газета «Смена», тетрадь с лабораторными работами по теоретической механике, принадлежащая не Разбердееву, а одной знакомой девчонке,

шестнадцать копеек мелочью и... грязный носовой платок. Брезгливый или просто подхалимистый милиционер расчетливым щелбаном сбил платок со стола, и Разбердееву стало совершенно ясно, что медали в платке нет.

— Карманы непрожженные, — сделал вывод подполковник, исследовав ткань вывернутых карманов. — Гавкнулась Красная Звезда... Думал, орден перед пенсией вкрутят, — разъяснил он, придавая высказыванию шуточный характер, но милиционеры все равно обиделись, потому что ломали задержанного они, а не подполковник. Подполковник изучил титульный лист тетради для лабораторных работ и совсем было хотел положить тетрадь на прежнее место, как вдруг заметил в луковой шелухе нечто в высшей степени неуместное, а именно медаль «За поход в Китай 1900—1901».

— Твое? — строго спросил он Разбердеева.

Разбердеев промолчал.

— Его? — строго спросил тогда подполковник у милиционеров.

— Не его, — ответил брезгливый или подхалимистый милиционер, — мы бы заметили.

— Чья медаль, товарищи? — спросил подполковник, демонстрируя любопытным медаль. — Чья китайская медаль?

Любопытные решили не связываться.

— Будем оформлять, — вздохнул подполковник и приказал милиционерам: — Принесите бланк и понятых привлеките.

Один милиционер побежал в машину за бланком, а другой привлек, цепляя за одежду, двоих упирающихся понятых.

— Ты домой иди, — разрешил подполковник Разбердееву. — Мы сейчас одного гада разыскиваем, — здесь он представил Разбердееву фоторобот, — не встречал среди своих друзей такого?

Такого среди своих друзей Разбердеев не встречал.

— Ищет красивых женщин, выливает им на одежду кислоту и наблюдает, как они раздеваются.

Все почему-то посмотрели на продавщицу сокового отдела, и та под взглядом смутилась, принялась перемывать стаканы.

— По свидетельству очевидцев, у него ладони кислотой обожжены.

На ладонях Разбердеева, кроме грязи и ссадин, ничего не было.

— Студент? Иди выполняй лабораторную работу по теоретической механике. А о бутылке разбитой не горюй, здоровее будешь. — Подполковник вышел из универсама и сел в «Волгу» с антенной на крыше. — Впустую сегодня день прошел, — пожаловался он шоферу.

— Домой поедем? — обрадовался шофер окончанию работы.

— Домой ему! — обозлился подполковник. — С такими, пожалуй, уйдешь на пенсию... по городу такие гады ходят безнаказанными! Домой ему надо...

Шофер включил мигалку.

Полуянов сидел за столом в общежитской комнате и напрягался, пытаясь вчитать-ся в купленный накануне сборник «Социальная философия франкфуртской школы». Когда в дверях появился Разбердеев, Полуянов сразу же перестал напрягаться.

— Продалась медаль? — зря спросил Полуянов, понятно было и без вопросов. — Я тебя предупреждал, не связывайся...

— Микердыщев не приходил? — спросил Разбердеев, кивая на сваленную у стенных шкафов свертку. — Склад устроил. — Он наклонился и попытался развязать дерюгу.

— Я уже интересовался, — предупредил Полуянов. — Лом и кразовский домкрат.

— С кладбища к нам заявился, — понял Разбердеев.

— Откуда еще... Кстати, покажи медаль, я утром не рассмотрел, — попросил Полуянов.

— Гавкнулась медаль, как сказал бы один мой знакомый подполковник милиции. — И Разбердеев зло пнул железки. — Представь, Полуяныч, тебе в нашем универсаме на штаны выливают кислоту. Ты что бы сделал в таком случае?

— Снял бы штаны, потом — по морде, по морде!

— Все правильно.

— Где медаль?

— В милиции. Оформили на официальной бланке, и понятия расписались. — Разбердеев вытащил все-таки из дерюги домкрат. — Пойдем на кладбище? Может, чего выроем взамен той медали?

— А где Микердыщев промышляет?

— Черт его знает, кажется, сейчас на Волковом.

Полуянов задумался.

— Чего новенького у субреалистов? — спросил Разбердеев, берясь за «Социальную философию франкфуртской школы».

— Взятся сообщение делать. Давай попробуем у нас на сходке денег собрать?

— Сразу столько не найдем, — усомнился Разбердеев.

— Ладно, пошли на кладбище, — решился Полуянов. — Только надо будет фонарик купить.

Пустой трамвай гнал без остановок по Бухарестской к Волкову кладбищу. Разбердеев поправил зажатую между колен свертку, а то на повороте железо предательски подвзякнуло.

— Холодно, — поежился Полуянов. — Тебе надо было тому астаматику медаль сдать. Чего ты испугался? — размышлял он над елагинскими похождениями Разбердеева.

— Микердыщев говорил, от морозов камни повыперали, все потрескалось сплошь, иногда и домкрат не нужен. Главное, подальше держаться от «Литераторских мостков», там охрана.

Трамвай переехал мост через Волковку, и гробокопатели заторопились к выходу. На другой стороне улицы единственным светлым пятном метилась проходная какого-то завода.

— Водила подумает, мы на завод, — предположил Полуянов.

Калитку искать не стали, полезли через решетку, и Полуянов порвал куртку.

— Полагается разведку делать в светлое время, — сказал он после ругательств.

— Часовня здесь должна быть. Микердыщев говорил, там плиты полопались.

— Микердыщев говорил! — передразнил Полуянов. — И не побоялся у такого деньги брать.

— Чего бояться? Если бы он у меня брал...

— А если нас поймают?

— Тебе не все равно? Думаешь, вам, субреалистам, долго погулять дадут? Лучше пусть милиция ловит, чем ГБ, меньше дадут.

Ответить Полуянову было нечего, к тому же он надеялся, что Разбердеев шутит.

— Где твоя часовня? До утра проплутаем... Уже забор!

За высоким забором виднелся одноэтажный дом с единственным освещенным окошком.

— Назад! — отшатнулся от забора Разбердеев. — «Литераторские мостки»!

Повернули. Идти сквозь заросли, по грязи, с тяжелым грузом было невыносимо, и неизвестно, сколько бы они вытерпели, как вдруг впереди темнота сгустилась.

— Пришли, — шепнул Разбердеев. — Часовня.

— Странно, почему мы до сих пор себе животы об ограды не распорили?

На воротах часовни вкось был намертво приклепан засов. Полуянов попытался ковырнуть засов ломом, но Разбердеев раньше сообразил:

— В окно влезем.

И действительно, на ближайшем к воротам окне не оказалось даже решетки.

— На голову нам ничего не свалится? — опять спросил постоянно ожидающий неприятностей Полуянов.

Оказалось, одной стены в часовне не было вовсе, она рухнула наружу, и свод опасно накренился, удерживаясь на перекрученных ржавых обручах обшивочного каркаса.

— Посвети, — попросил Разбердеев, и Полуянов включил фонарик.

Рухнувшая стена потянула за собой балки черного пола, и гробокопателям пришлось перебираться через раскуроченный полу-сгнивший тес, прежде чем они смогли очутиться возле сдвинутой с основания потрескавшейся плиты. Полуянов засунул фонарик в самую широкую щель.

— Глубоко.

Колупнули ломом плиту.

— Цемент? — удивился Разбердеев. —

Тогда цемент был?

— Когда тогда?

Разбердеев заглянул в щель.

— Не очень глубоко.

Дал посмотреть Полуянову.

— Кажется, кости какие-то.

— Микердыщев без респиратора не лазит.

Полуянов попробовал обмотать шарфом рот, но ничего путного у него не получилось.

— Домкрат подставлять я не умею, — предупредил он.

— Давай пока ломом.

Они засунули лом в щель, дружно навалились, и плита подалась, съехала сначала немного в сторону, а потом пошла вверх.

— Держи! — Разбердеев вставил под плиту домкрат.

— Удобно! — поразился Полуянов действию домкрата, но лом продолжал держать в прежнем положении. — Подстраховка не помешает.

Сотрудник вневедомственной охраны филиала музея городской скульптуры «Литераторские мостки» Колубаев сидел под звонком сигнализации в служебном помещении музейного здания и читал шпионскую книжку Богомила Райнова «Большая скака». Решив развлечься чайком, Колубаев встал из-под звонка и только хотел взять со стола электрический чайник, как вдруг ему показалось, что за забором, в мрачном кладбищенском лесу, мелькнул огонек. Сотрудник забыл про развлечение и приготовился ждать. Вскоре он убедился, что нет, не показалось ему, а в самом деле на Волковом кладбище кто-то шастает с фонариком. Не сомневаясь дольше, Колубаев снял трубку дежурного телефона.

— Колубаев докладывает, четвертый пост: на территории Волкова кладбища замечен свет... У меня? Спокойно на «Мостках»... Нет, «Мостки» в порядке, я думал, очередной случай молодежного вандализма, как в Летнем саду... Есть действовать по обстоятельствам! — И он, еще не успев положить трубку, выхватил из кобуры пистолет.

Обходить бесконечный забор и в темноте тащиться на Волково не хотелось. Но что значит «действовать по обстоятельствам»? Колубаев снова снял трубку.

— Сейчас я сделаю предупредительный выстрел в воздух! Да!.. И Мишке скажи, чтоб не дергался... Все, не твое дело!

Звонка на соседний пост ему показалось маловато, и он решил позвонить также на Тамбовскую улицу, в «ящик».

— Пост номер четыре, Колубаев... Соседи, говорю. Колубаев. Производится предупредительный выстрел в воздух... Сам ты... — Колубаев оскорбился, но, подумав, набрал еще один номер.

Разбердеев и Полуянов ползали под плитой среди черепов, костей и истлевшей одежды и ничего ценного не находили.

— Микердыщев продает серебряные ручки от гробов, а здесь даже гробов нет, — злился Разбердеев.

Полуянов вдруг резко потянул его за локоть. Он держал в руках продолговатый предмет, напоминающий по форме пистолет, но только пистолет диковинный, космический, что ли. Предмет был сделан из дерева, и кое-где в вогнутостях сохранились остатки серебряной краски.

— А вот еще!

В дальнем углу склепа валялось много «пистолетов», около десятка.

— Нашел! — радостно крикнул Разбердеев. — Бумажник! — Он хотел расслоить гнилые, временем спрессованные куски кожи, когда-то давно и впрямь бывшие бумажником, но...

...Колубаев надел тулуп и валенки, вышел из служебки на крыльцо и, только что не перекрестившись, произвел первый предупредительный выстрел. Он, конечно, не мог видеть, какое впечатление произвел на гробокопателей его ленивый выстрел.

...Разбердеев и Полуянов вытеснились из-под плиты наружу.

— Где лом?

— Провалился куда-то.

— Домкрат без лома не снимем!

Разбердеев включил фонарик и полез под плиту.

— Выключай! — заорал на него Полуянов.

— Что Микердыщеву скажем?

— Скажем... санпроверка студсоветовская отобрала, не будет бросать, где попало!

— Бежим!

...Колубаев произвел второй выстрел, а гробокопатели уже продирались через заросли, уходили в противоположную от «Литераторских мостков» сторону, к Бухарестской.

Под гудящими фонарями они почувствовали себя спокойнее. На свету выяснилось, что Разбердеев все еще держит в руке бумажник, а Полуянов — «пистолет». Разбердеев взял у Полуянова «пистолет» посмотреть и выкинул в канаву, не заинтересовался.

— Неплохо будет, если холерой не заболеем,— помечтал Полуянов.

— Больше никогда в жизни в могилы не поеду,— согласился Разбердеев и разломил бумажник надвое.

— Монеты?

— Оставлю, в общаге посмотрим.

Трамваи не ходили, пришлось на Ново-Измайловский добираться пешком.

Часам к десяти утра к воротам «Литераторских мостков» подъехала черная «Волга» с антенной на крыше, и из нее вылез в грязь подполковник — тот самый, которому дома было нечего делать. Вылез он в грязь не один, а в сопровождении лейтенанта. Лейтенант был молод и мутен, ни о чем не мечтал и к службе относился более чем равнодушно.

— Есть кто живой?! — заорал подполковник на все кладбище и подмигнул лейтенанту, предлагая посмеяться ловкой шутке.

Но лицо лейтенанта по-прежнему ничего не выражало.

На пороге служебки появился Колубаев. Он только что сменился с дежурства, но не успел выполнить свои полагающиеся по регламенту действия, поэтому еще задерживался.

— Вы стреляли ночью? Или спали со всеми вместе вечным сном?

— Я стрелял,— признался Колубаев; при свете дня ночное происшествие казалось ему не стоящим внимания, и он первый раз пожалел, что стрелял.

— И где следы молодежного вандализма? — подполковник огляделся.

— Вандализма? — оживился Колубаев.

— Ну, вандализма, как в Летнем саду! — толковывал ему подполковник. — А то будет вандализм на «Литераторских мостках», понял?

— Нет,— признался Колубаев и во второй раз пожалел, что стрелял ночью. — На «Мостках» все о'кей, если и случился вандализм, то на Волковом, за забором.

— Какой на Волковом вандализм? Там давно сперли все приличное. Гавкнулась моя Красная Звезда перед пенсией,— сказал подполковник, и про Красную Звезду — это он опять пошутил.

Лейтенант улыбнулся чему-то своему, а подполковник улыбку заметил.

— Осматривать пойдем хотя бы и Волково!

— Зачем? Я в воздух стрелял! — испугался Колубаев и в третий раз пожалел, что стрелял ночью.

— Без разницы.

— Грязно,— вдруг подал голос лейтенант.

— Если вам грязно, гуляйте по Невскому! А я раз приехал, буду расследовать!

— Так вы говорите, гавкнулась? — лейтенант не шутил.

Подполковник нарочно испачкал в грязь свои вычищенные до блеска ботинки и вышел за ворота.

На тумбочке у Полуянова зазвонил будильник. Разбердеев подскочил на кровати и двинулся по будильнику ладонью, свалил на пол.

— Десять часов.

— В институт не пойдем,— отозвался Полуянов.— Посмотри, чего там в бумажнике?

Между слоями сгнившей кожи обнаружились сложенный пополам листок бумаги и две монеты. Разбердеев взял монету и содрал с нее окалину, потеряв о край тумбочки. На монете рабочий с молотком обнимал геральдический щит, внутри которого умещалось число «15» и надпись «коп».

— Пятнадцать копеек, тысяча девятьсот тридцать первый год, «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»,— прочитал Разбердеев.

— Сколько на Елагине за нее вырчим? — спросил Полуянов.

— Нисколько. Какого черта мы вообще туда полезли?

— Ты меня спрашиваешь? Жариться нам теперь в аду на сковородке.

Разбердеев развернул листок.

— Хорошо сохранился.

— Сохранился... что? — не понял Полуянов.

— Театральный билет,— объяснил Разбердеев и прочитал: — «Главное управление культуры исполкома Ленсовета... Ленинградский Красный театр».

— На нем точно зараза какая-нибудь,— предупредил Полуянов, но Разбердеев продолжал разбирать выцветшую надпись:

— «Пр. Горького, 18... тел. А72-59. Серия КТ, утро — 12 час. Партер, ряд 9, место 26. Цена 12 рублей».

— Что за спектакль?

Разбердеев перевернул билет.

— «Вход в зрительный зал после третьего звонка воспрещается. На спектакли театра дети до 16 лет допускаются исключительно утром». Больше нет ничего.

— Дай сюда,— не поверил Полуянов.— Штмп надо читать. Чернила, прямо скажем, выцвели... «М.сс-...», дальше обгорело, и дата: «30 4 года» И вот еще штампик: «...ер.» — Догадался он быстро: — Полагается читать так: «Спектакль «Мисс какая-то», скорее всего — Баттерфляй. Дата — 30 ноября 1934 года (в 44-м другие монеты уже были). Последний штампик означает не что иное, как «Премьера»!

Разбердеев взял у Полуянова билет, повертел, похмурился и бросил билет на пол.

— Ты чего? — возмутился Полуянов.—

Надо в музей отнести.

— В милицию отнеси,— посоветовал Разбердеев.

Полуянов билет с пола поднял, склеил и спрятал в лабораторную тетрадь.

— Такие дела надо по-хорошему заканчивать... Часов в пять надо пойти заказать переговоры с родителями. Попрошу телеграфным переводом рублей двести... на джинсы. А остальное попробуем завтра на сходке настрелять.

— Теперь главное, чтобы до завтра твоих субреалистов не арестовали, чтобы на глаза Микердыщеву не попасться раньше времени и...

— Холерой не заболеть,— подытожил Полуянов.

Друзья повеселели.

Подполковник, лейтенант и сотрудник ВОХР Колубаев задолго до приближения к обвалившейся стене часовни начали замечать следы, оставленные ночными злоумышленниками: фонарик, пластиковый пакет с олимпийской символикой и перечнем «олимпийских объектов г. Ленинграда» (ошибочное отождествление), внушительный клок синтипона на ограде, собственно следы — и по грязи, и по прели, сколько угодно. Ну а в часовне увидели домкрат, и приподнятую плиту, и свежесоборанный мох на ней.

Лейтенант не хотел лезть под плиту, поэтому демонстративно остановился снаружи и по обвалившейся стене в часовню карабкаться не стал.

Подполковник осторожным пинком проверил прочность установки домкрата, скосился в сторону шлангующего лейтенанта и попросил Колубаева:

— Слушай, не в службу, а в дружбу, слазь, посмотри, чего там! У меня поясница третий день... Полечиться работа не отпускает.

Колубаев снял полшубок и, как мог осторожно, протиснулся в щель.

— Ну чего там?

Вместо ответа Колубаев выбросил из могилы несколько черепов. Подполковник поднял один и заметил в нем круглое отверстие.

— В затылок... Пули поищи, Колубаев! Под ноги ему полетели ржавые бесформенные железки, тряпье, пуговицы и... пули.

— Чего там еще?

— Кости,— слышалось из-под плиты.— Монетка вот еще.

Подполковник принял монетку.

— Еще?

— Кости.

— Правильно, на кладбище находимся,— ехидно заметил лейтенант.

— Хотите, узнайте в конторе номер захоронения,— повернулся к нему подполковник.— Только это бесполезное занятие.

— Бесполезное,— согласился лейтенант.— Здесь в блокаду хоронили.

— Известно, хоронили.— Подполковник подал руку вылезавшему Колубаеву.— Заваливать плитами десяток расстрелянных штатских, а потом еще сверху раствором заливать... художественно...— Он послунял пальцы и потер монетку, принял окончательное решение: — Значит, лейтенант, организуете охрану, а я опергруппу пришлю.

— С кинологом? — мутно поинтересовался лейтенант.

— Обойдемся.

— Как будем оформлять? Попытка ограбления могилы?

— Захоронение тайное, значит, его как бы можно и разgrabить?

— Тогда вандализм?

— Подумаем.

Подполковник выбрался из часовни и пошел в сторону кладбищенских ворот.

— Пули обработайте! — приказал он уже издали.— Я лично по картотеке проверять буду.

— Зачем? — Впервые лицо лейтенанта отразило какие-то переживания.

— Проверим, как новая картотека работает...— И еще хотел подполковник дать руководящие указания, как вдруг ему под ноги кинулась облезлая собачонка.— Брысь! — прикрикнул на нее подполковник, но собачонка терлась о штанины и не отставала.— Хозяин помер? — поинтересовался он у собачонки и мельком взглянул на даты, выбитые на ближайшем надгробии: «1867—1913».— Тебе, собачка, лет семьдесят, не меньше.

Собачонка завyla и остановилась.

— Чего встала, пошли,— пригласил подполковник.— Мне тоже повить хочется... у меня жена месяц назад умерла.

Собачонка сомневалась.

— Поехали, накормлю!

После успешных междугородных переговоров с родителями Полуянов и Разбердеев поторопились зайти в винный отдел «Ново-Измайловского» универсама.

— Прикидывай, через три дня двести рублей у тебя на руках,— радовался Полуянов в Разбердеева.

От переполнявших его чувств Разбердеев ничего толкового сказать не мог, а только напевал что-то очень агрессивное и размахивал кулаками.

— Водки купим? — спросил Полуянов.

— Водки! И только водки! Две водки! — размахивал кулаками Разбердеев.

В отдел очереди не было, а в кассу стояло несколько человек.

— Кент, надыбай десять копеек... с отдачей,— попросил у Полуянова последний в очереди ханыга.

Полуянов насыпал ханыге меди и неожиданно для Разбердеева спросил:

— Ты в Красном театре был?

— Я в театр не хожу,— охотно откликнулся ханыга и пихнул соседа по очереди: — Ты в Красном театре был?

И сосед вопросу не удивился.

— Жена таскает иногда по спектаклям, а в какие театры, красные или зеленые, я не запоминаю.

Друзья взяли две бутылки «Старорусской» и пошли в общагу через арку в «Синтетике», а в арке... Первым увидел Микердышева Разбердеев.

— Назад! — вскрикнул он почти так же, как вскрикнул ночью, когда наткнулись на забор «Литераторских мостков».

Друзья метнулись из арки и вбежали в отдел пластмассовых изделий универсама «Синтетика».

— Сторожит,— сказал Разбердеев, с интересом рассматривая мыльницы.

Полуянов согласился и продолжил размышление:

— Давай одну в парке Авиаторов разопьем, а другую в театре. Вернемся где-нибудь в двенадцатом часу. Не будет же он до ночи в общаге торчать? — Он вытащил тетрадку для лабораторных работ и прочитал на билете: — «Пр. Горького, 18»... Билет сдадим в музей.

— Но сначала в парк Авиаторов,— согласился Разбердеев.

К концу дня подполковник позвонил на Литейный.

— У меня есть пули, гильз нет... Какой год? — Перед ним лежала найденная в могиле монета, поэтому он, поразмыслив, смог ответить: — Период между тридцать первым и тридцать шестым... Хорошо, я сам заеду, до которого часа можно?.. Мы-то успеем. Спасибо! — И повесил трубку, вполне довольный разговором. — Колбасы не забыть бы взять до закрытия... — И записал на перекидном календаре: «Колбасы — купить!»

В начале седьмого Разбердеев и Полуянов подошли к «Пр. Горького, 18».

— «Ленинградский театр имени Ленинского комсомола», — прочитал Полуянов по фасаду.

— Переименовали,— сообразил Разбердеев.

В помещении касс у афиши стояли две девушки.

— Девушки, это бывший Красный театр? — решил проверить свою догадку Разбердеев, но девушки отвернулись.

Полуянов огляделся. Кроме девушек в помещении никого не было.

— А мне говорили, в Ленинграде в театр и не попасть!

Девушки поспешно вышли на улицу.

— Билетов нет? — спросил Разбердеев у кассирши.

— Есть билеты,— ответила кассирша.— Вам на сегодня?

— Да,— отодвинул товарища Полуянов.— Что сегодня идет?

— На афише посмотрите,— посоветовала кассирша.

Полуянов к афише не пошел.

— Два билета на сегодня, пожалуйста: девятый ряд, места двадцать четвертое и двадцать пятое.

Кассирша не удивилась, но ответила скоро и решительно, даже не ткнулась в «план посадочных мест»:

— Другие места берите.

Теперь уже Разбердеев Полуянова отодвинул от окошка и грубо поинтересовался:

— А эти чего вам, жалко?

Кассирша занялась перекладыванием стопок билетов с места на место.

— На завтра дайте нам эти места, пожалуйста! — потребовал Полуянов.

— На завтра тебе зачем? — не понял Разбердеев.

— Не мешай... На завтра нам эти места!

— Ни на завтра, ни на послезавтра! — обозлилась кассирша.— На эти места постоянная бронь!

— Так бы сразу... Парочку самых дешевых на сегодня.

Кассирша вырла из стопки самые дешевые, и друзья отправились в бывший Красный театр смотреть неизвестно что.

За квартал до Большого дома подполковник остановил «Волгу» у «Гастронома» и купил полкило колбасы.

В ГУВДе подполковника направили в свежотремонтированную комнату, по периметру которой располагались буквопечатающие устройства, дисплеи, анализаторы и дисководы, все новейшее и заграничное, но больше всего подполковник поразился высокой, в человеческий рост, куче сваленных посередине комнаты папок, книг, дел и просто разрозненных бумаг. Возле кучи на деревянном ящике сидел милицейский капитан и вычитывал нечто увлекательное в раскрытой на коленях папке.

Подполковник вынул из портфеля заполненные поисковые карточки и вежливо кашлянул.

Капитан подскочил на ящике и радостно заулыбался.

— Проходите, пожалуйста! Это вы мне звонили? Очень рад! — И вырвал у подполковника карточки.— Пули! Отлично! Середина тридцатых годов! Ну просто сердечно вам

благодарен... хотя ваши эксперты совершенно неправильно заполнили поисковые карточки!

Подполковник хотел объясниться, но капитан не останавливался.

— У вас попытка ограбления незарегистрированной могилы, юридический казус? Поможем! — Капитан приготовил чистые карточки. — **Поможем!** Не научились еще заполнять в районных отделениях, хотя методики разосланы были еще два месяца назад, прошу обратить внимание! Все графы перепутали. А вот здесь, смотрите, отсутствует обозначение системы единиц! И здесь не формализовано!

Подполковник поражался забористому поведению капитана.

— Не беспокойтесь, я переделаю. Дело новое, конечно, но в следующий раз не приму в таком виде. — Капитан забрался в щель между анализаторами. — Еще никто не понимает, произошел ли переворот в сыском деле, ни больше ни меньше... — Он вернулся к куче и взял лежащие сверху папки: «Грифы таблиц» и «Номера кодов». — Пули, пули, пули... — Он порылся в папках, отыскивая необходимые «грифы и коды». — У нас через Москву информация идет, используем для кодирования фазовращательный алгоритм, на слух — как будто трещотка, слышали?.. Где же номер? Пули... да еще середина тридцатых! Вы не волнуйтесь, емкостью заложили достаточную, к сожалению, можно и из кремневого ружья убить столетней давности! Так, номер, кажется, нашел, а вот уровень? Какой вам поставить уровень секретности? Буквопечатающий аппарат японского производства, все метки содрали, контрабанда, а то, знаете, эмбарго, елки...

— Поставьте максимальный уровень секретности. — Подполковник приблизился к капитану вплотную. — Вы, я вижу, увлекающийся человек... Поверьте, дело стоит того, чтобы им заняться серьезно.

— Серьезное дело с пулями из тридцатых годов...

— Мне на пенсию скоро.

— Понимаю... Товарищи из Москвы приезжали, это они типы секретности закладывали, а в случае чего — блокировка, а разблокировать я не могу, не знаю элементов прохождения, только уровни устанавливаю.

— Значит, не докопаемся?

— Дело новое, блокировка через раз срабатывает, если не тот уровень установишь... ненароком можем в архивы госбезопасности залететь. Неприятности будут. Будут неприятности.

— На меня сошлитесь!

— Лады. Можете идти, я сделаю. Присылайте курьера во второй половине дня, завтра.

Друзья вошли в театр и разделись в совер-

шенно пустой раздевалке.

— Отменяют спектакль, — безразлично предрек Разбердеев и проверил устойчивость спрятанной во внутреннем кармане пиджака бутылки «Старорусской». — В буфете разъем?

— Сначала посетим музей. — Полуянов кивнул на прибитый к стене указатель.

На лестнице скучала служительница с веером программ.

— Покупайте, молодые люди.

— Еще чего! — огрызнулся Разбердеев. — Все равно спектакль отменяют.

— Не отменяют, к нам сегодня курсанты-подводники приезжают.

— Нет вопросов, — развел руками Разбердеев и протянул служительнице двадцать копеек. — Что сегодня у вас идет?

— Он хотел спросить, кто сегодня порадует нас своим актерским мастерством, основной состав? — поправил товарища Полуянов.

— Премьерный спектакль? — опять не по делу спросил Разбердеев.

— Бог с вами, недавно трехсотое представление было!

— «На дне», — прочитал Полуянов на программке. — Курсанты-подводники приезжают. Военно-морской юмор.

— А где у вас музей? — спросил Разбердеев. — Не делайте на меня большие глаза, командировочному все интересно.

— Поднимитесь, — служительница указала на ответвление от парадной лестницы, ведущее за полупущенные будuarные занавеси.

Музей оказался глухим коридором с развешанными по стенам старыми афишами и фотографиями, а также двумя стеклянными шкапами с собранием выгоревших шинелей, юбок на металлических каркасах и одного невесты как попавшего в драматический театр балетного тапка.

Охранял музей дремавший на банкетке старичок.

— Здравствуй! — Разбердеев грубо потряс его за плечо. — Мы вам что-то музейное принесли!

Полуянов развернул тетрадь с лабораторными работами и предъявил «музейное».

— Билет в Красный театр от 30 ноября 1934 года на какую-то «Мисс», — пояснил Разбердеев. — Мы полагаем, на «Мисс Баттерфляй».

Старичок надел очки и взглянул на билет.

— Так, молодые люди, у вас имеется билет... в Красный театр. — Он вскочил с банкетки, схватил указку и подбежал к началу экспозиции. — Да, действительно, до тысяча девятьсот тридцать восьмого года наш театр носил название «Красный», — заявил он задумчивым экскурсоводческим голосом и коль-

нул указкой парик с семью буклями. — Но в октябре тысяча девятьсот тридцать восьмого года наш театр был переименован в театр Ленинского комсомола — в честь двадцатилетия верного помощника нашей родной ленинской партии. Далее, про оперу итальянского композитора Пуччини «Мадам Баттерфляй». У нас, молодые люди, не опера. Тридцатого ноября тысяча девятьсот тридцать четвертого года состоялась премьера спектакля «Месс-Менд» по мотивам одноименного романа замечательной советской писательницы Мариэтты Шагинян, чью прекрасную книгу «Четыре урока у Ленина» вы, конечно, не раз читали. Подойдите ближе...

Друзья подошли поближе к фотографиям. Старичок принахался к друзьям и посмотрел на них с возросшим интересом.

— Вы видите, как тепло приветствуют зрители участников спектакля после премьеры... — продолжил он.

Друзья переглянулись. Некоторые из участников спектакля грозили зрителям точно такими же «пистолетами», десяток которых сгнил под плитой в часовне на Волковом кладбище.

— Молодые люди, вы по сколько приняли? — не выдержал старичок и вперился исподлобья на оттопыренный карман Разбердева.

— По двести пятьдесят.

— «Старорусской»?

— Верно!

— Остальные материалы по интересующему вас спектаклю находятся в запаснике.

— У нас с собой взято, — заверил старичка Разбердеев.

— Тогда поднимемся в запасник и оформим, так сказать, ваше дарение нашему театру... у меня там и стаканчики!

— А курсанты-подводники? — Полуянов выглянул за будуарные занавеси — фойе театра начинало заполняться черными шинелями.

— Музей закрывается, — успокоил старичок, перегораживая ответвление от парадной лестницы красиво провисающей бархатной кишкой.

Капитан, заведующий картотекой, отчеркнул несколько цифр в памятной таблице «Коды КГБ — сплошная блокировка» и проделал несколько новых дырок в перфокарте.

Некоторое время капитан сидел не шелохнувшись, не решаясь запустить анализатор.

— Сказал бы словечко, да волки недалечко, — прошептал он и, скривившись от внутренней натуги, нажал кнопку.

И тотчас заиграла веселая трещотка буквопечатающего заграничного аппарата.

По коридору третьего этажа известного

дома без номера на площади Дзержинского в Москве шли два сотрудника отдела молодежных организаций при секретариате особой гражданской обороны. (Надо заметить, что упомянутый отдел, а равно и секретариат имели и другие названия, причем само бытование названий санкционировалось вышестоящими инстанциями ежесеквартально.) Они подошли к обитой железом двери без номера и... остановились.

— Пирожков! — позвал один сотрудник другого.

— Чего тебе, Масленников? — И «Масленников» сказано было с не меньшей издевкой, чем «Пирожков».

— Смотри, откликается! Привык уже, что ли? — как бы удивился тот, кого называли «Масленников», и, не теряя больше времени, прощелкал кнопки на кодовом замке, но железную дверь открыть не смог.

— Опять код поменяла, сука. — И Масленников несколько раз пнул дверь: сначала носком, потом каблуком, а потом и всей подошвой — с разбегу.

Из туалета, располагавшегося поблизости, вышла строгая женщина с горкой мытых чашек и, отстранив Масленникова, открыла дверь:

— Проходите!

В комнате, куда вошли сотрудники, оказалась еще одна дверь и тоже — обитая железом, но с окошечком. За вторую дверь ушла строгая женщина и закрылась изнутри, а сотрудники приткнулись к окошечку, согнувшись для общения.

— Вы под какими фамилиями? — спросила строгая женщина.

— Масленников.

— Пирожков.

— Распишитесь. — И строгая женщина выложила в окошечко формуляр.

Сотрудники расписались, и в окошечке появился новый формуляр.

— Кто получает материалы для выполнения задания?

— Я, — ответил Масленников.

— Распишитесь. Вы получаете три бутылки с красной пробкой и четыре бутылки с зеленой пробкой...

— И в каких — отравы?

— Не перебивайте! Распишитесь. Вы предупреждены, что в бутылках с зеленой пробкой — пассивный, вспомогательный материал, в бутылках с красной пробкой — активный, рабочий материал. Пирожков, вы тоже распишитесь... Все. Подробный инструктаж после получения оружия и билетов. До свидания.

Окошечко расширилось, и в нем появился раскрытый «дипломат» с семью бутылками водки «Экстра».

Масленников заговорщицки подмигнул

Пирожкову, но тот явно не одобрял нерезультативного поведения своего коллеги и предпочел не перемигиваться. Масленников закрыл «дипломат» на ключ, и сотрудники вышли из комнаты в коридор.

На лифте они спустились на минус-первый этаж главного цоколя и прибыли в кабинет инструктора для получения подробного инструктажа.

Инструктор достал из сейфа кустарного производства тетрадку с проштемпелеванными листами и зачитал оттуда следующее:

— «Первый объект: Вера Исааковна Раппопорт, адрес и телефон прилагаются. Инсценировка самоубийства в состоянии алкогольного опьянения». — Здесь он передал Масленникову сверток. — Упаковку уничтожить после исполнения. Распишитесь. — После того как Масленников расписался, инструктор продолжил: — «Предлагается произвести предварительный звонок по указанному телефону и представиться в качестве близких друзей ее мужа, в настоящее время отбывающего срок в колонии усиленного режима...» Данные на мужа: фотографии, приметы, привычки. — Он передал Масленникову еще один сверток. — «Объект срочный, имеет на послезавтра билет на авиарейс до Вены из аэропорта Пулково». Вопросы?

— А если она не пьет? — задал вопрос Пирожков.

— Ты думаешь, эту тетрадку дурак писал? — связывал инструктор. — Второй объект. «Антисоветская молодежная организация, так называемые “субреалисты”. По непроверенным данным, готовит акцию самосожжения на одной из центральных площадей г. Ленинграда. Адреса членов прилагаются». — Он передал Масленникову адреса. — Распишитесь... Далее читаем: «Предлагается установить наблюдение по отмеченным адресам и выявить предпочтительные объекты. По агентурным данным, наиболее предпочтителен для проведения задания некто Сверчков В. С.: наркоман, состоит на учете в венерическом диспансере, кровельщик Петроградского ПЖРО. Предлагается произвести превентивную акцию самосожжения объекта на квартире объекта». Вопросы?

— Связь? — задал вопрос Пирожков.

— Прежняя. Теперь третий объект. — В тетрадке ничего по третьей объект не было, и инструктор закрыл тетрадку. — Не разработан. Утечка информации из картотеки Комитета. Подробный инструктаж по третьему объекту — в Ленинграде. Вопросы?

— Нет.

— Нет.

— Распишитесь. Документы. Распишитесь. Деньги. Распишитесь. Билеты...

— А чего не СВ? — обиделся Масленников.

— Чтобы ты опять ужрался?

— При чем тут СВ и «ужрался»? Не вижу причинно-следственных связей!

— Распишитесь.

Пирожков упаковывал полученные свертки в «дипломат».

— Оружие получите, — напомнил инструктор.

На этом и расстались.

Под музейную пыль водка шла очень даже неплохо. В запаснике было за что зацепиться рассеянному пьяному взгляду: завеса афиш на стенах, коллекция накладных носов, рыцарские доспехи из папье-маше, стендовая композиция: «Нашему дому — ХХХ!», эскизы декораций и костюмов, а также макет зрительного зала. Пьяный глаз Полуянова заинтересовался макетом.

— Нам не продали девятый ряд, двадцать пятое место, — пожаловался он старичку.

— Еще бы! — охотно откликнулся тот. — Акустика! Вот, почитай. — И он вытащил из-под макета бархатный альбом: «Исследование акустических свойств зрительного зала ЛГДКТ 1932 г.»

— С тех пор ничего не изменилось? — не поверил Разбердеев.

— Ничего! Изменения планируются на следующую пятилетку.

— «Максимальное удаление зрительских мест от зеркала сцены составляет в партере тридцать метров, а на балконе — около тридцати шести метров», — прочитал Полуянов. — Ну и что?

— Внизу читай, в рамке, — посоветовал старичок.

Внизу, в красной карандашной рамке, Полуянов прочитал:

— «Основной недостаток формы зала — очень большой раствор боковых стен вблизи портала и чрезмерно высокий потолок вблизи сцены. При высоте зала восемнадцать метров отражения от потолка приходят в центральную часть зала с запаздыванием более тридцати — сорока миллисекунд после прихода прямого звука. Исклучение составляет часть мест восьмого и девятого рядов вследствие наличия над ними подвесной панели». Дальше читать?

— Читай.

— «Вывод. Низкая неразборчивость речи в партере вызывает повышенный уровень шума зрителей, что в свою очередь создает маскирующий шум, еще более снижающий разборчивость речи на всех зрительских местах. В итоге полностью удовлетворяющими современным требованиям являются места пятнадцатое — тридцать второе восьмого ряда и двадцатое — тридцать первое девятого ряда».

— Выходит, в ваш театр и ходить без толку? — понял Разбердеев.

— Никто и не ходит, на весь Ленинград

гремим! — радостно согласился старичок. — Но это не главное. Я сейчас скажу, кто с вашим билетом, — старичок подул на могольный билет, — в наш театр приходил.

— Разольем по последней? — предложил Разбердеев.

— Идет! — Старичок принял в свой стакан остатки «Старорусской». — За знакомство!

— Пили, — напомнил Полуянов.

Старичок все равно выпил за знакомство.

— На ваш билет в театр прошел или молодой критик, или молодой театрал из числа друзей театра, или... Нет, все. Спектакль детский, премьера утром пошла, значит, родственники и знакомые с детьми пришли.

— А почему молодой? Не понял.

— Ну, бездетный. Смотрите, партерные ряды на одном уровне. — Старичок не поленился дотянуться до указки и ткнул в макет зрительного зала, сбив несколько стульчиков и покорежив ложу бенуара. — Слышно в первых рядах плохо, зато видно хорошо, не надо детей на колени сажать. А молодые и бездетные, кому не лень на утренники таскаться, те пусть на девятом ряду сидят!

Разбердеев и Полуянов молчали, пораженные здоровыми рассуждениями поддавшего старичка. А тот отдышался и выдал неожиданное:

— Сейчас я вам этого критика-театрала покажу. — И зарылся в шкаф.

В папке с инвентарным жетоном и указателем на корешке: «1931—1936», которую он нашел в шкафу, оказались сложенные четверго афиши, фотографии в конвертах, программки, газетные вырезки и недостающий для нижней экспозиции балетный тапок.

— Вот он где, бишь! — изумился старичок на тапок. — Мы искали-искали, думали, утрачен. Я думал, конечно, сперли. В прошлом году сперли пару сапогов-сороходов с «Золушки», постановка сорок седьмого года. Я даже знаю, кто спер, только доказать не могу.

— Где же наш спектакль? — поторопил старичка Полуянов.

— Ваша премьера... Вот, сводная афиша за месяц. «Месс-Менд». Фотографии: такая у нас внизу висит, видели уже; какую-то бабу за руки выводят на сцену, но не Шагинян, это точно; цветы преподносят пионеры и школьники; момент из спектакля; еще один момент из спектакля; рукоплещущая публика, я был прав, большинство в пионерских галстуках, а вот...

— Ряды надо посчитать!

— Давайте считать. Ваш ряд от колонны второй, если от сцены. Колонна на снимке есть... На вашем месте тоже какой-то Павлик Морозов сидит!

— Неправильно! — возмущился Разберде-

ев. — Никакой колонны нет, надо от сцены считать.

Наконец пальцы, которыми все трое тыкали то в макет зала, то в фотографию, сошлись в одной точке.

— Вот он!

— И рядом еще какой-то тип.

— И женщина!

— Женщина с мужиком слева, а эти двое молодых, они — вместе!

— Чего зря гадать? Хранится-хранится шелупень ненужная. — Старичок как-то сразу потерял вдруг интерес и к предмету исследования, и даже к своим нечаянным собутельникам. — Все тлен... Хуже нет, когда не допешь!

— Так вы говорите, критик? — Полуянов потянулся к вырезкам.

— Ничего я не говорю. — Старичок сгреб бумаги в папку и завязал тесемки.

— Сбегай напротив зоопарка, еще полчаса давать будут, — попросил Разбердеева Полуянов.

— Обратно пустят? — спросил тот, неохотно поднимаясь со стула.

— Я внизу покараулю! — вызвался старичок. — Сбегай напротив зоопарка. А товарищ твой пусть пока рецензии поизучает.

И они ушли из запасника, а Полуянов остался перебирать газетные вырезки с рецензиями на постановки Красного театра сезонов 1931—1934 гг.

Около девяти вечера подполковник вернулся домой. Собачонка спала на ковре в прихожей, и возле нее валялось несколько обгрызанных ботинок и женский сапог.

— Ты щенок, оказывается? — удивился подполковник. — Вот бы тебя сейчас моя жена отругала! Ты ее выходной сапог разгрыз.

Подполковник сходил в комнату и принес фотографию жены в самодельной рамочке.

— Ты смотри, что творится! — И прислонил фотографию к спинке стула.

Затем он достал из портфеля колбасу. Вместе с колбасой случайно вынулась из портфеля бесхозная китайская медаль и покатила по полу. Подполковник сначала и не понял, что это выкатилось, а когда вспомнил и поднял медаль, то сел на ковер рядом с щенком и передохнул, отставив некоторые намернувшиеся мысли.

— Знаете, дорогие мои, впутал я себя в одно серьезное дело. Зря? — Он повертел обгрызанным сапогом. — Не тем мы в жизни дорожим, вот что я вам скажу, не тем!

Щенок принялся и потащил колбасу на ковер.

К тому времени, когда Разбердеев и старичок внесли в запасник две бутылки «Золо-

той осени», Полюянов вполне освоился с рецензиями, и ему не терпелось рассказать о своих изысканиях.

— Долго ходили!

— Напротив зоопарка — полный голяк, пришлось к рынку смотаться, еле успел до закрытия, — объяснил Разбердеев.

— «Золотая осень»... — Старичок посмотрел через бутылку на свет. — Вино дрянное само по себе, но если вдгон к водке употребить, кайф удовлетворительный. Разольем?

— Разливайте, — отмахнулся Полюянов. — Что я выяснил. Первое: рецензий на постановку «Месс-Менд» в папке нет, это косвенное подтверждение, что на нашем месте сидел критик.

— Почему? — не понял Разбердеев.

— Умер, вот и не написал.

— Принимается!

— Второе. В папке до декабря тысяча девяносто тридцать четвертого года имеются рецензии шести критиков, из них один работал под псевдонимом «Рассерженный зритель» и писал исключительно отрицательные рецензии, его мы сразу отсеиваем, потому что критикам хорошие места никто предлагать не станет. Из остальных трое продолжали работать и в последующие годы, а двое критиков писать перестали, их фамилии Шварц и Позднов. Но вот что пишет Шварц в одной из своих рецензий: «Актеры театра, не достигая еще мастерства, уже достигли основ простой и непосредственной заразной игры, в которой явно ощущается начало здоровья и жизнерадостности, — и они перебрасываются в зрительный зал. И вспомнилась мне в этой связи забытая уже многими постановка пьесы Толлера “Эуген” в театре Корша в тысяча девятьсот десятом году. Даже и не сама постановка целиком, а именно то место, где национальный герой империалистической Германии, выступая в балагане, перегрызает горло крысе».

— У нас молодой сидит, а этот уже в десятом году по театрам ошивался, — сообразил Разбердеев.

— Правильно! Остается один-единственный, Позднов.

Старичок выпил разлитое из всех трех стаканов и разговором не интересовался.

— И третье. — Полюянов развернул афишу и прочитал написанное в самом низу мелкими буквами: — «Оружие иностранных агентов и бактериологические мины изготовлены на второй мебельной фабрике имени Марата».

— И дальше? — третьего Разбердеев пока не понимал.

— Надо найти, кто это «оружие» после премьеры забрал. Спросим, где у них документация хранится.

— Бесплезно.

И точно, старичок еле на стуле сидел.

Полюянов поднялся и спрятал фотографию в карман.

— Давай его вниз спустим, а то запрут на ночь, — предложил он Разбердееву, и друзья потащили старичка из запасника в музей.

...На сцене Лука собирался срываться из ночлежки, и Актер, если бы ему позволили, готов был с удовольствием повеситься сразу же после ухода коварного утешителя.

Билеты были у Пирожкова, и он шел по вагону первым.

— У вас какие места? — спросил он в одном купе, потом в следующем и в следующем.

— Ты чего светишься? — не выдержал Масленников. — Номера смотри сбоку!

— Темно... и номера римские, я не виноват.

— Дубовый! Какие у нас места?

— Тридцать пять, тридцать шесть.

Масленников обмер и беззвучно выматерился.

— Инструктор, гад, баран черножопый! У сортира, гад... Как же я сразу билеты не посмотрел!

Пирожков отодвинул дверь последнего купе.

— Здравствуйте, девочки!

— Девочки? — оживился Масленников. — Здравствуйте! Как это мы с вами у сортира оказались?

Девочки не знали.

— Теперь всю ночь не заснем, будут дверью хлопать, — пообещал Масленников. — Есть только один способ заснуть в купе у сортира. — И выставил на столик три бутылки вина. — «Солнце в бокале!» Три раза! В нашем буфете брал, впечатляет? Как будто в Крыму!.. Извините, забыл представиться. Бабадеев. А он — Злыднев! Ха-ха!

— Стелла... Лена, — представились девушки.

— Ленинградки, угадал? Угадал, ленинградки! — Масленников показал корочку своего удостоверения. — «Курсы повышения квалификации работников гражданской обороны». Будем жить на... Большеохтинском проспекте. Это где, знаете?

— Знаем Большеохтинский.

— Тогда выпьем за знакомство. Злыднев, стаканы выставяй!

Но Пирожков стаканы не выставил, а забился в угол и уткнулся в припасенную на дорогу толстую книгу...

— Петровское-Разумовское проехали, — сообщил Пирожков, отрываясь от книги и выглядывая в окно.

К этому времени одна бутылка «Солнца в бокале» уже была выпита.

— Извините, — спросила у Масленникова Стелла, — почему ваш друг не выпивает?

— Ему нельзя, он — штурман, — объяснил порядком уже окосевший Масленников и, вздохнув, срезал пробку у второй бутылки. — Готовится к поступлению в Академию внешней торговли. Ха-ха!

— А вы?

— А я жизнь люблю! — признался Масленников и с чувством пропел: — «Я люблю тебя, жизнь... Возвращаюсь с работы усталый. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала!»

Девушки переглянулись. Лена пожалала плечами, а Стелла выставила на столик две бутылки вина.

Масленников тотчас подхватил бутылки и близко осматрел этикетки.

— «Черные глаза! И... «Слива», болгарское вино! Злыднев, болгарско!..

— Крюково! — сообщил Пирожков, и как раз дверь купе отъехала и шатающийся Масленников представил свою новую знакомую:

— Это Роза из МГИМО, аспирантка, прошу любить и...

— Занимаюсь Индонезией периода Сукарно, — объяснилась Роза и выставила на столик бутылку «Бахчисарайского фонтана».

— «Я в дар принес тебе две розы!» — продекламировал Масленников. — Вышел на минутку курнуть, а там, такие Розы!..

— Подсолнечную проехали, — сообщил Пирожков.

Шатающаяся Роза ввела в купе веселого лысеющего мужчину.

— Это Толик из Гипрокино!

Толик раскланялся и выставил на столик четыре бутылки «Жигулевского».

— Пиво! — обрадовались девушки.

— Ершика! — дико заорал Масленников. — Ершика! — И на коленях у него появился раскрытый «дипломат» с «материалами».

Пирожков попытался закрыть «дипломат», но Масленников этого сделать не позволил и выставил на столик бутылку водки с зеленой этикеткой...

...Утром проснулись от женского визга в коридоре.

Пирожков выглянул в окно.

— Любань проехали, — сообщил он и шепотом добавил, наклонившись к Масленникову: — Проверь бутылки.

Масленников открыл «дипломат» и с ужасом обнаружил, что в нем осталось только три бутылки с зеленой пробкой и две с красной.

— Кто-то бутылку с рабочим материалом спер, — шепнул он Пирожкову, быстро оделся и вышел в коридор.

В середине коридора было не протолкнуться от любопытных.

— Врача, врача пропустите! — потребовал Масленников, и его пропустили.

В купе на полу лежал мертвый Толик из Гипрокино, а рядом с ним валялась пустая

бутылка из-под «Экстры».

— Откройте окно, необходим свежий воздух! Будем делать искусственное дыхание! — скомандовал Масленников.

Два доброхота рванулись в купе и открыли окно.

— Алкогольная интоксикация, — объявил Масленников и выбросил бутылку в окно.

— «Экстра»? — проводили взглядом бутылку доброхоты.

— «Русская», «Экстру» сняли с производства год назад.

— Да, «Экстры» давно в продаже не видно, — согласились доброхоты.

Потом Масленников долго щупал труп, делал якобы искусственное дыхание, а на самом деле искал красную пробку.

— Мертв, — объявил он, когда закатившаяся под ковер пробка наконец отыскалась. — Освободите помещение! — И, выпровадив доброхотов, задвинул дверь купе. Стакан он выбросил в окно, а пробку, подумав, спрятал в карман.

Утром Полуянов разбудил Разбердеева и сказал:

— Бланк давай, буду писать письмо во Дворец пионеров.

Разбердеев спорить не стал и достал из тумбочки стопку разномерных бумаг, среди которых в самом деле оказались чистые бланки различных организаций и обществ.

— «Акт по списанию... Ленгорглавпрокат». Нужен?

— Нет.

— «Свидетельство ДМШ Главного управления культуры Ленгорсовета», справка из отдела кадров Ленместростроя, требования с визой: «Росбакалея, ул. Кубинская, 6», «Консультативное заключение стоматологического комплекса им. Н. А. Семашко». Также не подходит? Тогда есть «Расписка в приеме документов на захоронение».

Наконец отыскалась пожелтевшая картонка с красным заголовком «Вперед!» и припиской сбоку «Из части не выносить!».

— Боевой листок, — пояснил Разбердеев.

— Подходит! — обрадовался Полуянов и написал на картонке: «Просим Вас оказать содействие студенческому патристическому клубу «Импульс» в розыске материалов о жизни и деятельности первого в Ленинграде председателя Совета Пионерских Дружин Позднова С. Н., впоследствии работавшего театральным критиком и погибшего в дни гитлеровской блокады на боевом посту. Председатель клуба: Полуянов. Редколлегия: Разбердеев». — Давай печати! — потребовал он у Разбердеева, но у того печатей не оказалось.

— Только штампы. — Он выгреб на тумбоч-

ку две печатки на телевизионные пломбы, билетный наборник со штемпельной подушкой и комсомольский штампик «уплачено».

— И все? — Полуянов был явно разочарован. — У кого бы попросить?

— У комендантши, — после некоторых раздумий предложил Разбердеев.

Друзья спустились на первый этаж общежития и вежливо постучали в дверь с табличкой «Комендант общежития».

— Здравствуйте. Разрешите? — И Полуянов уже стоял перед столом комендантши и тряс «боевым листком». — При нашей дискотеке «Импульс», как вы знаете, создается одноименный патриотический клуб, и мы бы хотели обратиться к вам с просьбой о содействии. Помогите первым шагам молодого клуба!

Комендантша недоверчиво взяла листок.

— Что-то я раньше за вами не замечала особого патриотизма.

— К распределению общественный балл зарабатываем, — объяснил Полуянов.

— Распределиться хотим в хорошее место, — добавил Разбердеев.

Комендантшу объяснения удовлетворили.

— Только лучше было бы организовать не при дискотеке, а скажем, при студсовете или при учебно-воспитательной комиссии.

— Молодежи теперь нужен ритм! — не согласился Разбердеев. — «Это время поет — БАМ! На просторах твоих — БАМ!», «Малая земля — великая земля, братство презирающих смерти!» При дискотеке — самый настоящий патриотизм и есть.

— Вообще-то идея неплохая, через песню можно напрямую воздействовать. И не только через песню! Не обязательно через песню! Можно воздействовать и просто через... звучащее слово. Я, знаете... — Комендантша смутилась. — Я в седьмом классе, когда в школе училась, была ведущей радиогазеты «Юный сталинец». Вместе с Олегом Табаковым!

— Неужели?! Это с актером Олегом Табаковым?

— Мы тогда были настоящими пионерами, преданными делу... и все такое прочее.

— И вы скрывали? Первое, о чем мы расскажем на совещании во Дворце пионеров, — это о вашей радиогазете. А?! — Полуянов хлопнул Разбердеева по плечу. — Возьмешь?

— Всегда готов!

Комендантша поставила на «боевом листке» круглую институтскую печать и общежитский треугольник.

— Сейчас поедете?

— Без проволок! «Нам ли растекаться слезной жижей?»

— Хорошо. Я до обеда буду на месте. Если потребуется, звоните мне из Дворца

пионеров. — И комендантша отпустила друзей с миром.

В полдень лейтенант принес в кабинет подполковника пакет с Литейного, а на словах доложил:

— Идентифицированы отпечатки пальцев на домкрате. Принадлежат некоему Микердышеву Л. Б., 1958 г. р., работнику отдела дератизации Ленинградского морского порта. Задерживался за приставание к иностранцам.

— Спасибо. Можете идти, — отпустил его подполковник и с нетерпением распечатал пакет.

В пакете оказался формализованный бланк и написанная от руки записка.

«Пули, представленные за II №№ 1—9—вар., аналогичны по сетке условно-нормированных параметров первичного анализа пулям, фигурировавшим в деле за № 1—123/: “начато” 1 декабря 1934, “закончено” III-м томом — 26 декабря 1934. Гриф “Хранить вечно” литер “СС-ОВ” (совершенно секретно — особой важности). Первичное хранение — архив НКВД СССР. Банк данных — “ПОЛИТБЮРО”. Подробные сведения — блокировка».

Подполковник отложил формализованный бланк и очень задумался. Он встал из-за стола и подошел к одному из имевшихся в кабинете книжных шкафов. Он вытащил с полки несколько томов избранных произведений Ленина, и оказалось, что на полке имеется второй ряд книг. Во втором ряду отыскались: «Народное хозяйство СССР — 1959», «Ленинград и семилетка, статистический сборник» и... вот, «Материалы XXII съезда КПСС». Подполковник полистал «материалы» и, когда нашел то, что искал, нажал кнопку селектора:

— Лейтенанта Седова попросите ко мне зайти.

Дожидааясь лейтенанта, он прочитал записку:

— «Вы, конечно, обрадованы результатами исследований банка данных нашей новой картотеки, мне же пришлось писать объяснительную. Вследствие не выявленных ранее возможностей буквопечатающего аппарата произошла саморасшифровка кодированной информации соседнего массива данных. Но, семь бед — один ответ, считаю своим долгом обратить ваше внимание на то, что анализируемые пули употреблялись в патронах системы “наган”, тогда как в деле об убийстве Кирова фигурирует “браунинг”. С уважением, капитан Федоренко».

В кабинет вошел лейтенант Седов и сделал долговременное-невывразительное лицо.

— Смотри-ка, до чего я докопался! — Подполковник развернул к лейтенанту страницу «Материалов XXII съезда» и форма-

лизованный бланк.

— Ну и что? На Микердыщева повестку готовить?

— Повестку! — раскипятился подполковник. — Ты смотри, как все завязалось. Микердыщев нам нужен, он мог что-нибудь важное из могилы подтирить.

— Что важное?

— Мы нашли останки людей, убитых из того же оружия, которым был убит Киров!

— Ну и что?

— У них в тридцать четвертом пули в трупе от нагана, а к суду представлен «браунинг»! А в нашей могиле пули от этого самого нагана! Ну?! Проводим эксгумацию, черепа — в Москву на восстановление облицки, поднимаем все данные Комиссии Хрущева. Да что там, пусть опять Комиссию собирают.

— ГБ дело отберет.

— До чего ж ты шкурный, извини меня, просто невозможно так... Ладно, привезешь Микердыщева и сразу звони капитану... Федоренко пусть держит со мной связь, я к нему заеду сегодня. Он, понимаешь, объяснительные пишет! И всего-то мы боимся!

Лейтенант вышел, а подполковник снова углубился в «Материалы XXII съезда».

Разбердеев и Полуянов без труда отыскали во Дворце пионеров нужную комнату и теперь ожидали, сидя в удобных креслах, потому что следопыт за конторским столом ни за что не хотел принимать решения без заведующего кружком.

Наконец дождался заведующего.

— Вы ко мне, молодые люди?

Следопыт встал из-за конторского стола и откашлялся.

— Товарищи из патриотического клуба «Импульс» просят оказать содействие в розыске... «первого в Ленинграде председателя Совета Пионерских Дружин Позднова С. Н.».

Заведующий нахмурился:

— А в каком году образован такой Совет?

— Понимаете ли, Совет просуществовал недолго, до Кронштадтского мятежа, — пояснил Полуянов.

— До мятежа?!

— Да. Здорово помогли тогда пионеры делегатам X съезда РКП(б)! — вывернулся Полуянов.

Заведующий расслабился.

— Я сразу не понял, вы говорите: «Первый в Ленинграде», а надо ведь: «Первый в Петрограде»!

— Именно! — поддакнул Разбердеев. — Петроград переименован в Ленинград в тысячу девятьсот двадцать четвертом году по многочисленным просьбам трудящихся.

— Мы вам передаем фотографию и ре-

цензии товарища Позднова в период тысяча девятьсот тридцать первого — тридцать четвертого годов. На фотографии товарищ Позднов отмечен стрелкой, — приступил к делу Полуянов. — Нашему клубу хотелось бы как можно подробнее узнать о судьбе легендарного председателя, а также выяснить место его захоронения.

— Он умер? Вы уверены? — спросил заведующий.

— В этом можете не сомневаться, — успокоил его Разбердеев.

— В качестве ответного жеста с нашей стороны, — продолжил Полуянов, — клуб «Импульс» намеревается познакомить вас с одной из ведущих пионерской радиогазеты «Юный сталинец». Радиогазета функционировала в начале пятидесятых. Желаете?

— С этого бы и начинали! — взвился следопыт.

Заведующий смутился.

— Да мы бы вам и просто так помогли, задаром!

— Позвоните завтра. — Деловитый следопыт записывал телефон. — Я лично займусь вашим вопросом.

Лейтенант Седов ввел Микердыщева в кабинет и расчетливым тычком толкнул к стулу.

— Усаживайтесь, Микердыщев. На вопросы попроси отвечать быстро и честно! — начал допрос подполковник. — Какой корабль сейчас стоит под дератизацию?

— С хлопком. Из Бангладеш.

— Что вчера пил?

— Я вчера не пил.

— Честно отвечать! Быстро!

— Ну портвейн. «Кавказ» розовый. Вам что за дело?

Подполковник протянул Микердыщеву протокол с результатами экспертизы:

— Ознакомьтесь.

Микердыщев ознакомился.

— Не был я на Волковом. Что еще у вас есть на меня?

— Вещественные доказательства: домкрат, лом — с отпечатками пальцев. Это вам мало?

— Предположим, хватался я за ваш лом. Но на Волковом — не был! Не был, ей-богу не был!

— Хорошо. Где вы хватались за лом? При каких обстоятельствах?

Микердыщев молчал. Тогда подполковник достал из кармана кителя китайскую медаль и швырнул на стол.

— Узнаете?

Даже равнодушный лейтенант перестал подпирать стену, отшатнулся к столу, чтобы лучше рассмотреть интересную вещь.

— Лейтенант, — обратился к отшатнувшемуся подполковник. — Вы в картотеку звонили на Литейный?

— Занято,— ответил лейтенант.
— Я вас попрошу, позвоните еще раз.
Лейтенант ушел.
— Ну, Микердыщев? — продолжил допрос подполковник.
— Я мог дотронуться до лома...
— И домкрата!
— ...и домкрата в общежитии на Ново-Измайловском.
— Конкретнее?
— Ново-Измайловский, 8, корпус 2.
— В комнате, в комнате какой? Кто там живет?
— Разбердеев и Полуянов... Медаль не моя! На Волковом я не был!
Подполковник записал фамилии на откидном календаре.
— Можете идти, если понадобится, вызову.
В дверях Микердыщев столкнулся с лейтенантом.
— Пропусти его, пусть катится,— сказал подполковник лейтенанту.— Позвонил?
— Да. Капитан Федоренко сегодня из органов уволен.
— Ерунда какая, он только что мне пакет прислал! Так скоро его не могли уволить.— Подполковник разыскал в справочнике под стеклом нужный номер и позвонил на Литейный.— Здравствуйте, капитана Федоренко... Нет, того, что у вас картотекой заведует... Как уволился? Так не бывает! Не вешайте трубку, это вас беспокоит подполковник... Повесила-таки! Слушай, Седов, поезжай на Литейный и разузнай все сам и не отставай от них, пока правду не скажут. И домашний телефон Федоренко узнай!

До полудня сотрудники спецотдела отдыхали в выделенной им комнате общежития курсов повышения квалификации по гражданской обороне на Большеохтинском проспекте. Масленников валялся на койке и, томимый жаждой пьяницы, пил чай, а Пирожков конспектировал учебник.

Ровно в полдень Пирожков посмотрел на часы и предложил:

— Проверим связь?

— Заодно и доложимся,— простонал, соглашаясь, Масленников.

И они спустились на первый этаж. Проходя мимо вахты, они предъявили пропуски, и Масленников спросил у вахтера:

— Товарищ, правильно ли у нас оформлены пропуска?

— Оформлены правильно,— ответил вахтер,— необходимо проставить сроки пребывания.— И пригласил в комнатку за ключным ульем: — Хоть на час, да вскачь!

Сотрудники вошли в комнату, и вахтер плотно прикрыл за ними дверь.

— Вы должны твердо помнить, что...—

сказал он и пристально посмотрел Масленникову в лицо.

— ...что из всех искусств для нас важнейшим является кино! — продолжил Масленников.

Формальности были соблюдены, и вахтер приступил к инструктажу:

— Литерный объект, исполнение — тип «Кипарис», по месту работы...

— А у нас все объекты — по типу «Кипарис», на другие не посылают,— прихвастнул Масленников.

— Значит, двоих по месту работы: Микердыщев Л. Б., тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года рождения, отдел дератизации, Ленинградский морской порт; подполковник Кузнецов И. И., Московское РОВД, тысяча девятьсот двадцать четвертого года рождения. Особый контроль, зеленый телефон.

— Давненько не было зеленых! — удивился Масленников.— Не дай бог красные зазвонят...

— Фотографии по объекту имеются? — спросил Пирожков.

— Объект не разработан. «Материалы» рабочие, зона не расширяется.

Пирожков зло посмотрел на Масленникова, но промолчал.

— Тогда пусть какой-нибудь плановый объект похерят! — рассердился Масленников.— По нормам бутылки получали! У них, видите ли, зона не расширяется, а нам легче от этого?

Вахтер протянул Масленникову пакет с сургучными печатями, термос и пачку кофе.

— Термос — подполковнику Кузнецову.

— Хуже нет, когда непьющие,— пробурчал Масленников.

— Вам будет организована встреча с лейтенантом Седовым,— продолжил вахтер и предъявил сотрудникам фотографию.— Этот служит в том же Московском РОВД. Лейтенанту необходимо передать подготовленный термос. Условия встречи и пароль — в пакете.

— Пропуска в порт? — спросил Пирожков?

— В пакете. Пропуска разовые.

— Само собой,— пробурчал Масленников.— На всем экономят...

— Вернулся? Долго же ты... Тебя за смертью посылать! — накинулся на вошедшего в кабинет лейтенанта подполковник Кузнецов.

— Ничего особенного,— поспешил успокоить подполковника лейтенант.— Капитан Федоренко применил для экранирования накопителей магнитный материал, в результате чего утрачена часть централизованного массива данных, а другая часть временно закрыта в связи со сработавшей блокиров-

кой... временно закрыта и частично переведена на подуровень... — Лейтенант заметно нервничал, и по тому, как он проговаривал технические термины, подполковник понял, что лейтенант ни черта не понимает в том, что ему приказали вызубрить. — На подуровень.

— Где Федоренко? — спросил подполковник и опять услышал зазубренное:

— Капитан Федоренко как не справившийся со своими обязанностями временно отстранен от руководства картотекой машинного зала... ввиду его ликвидации. — В этом месте лейтенант понял, что перепутал, и замер, пытаясь вспомнить нужные слова. — Ввиду служебного несоответствия, я хотел сказать, ликвидирована часть картотеки... Короче, по горячей путевке, выданной фабриком его жене вследствие ее ударной работы, капитан Федоренко уехал в очередной отпуск с последующим увольнением из органов... по решению общего собрания отдела ГУВД!

У подполковника появилось нехорошее жжение в груди, он поморщился и попытался массировать сердце.

— Телефон его домашний давай! — крикнул он и требовательно постучал ладонью по столу.

Лейтенант не мог дольше сдерживать дрожь в ногах и сел.

— Телефона мне не дали. То ли вообще телефона нет у капитана Федоренко, то ли отключила телефонная станция за неуплату междугородных разговоров, я не совсем понял.

Подполковник достал валидол и нажал кнопку селектора.

— Чай принесите, пожалуйста.

— А у меня есть! — Лейтенант подскочил со стула и вытащил из портфеля термос.

Подполковник сделал несколько глотков налитого из термоса кофе и сразу стал задыхаться.

— С чем это у тебя?

— Жена с травами заваривает, с медом, с кардамоном, с имбирем, с мускатным орехом...

— Ладно, проводи меня домой.

Они вышли из зданий РОВД и сели в «Волгу».

— Поезжай через Бухарестскую, — попросил шофера подполковник.

...На том месте, где стояла часовня, теперь громоздились катушки «Экспорткабель — г. Загреб». Бара уже прошла мимо катушек и теперь натужно буксовала, обдирая понемногу корни кладбищенских деревьев совсем близко от забора «Литераторских мостков».

Когда проезжали мимо Волкова кладбища, лейтенант старался не встречаться взглядом

с подполковником.

Масленников и Пирожков прошли через проходную Морского порта и сдали охраннику свои разовые пропуска. Одеты сотрудники были в поношенные ватники, «сороходовские» ботинки, штаны армейские полушерстяные второго срока носки, зимние строительные шлемы и поэтому ничуть не отличались от попадавших навстречу докеров и складских рабочих.

— Эта, милейшая! — остановил Масленников пожилую маляршу. — Укажи, будь ласка, нам отдел дератизации.

Малярша указала.

В коридоре отдела дератизации висел стенд с засушенными иностранными вредителями сельского хозяйства. Заинтересовавшийся стендом Пирожков смог рассмотреть «вредителей на хлопке» — азиатскую совку и египетскую совку, а также большого кубинского таракана, сиамского долгоносика-стрекача, ядовитую сороконожку «огненная грива», паука-птицееда, бабочку — пожирателя цитрусовых, жука без названия, но размерами с пирожковский кулак, а также небольшого крокодила.

— Вот твоя внешняя торговля! — подколол его Масленников. — Поступишь и тоже будешь на родину всякую иностранную нечисть возить за доллары. Вот в детстве у нас в деревне — улитки-слизняки, бабочки-капустницы, тля и майские жуки. А потом колорадских завезли, сволочи! И что, лучше мы жить стали?

Пирожков не хотел разговаривать о внешней торговле и заглянул в ближайшую дверь.

— Извините, Микердыщев где у вас? — спросил он у раскосого интеллигента, печатавшего одним пальцем на пишущей машинке.

— В аппаратной баллоны с газом заряжает, сегодня у него смена на хлопке, — охотно прервал свое занятие раскосый интеллигент. — Бангладеш! Бангладеш!

Дверь с табличками «Аппаратная» и «Опасно для жизни!» сотрудники миновали только что, поэтому Пирожков больше ничего не спрашивал, а сразу сунулся в аппаратную:

— Микердыщев кто будет?

Микердыщев проверял давление в баллонах с нервно-паралитическим газом.

— Я буду! Тебе чего?

— Выдь на минутку, выгодное дело есть.

— Мешаешь, дядя. Сам заходи, если не боишься. — И Микердыщев надел противогаз.

Пирожков остался в коридоре, а Масленников, делать нечего, вошел.

— Кофе зеленого нам, пару ведер. Устроишь?

Противогаз захлопал.

— Да нет, ты не понял, за ворота мы сами вынесем.

Микердыщев снял противогаз.

— Три рубля.

— Ведро?

— Килограмм, дядя. Неси ведра.

Масленников выглянул в коридор.

— Неси ведра! — приказал он Пирожкову.

— Деньги! — Микердыщев надел противогаз.

— Цена подходящая, — засуетился Масленников, отсчитывая деньги. — Еще и стаканчик тебе нальем, раз такое дело! — И вынул из-за пазухи «Экстру» с красной пробкой.

Микердыщеву опять пришлось снять противогаз.

— С вами толком не поработаешь. Стакан есть?

— Из горла мочи!

Микердыщев сделал несколько глотков и хотел отпить еще, но Масленников бутылку у него отобрал.

— Нам оставь, мы за воротами ведро обмоем. — И принял просунутые Пирожковым в дверь два конусных ведра с пожарного щита. — Сыпы!

...Спускаясь по веревочной лестнице в трюм бангладешского сухогруза, Микердыщев почувствовал, что задыхается. Кран опустил на трюмный настил баллоны с нервно-паралитическим газом, Микердыщев с трудом растащил стропы, открыл краны на баллонах и полез обратно. Руки и ноги слушались плохо, противогаз хрипел, не успевая пропускать выдыхаемый воздух... Вдруг сапог скользнул по веревке и не нашел опоры, руки сами собой разжались, и Микердыщев упал в синий ядовитый дым.

Подполковник лежал в постели, а в прихожей лейтенант провожал бригаду «скорой помощи».

— Завтра вызовите врача. Наши ампулы не выбрасывайте, покажете, чем вас кололи, в поликлинику подадим актив. До свидания!

— Спасибо, — поблагодарил подполковник, и лейтенант закрыл за «скорой» дверь.

— Дай-ка мою записную книжку и уходи, — попросил подполковник.

В записной книжке он отыскал номер и позвонил:

— Порт? Отдел дератизации? Микердыщев когда со смены должен подойти?.. Это из милиции, подполковник Кузнецов... Нет, мне ничего не известно... Погиб, только что?! — Он повесил трубку.

— Куда вы звонили? — спросил лейтенант, хотя хорошо слышал, куда.

— В порт.

— Вам вредно волноваться. — Лейтенант смотрел на прыгающего под ногами щенка. — Хотите, я у вас щеночка заберу?

Подполковнику стало по-настоящему страшно.

— Забирай, — прошептал он. — И уходи. Лейтенант подхватил щенка и выскочил за дверь.

Подполковник полежал немного, оделся и вышел на улицу.

На такси он доехал до отделения и поднялся на второй этаж. Дверь его кабинета была опечатана. Подполковник сорвал пломбу и вошел. Он сорвал верхний листок откидного календаря и поджег зажигалкой. «Ново-Измайловский, д. 8, корп. 2: Разбердеев и Полуянов».

— Живите, ребята!

Последнее, что подполковник успел сделать в жизни, — это размять уже негнущимися пальцами пепел.

В назначенное время Разбердеев и Полуянов пришли в «секцию юных следопытов». В комнате нервничал заведующий и давешний деловой следопыт. Заведующий, увидев посетителей, не поздоровался, а только хмыкнул презрительно и вышел в коридор.

— Чего это он? — спросил у следопыта Полуянов.

Следопыт взъерошил свой полубокс.

— Чего мне с вами делать, ума не приложу. Поднял на ноги районный актив, в комиссии ветеранов телефон оборвал!

— Есть результаты?

— Пустышка этот ваш Позднов. Я только загля товарища Селиверстова побеспокоил. — И следопыт развязал тесемку у папки с тисненой виньеткой вокруг надписи золотом: «Межсезонный поиск». — Присаживайтесь поближе... Вот выписка из домовой книги: такой-то такой-то «...1907 года рождения, член ВКП(б) с 1931 года, проживал с марта 1927 по декабрь 1934, выписан согласно циркуляру № 12/603 Василеостровского загса». Адрес интересует? Дом снесен в шестьдесят четвертом году.

— Ничего не понятно, — признался Разбердеев. — Какой-то циркуляр?

— Очень даже понятно! — не согласился следопыт. — Это известный циркуляр, по которому в те годы выписывались арестованные. Мы довольно часто натыкаемся на него во время поисков.

— Дальше давай, — поторопил Полуянов.

— Теперь копия из загса: «...оформлен прохождением через государственное учреждение № 6 при горбольнице № 34». Это означает крематорий на Беляевке.

— Дату давай.

— Так... «2 декабря 1934 за № 118».

— Проясни нам его пионерскую деятельность,— вставил Разбердеев.

— Вы не поняли до сих пор? Он же только в двадцать седьмом году в Ленинград приехал, это ребята из группы «Пионерии первый отряд» разузнали.

— Жаль,— сокрушенно вздохнул Разбердеев.

— А товарищ Селиверстов что разузнал? — спросил Полуянов.

Следопыт протянул ему премьерную фотографию. Лицо соседа Позднова оказалось густо замазанным чернилами.

— Почему документ испорчен? — разозлился Разбердеев.

— Товарищ Селиверстов вообще порвать хотел, я еле-еле отнял,— объяснил следопыт.— Рядом с товарищем Поздновым сидит убийца Сергея Мироновича Кирова.

— Товарищ Селиверстов ничего не мог перепутать?

— Нет. Мы через него связь держим с комиссией ветеранов, он нам часто помогает. Можно было бы перепроверить, но зачем?

— Все? Спасибо.— Разбердеев и Полуянов не сговариваясь пошли к выходу.

— Шубу не сошьешь! — обиделся следопыт.— С вас радиогазета! Или опять тужа?

— С Табаковым свести тебя не могу, а нашей комендантше звони сколько влезет, она будет рада,— сжалился над следопытом Полуянов и написал ему на клочке бумаги телефон.

— Чью могилу мы потревожили, я все-таки не понял? — спросил Разбердеев в коридоре.

— Теперь надо на Беляевку ехать,— вместо ответа предложил Полуянов.— Только надо бутылку взять.

— Не меньше трех! — не согласился Разбердеев.— Крематорий — это тебе не театр, там каждый день выпивают.

При входе в контору крематория висела «доска объявлений» и на ней — единственное объявление: под рубрикой «Наши юбиляры» был приклеен плакатик с юбилейским числом «75» в оливковых ветвях, испещренный подписями друзей и коллег по крематорию. Среди подписей почти терялось: «Поздравляем нашего дорогого Семена Семеновича Брязгунова!».

— Здравствуйте! — заулыбался Разбердеев первой попавшейся в конторе женщине в черном халате, чем и привлек ее внимание.

— Ищешь кого?

— Семена Семеновича Брязгунова не можете отыскать?

— Чего его искать? — удивилась женщина.— Нажрался, наверное, и дрыхнет в своей котельной.— И пошла по своим делам,

махнув рукой в направлении, где мог, наверное, дрыхнуть Брязгунов.

Однако Брязгунов, а это мог быть только он, поскольку на двери котельной висело предупреждение: «Посторонним вход категорически воспрещен! Штраф — 50 рублей!», бодрствовал и был трезв.

— Здравствуйте, Семен Семенович! — радостно приветствовали кочегара Разбердеев и Полуянов.— Мы к вам! Из Дворца пионеров!

Полуянов развернул «боевой листок».

— Проходите, через порог не здороваюсь.

— Не оштрафуете? — посмеялся на всякий случай Разбердеев.

— Смотри с чем пришли!

— Прежде всего позвольте поздравить вас со знатным юбилеем! — начал Полуянов.— Вы случайно не были первым пионером?

— Первые — они все в урнах,— весело ответил Полуянову кочегар.— Заходите, не бойтесь!

— Мы, собственно, интересуемся работой крематория в начале тридцатых годов: пропускная способность, выполнение плана, станановское движение, почины...

— Порядку тогда было больше, это точно.

— А конкретнее?

— Откуда мне знать? Я в тридцатые годы в деревне жил... даже не знал, что такие крематории бывают!

Разбердеев достал бутылку.

— «Экстра»? — удивился кочегар.— Где брали? Сначала ведь что сняли — «Солнцедар»,— стал он загибать пальцы,— потом «Рубин», потом из водок — «Экстру». Скоро «Особую» снимать будут, на «Аралате» линию остановили.

— Сами удивляемся,— разъяснил Разбердеев.— Зашли в «Экспресс» у Финляндского. Народ шебуршитесь в отделе: «“Экстру” дают! “Экстру” дают!» — И сдернул пробку.

— Повезло.— Кочегар вытащил стакан, налил водки и выпил, первым глотком прополаскивая рот.— Ни фига это не «Экстра»! — Лицо кочегара сжукожилось, и друзья показались, что он вот-вот заплачет.— «Русская!» Причем петрозаводского розлива! — Он налил себе еще полстакана и выпил залпом.— Нет, не петрозаводского, кашинского. «Русская» кашинского розлива! — Он налил еще полстакана и опять выпил залпом и успокоился.— А этикетка от «Экстры». «Экстру» уже полгода как сняли с производства.

— Этикетки на складе остались, вот и пустили в дело,— продолжил мысль Разбердеев.— А народ: «“Экстру” дают! “Экстру” дают!»

— Обманывают народ! У меня жизнь прожита, я знаю. Обманывают народ!

Разбердеев сорвал пробку со второй бутылки.

— А про планы-хрены надо сторожа наше-го поджать, у него галмуды архивные сохра-няются. Однако те, что за тридцатые годы, те сбондили давно или в блокаду сожгли.— Кочегар нераспечатанную бутылку спрятал, а початую захватил к сторожу.— Двину-ли!..

За стакан псевдо-«Экстры» сторож принес амбарную книгу за 1934 год, но в руки да-вать отказался.

— Число говорите!

— Второе декабря... или третье,— сказал Полуянов.

— Номер говорите!

Полуянов раскрыл тетрадь для лаборатор-ных работ и посмотрел на выписку из загса.

— Сто восемнадцать!

— Ну есть такой номер. Дальше что?

— Не должно бы,— расстроился Полуя-нов.— Посмотрите повнимательнее.

Сторож выпил водки и посмотрел повнима-тельнее.

— С первого по тридцатое декабря — реконструкция. Причем после реконструк-ции суточный пропуск меняется в два и две десятых раза. Почему так, интересно? Ага! «Ответственный за технику безопасно-сти при переходе на газовое топливо тов. Антипенко». Словом, если хотите, то можете считать, что вашего номера у нас нет.

— В стране ширилось стахановское движе-ние, и работники «Беляевки» перешли с угля на газ,— вывел кочегар.— Я бы в уголь-ную котельную и молодым не пошел... Боль-ше нет кашинской?

— Толком объясните, где наш номер захо-ронен? — не унимался Разбердеев.

— Номер ваш записан, то есть зарегистри-рован,— объяснил сторож.— Но обработать его, сжечь то есть, никак не могли, крема-торий не работал, проводилась реконструк-ция. Еще кашинская есть?

У Разбердеева оставалась еще бутылка, но отдавать ее не хотелось.

— Ну раз нет...— Лица сторожа и кочега-ра знакомо скукожились.— Пионер — всем пример! Вам — на выход, а нам петь: «Взвей-тесь кострами, синие ночи!», смена только начинается.

Разбердеев и Полуянов вышли из конторы и пошли к автобусной остановке.

— Теперь все? — захотел узнать Разбер-деев.

Полуянов задумался.

— Приходим на сходку и говорим: «Знае-те, какое грандиозное разоблачение мы мо-жем учинить к столетию Сталина?!» И со-бираем в долг двести или даже двести пять-десят,— изложил он свой план.

— На полгода! — загорелся Разбердеев.

— Неудобно, месяца на три. Позвони Ми-кердыщеву, скажи, пусть нас не караулит больше. Сейчас, скажи, мы к Сверчкову на

сходку едем, а завтра утром долг вернем.

Разбердеев залез в телефонную будку.

— Отдел дератизации? Скажите, пожалуй-ста, Микердыщев сегодня в какую смену работает?

— Что-то случилось? — спросил Полуянов, когда Разбердеев повесил трубку.

— Погиб Микердыщев. Напился и погиб, сорвался в трюм.

Масленников и Пирожков прошли через двор-колодец, поднялись на третий этаж по когда-то черной, а теперь единственной лестнице. Кроме «дипломата» Масленников нес канистру, а Пирожков имел при себе чертежный тубус.

Квартирная дверь приоткрылась перед ними на цепочку.

— Письмо! — потребовал женский голос.

Масленников подал в щель письмо, и толь-ко тогда женщина сняла цепочку и пропусти-ла сотрудников в квартиру. На кухне она усадила их за стол, к приходу гостей забла-говременно накрытый, и достала из холо-дильника бутылку «Ркацители».

— «Рыгацители»,— прочитал по слогам Масленников и хлопнул Пирожкова по пле-чу.— Надыбай, кореш, водяры заначенной.

Пирожков открыл «дипломат» и поставил на стол нераспечатанную бутылку с зеленой пробкой и початую — с резиновой.

— Надыбай, хозяйка, три граневых ста-кашка и птюти порежь потолок. И чесноку дай. И соли крупной.

Хозяйка поставила стаканы, достала чес-нок и соль, а про птютю не поняла.

— Хлеба черного порежь. Ты извиняй нас, мы ведь три сутки, как с командировки откинулись.

— «Эх, начальничек, ключик-чайничек, не губи меня...»,— затянул было Пирожков, но Масленников его одернул:

— Чего распелся, наливай!

Женщина пододвинула Пирожкову рюмку:

— Я из стакана не смогу.

— А третий стакан не вам,— объяснил Масленников.— Михаилу Максимовичу нали-ваем, такой на зоне закон!

Пирожков налил себе и Масленникову из бутылки с зеленой пробкой, а Михаилу Максимовичу и женщине — из початой бутылки.

— Выпьем за скорое освобождение Михаи-ла Максимовича и скорейшее с ним воссоеди-нение на земле обетованной! — провозгла-сил Масленников и сразу понял, что сказал лишнее.

— Это вам Михаил Максимович рассказал про землю обетованную? — нахмурилась женщина и отставила рюмку.

— Он самый, шнырь наш отрядный. Когда мы с ним вместе в шизо сидели,— объяснил

Пирожков.

— Им по месяцу шизухи дали за анти-советские разговорчики на дальняке,— добавил Масленников.

— Хорошо,— женщина встала из-за стола,— вы посидите, а я выйду на минутку.— И попыталась уйти из кухни, но Масленников загородил дорогу.

— Тост сказан, надо пить! Отсутствующему стакан налит, большой грех, когда человек на зоне чаляется!

— Я водки никогда не пью, пейте без меня!

Пирожков встал к окну и посмотрел во двор.

— Выпейте рюмашку, и — без обид! — растопырил руки Масленников.

— Пустите меня, я буду кричать!

Пирожков обмотал тарелку полотенцем и ребром тарелки резко ударил женщину в висок.

— Ты что наделал? — испугался Масленников, он не мог нащупать у лежавшей на полу женщины пульса.— Как вливать будем?

— Вливать теперь бесполезно. Предлагаю выбросить из окна. Двор пустой, мусорные баки внизу. В задании не сказано, каким образом инсценировать самоубийство.

— «В состоянии алкогольного опьянения» — сказано в задании! — Масленников в сердцах сплюнул на пол, но спохватился и стер плевки полотенцем.

Пирожков стер отпечатки пальцев со стола, бутылку и стаканы спрятал в «дипломат», а водку перед этим вылил в раковину и ненадолго открыл кран.

— Выключи свет,— сказал Пирожков,— и открывай окно.— А сам взгромоздил тело на подоконник.

— Третий этаж! — ужаснулся Масленников, услышав скорый грохот мусорных баков.— С третьего этажа... Непрофессионально!

— Ну и что? — не понял Пирожков.— С третьего этажа разбить нельзя, по-твоему? Ты бы и со второго сбросил, как будто я не знаю... Уходим!

— Подожди! — остановил его в темноте Масленников.— Пробки забыли!

Пирожков выругался и включил фонарик.

— Куда ты их сунул?

Они заползали под столом, но пробки никак не находились.

— Вспоминай, дубовый, куда ты их сунул? Масленников неосторожно повернулся и, задев стол, загремел посудой.

— Тихо ты! Окно закрой! — прошипел Пирожков.

— Да, чего-то дует... — И Масленников завернул оконную ручку.

Зеленая пробка наконец отыскалась, а резиновую так и не нашли.

— И черт с ней, уходим! — все больше нервничал Масленников.

— Засыпемся! — не соглашался с ним Пирожков.

— Еще быстрее засыпемся, если сейчас же не свалим!

С улицы донесся истошный женский крик.

— Уходим!

— Если бы не второе задание, никогда бы вещдок не оставил.— И Пирожков выключил фонарик.

— Второе задание! — передразнил его Масленников.— А кто сдваивал? Кто сдваивал, я тебя спрашиваю? По инструкции нельзя в один день два объекта делать, это тебе известно, я надеюсь?

— Ну чего ты завелся? — пошел на мировую Пирожков.— Литерный не считается. Это из-за литерного все!

— Из-за литерного? Скажи лучше, суточные решил сэкономить!

— Суточные? А из-за кого пришлось два объекта одной бутылкой делать и резиновой пробкой рабочий материал затыкать?

Крыть Масленникову было нечем.

— Ершика ему захотелось! — напомнил Пирожков.— Ершика!

Так, переругиваясь в темноте, сотрудники выбрались из квартиры, а затем и из двора колодца. Садиться на городской транспорт они предпочли не сразу, поэтому мимо ближайшей остановки прошли и сели только на следующей.

— Ершика! — никак не мог успокоиться Пирожков.

Сверчков удивил еще с порога:

— Завтра ухожу из города. Расчет взял в ПЖРО, четырнадцать рублей дали.

— Куда уходишь?

— Не куда, а откуда,— поправил Разбердева Сверчков.— Из города ухожу, устал здесь жить.

— Один уходишь? — спросил Полуянов.

— Кажется, один... или с человеком. Все равно.

— А субреалисты? Предупредил?

— Предупредил. Сегодня сходки не будет, а дальше — как знаете. Мне надоело... Чего встали, проходите.

— Хотел пару вопросов тебе задать про франкфуртскую школу,— сказал Полуянов. Сверчков усмехнулся.

— Ты умный, сам разберешься... А книги мои забирай, Полуяныч, я налегке пойду. Далеко не каждый способен сознательно покинуть свое тело, но многие из нас проделывают это во сне... Много мудрости разлито в мире, Полуяныч! — Сверчков взял с садовой полки несколько растрепанных брошюр и протянул Полуянову.

— Спасибо. Ты Микердыщева знал?
— Как человека?
— Он погиб вчера. Сорвался в трюм.
— Жаль его родителей, если они живы.
— У нас бутылка есть, разопьем? — предложил Разбердеев. — Полагается помянуть... Я ему должен был много денег.

В дверь позвонили.
— Три звонка, это ко мне, — вздохнул Сверчков и пошел открывать.

В комнату он вернулся вместе с Масленниковым и Пирожковым.

— Они из Москвы, друзья Саввы, — представил сотрудников Сверчков.

— А ты сказал, один дома торчишь! — потребовал объяснений Масленников. — А у тебя гости! Может, мы в другой раз...

— Автономный очаг контрвласти всегда автономен и одинок, — прояснил положение Сверчков. — Можно быть одиноким и в толпе. И толпиться в одиночестве. Проходите, раз пришли.

Сотрудники нехотя побросали вещички по углам и протянули руки для знакомства.

— Сальников, — представился Масленников.

— Кулебякин, — представился Пирожков.

— Бензин вам зачем? — унюхал воздух Разбердеев.

— Зачем и вам! — Масленников хитро сощурился.

— А нам зачем? — не понял его Разбердеев.

— Ух, конспираторы! — погрозил пальцем Пирожков.

— Садитесь, рассказывайте, — пододвинулся на диване Полуянов.

— Мы у Большого театра затеяли мероприятие, — сказал Масленников. — Кулебякин, покажи лозунги.

Пирожков раскрыл чертежный тубус и раскатал по полу лозунги: «Субреалисты Москвы приговаривают Л. И. Брежнева к расстрелу!» и «Лучше сгореть, чем жить в социалистической казарме!»

— Накануне мероприятия звоним во все газеты, называем кучу самых разных мест, а сами — у Большого театра! Здорово?

— У Большого театра... вы чего хотите? — Разбердеев кивнул на канистру с бензином.

И Масленников кивнул на канистру с бензином.

— В городе паника, милиция оцепляет указанные нами места и весь день дежурит. Население ничего не понимает и волнуется, по городу ползут слухи, усиливается социальное напряжение, иностранные журналисты снимают происходящее на пленку. И тут мы у Большого театра! С лозунгами! Здорово? Трагический катарсис и самопожертвование!

— Какая возвышенная цель! — поддакнул

Пирожков, сделал зверское лицо и схватил канистру.

Сверчков помрачнел и украдкой переглянулся с Полуяновым.

— Вы чего хотите-то? — все еще боялся понимать Разбердеев.

— Ну это... самосожжение хотим.

Разбердеев поперхнулся:

— Очень больно будет.

Масленников хмыкнул.

— А вы где наметили, на Дворцовой?

— Савва рассказал? — спросил Сверчков.

— Точно, он. А что?

— Ничего. У нас самороспуск со вчерашнего дня. Мы пойдем путем иным. К тому же сумасшедших и раньше у нас не было.

— Сумасшедших не было, — подтвердил Полуянов.

— Необходимо, чтобы закон борьбы и разрушения полностью исчез из этого мира, — назидательно изрек Сверчков. — И руки наши останутся чистыми, а души — незапятнанными.

Масленников не знал, чем возразить, и посмотрел на Пирожкова, но и тот с ответом задержался.

— А зачем вы лозунги везли из Москвы? — спросил Полуянов.

Пирожков пожал плечами.

— А бензин зачем? В Москве бензина нет?

— Этот жарче горит, — объяснил Масленников. — Важное обстоятельство: быстрее горящий, не так больно.

Полуянов попробовал незаметно убрать со стола «боевой листок» с вложенной фотографией, рецензиями и копиями документов, но Масленников шагнул к столу.

— Очень интересно! — Он профессионально-споро просмотрел бумаги, но особенно долго задержал в руках фотографию: плюнув на нее, он оттер замазанную фигуру. — Очень интересно!

— Мы могилу нашли, а там — вот этот человек, стрелкой обозначен. Его арестовали после убийства Кирова и, по-видимому, расстреляли. — Простоватый Разбердеев обрадовался, что будущему самоубийце хоть что-то еще в этой жизни интересно. — Может быть, отложите свое сожжение и займетесь разоблачением сталинских преступлений? Тоже полезно...

Сверчков больно пнул Разбердеева, но тот намека не понял.

— А что, пусть люди заинтересуются, может, передумают сжигаться!.. Самое интересное, замазан убийца Кирова, фамилии его мы не знаем, можно в литературе поискать.

— Откуда знаете, кто убийца? — спросил Масленников. — Из картотеки на Литейном?

— Нет, мы во Дворце пионеров узнали через товарища Селиверстова из совета ветеранов.

— Что скажешь, Кулебякин?

Пирожков подошел к столу и неожиданно выставил бутылку «Экстры» с красной пробкой.

— Давай прямо сейчас, даже лучше, — согласно кивнул Масленников.

— Мы проходили это дело, — сказал Пирожков. — Иногда даже профессионалы ошибаются, у них там с самого начала не задалось, потом даже охрану пришлось убирать... — Он тоже просмотрел документы, но удивила его только копия выдачи на руки реквизита по спектаклю. — Обычная схема: нанимают человека якобы для проверки бдительности охраны...

— Или несколько человек, — вставил Масленников.

— ...или несколько человек, дают им какие-нибудь кремневые ружья без патронов или бутафорские пистолеты, охрану предупреждают о репетиции нападения...

— Или не предупреждают!

— На всякий случай еще и психа какого-нибудь нанимают, дают ему пистолет со спящим бойком...

— А настоящие исполнители спокойно так прицеливаются...

— И обязательно какая-нибудь туфта вылезает в конце концов: или у психа наган, а пришли из браунинга, или посадят психа в такое место, как Освальда, например, откуда не то что в голову — в машину-то не попасть, или...

— Окно забыли открыть, — вдруг тихо выдохнул Масленников, и Пирожков осекся на полуслове.

Оба они тяжело задышали и пошли к выходу. У двери произошла заминка: они никак не могли решить, что им брать с собой, а что до поры оставить у субреалистов.

— Надо, чтобы они выпили, — шепнул Сверчков Полуянову. — Милицию приведут, мы скажем, пьяницы плакаты притащили, а мы — трезвые. И соседей позовем! Пьяницы приходили, мы — трезвые!

— Ну и что? Милиционеры же пьяные, а не кто-нибудь!

— Пьяные милиционеры — не милиционеры, а просто так. Мы соседей позовем!

— Влипли мы, короче. — Полуянов распечатал бутылку.

Масленников и Пирожков от протянутых им стаканов наотрез отказались.

— Это мы, ребята, вам в подарок, в подарок мы вам, дареное не дарят и не пьют! Вы пейте, а мы скоро вернемся.

— Лозунги свои заберите и канистру! — потребовал Сверчков.

— Пусть у вас полежат, мы скоро вернемся.

— Что делать, сейчас уйдут, — процедил сквозь зубы Сверчков.

Разбердеев незаметно вытащил свою «Экстру» и сорвал с нее пробку.

— А ваш подарок — вот он. Мы вам своей водки налили. Вы нашей выпейте, мы — вашей. И не обидно будет!

— У нас казиноского розлива, — поддержал Полуянов. — Кашиńskiego — вкуснее!

Масленников побледнел и уставился на этикетку.

— Баран черножопый, гад, — выругался он. — Инструктор, сволочь, наврал, что с производства сняли.

Сверчков встал в дверях.

— Вы где, ребята, «Экстру» взяли?

— Пустите, ребята, мы очень спешим, — заныл Пирожков. — В жизни никогда так не спешил, верите — нет?

— Не верим! Пейте, тогда отпустим! — требовал Полуянов.

— Я не пью водки! — взвизгнул Пирожков.

— И я не пью! — хрипел Масленников.

— Полстакана!

— Не выпустим!

— Соседей позовем и опозорим! В милицию сдадим!

Масленников и Пирожков не могли решиться.

— Ваша водка? — спросил Масленников. — Или наша, подарок? Какая пробка была? — Он уже взял стакан, но пить не решался.

— Наша водка! — заорал Разбердеев. — У вашей красная пробка была, а у нашей — белая, смотри! — И представил на ладони обе пробки.

Масленников и Пирожков зажмурились и выпили залпом.

И сотрудники были отпущены Сверчковым из квартиры.

Сам же Сверчков времени терять не стал. — Водку, стаканы! — приказал он, а сам схватил еще чертежный тубус и выскочил, нагруженный, на лестничную клетку.

Полуянов порвал документы на мелкие клочки и спустил в унитаз. В коридоре он встретился с возвратившимся обратно Сверчковым.

— Все с чердака в водосточную трубу сбросил. Даже захотят — не достанут.

Довольные друг другом, они вернулись в комнату.

— Я, дубовый, сразу и не понял! — сознался Разбердеев. — Форточку не закрывайте, пускай проветривается, очень водкой пахнет.

— Теперь пусть пахнет... Завтра из города ухожу. Сегодня не заберут, завтра заберут, они не успокоятся.

— Сегодня не заберут — никогда не заберут, — закинул Полуянов.

— Не идут чего-то. Не идут! — радовался Разбердеев. — Здорово мы придумали

их водкой напоить! Провалили задание, теперь по выговору получат!

— Постучи!

— Сплюнь!

— С завтрашнего дня пить насовсем бросаю, в институт начну ходить на все пары, списывать не буду... режим дня, в комнате чистота и порядок... господа, если сейчас никто не придет!

— И я тоже загадал!

— Дураки вы, завтра ухожу. Это единственный способ все исправить... Будет ли в жизни у меня еще такая безбрежная радость?

«С высот нашего времени особенно хорошо видно, какое огромное значение имели принципиальная оценка, которую дала партия культу личности, его преодоление. Благодаря усилиям КПСС, ее Центрального Комитета во главе с верным продолжателем великого ленинского дела, неутомимым борцом за

мир товарищем Л. И. Брежневым в нашем обществе прочно установились ленинские нормы и принципы партийной и общественной жизни, атмосфера доверия, товарищеских, уважительных отношений между людьми. Граждане Советской страны живут и трудятся в обстановке спокойствия, уверенности, зная, что их положение, их права, их честь и достоинство защищены законами, всей силой социалистического государства. Они активно участвуют в управлении государственными и общественными делами, безгранично доверяют ленинской партии, всемерно поддерживают и проводят в жизнь ее политику» («Правда», 21 декабря 1979 года. «К 100-летию со дня рождения И. В. Сталина»).

1989 г.

ВЕЛИКИЙ ШУ

II

Девушка в администрации заполняла карту гостя, а он осматривался по сторонам. Давно не виданные шикарные интерьеры внезапно вызвали в нем острый приступ радости, какой бывает при возвращении блудного сына в отчий дом. Вся стена за спиной девушки была облеплена разноцветными рекламами: “Marlboro”, “Haig”, “Panasonic”, выше, над ними, — огромная надпись “Welcome!”. Все работавшие в отделе девушки — предупредительные, улыбочивые и вежливые — смотрели на него чуть удивленно, именно так, как предписывал им профессиональный *savoir-vivre*. Но хорошие чаевые полагались им и так, и без этого слегка раскосого взгляда.

В холле, баре и расположенном несколько в глубине ресторане кипела жизнь: пропахшие «Амфорой» иностранцы чувствовали себя здесь как дома, вокруг них толкалась фарца, золотая молодежь и молодежь творческая — те, кто стал творцами в результате телефонных звонков своих высокопоставленных партийных папаш, — к ней относились лица мужского пола в возрасте от шестнадцати лет до девяноста. Парочка профессиональных игроков среднего полета, пара надушенных педерастов и очень много молодых, хорошо одетых и прекрасно держащихся «девушек», чего нельзя было сказать о полупьяных и помятых местных плейбоях из шестидесятых годов с манерами якобы европейских полуаристократов.

Все они, все это общество было продуктом новобогатства, внезапно свалившихся на страну миллиардов, взятых Эдвардом Герекком у западных кредиторов под самые смелые и радужные обещания и перспективы. Мягкий притушенный свет усиливал ощущение стабильности и непоколебимости этого мира, в котором так хорошо и который именно поэтому должен существовать вечно.

Петр подумал, что он напрасно в душе издевается над ними, поскольку сам он в общем-то такой же, как они, и со стороны во всяком случае выглядит не менее смешно и глупо. Каким же абсурдным представлялось отсюда, из отеля, его недавнее на-

мерение обрести покой и счастье где-то у черта на куличках. Какое счастье? Что такое счастье? Разве человек в его возрасте может всерьез говорить о такой неуловимой, а может, и вовсе несуществующей вещи, как счастье? Чушь. Иное дело — покой. Он искал его там, где весь этот прекрасный Мир Божий, как бы представленный в миниатюре, сведен к границам владений бандита Микуна, где наивные восторги, разочарования и всплески радости Юрека-таксиста не играют никакой роли и где лишь прощальная улыбка дежурного по станции заключала в себе наиочевиднейшую истину: «То Нечто, что ты здесь искал, Великий Шулер, вряд ли вообще существует в природе».

Он вернулся сюда, где провел всю свою жизнь. Как только он вошел в отель, то сразу же почувствовал себя лучше. Он знал язык этих холлов и баров, знал все тайны стен этих гостиничных номеров, знал, что скрывает походка каждой встреченной здесь женщины, знал все страсти, намерения и устремления обитающих здесь мужчин. Да разве смог бы он жить где-то в другом месте? Если бы Тереза приняла его, то сколько бы он выдержал, наблюдая за неторопливым ростом овощей и цветов в теплицах?

Ему суждено жить здесь. Он со всей отчетливостью осознал это только теперь. Но это не означало, что он забыл о своем решении. Выводы, сделанные после долгих тюремных размышлений, в полной мере сохраняли свою актуальность. Успокаивая самого себя, Петр решил, что пока он здесь просто отдохнет — в конце концов, он это заслужил. Пять лет у него не было женщины, а в отеле было множество женщин, и он мог воспользоваться любой, какая понравится.

Его поселили в триста тринадцатый номер, и даже это он считал хорошим предзнаменованием. Ему сразу понравилась просторная и светлая комната с длинным, во всю стену столом и необъятных размеров кроватью, спать на которой можно было хоть по диагонали. Всюду свежесть и чистота. Лишь один раз в жизни такой номер в отеле показался ему чужим и неприветливым. Как-то он проснулся среди ночи с тяжелого похмелья. Все бары и буфеты уже были закрыты. Заснуть никак не удавалось, и в течение нескольких часов вся эта безлизна мучила его, вызывала тревогу и страх —

слишком уж она напоминала белизну больницы. Он всю жизнь боялся больницы, никогда в ней не был и надеялся, что смерть придет к нему без того, чтобы дать потешиться врачу. Но это было давно. С тех пор он так не напивался, и теперь режущая глаза белизна номера в «Новотеле» не пугала, а наоборот, успокаивала своим открытым оптимизмом. Он принял душ и взглянул на себя в большое зеркало. С удовлетворением похлопал себя по крепко сбитому, мускулистому торсу. Его тело было значительно моложе души, может быть, потому, что он постоянно о нем заботился. Он никогда не работал больше двух-трех вечеров в месяц, питался рационально, изысканно, но без обжорства и лишь с недавних пор стал несколько больше курить, хотя раньше и этому пороку он предавался вполне умеренно.

Он подошел к окну и посмотрел вниз. Отель был построен в форме буквы U, и во внутреннем дворике вокруг пятидесятиметрового бассейна располагались террасы со столиками. У него появилось огромное желание выкупаться, от которого, правда, тут же пришлось отказаться: он вспомнил, что на ночь бассейн покрывают частой сеткой, чтобы в воду не летел всякий мусор. Купание в бассейне переносилось на следующее утро.

Отказался он и от своих планов относительно женщин — в это время в баре наверняка уже оставался только невостробованный второй сорт.

Было бы чрезвычайно глупо впервые после долгого поста удовлетвориться кем придется. Это должно было стать праздником, и он был бы последним идиотом, если бы свел свое многолетнее желание женщины к поспешному судорожному акту. Все равно что перекусить засохшим бутербродом в забегаловке, имея возможность пообедать в самом дорогом и вкусном ресторане. Кроме того, сейчас он чувствовал только страшную усталость. Он сбросил с себя махровое полотенце, голый плюхнулся в постель и мгновенно уснул.

Как всегда, он проснулся в пять тридцать, лежал не двигаясь, глядя в потолок в ожидании скрежета замка в двери и крика: «Па-а-а-адьем!» Однако ничего этого не произошло. Медленно и с облегчением он осознал, что у потолка другая, не тюремная фактура. Он приподнялся и оглядел свой залитый солнцем номер, ощутил разлившееся по всему телу блаженство, улыбнулся и встал с постели, сделал несколько бодрящих упражнений, затем подошел к окну. Двое мужчин как раз скатывали накрывавшую бассейн сетку. Над восточным крылом отеля сиял золотой шар солнца, мягкое тепло которого уже растворило ночную про-

хладу.

Он надел брюки, набросил на плечо пляжное полотенце и через холл вышел на террасу. Девушки из администрации и бюро обслуживания заканчивали краситься. Они поприветствовали его легкими поклонами и слегка смущенными взглядами, как будто он застал их за чем-то предосудительным, а потом дружно расплылись в ослепительных улыбках, их взгляды из смущенных стали, как и положено, чуть-чуть удивленными. Даже если это был всего лишь профессиональный навык, он решил, что чаевые следует удвоить.

На террасе он повесил полотенце на спинку стула, разбежался и прыгнул в воду, чудесно холодную и чудесно теплую. Он долго плыл под водой, затем — брассом, кролем и даже баттерфляем. Все у него получалось, как прежде, все было в порядке. Он плескался, как ребенок, интуитивно сознавая, что следующее вот такое же безмятежное утро может выпасть очень не скоро, если вообще... Он вылез из воды и насухо вытерся. Давно он не чувствовал себя так хорошо. Девушки из бюро обслуживания спросили, не желает ли он, чтобы завтрак ему принесли в номер. Петр поблагодарил и сказал, что сам позвонит в room-service. У себя в номере он поборился, sprysнул лицо французским лосьоном, слегка намазался кремом после бритья и только собрался позвонить насчет завтрака, как услышал стук в дверь.

— Пожалуйста, открыто! — прокричал он, натягивая брюки.

Дверь запахнула, и официант вкатил в комнату столик на колесах. Сначала он подумал, что на этот раз девушки переусердствовали, однако понял, что они бы не осмелились заказать завтрак без его пожелания, тем более что на столике стояло нечто невообразимое: еще шипящая на сковороде яичница с ветчиной и ведерко со льдом, из которого торчала бутылка шампанского. Самому ему такое в голову не могло прийти никогда. Вся сервировка и приборы были на двоих.

— Вы случайно не ошиблись? — вежливо поинтересовался он у официанта. Тот нервно дернулся.

— Триста тринадцатый? — уточнил он.

— Да.

— Тогда все в порядке, — он взял серебряную лопаточку и стал выкладывать яичницу на тарелку. — Вам открыто? — он указал на бутылку.

Шу смотрел на него, не отвечая и пытаясь понять, что все это значит. Из коридора раздался громкий, но какой-то неуверенный смех, и на пороге показался Юрек Гамблерский.

— А что?! Живем-то один раз или нет? — он широко развел руками.

— Оставьте, — кивнул Петр официанту. Тот поклонился и вышел.

— Можно? — спросил Юрек.

— Прошу, — Петр сделал приглашающий жест. Он с интересом рассматривал парня, внутренне поражаясь его наивности и простоте, той самой, которая, как известно, хуже воровства.

Они сели за стол и принялись за яичницу, запивая ее шампанским. Оба молчали, как бы ожидая, кто начнет первым. Петр еще раз про себя изумился сделанному Юреком заказу и подумал, что за всем этим простодушием и наивностью скрыты и потенциальный талант, и богатая фантазия.

— Ты меня все-таки не послушался, — прервал он наконец молчание.

Юрек откусил свежую булочку и запил шампанским.

— Я жутко устал, а еще, вы не поверите, «лысая» резина, нужно было покрышки менять, иначе бы не доехал. А потом пассажир выгодный попался...

— Расскажи это кому-нибудь другому, — ровным голосом произнес Петр.

— Ладно. Хорошо. — Юрек щелкнул пальцами. — Неужели вы не понимаете, что я был бы идиотом, если бы после такого спокойненько вернулся домой? Вы для меня шанс, который выпадает человеку, может быть, раз в жизни. Помните, вы сказали: «В Лютыне тебе не будет равных». А что такое этот Лютын? Дыра. Ну сотру я в конце концов этого Микуна в порошок, тем более что вы показали, как это делается, а что дальше? Стоит ради этого возвращаться? Это я всегда успею.

— У тебя, сынок, самомнение не слишком гипертрофировано?

— Да нет, это не самомнение. Я просто не хочу быть лучшим покеристом в Лютыне. Я хочу большего, а это возможно, если я буду с вами, при вас.

— И ты думаешь, что я тоже этого хочу?

— Нет. Пока нет. Но я постараюсь сделать так, чтобы вы этого захотели. Я же вижу, что карты вас уже не интересуют. Я не знаю, почему, но не интересуют совершенно. Вас интересует что-то другое, иначе вы бы не показали мне ни одной своей даже самой простенькой штучки.

Парень был совершенно прав. Никогда прежде он не сделал бы ничего подобного. Он бы попросту откупился от парня, то есть заплатил бы за услуги или же отделался бы шуткой, в общем, отвязался бы, даже не подумав посвящать его в тайны своего ремесла.

— Но если вам это богатство уже не нужно, то что же держать его при себе вхолостую? Отдайте его мне! Вам оно не нужно, а мне нужно!

«Весьма нахально, — отметил про себя Петр, — но хорошо, что хоть откровенно».

— Ты думаешь, это так просто? — Петр подошел к окну. — И еще — знаешь ли ты, что на этом свете за все придется платить?

— Я все для вас сделаю! — с жаром воскликнул Юрек.

Петр махнул рукой.

— Я не о том. Ты не понял. Да мне от тебя абсолютно ничего и не нужно.

Юрек встал, тоже подошел к окну и кивнул на внутренний дворик с бассейном.

— Здесь совсем другой мир. Вы думаете, что я для него не подхожу?

— Этого я не знаю.

— Ну пожалуйста, устройте мне хотя бы одну игру. Настоящую.

«Он еще и упрям. Хорошая черта», — подумал Петр и вспомнил, что вчера на лестнице встретил двух профессионалов. Здесь, во Вроцлаве, их называли «ястребами», хотя по смыслу это было неправильно — ястребы, эти прекрасные хищные птицы, не кидаются на любую добычу, как они, и не подбирают падаль. Ни в какие деловые отношения с Юреком Петр Грынич, разумеется, вступать не собирався, но из чистого духа противоречия самому себе решил дать ему этот мизерный шанс, хотя, честно говоря, прекрасно понимал, что это всего лишь удобный способ избавиться от совершенно не нужного ему восторженного поклонника покера.

— Возможно, ты и прав. Иногда бывает полезно после мечтаний столкнуться с реальностью. Здесь, в отеле, есть двое таких, которые устроят тебе холодный душ. Чтобы иллюзий больше не было.

Говоря все это, Петр с удивлением наблюдал, как лицо Юрека расплывается в счастливой улыбке. Ему стало жаль этого парня.

Он еще не знал причины, которая заставила его сделать это. Он поступал вопреки своим принципам, опыту и всей жизненной философии. Но, как ни странно, это приносило ему облегчение. Он делился некоторыми своими секретами и чувствовал, как возбуждение парня передается и ему. Во всем этом был какой-то мазохизм, поскольку он совершенно точно знал, что у Юрека в игре с «ястребами» шансов нет.

Он еще раз показал ему крапленую колоду, и еще раз Юрек безуспешно пытался найти пометки на «рубашке».

— Смотри, в чем тут дело. — Шу взял у него карты. — Как и во многом другом, главное — психология. Наш глаз всегда стремится увидеть то, что хочет увидеть. Поэтому даже интеллигентный и живой человек бывает слеп. В своем сознании он уже представил себе будущий образ и ищет именно

его. На этой «рубашке» ты ищешь какой-то отчетливый знак и не находишь. Твой глаз теряется во множестве линий, поперечных полосок и быстро устает. Не увидев того, что искал, ты перестаешь замечать что бы то ни было. Забудь теперь о своих представлениях и посмотри еще раз. Какого цвета «рубашка» у карт? Красная? Вообще-то правильно, но знаешь, какое количество оттенков красного различает, например, художник? Так и здесь: вот линия ярко-красная, как будто проведенная киноварью, рядом — блеклая, как будто сделанная сангиной, вот — алая, вот почти оранжевая, эта — уже не красная, а скорее коричневая, а вот — просто белая, но в нашем глазу вся гамма складывается воедино и мы утверждаем: «рубашка» красного цвета. Посмотри, — он взял ручку и провел по бежевой линии, пересекающей всю карту, — откуда здесь взялась вот эта интенсивно-пурпурная полоска? Во всем орнаменте аналогичных полосок нет, значит, она не фабричного производства. Видишь?

— Ох, зараза! — выдохнул Юрек.

Шу рассыпал карты по столу:

— Итак, подряд: семерка, восьмерка, девятка... до туза. Понял?

Юрек пододвинул карты себе и стал угадывать. С первого же раза получалось неплохо.

— Черт меня дерит! — закричал он. — Это же так отчетливо видно!

— Потому что ты знаешь, что ищешь. Если у тебя хорошее зрение, то можно угадывать карты метров с трех, а то и с четырех.

— Отлично! — продолжал ликовать Юрек. — А они этого не знают?

— Не думаю, — пожал плечами Петр.

— Ясно. Теперь, как они выглядят?

— Двое профессиональных шулеров. Живут, вероятно, здесь, в отеле. Но найти их ты должен сам.

У Юрека глаза полезли на лоб:

— Как же я их найду? Как мне их узнать-то?

Петр покачал головой:

— Это твое дело. Я здесь ни при чем. Когда ты их отловишь, то будешь знать, как они выглядят. Играют на пару, сигнализация между собой, разумеется, отработана — если тебе эта информация хоть в чем-то поможет. Впрочем, все это и так тебе должно быть понятно.

Юрек на секунду задумался и серьезно спросил:

— Вы считаете, что у меня есть шанс?

— Думаю, что нет. Пожалуй, у тебя нет ни одного шанса: это давно сыгранная пара, и так или иначе ты уйдешь от них пустой.

— Ясненько, — принял к сведению Юрек и стал тасовать колоду. Делал он это легко, изящно, карты охотно слушались его рук.

Грынич все с тем же равнодушием наблюдал за этим выступлением и спросил:

— А зачем это все?

Юрек непонимающе посмотрел на него и отложил колоду.

— Я всю жизнь приучал свои руки как раз к обратному, — пояснил Петр. — Не к ловкости, а к корявости и неумелости при контакте с картами. Конечно, можно и так, — он взял колоду, расставил ладони в полуметре друг от друга, и вдруг карты ожили: в идеальном порядке, как солдаты в строю, они стали одна за другой перемещаться по воздуху из правой руки в левую, сохраняя дистанцию в полсантиметра. Такие змейки из карт показывают фокусники в цирке. — А можно еще и так, — карты в руках Шу выделяли что-то немислимое. — Только зачем? Кто после этого сядет с тобой играть?

— Да, понятно, — согласился Юрек, как бы давая обещание больше таких вещей не делать.

— Меня называют Великий Шу, но Шу — это прежде всего мысль, а не умение показывать фокусы. Нужно использовать представление противника о технике игры, о картах вообще и понять, насколько он азартен. Шу — это опережающая соперника мысль. На шажок, на жест, на долю секунды. Шу может выиграть всегда. Он быстрее и точнее предвидит, что произойдет. — Петр понимал, что он уже подошел к самым границам дозволенного, но вселившийся в него бес подталкивал перейти и их.

— Конечно, вы знаете в картах столько тайн, — с печальным упреком вставил Юрек.

— Я тебе скажу одну смешную вещь, — продолжал Шу. — В покере нет тайн. Есть только лучше или хуже исполняемые «номера». Тайна же всего одна. Только одна. Парадокс в том, что ее знает каждый, но мало кто это осознает.

— Я ее знаю?

— Знаешь.

— Любопытно. Знаю и не понимаю.

— Когда ты ее поймешь, вероятно, будет уже поздно, — с пророческой убежденностью закончил Шу.

Юрек раздраженно засопел. Он больше не желал выслушивать подобные сентенции.

— Сейчас, одну минуту, я постараюсь все обмозговать и разложить по полочкам, чтобы понять, что мне светит при встрече с вашими знакомыми.

Грынич достал из ящика стола две запечатанные колоды.

— На.

— Сделанные?

— Да.

— Крап?!

— Крап.

— Точно такой же?

— Да.

— Как же получше им это подсунуть? — Юрек сиял от возбуждения. — Они наверняка купят новые карты — не своей же колодой они мне предложат играть, правильно?

Шу расхохотался.

— Этот финт у тебя уже отработан. Обольстишь киоскершу. Я ее, кстати, видел. Очень симпатичная девушка. — Кроме явной иронии в голосе Шу была еще и ирония скрытая, почти незаметная. — И еще запомни, — сказал он, отсмеявшись, — если ты сделаешь хоть одно фальшивое движение, то не только проиграешь все, но и кто знает... Это народ тертый, серьезный. И с этого момента наше знакомство закончится.

Шу зашел в ванную и оттуда добавил:

— До начала игры, если тебе ее вообще удастся организовать, мы тоже друг друга не знаем.

Юрек в задумчивости остановился на пороге и вслух повторил задание:

— Найти двух картежников, заставить их сесть со мной играть, воткнуть в игру свои колоды и выиграть. Так в чем дело? Нет ничего проще! Ерунда!

Он вышел в коридор, но по его фигуре было видно, что ему не до смеха.

Весь полдень Шу провел на террасе. Разгар лета, на небе ни облачка, солнце печет немилосердно, но рядом — бассейн, где воду регулярно меняют. Вокруг — молодые, красивые тела загорелых юношей и девушек, из которых так и бьет радость жизни. Они подкрепляют ее выпивкой из бара и апельсиновым соком со льдом. Людей в возрасте около бассейна практически нет.

Петр удобно расположился в тени навеса за белым столиком и, попивая холодный сок, играл сам с собой в шахматы. Возня и шум вокруг бассейна ему почти не мешали. Он давно приучил себя относиться к внешним раздражителям с полным равнодушием, как и к людям, пострадавшим от его дьявольского ремесла. Некоторые из них были наказаны вполне заслуженно, но кому-то он просто так, походя сломал жизнь. Упоение своим могуществом прошло, осталось лишь скромное желание покоя. И тут неожиданно его вывел из транса этот парень — Шу вновь оказался способным хоть что-то воспринимать эмоционально, только на этот раз эмоции были особого рода: эмоции зрителя, болельщика и одновременно учителя, наставника. Он дал паренку из захохотавшей невыполнимое задание. По его мнению, не существовало раскладов, при которых Юрек мог бы выиграть у этого жулья. Он был в полном смысле слова любитель, а они — какие-никакие, но профессионалы, так как покер был единственным источником их существования и доходов. Это для него, Ве-

ликого, Шу, они были топорными ремесленниками, для Юрека же — непреодолимой стеной. Выиграть у них он не мог, и именно это возбуждало уставшего от жизни мастера. А если парень все-таки выиграл? Дал бы он ему следующее задание? Наверняка нет. Нет, так что сослагательное наклонение здесь неуместно — никаких «бы», Юрек обречен на поражение. У Шу не было решительно никакого желания помочь паренку и в дальнейшем. Если у того действительно были талант и фантазия, если он будет проявлять упорство и упрямство в деле, то никакая помощь ему не нужна — прекрасно разовьет свои способности сам. И все же Великий Шу был заинтригован.

Сидевшая через столик от него девушка, с которой он несколько раз встречался взглядом, сбросила с себя пляжный халатик и по лестнице спустилась в бассейн. Довольно высокая, прекрасно сложена. Он не любил ни худых, ни полных женщин, предпочитая нечто среднее. У девушки было именно такое, идеально пропорциональное тело, но не только оно его привлекло. Девушек такого класса тут было немало.

Эта все время сидела одна, но при этом чувствовала себя совершенно свободно, и по ней было видно, что она бывает здесь часто. Ей могло быть около тридцати, не больше, но на ее интересном лице лежала какая-то печать зрелости и безграничной усталости, дополняемая вселенской грустью в глазах. Ее взгляд как бы подвергал сомнению не только смысл забав вокруг бассейна, но и смысл всей этой роскошной жизни отеля. В какой-то момент она показалась ему совершенно недоступной — в ее поведении явно не было никакой позы, и он понял, что очень хотел бы именно ее.

Он не отрываясь смотрел на ее голубую шапочку. Девушка перевернулась в воде и поплыла обратно, в его сторону. Петр вновь увидел ее глаза — теперь они были жалобно-заискивающими, умоляющими и отнюдь не недоступными. Весь этот букет во взгляде предназначался ему. Это была всего лишь одна из «этих девушек». Петр разочарованно присвистнул — он стал обманываться непроизвольно часто. Перед ним стояли шахматы, и больше его от них ничего не отвлекало.

Парню предстояло разгрызть крепкий орешек. Вдобавок он никак не мог отвязаться от мысли, что его старший товарищ или просто пошутил, или, может быть, даже издевается над ним. Он стал подумывать, не вернуться ли в триста тринадцатый и не высказать ли старому обманщику все, что он о нем думает. Его сдерживало то, что Шу мог обидеться и послать его навсег-

да ко всем чертям. Если же, Шу дал ему задание вполне серьезно, то надо было срочно соображать, как за него взяться.

Допустим, вечером ему повезет и он найдет этих типов где-нибудь в баре, но это далеко не самое трудное. Нужно еще у них выиграть. Для этого надо каким-то образом подкинуть им карты, которые ему дал Шу, — без них никаких шансов нет вообще. У себя, в Лютыне, он провернул флирт с Агнешкой, но там он был дома и чувствовал себя поувереннее. Здесь же он стуживался уже при девушке из администрации, одним взглядом давшей ему понять, какая между ними дистанция, и поставившей провинциального протачка на место. Она смотрела на него так, как будто у него на лице было написано, что он из провинции, и как будто никаких пяти сотен она от него не брала. Да, за деньги здесь можно было добиться многого, но одно дело взять традиционную взятку за номер в гостинице и совсем другое — продать крапленые карты. Тут уже полахивает уголовщиной.

Юрек спустился вниз и осторожно подошел к киоску в вестибюле. Продавщицу загоразивал стеллаж с открытками. На пластмассовой полочке возвышалась горка запечатанных колод точно с такой же «рубашкой», что и в его кармане. Вот оно, преимущество государственного серийного производства. Юрек выглянул из-за колонны. За стойкой сидела совершенно беззубая старуха и перочинным ножичком очищала яблоко от кожуры. Пораженный ее уродством, вследствие которого все заготовленные им маневры теряли всякий смысл, Юрек застыл на месте. Вероятно, его поза была уж слишком неестественной, потому что, увидев его, старуха сделала удивленное лицо. Юрек тут же нагнулся и стал завязывать шнурки у ботинка. Затем выпрямился и медленно прошелся по холлу. Ну и юмор у этого обладателя золотых рук!

Юрек беспомощно опустился в кресло рядом с какими-то иностранцами. Один листал «Нью-Йорк Таймс», второй — «Юманите». Американец и француз. Вот у кого настоящие бабки, вот с кем бы сыграть! Он продолжал наблюдать за киоском. Если бы ему как-нибудь удалось пристроить свои две колоды на самом вершине горки, возвышавшейся за спиной старухи... за это бы дал и десять тысяч, и двадцать. Юрек вздохнул. Задача представлялась ему невыполнимой.

К киоску подошел покупатель. Уставившись на открытки, он взял две из них в руки и стал рассматривать, какая лучше. Юрек тупо смотрел на мужчину, вероятно, туриста. Тот наконец решил: вернул старухе одну открытку и полез в карман за деньгами. И тут на парня из провинциального городка Лютын снизошло озарение. Навер-

ное, именно так делает гениальное открытие какой-нибудь физик-теоретик: смотрит-смотрит в потолок, и вдруг прямо перед ним, на его глазах рождается великая формула, переворачивающая все основы и представления, существовавшие до сих пор. Такие моменты и определяют дальнейшую судьбу человека. Юрек встал с кресла, поднялся по лестнице, обернулся и посмотрел на холл с высоты. Весь этот «Новотель» внезапно померк в его глазах, перестал быть некоей материализованной формой высшей жизни, в которой таксисту из Лютыни нет места. Он вернулся в свой номер и не раздеваясь бросился на кровать. Ни малейшего изъясна в его открытии не было. «Всех штучек и фокусов не знает никто, потому что каждый день рождаются все новые и новые». Так сказал ему в машине Великий Шу незадолго до расставания. И вот он сам убедился, что мастер был прав.

В баре он сразу приметил двух европейски одетых мужчин. Они попивали коньяк и с чрезмерным любопытством зыркали по сторонам. Клиента ищут, решил Юрек. Он подошел к стойке и сел рядом с ними. Те перестали разговаривать. Оба бессмысленно, как коровы, смотрели на свои отражения в зеркале. Он почувствовал на себе их осторожные взгляды. На Юреке была потерята кожаная шоферская куртка и ковбойка в крупную клетку отечественного производства. Сообразив, что они могут посчитать его недостойным внимания из-за весьма непрезентабельного вида — что с такого можно взять? — Юрек стал лихорадочно думать, что же предпринять, но ничего путного в голову не приходило.

Тем временем интересующая его парочка покинула бар и направилась к ресторану. Юрек заплатил за водку и ринулся за ними. Над «европейцами» уже склонился официант. Юрек сел через два столика от них, у стеклянной стены, сквозь которую была видна терраса, бассейн и склонившийся над шахматами Великий Шу. Он раскряхтел меню и наткнулся на незнакомые названия блюд.

— Вырезка есть? — спросил он мигмом подскочившего официанта.

— Есть, — склонил тот голову.

— Тогда вырезку, салат и пиво.

Он с аппетитом уплетал обед, а в голове в это время зрел умопомрачительный план. Мужчины, заметив его настойчивый взгляд, пошепталась между собой и отвернулись. Только бы они не приняли его за переодетого легавого.

Допив пиво, Юрек подозвал официанта и, расплачиваясь, громко, чтобы слышали те, спросил:

— А где у вас в городе биржа?

— Какая биржа? — удивился официант.

— Ну автомобильная толкучка.

— А-а. Это на площади Кромера.

— Где это? Отсюда далеко?

— Давайте я вам нарисую,— он взял бумажную салфетку и склонился над столом. Юрек достал бумажник и распахнул. В нем лежало восемьдесят банкнот по тысяче злотых. Официант, поворачиваясь, задел его выставленный локоть, и в ту же секунду пол вокруг столика покрылся синими бумажками. Тут как раз кто-то распахнул дверь на террасу, и порыв ветра разметал купюры по всему проходу.

— Бога ради извините,— прошептал изумленный официант, и они оба, встав на колени, бросились подбирать деньги. Краем глаза Юрек заметил, что один из этих типов тоже нагнулся. Юрек отвернулся в другую сторону, чтобы не встретиться с ним взглядом, и в этот момент услышал за собой:

— My boy. Your money.

Над ним стоял один из интересовавших его мужчин и, глуповато и добродушно улыбаясь, как могут улыбаться только настоящие иностранцы, протягивал ему тысячу злотых.

Юрек поблагодарил и в ярости мотнул головой. Такой «номер» испортит! Второй раз его уже здесь не провернешь.

Внезапно он почувствовал на себе чей-то взгляд. За стойкой небольшого бара при входе в зал ресторана сидели те двое, кого он в холле принял за американца и француза. Они улыбались, кивали ему, подмигивали, а один даже сделал жест рукой, бесспорно означавший: «Присаживайся, выпей с нами». Юрек не верил собственному счастью. Он улыбнулся и подмигнул им в ответ.

Вот теперь он мог реализовать свой гениальный замысел. Он быстрым шагом вышел в холл. Перед киоском никого не было.

— Четыре колоды карт, пожалуйста,— бросил он.

Старуха, тяжело сопя, повернулась и достала с полочки карты. Юрек рассовал их по карманам куртки, где лежали и крапленые колоды. Старая женщина долго умножала на клочке бумаги цифры и наконец прошамкала:
— Девяносто злотых.

Юрек беспокойно похлопал себя по карманам:

— Ну надо же! Кошелек в номере за был.

— Так поднимитесь к себе и принесите,— посоветовала старуха.

Юрек вытащил из кармана какую-то мелочь.

— Вот, злотых пятьдесят будет. А, собственно говоря, зачем мне четыре колоды? И двух достаточно.

Он высypал на прилавок деньги и, как бы возвращая, положил перед бабкой подарок Великого Шу. Та взяла запечатанные колоды и... И тут Юрек похолодел: такое

предвидеть было невозможно. Склероз, ма-разм, старческий идиотизм — старуха забыла, где у нее лежат карты, и стала шарить рукой под прилавком. Если она положит их не туда, то все старания Юрека были напрасны. Но нет. Проблема мысли мелькнула в ее глазах, она повернулась и положила некупленные колоды поверх стопки. Юрек рукавом вытер пот. Вот теперь можно принять приглашение и выпить с теми двумя.

В дверях, ведущих на террасу, стоял Великий Шу. В его глазах Юрек прочел, что разыгранная только что сценка была оценена мастером по достоинству. Окрыленный таксист поспешил в бар.

Это неправда, что у парня не было шансов. Возможно, все выглядело весьма печально для Юрека, когда Шу давал ему задание. Но когда он вслед за «ястребами» входил в их номер, ситуация была совершенно иной. Теперь у него было явное преимущество, о необходимости которого разглаговльствовал Шу. «Ястребы», согласившись, что играть надо, безусловно, новыми колодами, только что купили в киоске карты с крапом, разглядеть который им было явно не под силу. Вдобавок пригрозился и актерский талант Юрека: «ястребы» очень точно оценили его как «набитого деньгами наивного таксиста из провинциальной дыры». Чтобы подзадорить паренька, ему для начала позволили выиграть что-то около пяти тысяч. Возбужденный Юрек махнул на радостях несколько рюмок водки, щеки у него разгорелись, глаза засверкали. Сообщники обменялись взглядами и решили, что пора действовать.

Прошло уже много лет с тех пор, как Шу раздел их, даже не приложив к этому особых стараний, а они все исполняли один и тот же «номер», который, впрочем, был необходимым и достаточным условием, чтобы обратить заезжого провинциала. В случае с Юреком «номер» не проходил. У «ястребов» была отработана система, когда Толстый сдавал, а Худой ему подснял, то есть подтасованными карты были лишь один раз из трех при игре втроем. В этом случае Юрек вступал в игру, если ставки были небольшими, и всегда проигрывал. Судьбу двух сдач решал Его Величество Случай, все прихоти которого Юрек узнавал прежде, чем противники смотрели свои карты. Лишь иногда пальцы одного из «ястребов» закрывали крап на «рубашке» — тогда Юрек не вступал в игру и даже не менял карты. «Ястребам» никак не удавалось втянуть Юрека в игру по-крупной — тот «читал» все карты и втайне забавлялся, видя бессилие хищников. Сложилась, если воспользоваться

шахматной терминологией, ситуация классического пата. Профессиональные мошенники полагали, что парню просто-напросто невероятно везет, и спокойно продолжали игру, по своему долговому опыту зная, что такая «пруха» до бесконечности продолжаться не может. Они были уверены, что время работает на них и что в конце концов они все равно должны выиграть.

Юрек же ждал, когда судьба сама ему улыбнется. Это должно было произойти во время сдачи Толстого, который регулярно подтасовывал своему компаньону тройки: то трех валетов, то трех тузов. Юрек не без основания ждал, когда ему случайно придет комбинация постарше «тройки», и тогда можно будет сразу же резко повысить ставки, сыграв втемную. Так что на самом-то деле время работало на него.

После обеда солнце заволочло облаками, и терраса вокруг бассейна опустела. Шу неторопливо пообедал и поднялся в свой номер. Парень все не выходил у него из головы. Сегодня он убедился, что не ошибся насчет богатства фантазии у своего подопечного. Он начинал все больше симпатизировать Юреку. Теперь ему стало казаться, что он поступил по отношению к парню очень нехорошо: показал ему несколько самых расхожих шуток и отдал на растерзание двум шакалам. Но если парнишке каким-то образом удастся у них выиграть, то это будет еще хуже. Он мог бы уверовать в свои способности, что неизбежно привело бы к трагедии.

Он выглянул в окно. Пустой бассейн так и манил к себе. Петр разделся, взял полотенце и спустился вниз. Он все никак не мог наплаваться в воде, ставшей после обеда теплее воздуха.

Девушка сидела в ресторане и наблюдала за плескавшимся в бассейне мужчиной, который все утро до обеда играл сам с собой в шахматы. Ей что-то никак не удавалось его расшифровать. Девочки из администрации тоже ничего конкретного сказать о нем не могли. Его лицо казалось ей знакомым, она была уверена, что когда-то, довольно давно, встречала его. Но где, когда, при каких обстоятельствах? Нет, память не срабатывала. У нее возникло желание соблазнить его. Вот просто так, взять и соблазнить. Ничего подобного с ней в последнее время не случалось. То есть шла такая полоса, когда жутко хотелось мужика, мужика вообще, а не какого-то мужчину конкретно. Она попыталась понять источник своего интереса к привлекательному даже на первый взгляд незнакомцу, но потом решила перейти от анализа к делу. Вышла на террасу и села за его столик. Когда он выйдет из воды, то, наверное, все-таки догадается, что она пришла

сюда из-за него. Она заложила ногу на ногу и одернула платье.

Со стороны автостоянки шел Липо. Это был тридцатилетний мужчина, работавший на паркинге. У него было не все в порядке с головой, но придурь была неопасной для окружающих. Липо был кроток, как барашек. Когда-то он работал здесь официантом, даже дослужился до метрдотеля, но потом у него что-то случилось с головой и свою карьеру он закончил в психбольнице. Директор отеля, нувствуя моральную ответственность перед своим служащим, на которого свалилось такое несчастье, предложил ему работать сторожем на стоянке, и Липо согласился. После больницы никаких жизненных запросов у него не было. Он жил в кемпинговом автоприцепе и записывал в тетрадку регистрационные номера машин, которые ему довелось обслужить. В его коллекции были даже номера из Австралии, не говоря уж об остальных континентах. Он жил мечтой о том, что если в Арктике и Антарктиде есть какие-нибудь автомобили, то рано или поздно они к нему приедут и он запишет их номера в свою тетрадку.

Сейчас он взялся помогать официантам убрать столики после обеда, поэтому держал перед собой поднос с грязной посудой. Липо остановился в нескольких шагах от девушки.

— Привет, Липо,— улыбнулась она.

Но Липо не ответил. Он не отрывал глаз от мужчины, который, оттолкнувшись от стенки бассейна, исчез под водой. Лицо его сделалось белым. Поднос выпал из рук. При звуке бьющихся тарелок девушка вздргнула и посмотрела на Липо с изумлением.

— Великий, Шу,— с ненавистью прошептал тот.

События стали разворачиваться со скоростью кинобоевика. Липо подбежал к самому краю бассейна и, наклонившись, ждал, когда пловец, сделавший в воде очередной разворот, покажется на поверхности. Вот мужчина вынырнул, и Липо прыгнул в воду, оседлав его. Коленями он обхватил его пояс, а руки сжал на горле. Оба исчезли под водой, но тут же показались опять, барахтаясь и держа друга за горло. Липо был довольно худеньким, однако его преимущество заключалось в том, что он набрал полные легкие воздуха. Брызги летели на несколько метров во все стороны. Липо навалился на мужчину всей тяжестью своего тела и держал его голову под водой. Не было никаких сомнений в том, что он всерьез хотел утопить незнакомца. При этом Липо издавал крики ярости, как индеец в бою, устрашающий своего противника. Мужчине, который был явно сильнее, все же удалось высвободиться из рук Липо и в свою очередь окунуть головой в воду уже его. Он по-

держал безумца под водой несколько секунд и отпустил, а когда Липо, широко раскрыв рот, стал судорожно глотать воздух, точным, коротким движением ударил его в подбородок. Затем оттолкнулся в воде от его груди и в несколько взмахов доплыл до лестницы. На террасу он поднялся с достоинством, без всякой спешки.

— Шу! Великий Шу! Я тебя сразу узнал! — неистовствовал в бассейне Липо.

Шу обернулся, посмотрел в полные ненависти глаза сумасшедшего и спокойно сказал:

— Вы, вероятно, ошиблись. Я вас вижу первый раз в жизни.

Произнеся это, он понял, сколько фальши в его поведении. За столиком сидела девушка, на которую он обратил внимание еще утром, и смотрела на него испуганно и изумленно. Он подошел к стулу, снял со спинки полотенце, набросил его на себя и зашагал к холлу.

Липо, с трудом держась на воде, продолжал вопить:

— Наконец-то я тебя достал! Теперь ты не отвертись! Мы сыграем еще разик, Шу! Только в другую игру. Знаешь, на что мы сыграем? На жизнь! На твою или на мою. Ты слышишь, Шу, на жизнь! И в этой игре ты уже не сжулишь и не передернешь! Тебе понятно? Если я тебя кончу, меня будут лечить, а если ты меня, то получишь пожизненную тюрьму! Как тебе, нравится? Шу, тебе понятно, что это будет за игра? Преимущество все равно у меня! Шу, мы сыгра... — он нахлебался воды и стал тонуть, но в последний момент ему удалось одной рукой зацепиться за никелированные поручни в стенке бассейна. Он хотел еще что-то крикнуть, но изо рта вырвался только хрип и бульканье.

Девушка посмотрела вслед удалявшемуся незнакомцу. Она узнала о нем даже больше, чем хотела.

Высунувший голову на террасу портье спросил у Грынчи:

— Что там случилось?

— Какой-то ненормальный прыгнул в бассейн прямо в одежде.

— О, боже, — портье вытянул руки, как мусульманин, готовящийся к молитве. — Это наверняка Липо, сторож со стоянки. У него вот здесь плохо работает, — он повертел пальцем у виска. — Значит, опять началось обострение.

Шу тяжело поднимался по лестнице. Положение было невеселым, нужно было уезжать из отеля как можно скорее.

Судьба улыбнулась Юреку только на четвертом часу игры. Пулька после нескольких кругов выросла до двадцати тысяч. Толстый, тасуя карты, отработанными движениями разложил для Худого трех коро-

лей. Тот вопросительно посмотрел на сдающего и сыграл втемную. Этот маневр у них был отработан. Толстый регулярно сдавал партнеру тройки, Худой, чтобы удорожить игру, проходилась втемную, а Юрек, видя все это, бросал карты не меняя. Весь этот цирк стоил ему семи тысяч — столько он к этому времени проигрывал. Он устало вздохнул и посмотрел на лежащиеся перед ним карты. Перед ним лежали три туза — впервые за всю игру ему пришла приличная карта. Улыбка же судьбы была в том, что верхней, предназначавшейся ему картой, если он вступит в игру и захочет менять карты, был туз. Четвертый. Всей силой воли он погасил бушевавшее внутри чувство триумфа, протяжно зевнул и взял лежавшую перед ним пачку денег.

— Что-то становится скучно, — бросил он и отсчитал сорок купюр по тысяче złotych. — Под вас идет втемную, — сообщил он Худому.

Тот чуть не поперхнулся и весело взглянул на Толстого.

— Налей-ка по одной, — сказал он. — Наш гость наконец разыгрался.

Выпили.

— Ты пройдешься? — спросил Толстый.

— Нет, меняем карты, — мотнул головой Худой.

Этот разговор прояснил Юреку финансовые возможности своих противников: у них обоих было менее восьмидесяти тысяч, иначе Худой тоже прошелся бы втемную.

Юрек сменил две карты, Худой тоже. Ученика Великого, Шу вовсе не удивило, а напротив, очень обрадовало, когда он увидел, что Толстый подмешал своему партнеру и четвертого короля. Именно за этим был устроен перерыв под названием «по рюмочке». Во время выпивки сообщники обменялись информацией, Худой заказал себе еще одного короля, а Толстый реализовал задание.

Худой дал под Юрека двадцать тысяч. Юрек доставил двадцать, подумал и дал под него сорок. Худой облегченно улыбнулся — судя по всему, деньги у них были уже на пределе. Ему и в голову не пришло засомневаться в своем королевском каре и вспомнить, что в покере бывают комбинации и постарше. Он отсчитал деньги, а когда сколько-то не хватило, не стесняясь протянул руку и взял несколько бумажек, лежавших перед Толстым.

— Вскрою нашего юного друга за сорок, — объявил он.

Увидев выложенных перед ним четырех королей, Юрек хотел виртуозно присвистнуть, как это делал наставник, но у него вышло только какое-то слюнявое шипение. Он бросил на стол своих тузов и стал обеими руками распихивать деньги за пазуху.

У Худого нервно задергался глаз, а Толстый пару раз икнул и бросился в ванную. По пути он нажал выключатель и громко захлопнул за собой дверь.

В наступившей темноте была слышна какая-то возня, затем звук падающей мебели и бьющегося стекла. Выскочив из ванной, Толстый вновь зажег в номере свет. Он стоял на пороге ванной с раскрытой бритвой в руке и вытянутым от недоумения лицом.

Таксист, обхватив спинку стула, на котором сидел Худой, держал его сзади за волосы. К шее худого «ястреба» была приставлена разбитая бутылка, которую карточный везунчик держал за горлышко. Вновь патовая ситуация.

Юрек сильно дернул Худого за волосы, тот завыл от страха.

— Брось бритву,— приказал Юрек Толстому, стоявшему в полной растерянности, не зная, что предпринять.

— Брось! — прохрипел Худой.

Юрек слегка нажал на бутылку, и острый конец впился в горло его жертвы. Толстый нерешительно бросил бритву себе под ноги.

— К стене! — продолжал командовать Юрек.

Толстый послушно отошел к стене. Юрек с силой пнул ногой стул, и Худой полетел на пол, а он в два прыжка оказался у двери. Выиграл.

За окном стемнело. Великий Шу голый сидел на кровати за шахматной доской, на которой стояла знаменитая композиция Роберта Фишера. Шу искал решение и не находил, может быть, потому, что никак не мог сосредоточиться и каждые пять минут поглядывал то на часы, то на молчавший телефон. Время не шло, стояло на месте. Он попытался опять углубиться в шахматы, но тут его стали раздражать доносившиеся из-за двери звуки веселья какой-то подвыпившей компании.

Наконец около десяти кто-то осторожно постучал в дверь. Шу вскочил и тут же опустился на кровать. Юрек делал это совершенно иначе: он всегда колотил в дверь громко, всей рукой. Шу накинул на себя халат. Деликатный стук повторился. Даже если бы Юрек проигрался в пух и прах, он бы так не стучал. Шу уже точно знал, что это не он. Повернув ключ в замке, Шу одновременно распахнул дверь в ванную, чтобы в случае неожиданного нападения отскочить туда. После этого резко раскрыл дверь в коридор.

Перед ним стояла девушка из бассейна. Теперь на ней было длинное развевающееся вечернее платье из полупрозрачного фиолетового материала, сшитое с большим вку-

сом. Бретельки крепились к схватывавшему тело под левым и правым плечом широкому пояску из темно-золотистого атласа, который был искусно завязан под шеей. Ему сразу подумалось, что стоит только потянуть за узелок, и все платье упадет на пол.

Девушка сделала нечто вроде книксена.

— Добрый вечер. Я пришла пригласить вас на банкет.

Шу завязал тесемки халата.

— Для начала банкета время довольно позднее,— сурово произнес он.

Однако ни ответ, ни тон, которым это было сказано, девушку не смущали.

— Тогда я могу быть для вас подарком. Меня зовут Иоланта,— она еще раз сделала книксен, как маленькая девочка, воспитанная строгой гувернанткой.

И в эту же секунду откуда-то сбоку, из коридора, раздался долго сдерживаемый мужской смех и женское прысканье. В двери возник Юрек, обнимавший блондинку с хорошей фигурой, но с одним существенным недостатком — она была выше его на голову. Пьяная парочка ввалилась в комнату, хихикая и потрясая бутылками шампанского. Блондинка тут же с хохотом упала на диван. Юрек расставил бутылки на столе, потом засунул руки в карманы и вытащил полные горсти смятых бумажек.

— Великий мастер! — торжественно начал он.— Задание выполнено. Ваш ученик вас не посрамил.

Он положил деньги на стол и взглянул на Шу, как бы ожидая похвал.

Шу хмуро посмотрел на него, взял со стола несколько банкнот и протянул стоящей у стола Йоле.

— Я благодарю прекрасных дам,— зло и сухо сказал он.

От возмущения девушка непроизвольно передернула плечами. Растянувшаяся на диване блондинка села.

— Мастер! Что происходит?! Здесь что, монастырь, пансион для благородных девиц?! Я в-в-выполнил ваше задание вот этими руками, оставил это жулье голыми, как вы и велели, денег у нас, как дерьма в слоновнике, и девушки с удовольствием отметят с нами победу,— орал в пьяном возбуждении Юрек.

Разговор с ним не имел смысла.

— Забери это все. И деньги. Это твои деньги. А теперь, пожалуйста, уйдите отсюда,— Шу сделал шаг в ванную и полуприкрыл за собой дверь.

Пьяный Юрек горестно завращал глазами. Потом взял со стола деньги и потянул блондинку за руку.

— Пошли, Баська, нас здесь не поняли.

Он попытался поклониться на прощанье Йоле, чуть не упал и, обхватив блондин-

ку за талию, вывалился в коридор.

Потирая лицо руками, Шу вышел из ванной, захлопнул входную дверь, и вернулся в комнату. Пораженный тем, что девушка не ушла, он остановился как вкопанный:

— Чего ждете вы? Здесь никакого банкета не будет. А подарков я не принимаю.

— Ни от кого? — спросила она, привставая на цыпочки и заглядывая ему прямо в глаза.

Шу отвернулся, взял сигарету и закурил. Совершенно очевидно, что девушка во что-то играла.

— Вас сюда прислал Липо? — спросил он. Она рассмеялась.

— Этот ненормальный? Угостите меня, пожалуйста, сигаретой.

Шу пустил пачку по столу, но тут же, устыдившись своего жеста, поймал ее, взял в руку, открыл и поднес девушке. Она молча приняла это извинение. Затем подошла к стоявшему рядом с кроватью креслу, села, глядя на расставленные на доске фигуры, и тихо сказала:

— Ты мне нужен, Шу.

Его подозрения переходили в уверенность.

— Это еще что такое?

Девушка подняла голову, спокойно выдержала его взгляд и покосилась на доску:

— Композиция. Фишера.

— Что?! Откуда ты знаешь? — он сглотнул и разразился хохотом. Ожидать можно было чего угодно, но такого...

— Я иногда играю с Липо, — пояснила она и, увидев, что холодность и враждебность в его глазах исчезли и смеется он совершенно искренне, продолжала: — У моего отца был бзик на шахматах, а поскольку сына у него не было, то он заставлял меня играть с ним, когда я была еще маленькой. Да и потом тоже.

— Ты хорошо начинала.

— Да. Я тогда бегала в университет в плаще «болонья» и у меня был жених. Он работал сантехником, и у него была «сиренка», сто третья модель.

— И что же дальше?

— Ничего. Просто мне очень не к лицу был плащ «болонья». Не шел.

— Понятно. И что же отец на это?

— Я же сказала, у него был пунктик на шахматах, а вот эта композиция была одной из самых любимых. Он всегда был уверен, что белые здесь могут выиграть. Решению этой задачки он и посвятил последние двенадцать лет своей жизни. Так что было не до семьи.

Шу сочувственно покивал головой.

— Бедная девушка. Только я несколько раз в жизни слышал и более слезовыши-

бательные истории.

Йоля состроила грустную рожицу, а Шу перенес взгляд на шахматы.

— И что? — спросил он.

— Ничего. Он был талантливый человек и решил задачку.

Шу подошел к ней совсем близко.

— Ты шутишь! Не может быть! Это невозможно. Покажи!

Йоля загадочно усмехнулась, налила в рюмку чуть-чуть коньяка и поднесла к губам. Затем с игривым упреком, растягивая слова, пропела:

— А знаешь что... может быть... когда-нибудь... я тебе и покажу.

Шу посмотрел на нее с удовольствием, почти восхищенно. Он попался, как мальчик.

Шу протянул руку за оставленной Юреком бутылкой шампанского.

— Выпьем?

Девушка просияла.

— Я искала тебя, Шу.

— Ну-у-у... Вместе с Липо?

— Ты повторяешься. При чем здесь Липо? С Липо я играю в шахматы.

— Так что же ты от меня хочешь?

— Ты ведь настоящий Великий, Шу? Насколько лет назад о тебе ходили легенды. Что у тебя нельзя выиграть.

— Ты случайно узнала, кто я такой и...

— Ты мне очень нужен. У меня есть для тебя работа.

Петр огорченно посмотрел на девушку.

— Меня не интересует никакая работа.

— Но это деньги. Огромные.

— Меня не интересуют деньги. И вообще, ты получила обо мне несколько отрывочные сведения. Поэтому устаревшие. Я этим давно не занимаюсь. В жизни есть вещи поважнее. Так что...

— Знаешь, меня тоже с некоторых пор деньги не интересуют. И все-таки я добыюсь, чтобы ты это сделал.

Своего девушка уже добилась — она его заинтересовала.

— И что же это такое? Какие-нибудь личные счета?

— Я тебе не скажу.

Если это была ловушка, то уж слишком примитивная.

— Где это?

— Под Варшавой.

— А все-таки, о чем речь?

— У меня на одного человека узелок завязан. На память. Чтобы не забыть.

Шу захотелось пить, и он налил себе полный бокал шампанского. Предложение девушки, как ни странно, тронуло его. Она, видимо, уже немало лет провела «в профессии», знала жизнь, но когда дело коснулось чего-то интимного, сугубо личного, она растерялась, не зная, что предпринять, и вновь стала несмелой и наивной девушкой,

бегавшей в университет в плащике «болонья».

Какие-то из его мыслей она прочла и понуро опустила голову.

— Ты прав. Во всем этом может быть ловушка. Если подходить с твоей стороны.

Шу был уже уверен, что никакой ловушки здесь нет, но продолжал изучать свою собеседницу.

— Западни, ловушки, измены — это удел сильных или трусов...

Она парировала легко и непринужденно:

— А вот кем бы был ты, если бы принял подарок?

— Дураком, хотя это может прозвучать и невежливо. Полное бескорыстие в твоей или моей профессии встречается... сама знаешь. Йюля закусила губу.

— С моей стороны никакого бескорыстия нет. Я хочу, чтобы ты превратил этого... — она не подобрала нужного слова и мотнула головой, — в мусор, в окурок, в плевок. Чтобы он в бешенстве грыз ногти, чтобы у него ум зашел за разум и он всю оставшуюся жизнь только и пытался понять, как же такое могло случиться.

Она посмотрела на Шу с ласковой и мягкой страстью, как жена Юрека, которую тот провожал на вокзале.

— Подробности я тебе рассказывать не буду. У тебя такая ситуация, что ты боишься ошибиться. Тебе сейчас нельзя ошибаться. Но посмотри на меня, Шу, — она закинула руки за голову и затеребила пальчиками держащий платье узелок под шеей. — Скажи, разве ради такой девушки, как я, не стоит рисковать или даже совершать ошибки?

Шу смотрел на нее во все глаза — она действительно была очаровательна. Он укоризненно покачал головой, но жест этот мог означать только одно — согласие.

Примерно в это же самое время Юрек Гамблерский, исполняя с Баськой в постели прямо-таки акробатический сексуальный этюд, потерял равновесие и упал на пол. Охота продолжать занятия эквилибристикой сразу пропала, и он, потирая ушибленный копчик, нашупал кресло и достал из кармана пачку сигарет. Закурил, подошел к окну, выглянул и тут же протрезвел.

На освещенной площади перед «Новотелем» стоял «фольксваген-гольф». За рулем сидела Йюлька, а Великий Шу забрасывал свои чемоданы на заднее сиденье. Юрек обжегся непогашенной спичкой, ругнулся и почувствовал неодолимое желание немедленно что-то предпринять. Он торопливо одевался, с изумлением наблюдая в окно, как «фольксваген» тронулся с места и через несколько секунд исчез в темноте. Баська смотрела на него, ничего не понимая:

— Ты что, с ума сошел?

Он бросил на столик несколько бумажек.

— Мы с тобой эту позу еще освоим. Только как-нибудь потом, — пробормотал он и выбежал из номера.

Баська пожалла плечами, придавила лежащие на столике деньги пепельницей и удобно свернулась клубочком.

— А хорошо иногда одной поспать. Никто не мешает, не пристает, — зевнула она и тут же заснула.

На рассвете «фольксваген-гольф» цвета «багама-йеллоу» стоял на лесной дороге. Над зарослями кустарника еще висела густая мгла, но пробудившиеся птицы своим гамом уже стали разгонять сон и тишину леса. На пне срубленного дерева рядом с распахнутой дверцей машины сидел элегантный мужчина и в глубокой задумчивости курил.

Девушки поблизости не было, но вот на тропинке появилась и она. В руках у нее были туфли на высоком каблуке, и она шла по песчаной, усыпанной хвоей дорожке босиком, осторожно ступая по острым сосновым иголкам. Девушка была все в том же фиолетовом платье, сшитом, надо сказать, с большим чувством юмора, учитывая профессию его владелицы. Она зябко куталась в наброшенную на плечи пышную чернобурку. Мужчина смотрел на нее с нежностью. Несколько часов, проведенных в дороге, сблизили их еще больше. Может быть, сказало то, что и он и она переживали сходный — несмотря на разницу в возрасте — период апатии, разочарования и усталости. Девушка была еще все-таки молода и хороша собой, так что от радостей на ее дальнейшем жизненном пути зарекается не стоило. Мужчина же ни в какие заманчивые изгибы судьбы уже не верил. Он просто смотрел на девушку, и она ему нравилась.

— Не самый подходящий наряд для прогулки по лесу, — заметил он улыбаясь. — И обувь не та.

Девушка отряхнула с босых стоп иголки и, надевая туфельки, вздохнула:

— Да, это проблема всех девушек, которые хотят выглядеть дамами. Для тех, кто с утра влезает в джинсы и кеды, таких проблем не существует.

— Почему ты не влезешь в джинсы? — по мужчине было видно, что ему доставляет удовольствие любой разговор со своей спутницей, на любую тему.

— Потому что я — дама, — сказала она спокойно и просто, но тут же стала пристально вглядываться в глаза мужчины, ища в них насмешку. Ни иронии, ни насмешки в них не было, и даже приятельский тон вдруг сменился на серьезный.

— А почему ты, умная, интеллигентная девушка, стала... — он замолк, не решаясь произнести нужное слово.

— Блядью, ты хотел сказать, — непри-
нужденно закончила девушка. — Давай оставим эту тему. Я же не спрашиваю тебя, почему ты, такой умный, интеллигентный мужчина, стал... — она не закончила, явно подражая ему.

— Мошенником?! — произнес он с каким-то удовольствием. — Все правильно, глупый вопрос. «Пусть зовутся ворами, только бы не крали».

— Как, как ты сказал? — переспросила она с интересом.

— Это не я, это Достоевский. — Он бросил окурок на землю, затоптал и указал ей на машину. По одному тому, как девушка села за руль, было видно, что она действительно настоящая дама. Он плюхнулся на переднее сиденье рядом с ней.

— «Только бы не крали», — улыбнулась она ему и включила зажигание.

Колеса немного побуксовали в хвое, и машина рванулась в сторону шоссе.

Из-за дерева, метрах в сорока от полянки, ей вслед сосредоточенно смотрел Юрек Гамблерский.

Дом стоял на краю старого леса, в глубине которого виднелось еще несколько огромных участков с причудливо торчащими из-за деревьев вилами. Подъехать можно было только по узкой асфальтовой дороге, на которой два автомобиля разминулись бы с превеликим трудом. Видимо, проектировщик такой встречи не предполагал и не планировал. Дорога была проложена только для владельцев этих пяти-шести загородных вилл.

Сам же дом был столь расчетливо встроен в свободное пространство между несколькими могучими старыми деревьями, что создавалось впечатление, что деревья выросли уже после того, как возникла эта ультра-современной архитектуры вилла.

Вся прилегающая к ней территория была огорожена металлической сеткой, скрытой за высокой живой изгородью. Трава в ухоженном саду была ровно подстрижена на английский манер. Повсюду торчали высаженные экзотические кусты. Перед террасой был небольшой десятиметровый бассейн, выложенный голубым кафелем. Над ним под тенью широкого дуба полулежала в шезлонге Йоля, одетая в купальный костюм, если так можно было назвать две узенькие полоски мини-бикини. Рядом с ней расположилась еще молодая, но уже расплывшаяся блондинка с повадками россомахи, оборудовавшей берлогу для своего семейства и не интересующейся абсолютно ничем за

ее пределами.

Перед ними на маленьком столике стояли бутылки с кока-колой, банки с соками, стаканчики, за деревом — небольшой японский холодильник на батарейках, в котором не таял колотый лед.

В глубине участка, за домом, на площадке перед гаражом бок о бок, как будто в чем-то соревнуясь, стояли «фольксваген-гольф» и последняя модель «порше».

Разморенные на солнце женщины выглядели давними приятельницами, которые знают друг о друге все и разговаривают лишь из чисто бабской потребности в надежде, что представится случай побольнее укусить подругу.

— Мы тоже строиться начали под Вроцлавом, но тут эта поездка подвернулась и муж решил пока все законсервировать. Вернемся, тогда и отгрохаем что-нибудь вроде вашего, — как бы нехотя роняла Йоля.

Хозяйка дома, Дорота, стрельнула глазами: — В капстрану?

— Ну конечно. Япония или Гонконг. На днях решится. Я-то лично предпочла бы Японию.

— Почему? — с недружелюбной миной поинтересовалась Дорота.

— Единственная стоящая страна, в которой я еще не была. А потом эти гейши... Я слышала, они умеют вытворять с мужиком такое...

Дорота язвительно улыбнулась и хотела что-то вставить, но на террасе появился ее муж, Ярослав. Ярек. Ему было около тридцати, он выглядел человеком, не привыкшим отказывать себе ни в чем, живущим лишь для собственного удовольствия и не знающим в этом никакой меры. Его молодое, но уже очень потрепанное лицо резко контрастировало с жирным брюшком и широкими, как у женщины, бедрами. Рыхлая, мясистая грудь ярче всего свидетельствовала об образе жизни этого человека: обжорство, пьянство, лень.

Он подошел к шезлонгам:

— Дорота, приготовь нам кофе и коньяк. Это было произнесено тоном властелина. Жена вскочила, как солдат при виде генерала:

— Подать наверх?

— Да. Мы там в картишки перекинемся.

Дорота направилась к дому, а он сел на ее место. Йоля приоткрыла один глаз. Ярек смотрел на нее с жемливой улыбкой хозяйки на дома и ждал, когда жена совсем исчезнет из виду.

Дорота остановилась на ступеньках дома и обернулась. На ее лице мелькнула безотчетная тревога. Столь же неосознано тревога была разлита во всем воздухе над участком и домом, и Дорота ее улавливала.

— Знаешь, у меня дух перехватило и гла-

за на лоб полезли, когда я тебя увидел,— конспиративным шепотом начал Ярек.

— Жены испугался? — кокетливо взглянула на него Йоля и встала с шезлонга. Они медленно пошли вдоль бассейна.

— Шутить все. А я в самом деле не переношу домашних скандалов. Дорота прямо помешана на том, что я ей изменяю.

— А ты ей изменяешь? — Йоля продолжала кокетничать. Они подошли к дому с теневой стороны, и Йоля прислонилась к холодной стене.

— Ясное дело,— жмурясь, как кот, Ярек оперся о стену рукой прямо над плечом девушки.— А ты все цветешь, выглядишь, как кинозвезда с картинки,— добавил он опять шепотом, который, вероятно, должен был создать еще более интимную обстановку, и филярски улыбнулся. Йоля ответила точно такой же улыбкой.

— Ты... ты так улыбаешься... ты что, думаешь, я бесчувственный, что ли? Я к тебе всегда питал...

— Я знаю.

— Я так рад, что ты ко мне приехала. Да еще как снег на голову.

— Я тоже рада.

Ярек сделал движение, как будто хотел ее поцеловать, но она вскинула руку, приложила палец к его губам и легонько отпихнула его. Затем, как цыганка, взвесила в одной руке висевший у него на шее тяжелый золотой медальон и кивнула на стоявший поблизости «порше-карьер»:

— Это тебе отец все покупает или тесть тоже будет заботится?

Укол был легкий, чисто женский, поэтому Ярек не обиделся, а беззлбно отмахнулся:

— Да брось ты, Йолька. Лучше расскажи, что с тобой происходит. Ты как-то пропала...

Йоля остановилась у розового куста и склонила голову.

Ярек скороговоркой продолжал:

— Ну да, конечно, нас считали чуть ли не супружеской парой, но сама знаешь, как все в жизни бывает, тем более такие вещи...

— Я знаю, как в жизни бывает,— спокойно согласилась Йоля, как будто речь шла не о ней.— Ну что тебе сказать, я во Вроцлаве закончила университет, потом вышла замуж.

— Муж у тебя отличный. Сразу видно. Только вот по этому делу... Ну ты понимаешь, ведь не мальчик уже...

Йоля слегка покраснела, что можно было расценить по меньшей мере двояко.

— У-у. На этот счет будь спокоен. Старая школа.

Откуда-то с террасы до них долетел крик Дороты:

— Ярек!

— Позвонишь? — он торопливо провел ру-

кой по Йолиному бедру.

— Может быть,— усмехнулась она обещающе.

Перед ними возникла запыхавшаяся Дорота.

— Ярек, а может, вы вниз спуститесь, к нам? Здесь и поиграете? — в ее голосе слышалась робкая надежда.

— Спокойно, малышка. Там предстоит битва титанов, дело сугубо мужское, женщины не допускаются,— он захохотал и поцеловал жену в щеку, которую та беспрекословно подставила.— Чао, девочки!

Хозяйка и гостья вернулись к бассейну. Йоля налила себе полстаканчика кока-колы, обернулась, подцепила ложечкой два кусочка льда и как-то не очень понятно спросила:

— Ярек все еще увлекается покером?

— Вы были знакомы раньше? — вопросом на вопрос ответила Дорота, изобразив на лице полнейшее равнодушие, что было верным признаком того, что внутри у нее все начинает закипать.

— Да, мы учились вместе. Я помню, он тогда среди наших мальчишек считался хорошим игроком.

— Вы учились в политехническом?

— Да, полтора года. А потом перевелась в университет.— Йоля сладко потянулась, что почему-то еще больше испортило Дороте настроение. Она беспомощно обернулась на дом, но мужчины уже уединились на втором этаже, и ничего другого, как быть гостеприимной хозяйкой и развлекать свою милую гостью, ей не оставалось.

— Уф-ф, какая жара,— сменила она тему.

— Может, искупаемся? — предложила Йоля.

— Лень что-то. Попозже.

После обеда сидели в большой гостиной на первом этаже и тупо смотрели телевизор. Все, что они хотели друг другу сказать, они уже сказали. Подкальвать и подковыривать друг друга охоты больше не было. Духота сделалась одуряющей. Дорота и Йоля молча пили чай, потом кофе, потом опять чай, изредка поглядывая на потолок, отделявший их от мужчин. Покер несколько затянулся.

Мебели в гостиной было немного, но вся она производила впечатление очень дорогой и была явно или привезена с Запада, или куплена на валюту. Пол был устлан огромным желтым ковром с длинным ворсом. Посередине стоял стеклянный стол, вокруг — четыре кресла. Одну стену занимала квадрофоническая система «Грюндиг», по всем четырем углам стояли усилительные колонки. У окна — цветной телевизор «Сони» с большим экраном. На стене над телевизором висела картина Выспяньского, на дру-

гой стене — рисунок обнаженной девушки какого-то знаменитого современного польского художника, который «свои рисунки не подписывает, а фамилию вспомнить уже невозможно, но она, кажется, где-то записана», как следовало из объяснений Дорота. Две остальные стены были из толстого стекла. Одна выходила на террасу и сад, сквозь вторую была видна огромная оранжерея с диковинными растениями и цветами. Дорота монотонно перечисляла, что там у них растет и цветет, но на полуслове прервала сама себя и спросила вслух:

— Может быть, им поесть что-нибудь отнестись? Сколько же можно?!

Йоля опять повернулась к телевизору и, не отрывая глаз от экрана, пожалала плечами:

— Да все мужики, как дети. Не надо им мешать. Пусть забавляются, сколько хотят. Это так облегчает жизнь...

Дорота взглянула на нее с неприязнью: — Не знаю, как ваш муж, но Ярек у меня совершенно неуправляемый. И если...

В этот момент наверху громко хлопнула дверь, и на лестнице показался хозяин дома:

— Дорота!

Та вскочила и с облегчением посмотрела на мужа:

— Закончили?

Лицо, шея и грудь Ярека под распахнутой рубашкой были покрыты капельками пота. Он мотнул головой.

— Слушай! Где у тебя эти... ну «баки»*, сама знаешь, какие?

Дорота обернулась на Йолю, но та с интересом смотрела телевизор: в рекламном клипе красивый молодой человек надевал на руку сияющей невесте венчальное кольцо с бриллиантом.

— Ярек... — умоляюще прошептала она.

— Где?! — грозно рявкнул муж.

— Они в шкатулке на зеркале. В спальне. Но ты же не хочешь...

— Заткнись, корова! — прорычал напоследок Ярек и исчез.

Дорота выбежала на кухню и бессильно опустилась на стул. Она долго сидела в каком-то оцепенении, потом выплакалась, в ванной привела себя в порядок и вернулась в гостиную.

Йоля увлеченно смотрела теленовости: Эдвард Герек что-то с жаром объяснял шахтерам, а те хмуро слушали.

— Мы так засиделись, — она повернулась к Дороте. — Даже неловко как-то. Уже почти двенадцать. С ума сойти. Они там заканчивать не собираются?

Дорота молча проглотила все эти слова заботы, но все же вспомнила о своих обязанностях хозяйки:

* «Buck» (англ.) — широко распространенное в разговорной речи название доллара.

— Если вы хотите лечь, то пойдете, я вам покажу, где у нас комната для гостей, а то неизвестно, когда все это кончится.

Йоля встала и с благодарностью улыбнулась:

— Давай на «ты». Мы целый день провели вместе, ты обо мне так заботилась, пока эти ненормальные...

Дорота не знала уж, что и подумать. Наконец она утешила себя мыслью, что девушке скорее всего тоже не сладко с этим своим муженьком. Может быть, он ей дома еще и не такие сцены устраивает. Это так сильно поправило ей самочувствие, что она даже чмокнула Йолю в щеку.

— Пойдем, я тебя провожу.

Но та ее остановила:

— Не надо. Я сама найду. Я знаю где, — и безошибочно направилась к гостевой спальне.

Это добило Дороту окончательно. Она остановилась посреди комнаты и смотрела ей вслед. Телевизионная программа закончилась, и оркестр исполнял государственный гимн. Она выключила телевизор, упала в кресло и вновь зарыдала.

В раскрытом «дипломате» лежало несколько пачек по сто тысяч золотых каждая, три тысячи долларов, массивная золотая цепь с медальоном, мужской перстень с печаткой и обручальное кольцо. «Тянуло» все это миллиона на полтора, но в этой игре речь шла уже не о деньгах.

Ярек начинал это понимать только теперь. Лево́й рукой он постоянно отирал со лба струящийся пот и ничего не соображающим взглядом уперся в лежащий перед ним бланк с грифом «Купля-продажа». Правой рукой он нервно сжимал авторучку. Он колебался.

Девять часов понадобилось Великому, Шу, чтобы создалась именно эта ситуация, и теперь ни в коем случае нельзя было дать противнику опомниться. Он нагнулся к молодому домовладельцу и тоном, способным вывести из полубморочного состояния любого, сказал:

— Ярек, послушайте меня внимательно. У нас неотложно получилась слишком серьезная игра. Говорят: карта — не лошадь, к утру повезет. А если нет? Если и дальше не повезет? Подумайте хорошенько.

Тот посмотрел на него, перевел взгляд на лежащие деньги и золото, потрянул мокрой головой, как будто отгонял назойливую муху, и, выставив вперед нижнюю челюсть, с усилием выговорил:

— Я знаю, что делаю.

Шу только грустно присвистнул.

— Ну что ж. Вам виднее. Да — значит да.

Он следил за тем, как на предварительно заверенном нотариусом бланке дрожащая рука заполняет необходимые пункты договора о купле-продаже автомобиля марки «порше-каarrera» за сумму пятьсот тысяч золотых.

Вопреки сомнениям все пошло не так легко, как можно было ожидать. Чтобы усадить мальчика за карты, не потребовалось никаких усилий. Чтобы что-то выиграть у него — тоже. Загвоздка была в том, что проигрыш даже нескольких сотен тысяч был для Ярека лишь неприятностью, мелким огорчением, как для обычного человека, например, потеря полупустого кошелька за два дня до получения. Такой исход дела Великого Шу никак не устраивал. Его задачей был уничтожить Ярека, превратить его, по выражению Йоли, в мусор, в окуроч, в плевоч, а не выиграть у него какие-то деньги, поэтому играть приходилось вопреки своим же правилам. В Лютыне он объяснял Юреку Гамблерскому: «Играть нужно затем, чтобы выиграть в карты. Тогда можно выиграть и деньги». Сейчас же не стоял вопрос о выигрыше вообще. Чтобы пронять молокососа, вывести его из душевного равновесия, надо было выиграть много, как можно больше — деньги, доллары, золото, машину. Такая игра таила в себе большую опасность, Шу изменял своему главному принципу. Чуть ли не впервые в жизни он придавал решающее значение тому, сколько проигрывает его противник. Ему нужно было выиграть все, что можно было выиграть. Конечно, его «творчество» и раньше нередко делало людей нищими, ставило их на грань жизненной катастрофы. Но это всегда было лишь следствием самой игры, которое Великого Шу мало интересовало. Ему в голову не приходило задумываться перед игрой, сколько еще денег появится в его кармане и останутся ли у соперника средства к существованию. Он поэтому и стал Великим, Шу, что для него существовала только игра, игра как искусство.

В данной же ситуации у Ярека в руках был козырь невероятной силы, о котором он, правда, не знал. Если бы он в какой-то момент прекратил игру, на что, разумеется, имел право, и позволил Шу выиграть даже несколько сотен тысяч, то незваные гости сразу же переходили в разряд жалких обманщиков, воришек, обокравших честное семейство, не причинив ему, впрочем, большого вреда. Если бы Ярек, презрительно рассмеявшись, заявил, что все, хватит, — он моментально одержал бы победу. Этого Шу боялся больше всего, но он, знаток человеческих душ, видел, что его клиент на это не способен. Во-первых, потому что не сознавал, зачем и во что они играют, а во-вторых, потому что был чрезвычайно самолюбив.

Ярек был циничным, испорченным родительским сыном. Вращавшийся в высшем столичном свете его папаша и мамаша мечтали сотворить из своего чада современного принца, он же с раннего возраста познакомился со всеми слоями городского общества. Еще ребенком ему приходилось бывать в «салонах», где ставки были столь высоки, что даже назвать их было бы неприлично. Чуть подросши, ребенок сделался наглым и жестоким хулиганом. Суммы, выплачивавшиеся его жертвам за молчание, приближались к неназванным вышше. Садистские наклонности Ярека поугасли лишь тогда, когда возглавляемая им шайка его дружков оказалась за решеткой, — не у всех родители были в состоянии ублажать взятками милицию и судей. От полууголовных связей и знакомств Ярек отошел — этот мир нищих и озлобленных людей был не для него. Он уже начинал интересоваться девушками, потом — картами и вообще всякого рода азартом и наконец закончил автомобилями. К двадцати семи годам он был уже стариком, прошедшим и испытанным в жизни все, если возможность купить все означала знание жизни...

Шу внимательно прочитал текст договора и поставил внизу свою подпись рядом с подписью Ярека. Отсчитал пятьсот тысяч, пододвинул их истекавшему потом сопернику. Положил в карман ключи и документы на машину.

— Вы не прячьте, не прячьте. Они ко мне сейчас вернуться, — жалким голосом произнес Ярек, стараясь быть при этом еще и равнодушно-остроумным. Но не получалось.

— Я вам искренне этого желаю, — с подлинным, в отличие от Ярека, любезным равнодушием произнес Грынич и стал тасовать карты. Сдал, еще раз взглянул на постаревшее за эти несколько часов лицо хозяина дома и добавил: — Кто бы мог подумать, что все зайдет так далеко.

Странная месть. Месть или не месть? Месть, родившаяся на давно угасшем, умершем чувстве. Она совершалась здесь, за несколькими стенами от Йоли в возбуждающей тишине этого отвратительно богатого дома. Она вслушивалась в эту тишину с напряжением, невольнo потирала руки, поправляла волосы, гладила щеки и терла виски, сжимала колени, как будто вот-вот должен был войти долгожданный любовник. Но нет, она ждала не любовника, она только хотела отомстить этому грязному типу за то, что он ожил в ее памяти и торчал там как фатум — фатум первого раза. Ярек был первым мужчиной в ее жизни. Вскоре он бросил ее, но и девичьи страдания продолжались недолго. Жизнь понеслась гало-

пом совсем в другую сторону, и Йоля, казалось, навсегда забыла о его существовании.

В своей «профессиональной» жизни Йоля была убеждена, что она сама и только сама избрала свою судьбу, причем выбор был сделан абсолютно правильно: в ней внезапно обнаружили незаурядные таланты. То, чем она занималась, доставляло ей удовольствие, даже наслаждение. Оказываетя, она была создана для того, чтобы возбуждать в мужчинах страсть и желание, вертеть ими, как захочется, и лишь иногда каприза ради награждать наиболее привлекательных и послушных. Она сумела себя поставить сразу же. Валютные приятельницы звали ее Йолька-Хорс-Рейс. Horse-race — это скачки. В этом она была реномированной специалисткой. Вокруг нее в ночном баре всегда уживалось с десятком мужиков, она говорила им: «Один из вас сегодня может меня получить». Нет, нет, разумеется, это не говорилось, не произносилось вслух. Это игралось.

Распалив окружающих ее мужчин, потом она лишь подстегивала их в этой безумной гонке за женщиной, где наиболее пострадавшей стороной всегда оказывался победитель: как только он, израсходовав для достижения цели множество сил и денег, оказывался с божественной Йолей в постели, то обнаруживал, что является тут второй, наряду с кроватью, принадлежностью для спанья. Он не одаривался ни чувствами, ни воплями восторга, ни даже их имитацией, а был лишь живым инструментом для удовлетворения каприза этой восхитительной и непонятной девушки.

Йолька бессознательно работала по принципу перевернутой психологической схемы, первооткрывательницей которой, конечно же, была не она: профессионалки каждый вечер стремились заарканить клиента, она же могла себе позволить игнорировать это, что только увеличивало ее власть над мужчинами и делало их надолго ее слугами. Самые дорогие и красивые «валютчицы» относились к ней с уважением, признавая ее превосходство и первенство.

Было ли поведение Йольки нормальным? Психиатры изучили и описали множество отклонений от нормы, но что такое собственно норма, не знает никто из них. В случае Йоли это несомненно было некоторое отклонение, так как ее поступки не были продуманным ходом, приемом, не рождались в голове, а шли от естества. Утрата привычных психологических пропорций вела к чрезмерной жажде или повышенному, но извращенному аппетиту, — так вместо поданной официантом спаржи с орехами хочется острой селедки из бочки. Но Йоля никогда не была у психиатра и даже не подозре-

вала, что кто-то такой может быть ей полезен.

За время десятилетней эффективной и эффективной полупроституции — именно так можно было точнее всего определить род ее занятий — Йоля ни разу не трактовала мужчину иначе чем как некий одушевленный прибор, служащий исключительно для ее выгоды, удобства и удовольствия. Правильно было бы сказать, что ее отношения с мужчинами были весьма поверхностными, так же поверхностно воспринимала она все радости жизни, да и саму жизнь.

Когда ей совершенно неожиданно стукнуло тридцать, она сказала себе: «Мне тридцать лет! Боже мой! Мне уже никогда не будет двадцать!» Она ощутила, как что-то в ее жизни закончилось, что-то оборвалось, потому что даже когда тебе двадцать девять, то это все равно двадцать. В день рождения она сама ставила выпивку знакомым и незнакомым мужчинам, сильно надралась, и тогда случилось самое страшное. Она пошла с каким-то парнем и к своему ужасу открыла для себя, что до сих пор понятия не имела, что такое по-настоящему быть с мужчиной в постели и получать удовлетворение в любви. В ней наконец-то проснулась женщина. Это было тем более удивительно — на тридцатом году жизни, — что таких возможностей у нее до сих пор было по самым скромным подсчетам много.

Роли поменялись, вернее, все встало на свои места. Йоля обезумела и совершенно как-то потерялась. Она льнула теперь к любому случайному встреченному мужчине в ожидании и предвкушении тех блаженных минут, когда сделала бы для него все, что он пожелает. Такая чувственная одержимость считалась в профессии страшным грехом. Йоля сознавала это, но в то же время выла от сожаления по десяти лучшим годам жизни, выброшенным на какую-то пустую игру. Теперь она любила всех мужчин, каждого, кто ее брал, и ненавидела их всех за то, что была в их власти. Она оказалась в дьявольской западне, из которой не могла найти выхода. Ее положение в «обществе» пошатнулось, и подружки шептались о ней, что «Йолька Хорс-Рейс скурвилась».

Йолька стала пытаться осознать, что с ней происходит и кто в этом виноват. Во всем последнем десятилетии ответа не находилось, но женская интуиция подсказывала ей, что виноваты, конечно же, мужчины. И тогда она вспомнила этого соплива Ярка, который соблазнил ее, когда она, впрочем, весьма этого хотела. Труп в ее сознании внезапно ожил. Это он, поматрив и бросив ее, надолго оставил в ней примитивный и отвратительный стереотип сексуального поведения: мужчина — самец, а не равноправный партнер, он обладает женщиной, а не заботится о том, чтобы и она получила са-

тисфакцию. Йолька встретила Великого Шу и приехала с ним сюда. Она все-таки вряд ли смогла бы четко сформулировать, за что следует отомстить этому животному. Йоля прекрасно понимала, что и после этого не перестанет быть рабыней мужчин, во всяком случае одного — Великого Шу.

После многочасовой игры в картах создаются положения, повторяющиеся, вопреки теории чисел, вне всякой системы и правил. Кто много играл, тот знает. А кто знает, тот способен предугадывать.

Ярек был опытным игроком с многолетней практикой. Обменяв автомобиль на деньги, он несколько раз сыграл дерзко и удачно и с картой, и ни на чем. В результате триста тысяч были отыграны. После этого он успокоился и пришел в себя. Своего виртуозного противника он уже раскусил, во всяком случае понял, что игра идет не на то, что лежит на столе. Этот старый хмырь, Йолькин муж, приехал сюда затем, чтобы его унижить, а не обыграть. Йолька наверняка напела ему какие-нибудь бредни о нем, и вот муж свершил за столом акт возмездия. Зная намерения своего визави, Ярек окончательно почувствовал себя уверенно. Теперь он искал стратегический маневр, способный оставить противника с носом, искал и нашел. Он видел, что ухоженный, следящий за собой — а что ему еще остается делать?! — муженек этой профурсетки играет сильнее его. Опыт. Просто так его не возьмешь. Тут надо было идти внаглую, напролом, тем более что наглость всегда была самым сильным оружием Ярека. Пользу от нее он стал извлекать еще четырехлетним ребенком.

Пулька была уже солидной. Ярек решил пароллировать втемную, Петр — тоже. Ярек прошелся еще раз, Петр не уступил. Ярек сдал карты. У него не было ничего, даже пары. Пять разных, и старшей картой был король. Закон симметрии, известный не только в покере, гласил, что в игре чрезвычайно часто сходятся примерно равные комбинации. Иными словами, Ничто должно было встретиться с Ничем. Здесь для Ярека замаячил шанс, и он решился на самый большой блеф в своей жизни. Он объявил, что не меняет карты, давая таким образом понять, что у него на руках как минимум «стрит», а возможно даже «фул» или «флешь-рояль». После этого он поставил под Шу все свои деньги. Если бы он выиграл эту пульку, то практически вернул бы свое, не считая мелочи. И тогда... он твердо решил закончить игру и сообщить гостю, что двести или триста тысяч — сколько он там выиграл, — это ему с женой на чай. По бедности.

Молодящийся пижон долго молчал и ду-

мал. А потом выдал нечто совершенно невероятное, не укладывающееся ни в какие рамки.

— В конце концов я приехал сюда не за тем, чтобы вас обыгрывать, — он пожал плечами и тут же добавил: — Я вас вскрою. Проверю. У меня нет ничего.

Все калькуляции Ярека полетели к черту. Ну кто, какой кретин вскрывает соперника при миллионной пулке, когда на руках нет даже пары?! Арабский шейх этого не делает. С такой картой можно темнить, можно блефовать, можно даже ставить под противника до бесконечности, пока есть деньги, но вскрывать самому?! Ярек выложил карты на стол: разномастные король, дама, десятка, девятка и семерка.

Муж Йольки выложил свои: король, дама, десятка, девятка и восьмерка. При равенстве остальных карт его восьмерка была старше.

— Ну надо же, — прошептал он, с минуту смотрел на карты, а потом в задумчивости стал упаковывать деньги в портфель. На лице — растерянное недоумение.

Ярек окаменел. Он ничего не ощущал, ни о чем не думал. Но вот вместе с потом по щекам потекли слезы. Ярек уже не мог сдерживать рыдания и нервно дергался в такт импульсивно вырывавшимся из горла хрипам и всхлипам. Затем он стал легонько скулить и постанывать, и в следующую секунду все это вместе слилось в громкий, как у овчарки, вой.

Шу закрыл портфель и примирительно сказал:

— Засиделись мы...

Но видя, что Ярек в таком состоянии, когда не воспринимаются никакие слова, громко вздохнул и не спеша направился к двери. Он уже надеялся, что им удастся покинуть этот дом прежде, чем хозяин опомнится, но на лестнице, ведущей со второго этажа в холл, Ярек догнал его, бросился на колени, обхватил, пытаясь поймать руку и поцеловать.

— Все, что угодно, только не это! Машина! Отец меня убьет!

Шу брезгливо вырвал свою руку, к которой чуть было не припали губы Ярека.

— Успокойтесь! Ведите себя, как подобает мужчине. Вы ведь мужчина?

Плечи Ярека содрогнулись от рыданий. Он заголосил совсем уж по-бабьи. Затем, видимо осознав, что это не поможет, вскочил и с яростью, судя по всему поразившей даже его самого, потому что он отступил на пару шагов назад, зарычал:

— Ты, гнида! Я тебя уничтожу! Я тебя раздавлю, как червяка! В этой стране ты уже не найдешь себе места! Я тебя достану везде! Тебя и твою Йольку!

Шу, не обращая никакого внимания на

вопли, спускался по лестнице. Ярек, перегнувшись через перила, продолжал орать:

— Я трахал ее, как хотел! Драл, дрючил! Она бегала за мной, как сучка. А я ее выбросил поджоппником, потому что она мне надоела!

Тут из комнаты для гостей появилась Йоля, уже собранная и одетая в дорогу. Она приподнялась на одну ступеньку и долгим взглядом посмотрела молодому человеку в глаза. Наверное, так она делала много лет назад. Тот сразу затих.

— Меня не интересует прошлое моей жены, — с достоинством обронил Петр. — Кланяйтесь вашей очаровательной супруге. — И полным заботы голосом сказал своей девушке: — Пойдем, Йоленька. По-моему, хозяева больше не хотят нас видеть в своем доме.

Он подал ей руку, и они чинно направились к входной двери.

Ярек беспомощно завопил опять:

— Вон отсюда, из моего дома! Вон! Я вас уничтожу обоих! Вы у меня до Варшавы не доедете, вас первый же патруль остановит! Хорошенькая парочка: жулик и шлюха! Вы мне еще руки целовать будете!

Выкрикивая все это, он шаг за шагом спускался по ступенькам лестницы, сохраняя, однако, дистанцию в несколько метров.

Входная дверь за гостями захлопнулась, а в прихожую выбежала вырванная из сна Дорота. Она взглянула на перекошенное лицо мужа.

— Будете мне руки целовать... — дрожащими губами еще раз пролепетал тот.

Дорота разернулась и со всей силы ударила его по лицу. Ярек закрылся обеими руками и сполз по стене на пол.

— И за такую вощь я вышла замуж, — Дорота посмотрела вниз на рыдающего Ярека.

Красный «порше» стоял у дома перед гаражом. Шу открыл переднюю дверцу и, садясь за руль, нежно сказал Йоле:

— Попробую поехать за тобой, так что не спешите.

В салуне Грязный Тип обидел Девушку. Сидевшему в углу за стаканчиком виски Усталому Ковбою совсем не хотелось стрелять. Он сделал большой глоток «бурбона»* и посоветовал Типу извиниться перед Девушкой. Тот взбрыкнул, они встали напротив друг друга, из шестизарядного кольта грянул выстрел, и Грязный Тип свалился на пыльный пол, а Усталый Ковбой усадил юную и прекрасную леди перед собой на седло и усакал с ней в бескрайние

прерии.

Впервые в жизни Йолька сознательно желала ночи с каким-то конкретным, вот с этим и только этим мужчиной. Ее тело и душа в едином порыве были устремлены к Великому, Шу, который без видимых усилий и с едва скрываемым презрением превратил ее обидчика в половую тряпку.

С этой «обидой», правда, было некоторое преувеличение. Строго говоря, никаким обидчиком Ярек не был и никакого в общем-то зла ей не причинил. У его бока она узрела недоступный ей прежде мир, и он ее ошеломил. Только поэтому она и стала гостиничной девкой, хотя, возможно, и не совсем такой, как все. Но Шу отплатил негодяю вне зависимости от того, насколько справедливы были Йолины соображения насчет своего первого любовника. Как в настоящем вестерне, Шу был для нее именно таким ковбоем. Усталым Ковбоем из Настоящего Вестерна. Она бы не задумываясь отдала все, чтобы уехать с ним куда угодно, только бы навсегда, как та юная леди из «лошадиной оперы». Она верила, что могла бы стать ему и верной женой, и любовницей, и прислужгой, и рабыней одновременно. Она поняла, чего ей не хватало и не хватает в жизни после десятилетнего «стажа»: обычной настоящей любви. Это желание при абсолютно не критическом взгляде на себя, столь типичное для женщин ее профессии, охватило Йольку Хорс-Рейс с такой неодолимой силой, противостоять которой она уже не могла, если бы даже захотела. Проще говоря, она, как и все люди на свете, была влюблена.

Петр в эту ночь спал как убитый. Она котенком свернулась при нем, стараясь ни одним своим движением не помешать ему спать или — не дай бог — не разбудить. Несколько раз за ночь она просыпалась, как ребенка накрывала его одеялом, когда он раскрывался, и вглядывалась в это лучшее в мире лицо.

На рассвете она спала. Петр проснулся первым — тюремные навыки деть было некуда. На этот раз он моментально вспомнил и понял, где находится, и покосился на разметаившиеся по подушке темно-каштановые волосы девушки. И все же отделаться от воспоминаний не удалось. Как раз перед рассветом камера наполнялась громкими шепотами, горячими вздохами, жарким, бессвязным бормотанием чувствующих скорое пробуждение бедняг. В этом было что-то от зверинца — и тревожные сонные мечтания, и способ, которым они прерывались. В замке противно скрежетал ключ, и надзиратель по кличке Придурок весело орал: «Граждане воры, подъем!

* «Бурбон» — в отличие от «скотча» — любое нешотландское виски.

Мыть морковки!» Звеня ключами, Приду-рок шел дальше по коридору.

Девушка легонько вздрогнула. Петр замер. Он не хотел будить ее так рано, но она, не открывая глаз, лишь протянула руку и заплела пальцы в роскошные густые волосы. Она спала безмятежно, как будто была маленькой девочкой. Лицо было доверчивым и спокойным — так могут спать только те, кто подсознательно чувствует свою полнейшую безопасность. Шу было хорошо знакомо утреннее выражение лиц гостиничных шлюх. Как бы молодо и привлекательно ни выглядели они вечером при электрическом освещении, утро обнажало всю их грязь, хищную расчетливость, мелкую и подлую предприимчивость. Чаще всего эта палитра выступала на фоне следов ночного пьянства. Единственное, с чем он в аналогичной ситуации не встречался ни разу, никогда, — это с невинностью.

Ему вспомнилась жена Юрека-таксиста, лишь мельком виденная им на перроне, потом девушка, в обществе которой он несколько часов провел в купе. Если бы здесь, рядом с ним лежала она? Сейчас, вот в эти секунды он переживал один из самых трудных и ответственных моментов своей жизни. В последнее время он все чаще давал волю чувствам, иногда они захлестывали его. Но если, например, Микуну за ненависть к нему он был даже благодарен: провинциальный жучок избавил его от иллюзий, что в пятьдесят с лишним лет можно куда-то поехать и исчезнуть, и начать где-то новую, счастливую жизнь, то с Йолей было совсем плохо — сложно и малопонятно.

Он должен был сразу же послать ее ко всем чертям, но он, сентиментальный баран, этого не сделал! Поехал с ней из-за какой-то бессмысленной мести, как будто этот мерзкий малый был хоть в чем-то перед ней виноват: очень вовремя, на первом курсе института лишил ее невинности. Судя по всему, вся его вина только в этом и заключалась. Но самым ужасным было не это, а то, что проклятые чувства, делавшие Шу беззащитным, вновь давали о себе знать.

Девушка повернулась во сне. Ее колено выскользнуло из-под одеяла и улеглось на его бедре. Рука заскользила по его груди. Йолька была великолепной девушкой, в ней не было ничего от профессиональной шлюхи. Он хотел ее. Желал. Страстно. Давно. Больше всего на свете. Казалось, к этому нет абсолютно никаких препятствий. Но препятствие было. Он знал, что может произойти с ним и с ней после ночи, вернее, утра любви. Петр не мог себе позволить влюбить в себя эту девушку. Она была слишком хороша, и ему стало ее жалко. Петр всегда владел собой. И не только своим разумом, но и телом. Он знал,

как надо поступить, что следует делать и чего не следует. Он так долго ждал этого мига, что... что мог подождать еще.

Она медленно просыпалась, и в ней постепенно просыпалось желание. Она придвинулась к Петру ближе, прижалась и обвила. Он почувствовал ее губы на своей груди и стиснул зубы. Этот ее марш по его телу дорогого ему стоил. Его тело было неподвижно.

Какое-то время спустя голова девушки все еще покоилась на его бедре. Огромные, расширенные глаза смотрели на него с грустью.

— Больше я для тебя ничего не могу сделать, старичок, — шепнула она.

Он не выдержал и подмигнул ей.

— Все, маленькая, все.

Она пропутешествовала по нему в обратную сторону, доползла до лица и поцеловала в губы. Потом упала на подушки.

Он встал и пошел в ванную, а когда вернулся оттуда, то уже владел собой полностью.

— Когда ты возвращаешься во Вроцлав? — спросил он, одеваясь.

Йоля молча, как истукан, сидела на постели, закутавшись в одеяло. Он присел рядом, достал из «дипломата» договор о купле-продаже автомобиля, техпаспорт и ключи. Все это он положил на столик рядом с ней, затем обеими руками взял ее руку и поцеловал.

— Это тебе, — сказал он.

Йоля безуспешно пыталась поймать его взгляд, встретиться с ним глазами.

— Но мне не нужна эта машина! Мне нужно... — торопливо начала она, но Петр не дал ей закончить.

— Она твоя. Возьми. А свой «народный вагон» продай. Прямо тут же, у отеля.

Она еще пробовала бороться.

— Шу! Ты не о том говоришь. На свете столько жеребцов, у которых весь разум в ширинке! Я останусь с тобой, я буду с тобой, сколько ты захочешь! Мне нужен только ты, Шу! И ничего другого мне не нужно. У нас все будет в порядке, все хорошо, вот увидишь!

— Перестань, — сказал он мягко. — «Слабость — это единственный недостаток, который нельзя исправить». Я пойду побреюсь.

Она смяла в руках листок договора и с силой швырнула об пол.

Все было бесполезно.

— Почему этот проклятый мир так устроен? — закричала она обреченно.

Несколько часов спустя Йоля и Петр вышли из лифта и через холл варшавского отеля «Форум» направились к выходу. Они составляли элегантную, обращающую на

себя внимание пару. Седоватый, коротко стриженный мужчина в сером костюме и яркая молодая девушка в развевающемся фиолетовом платье, с пышной лисой, накинутой на обнаженные плечи. Оккупировавшие кресла холла арабские гости столицы при виде ее зацокали языками, но она не обращала внимания уже ни на что. Она смирилась.

— Мне кажется, я тебя раскусила, поняла твой секрет,— вдруг сказала она, когда они вышли из дверей отеля.

— М-м-мда? — он попытался изобразить удивление.

— Когда я сдавала на права, мой инструктор мне говорил: «Вы должны ездить так, как будто все кругом хотят вас убить».

— Какой хороший у тебя был инструктор,— улыбнулся Шу и широко распахнул переднюю дверцу красного «порше». — Езжай осторожно, маленькая. Скользко.

Она посмотрела на него с мольбой, хотела что-то сказать, не решилась, потом наконец произнесла:

— Когда люди узнают тайны друг друга, это их сближает. А нас?

Грынич наклонился к ней, и в неоновом свете голубых, желтых, красных и зеленых реклам по его прекрасному лицу проскользнула едва заметная тень безумия.

— Езжай так, как будто все вокруг хотят тебя убить,— сказал он твердо.

— Ты тоже?

— Ну, может быть, меньше, чем другие. Поэтому уезжай скорее.

— Шу, если когда-нибудь... — начала она.

— Нет! — решительно оборвал он и отвернулся.

Она поняла, что пора. Больше этот разговор продолжаться не мог. Она включила зажигание.

— Пока, Шу, великий отшельник,— прошептала она чуть слышно.

Он захлопнул дверцу. Она ехала медленно, потому что глаза застилали слезы. Красивый автомобиль марки «порше» — это все, чем наградила ее жизнь. Больше не заслужила.

III

Шу отверг любовь Йольки Хорс-Рейс, потому что на бессмысленные попытки сил больше не было, а в случайный счастливый шанс он не верил. Никаких глубоких размышлений это не вызвало. Все было проще: если мотором жизни было влечение, какое угодно влечение, хоть к чему-нибудь, то Шу его утратил. На следующую ночь он взял себе лучшую девушку, какая только была в «Виктории». И все у него функционировало, все работало исправно.

Но девушка была всего лишь обычной, хорошо вышколенной проституткой, и, кладя ей утром на столик деньги, он подумал, что не стоило пять лет мечтать о женщине, чтобы в конце концов удовлетворить желание каким-то заменителем любви, чуть ли не таблеткой. Секс был без смысла, любовь без смысла, покер без смысла. У Грынича оставались еще жизнь и деньги, но и то и другое при отсутствии радости тоже не имело смысла. Шу торчал в барах, ресторанах и клубах, как загнанная в клетку птица. Его поражали брызжущие из людей эмоции, перекошенные в гримасах лица, оскаленные зубы, закатанные в наркотическом восторге белки глаз — неужели эти люди не понимали, что они обречены, что они уже умерли? Но тут самому ему память подсовывала забытые слова: «Смерть! где твоё жало? ад! где твоя победа?»* — и он еще раз убеждался, насколько спасительна его давняя привычка — верить в мудрость цитат из Писания.

Эти слова он относил к себе, но если бы эти слова спасения можно было отнести ко всем людям, ему было бы легче. Жизнь выше рассудка или разума. Всю жизнь Петр сознательно прожил в одиночестве, потому что знал: человек должен жить один, в этом его сила. Но сейчас и в этом избранничестве Петр ощутил пустоту, которую, заполняет и лечит лишь радостный смех ребенка. Этого лекарства у Петра не было. Он болтался по кабакам, пил, удивлялся человеческому энтузиазму вокруг, но абсолютно ничего не ждал ни от окружающих его людей, ни от жизни.

Как-то вечером он сидел в «Черном Коте», самом дорогом ночном заведении самого дорогого варшавского отеля «Виктория». На паркете отплясывали иностранцы и столичный «хай-лайф». Кондиционеры, предупредительные официанты, «девушки», негромкая музыка и ледяная водка. Петр смотрел на зал без всякого любопытства, но ни в коем случае и не осуждающе — эти люди установили свои законы, выработали правила и жили по ним, так что не ему их судить. Ему вообще никогда в голову не приходила мысль о необходимости перedelывать действительность, если даже он ее и не принимал.

— Добрый вечер,— прервал его размышления чей-то голос.

Он повернул голову и не поверил собственным глазам. За столиком перед ним сидел Юрек Гамблерский, Шу почти забыл о его существовании и уж во всяком случае никак не ожидал встретить его здесь, поэтому он удивился до такой степени, что самым

* Из I Послания апостола Павла Коринфянам, 15,55; слова, буквально повторяющие текст ветхозаветного пророка Осии (13, 14).

естественным образом, безо всякой игры спросил:

— Ты что тут делаешь?

Малыш взглянул на водку на столе и кивнул:

— Можно?

— Пожалуйста,— ответил Грынч.

Юрек налил себе рюмку.

— Вы все-таки должны признать, что этих вроцлавских клиентов я сделал, как хотел,— он опрокинул в себя водку и даже не поморщился.

— Но дело не в этом,— начал Петр.

— Знаю, знаю,— торопливо и очень невежливо прервал его Юрек.— Все я прекрасно понимаю. Только на моем месте кто угодно вел бы себя точно так же. Такие деньжищи как с неба свалились...

— Но если ты так все прекрасно понимаешь, то тогда зачем явился?

— Секундочку. Сейчас я все объясню,—

Юрек разговаривал с легкой, но противной пьяноватостью.— Значит, так. Вы мне разрешаете выпить рюмку, а потом отказываете в следующей? Почему? Я что, с первой упился?

— А тебе хотелось бы упиться?

— А вы удивляетесь?

Шу надоел этот разговор, он беспомощно оглядел затемненный зал в надежде, что бы его спас. В нише за столиком по ту сторону танцевального паркета сидели двое профессиональных игроков. Петр улыбнулся им, как добрым знакомым, и многозначительно подмигнул. Те тут же оживились.

Шу вновь повернулся к Юреку:

— Я тебе обещал показать несколько покерных штук. Ничего больше. Ни о каком дальнейшем пьянстве речи не было.

— Вчера одного деятеля щелкнул. Из «Орбиса»*, — похвалился Юрек.— Гладко все прошло. И в экстаз после этого, представьте, не впал.

— Bravo. Я вижу, ты начинаешь в одиночку...

Юрек расплылся в ожидании дальнейших похвал.

— Пить,— закончил, Шу.

— А кто после первой рюмки останавливается?! И в картах то же самое, те же законы. Вы сами это знаете лучше меня.

К их столику подошли покерных дел мастера.

— Так ты подписываешься? На сегодня?

— Ладно, ладно. Может быть, зайду.

Позже,— усмехнулся, Шу.

Юрек проводил отошедших мужчин голодным взглядом.

— Покер? — спросил он с бестактной подозрительностью.

— Да. Только без тебя. С тобой мы квиты.

— Понятно. Я знаю, кем вы меня считаете. Ничтожеством. Полным нулем,— у Юрека настал момент пьяного самобичевания.— Но я вам еще докажу. Вы не думайте, я давно раскусил, что это за тайна покера, которую я вроде бы знаю и не понимаю. Надо иметь что-то в загибике, когда сядишься играть, какой-то крючок на противника: новый прием, крапленую колоду или деньги. У меня, конечно же, не такие руки, как у вас, но у меня есть деньги, которые я могу себе позволить проиграть. Я задавлю противника деньгами,— возбужденно орал Юрек.

Шу не удержался и фыркнул:

— Что ты называешь деньгами?

Исповедальный тон таксиста сменился на злобный:

— Есть, есть денежки, водятся, не волнуйтесь. И если я сяду играть, задавлю любого. Буду давать и давать под него. Тыщи. Я ему вскрыться не дам. Мне и карта не нужна, понятно? Вот эти ваши, сегодняшние, как они... по сравнению со мной?

— Эти? Ты уйдешь от них пустой через четверть часа,— холодно бросил Шу.— Да, они с тобой и не сядут.

Молодой человек стал оглядываться по сторонам. В дальнем углу одиноко сидел Ярек. Небритый и грязный, он уже, видимо, много дней не выходил из запоя. Он уставился в одну точку отсутствующим взглядом, в котором навсегда застыла ненависть.

— Вы здесь всех знаете. Вот этот, например, играет?

Великий Шу повернул голову и только теперь разглядел бывшего владельца «порше». Шу весь внутренне собрался, но тут же понял, что сейчас Ярек вряд ли способен на какие-либо действия. Выглядел он жутко, поэтому Петр тут же успокоился и усмехнулся:

— Играет, вернее, играл. Теперь, как видишь, пьет. Боюсь, что из этого клинча ему не выйти.

Взгляд Юрека скользил по залу, как будто здесь проходило заседание клуба любителей покера. И вдруг он увидел то, что заставило его подскочить. У стойки бара сидел Денель и непринужденно беседовал с молодой девушкой.

Юрек просиял:

— Тайное оружие Микуна!..

— А-а-а...— Шу проследил за его взглядом.— Да, он здесь бывает.

— А как он для меня? Подойдет?

Шу стал неторопливо рассуждать вслух:

— Граф? Дело знает. Техника есть, но не ахти какая. Сообразительный, но по выс-

* Польский аналог «Интуриста».

шим меркам чего-то ему не хватает. Скорее всего яркой индивидуальности. Так что к элите я бы его не отнес. Покер ведь, как поэзия,— недостаточно уметь хорошо рифмовать. Но для тебя с Микуном сойдет. В самый раз. Обоих побираться пустит.

— Меня?! — Юрек вскочил и решительно направился к бару. Грынч еще раз вздохнул: запальчивость Юрека раз в сто превосходила его возможности.

Денель сидел за стойкой и демонстрировал девушке свои графские манеры. Та совершенно определенно не имела ничего общего с «этими самими» — обыкновенная городская гусыня из какого-нибудь бюро или конторы, впервые в жизни попавшая в кабак, где все стоит в десять раз дороже обычного. Выслушивая любезности от своего ухажера, она при этом не переставала вертеться по сторонам, чтобы получше все рассмотреть, запомнить и потом во всех деталях рассказать сослуживцам, как это выглядит вблизи.

Когда Юрек Гамблерский встал за спиной Денели и наглым тоном заявил: «У меня к тебе есть одно предложение», тот со злости закусил губу — среди коллег по профессии было не принято говорить о делах в присутствии дам, а с публикой менее воспитанной Граф просто не znalся. Он медленно, с достоинством обернулся через плечо и с удивлением увидел перед собой глупое лицо таксиста из Лютыня.

— Извините,— церемонно уронил Денель,— но мы не знакомы.

— Да знакомы, знакомы. Микун. Лютынь. Помните?

— Ах, да,— смилостивился Граф.— И что же? В чем дело?

— На секундочку можно вас?

Денель, извинившись перед девушкой милой улыбкой, встал и вслед за Юреком отошел к тянувшемуся во всю стену дивану. Здесь он молча, одними глазами повторил Юреку свой вопрос. Тот расплылся в хулиганском оскале:

— Хотелось бы пустить тебя с сумой по белу свету...

— Что? С чем? — изумился Граф.

— Ну побираться.

Денель стрельнул глазами по залу и наткнулся на немигающий, застывший взгляд Великого Шу. Он смотрел прямо на них. Денель вдруг расцвел и, в мгновение став самой любезностью, предупредительно наклонился к Юреку:

— И когда же?

— Когда хочешь. Хоть сегодня, сейчас. Или завтра.

— Интересное предложение,— Граф весь светился от восторга.— Только у меня есть одно условие.

— Какое?

— У тебя должно быть как минимум двадцать «штук».

Юрек с облегчением расхохотался и хлопнул себя по карману.

— Ты, вероятно, не понял. Не «кусков», а «штук». «Штука» — это тоже тысяча, только вот такая,— Денель достал из кармана пачку денег зеленого цвета, на которых стояла цифра 100.

— И... и когда? — упавшим голосом спросил Юрек.

— Да когда хочешь. Хоть сейчас. Или завтра.— Граф просто-таки наслаждался своей корректностью. Он смахнул пылинку с плеча смокинга и поспешил к девушке.

Юрек все еще никак не мог оправиться от шока, и единственное, что ему пришло в голову,— вновь подойти к сидящей у бара парочке.

— Тысячу извинений, что оторвал вашего кавалера по столь незначительному поводу,— он с балаганными ужимками низко поклонился залетной девице. Но та, судя по всему, уже успела рвануть несколько бокалов шампанского и на паясничавшего протачка никак не среагировала. Юрек посерьезнел, повернулся, и в какую-то секунду Шу имел возможность наблюдать, как из задиристого петуха он превратился в побитую собачонку. Тут свет в зале погас, и на сцене появилась певица, лихо исполнявшая песенку о пяти картах, приносящих — кому счастье, а кому совсем наоборот. Когда она закончила, раздались аплодисменты, и на сцену выбежали девушки из танцевального ансамбля. Юрек едва успел добраться до столика Великого Шу, как начался самый интересный раздел программы — стриптиз.

Шу повернулся к потухшему Юреку.

— И что? — спросил он.

Тот горестно вздохнул:

— Я лучше его. Сильнее. Но что из того?! Я же говорю, деньги в покере тоже могут быть загвоздкой, причем главной. У него денег больше.

— Все правильно,— признал его правоту Шу.— Вот поэтому возвращайся-ка ты домой. Для твоего Лютыня у тебя денег достаточно.

Лидерша сбросила с себя прозрачную накидку прямо перед их столиком и осталась почти совсем обнаженной. Юрек нагнулся, поднял этот лоскуток материи и впился глазами в бюст девушки.

— Отсюда — в Лютынь? — прошептал он.

Прошло два дня, как Юрек Гамблерский вернулся в Лютынь. Как обычно, он дремал в своей «волге», стоящей на площади перед отелем. Вчера около вокзала его увидела Агнешка и сказала, что нужно

встретиться. Юрек согласился, отметив про себя, что после недели, проведенной им вне дома, лютыньская секс-бомба весьма сильно подутратила свою привлекательность в его глазах. Но заняться было абсолютно нечем, поскольку привлекательность утратила не только Агнешка, но и весь мир.

Перед ним притормозил «мерседес» Микуна. Кондитер посмотрел на Юрека пронизывающим взглядом, как бы ища ответ на мучивший его вот уже неделю вопрос, но, увидев сонное, глуповатое лицо парня, тут же отбросил все подозрения.

— Не было тебя? — в этом то ли вопросе, то ли утверждении все же содержалась доля подозрительности.

— К жене ездил, во Вроцлав, — чуть не вывихнув в зевке челюсть, невинно взглянул на него Юрек. Микун кивнул, достал из бумажника пятьсот злотых и протянул Юреку. Тот спокойно, без всякого удивления взял деньги, как будто Микун был его должником.

— Я буду тебе очень благодарен, если это дело, ну с жуликом, с гастролером, не разнесется по городу, — Микун испытующе заглянул Юреку в глаза.

— А что, разнеслось что ли? — обидой в голосе буркнул Юрек.

— За это вот я тебя и ценю, — успокоил его кондитер. — Так что в случае чего всегда можешь на меня рассчитывать.

Таксист благодарно улыбнулся, и «мерседес» умчался по своим делам.

Юрек неторопливо вынул свой кошелек, до краев набитый тысяче-злотыми бумажками, и с трудом засунул туда пятисотку. В его сознании Микун был уже трупом. Деться ему было некуда, поэтому Юрек и не спешил. Кроме того, городок маленький, все всё и про всё знают, так что казна Микуна за столиком для игры должна произойти как можно более тихо и буднично. Да и вообще это был уже пройденный этап.

Сколько у Микуна реально можно выиграть? Тысяч триста? Что это по сравнению с предложением сыграть на двадцать тысяч долларов? Два миллиона по ценам черного, то есть нормального рынка.

Тут пришла Агнешка, и они поехали за город. Остановились в лесочке. Агнешка сразу же стала приставать с какими-то делами и делиться планами на будущее, но Юрек решил прежде всего быть мужчиной и еще раз подтвердить, что секс — главное хобби его жизни, хотя именно сейчас этого почему-то не очень-то и хотелось.

Потом они лежали на предусмотрительном захваченном из дома пледе. Он, натываясь глазами на обнаженные фрагменты Агнешкиного тела, невольно сравнивал ее с Баськой

и с тем, что совсем недавно видел в «Виктории». Юрек никак не мог понять, куда девалась вся Агнешкина сексапильность, так возбуждавшая всех лютыньских мужчин, включая и его. А еще ему подумалось, что у него все-таки не самое редкое хобби на свете и лежащая рядом разомлевшая женщина вызывает в нем гораздо меньше страсти, чем расклад «каре» против «фула».

В полдень следующего дня Юрек опять приехал на стоянку. Агнешку он вчера оставил в деревне, у ее родни. Работы не ожидалось. С похмелья после ночного пьянства голова раскалывалась и неудержимо клонило в сон. Он приехал к столбику с надписью «Такси», как будто это было единственное место на земле, где он еще был нужен. Ни одного пассажира. Юрек подремывал, просыпался, окидывая мутным взглядом пустую площадь и засыпал опять. В жару туристские группы устремлялись на озера, так что пустовала даже городская гордость — кафе-кондитерская Микуна. Спала площадь, спал городок, а ведь всего двух-трех туристских автобусов было бы достаточно, чтобы вдохнуть в них жизнь. Не что подобное происходило и с Юреком. Он дремал лишь в ожидании импульса, способного пробудить его к деятельности.

После обеда к стоянке подъехал коллега Юрека по кличке Деревенщина и припарковал свой «фиат» рядом с «волгой». Юрек окончательно проснулся лишь тогда, когда тот открыл переднюю дверь и протянул руку:

— Здравóво!

Юрек молча пожал ее.

— Не было тебя. Ездил куда-нибудь? По делам?

Юрек сделал неопределенный жест, который мог означать все что угодно. Голова разламывалась, и выслушивать откровения приятеля хотелось меньше всего на свете, тем более что Юрек знал их наизусть. Жизненное кредо и вся философия Деревенщины умещалась в том, что «в такси, как на рыбалке: двое сидят рядом, ловят. Так у одного еле-еле клюет плотвичка величиной с козявку, а другой карпов по полтора кило таскает».

Коллега Юрека по профессии, видимо, прочитал на его лице мольбу хоть сейчас не делиться с ним своими откровениями и наблюдениями и в замешательстве умолк. Но тут же вынул из кармана две «красненькие» и повертел ими перед Юреком: — Смотри, две сотни. На «левом» курсе перепало. Могу рискнуть. Сыграем?

Юрек Гамблерский скосил глаз на грязные смятые бумажки, достал свое кожаное портмоне и раскрыл: оба отделения распирались толстыми пачками купюр по

тысяче złotych.

— Когда у тебя вот столько будет, тогда и сыграем.

— Не слабо. Со сберкнижки снял? На что? Новую тачку купить хочешь?

Юрек только начал раздумывать, что бы ему такое ответить, как тот увидел приближающегося к стоянке потенциального пассажира и поспешил к своему «фиату».

Юрек смотрел на деньги. Этот жест напомнил ему другой, точно такой же. Теми же были и слова, которыми Граф спроводил его из Варшавы в Лютын. Только сейчас перед ним со всей отчетливостью обозначилась пропасть, существующая между ночным баром со стриптизом в «Виктории» и замызганным сиденьем лютынского такси. Сам он находился где-то посередине: туда таким, как он, вход был заказан, а здесь жизнь утратила всю свою прелесть и смысл.

А ведь его место было там. Если бы у него было столько же денег, сколько у Денеля, он бы у него выиграл. Точно.

В раскрытое окошко просунулась чья-то физиономия.

— Свободен? — спросил мужчина.

Не говоря ни слова, с каким-то мстительным наслаждением Юрек завертел ручку, поднимающую стекло, нажал кнопку, блокирующую дверь, и в ту же секунду понял, что в голове у него уже сидит готовый, продуманный во всех деталях план, гениальная простота которого могла сулить только одно — удачу. Круг замкнулся.

«Волга» аж подпрыгнула, резко рванувшись с места.

Всей обстановки в маленькой, обшарпанной комнатенке с рваными обоями на стенах только и было, что два стула, стол, металлическая кровать с небранной грязной постелью и шкаф, дверцы которого были сорваны с петель, а потом кое-как вставлены обратно. В стене торчал гвоздь, на нем — деревянная вешалка, на которой висел вполне приличный серый костюм и чистая рубашка с галстуком. В квартирке было еще помещение, откуда невыносимо несло мочой, и крохотная кухня с газовой плитой. Весь пол кухни и ведущего в нее коридорчика был уставлен пустыми бутылками из-под водки.

Обитателем этого убогого жилища, типичного для новостроек в городах Силезии, был Кристиан Гамблерский, брат Юрека. Братья молча сидели друг напротив друга. Несколько лет назад они расстались, чуть не подрвавшись. У Кристиана были финансовые затруднения и связанные с этим неприятности. Он должен был внести в кассу футбольного клуба, где работал, пятнад-

цать тысяч złotych. За этим он и приехал к брату. У Юрека денег не было, но он же мог в любую минуту занять у кого угодно. Мог, но не стал этим заниматься, потому что старший брат особого доверия не внушал. Когда он увидел забытый пустыми бутылками коридор, то, кажется, догадался о причине его финансовых хлопот и про себя отметил справедливость своих тогдашних опасений насчет пятнадцати тысяч в долг.

Вообще-то, трезво рассуждая, у Юрека вроде бы не было шансов реализовать свой план. Кто-нибудь другой отказал бы ему наверняка. Но в жилах Кристиана текла та же самая кровь, что и у Юрека, — кровь старого Гамблера, самого предприимчивого кабатчика во всем городке. Юрек начал не сразу — он долго крутил вокруг да около, стараясь хоть чем-то заинтересовать Кристиана. Необязательные слова, ничего не значащие реплики. Все это время он с демонстративным укором рассматривал окружающую его нищету. В настороженном поначалу взгляде брата все более стал проступать оттенок неловкости. Юрек зашел в туалет, сплюнул и с отвращением подставил голову под струю ледяной воды из-под крана. Кристиан посмотрел на него, как на сумасшедшего.

— Дело есть, — решил наконец Юрек, после чего отжал руками мокрые волосы и опять сунул голову под кран.

Кристиан молчал.

— Сегодня правительство утвердит повышение цен на все изделия из золота. На сто процентов повышение, то есть в два раза подорожает. Только это, как ты сам понимаешь, тайна. Завтра ночью, с субботы на воскресенье, во всех ювелирных магазинах будет проводиться переоценка: новые ценники, то да се. Но это будет только завтра. Сегодня об этом еще никто не знает. Просекаешь ситуацию?

Кристиан молчал.

— Так ты понял или нет?!

— Я не понял, зачем ты башку под холодную воду суешь, — хмуро произнес Кристиан.

— Неважно, это мое дело. Я тебя спрашиваю, ты понял; что я тебе только что сказал?

— Ну понял. Золото подорожает.

— Так что?

— Пятнадцатую тысячами могу рискнуть, — в голосе Кристиана была явная издевка.

Юрек сделал вид, что намек больно задел его.

— Перестань. Кто старое помянет... Я тогда нехорошо поступил, факт. Но ты сейчас можешь оставить в покое прошлое и сосредоточиться на деле? Я ведь предлагаю бизнес. Денег можно заработать мешок.

— Зачем же такое выгодное дело ты предлагаешь мне?

— Если бы я тебе сказал, что только потому, что ты мой брат, ты бы не поверил и правильно бы сделал. Я приехал к тебе, потому что сам я никак не обойдусь, не получится. Только вместе с тобой. Ты работаешь казначеем в клубе высшей лиги. Я знаю, что это такое, поэтому и предлагаю тебе партнерство. А вот здесь уже начинает иметь значение и то, что мы с тобой братья. Лучше все-таки затевать серьезное дело с братом, чем с чужим, незнакомым человеком.

Кристиан продолжал угрюмо молчать. Предложение Юрека было каким-то странным и неопределенным, в нем наверняка был подвох, только он не мог понять, какой.

— Вряд ли у нас с тобой что-нибудь получится, — начал он не очень уверенно.

— Все получится, увидишь. Ты же сын своего отца, поэтому ты, может быть, подсознательно всегда крутишься около больших денег. Только деньги эти всегда не твои. Так вот теперь они могут стать твоими.

— Да?.. Интересно, как же это все будет выглядеть? — Что-то мешало Кристиану дать окончательный и решительный отказ.

— Я все беру на себя, но коли мы партнеры, расскажу тебе все детали. Дядька моей старухи работает директором ювелирного магазина в Кракове. Я с ним уже говорил. У него есть товар. До двенадцати завтрашнего дня я должен привезти деньги. Забираю товар, два дня держу его у себя, а в понедельник везу в комиссионку. Там тоже все схвачено. Сразу они мне могут выплатить половину стоимости золота. Но это уже будет после официального подорожания, сечешь? То есть ровно столько, сколько мы вложим в дело. А потом будем получать навар частями по мере того, как будет продаваться.

Все звучало настолько продуманно, четко и убедительно, что Кристиан вдруг заинтересовался предложением всерьез. Он посмотрел на Юрека и недоверчиво хмыкнул.

— А как ты предлагаешь делить?

Юрек вздохнул и плутовато ответил, как будто больше всего опасался именно этого вопроса. Он взлохматил мокрые волосы. Наступил самый важный момент разговора.

— Видишь ли, ты должен признать, что главная пружина во всем этом деле — я. Поэтому раздел будет такой: шестьдесят процентов мне, сорок — тебе.

В этих словах был заранее заготовленный крючок, на который Юрек очень рассчитывал, и Кристиан его заглотнул.

— Сучий ты потрох! — заорал старший

брат. — Я дам деньги, а ты себе спокойненько отслюнявишь шестьдесят процентов?!

Юрек стал вновь сушить руками волосы, чтобы закрыть лицо. Оно могло выдать его восторг: практически он своего уже добился.

— А ты как думал, тоже мне, умник! Я все это узнал, обдумал, договорился и даже проверну все от начала до конца сам. Ты ведь даже пальцем не шевельнешь! А хочешь за это как, пополам что ли?

Начались бурные препирательства, но, как и предвидел Юрек, центр тяжести был перенесен с маленького вопросика «да или нет?» на вопрос «как?». Именно к этому он и стремился.

Через полчаса они уже ехали к стадиону, под трибунами которого размещались дирекция и администрация клуба. Кристиан в своем «выходном» костюме совсем не походил на отшельника, живущего в грязной норе, как в скиту. Он выглядел приличным человеком, абсолютно заслуживающим доверия. Но ему уже осточертел весь этот маскарад. Ему приходилось почти ежедневно на несколько часов становиться обычным человеком, таким, как все. Дома он переодевался в лохмотья, выпивал ставшую уже обязательной «порцию» и в тупом алкогольном голоде ждал следующего дня, когда можно будет отработать и вновь вернуться домой. Денег на водку из зарплаты хватало на первую неделю. В остальные дни приходилось ежевечерне довольствоваться лишь четвертинкой. Да еще из-за этих четвертинок приходилось каждое воскресенье «натягивать» родной клуб на несколько билетов. Председатель клуба знал об этом, но считал, что такое мелкое мошенничество находится в рамках приличий. Жадность безукоризненно честного во всем казначея удивляла его и даже несколько забавляла. В клубе вообще давно сложилось мнение, что Гамблерский — жуткий скряга и жмот. Мнение это счастливым образом камуфлировало его алкоголизм, тем более что никто и никогда не видел его пьяным. По работе все всегда у Кристиана было в полном порядке, не считая того случая с пятнадцатью тысячами, которые он действительно потерял. Хорошее впечатление произвело и то, как он уладил это происшествие: тут же пришел к председателю и честно все ему рассказал. Разумеется, он должен покрыть недостачу из своих сбережений, но у него все деньги лежат в сберкассе на срочном вкладе под большие проценты. Если он их снимет, то в результате потеряет очень много. Поэтому он просит руководство клуба пойти ему навстречу и разрешить выплатить по частям. Это были слова солидного человека, с которым случилось несчастье, — а от него никто не застрахован, — и председатель

согласился.

Теперь же на золоте можно было прилично заработать и одним махом покончить с проклятым безденежьем. Он мог бы зажить нормально, не приворовывая и не мучаясь каждый раз, где бы достать денег. В голове успело даже пронестись, что время от времени он бы ходил в дорогой ресторан на пару рюмочек коньяка. Кристиан был убежден, что в состоянии самостоятельно приглушить, а в конечном итоге — преодолеть алкогольный голод, но именно для этого нужно было много денег. Сейчас же четвертинка каждый день была необходима.

По дороге Юрек то и дело высовывал мокрую голову в раскрытое окно. Кристиан не выдержал:

— Идиот, что ты делаешь?! Воспаление легких схватишь!

— Да тебе-то что? Я хочу немного простудиться. Так мне нужно.— И снова высунул голову.

В помещении клуба к Кристиану вернулись сомнения. Он посмотрел через окно на длинные ряды пустых скамеек стадиона. Риск был небольшой, но все-таки был. Юрек, очень точно оценив ситуацию, не дал ему одуматься:

— Не будь дураком! Сейчас не сезон, игроки из клуба в клуб не переходят, никаких сделок не совершается. Твоя команда в самой середине таблицы. Ни покупать, ни продавать матчи пока не нужно, так что кому вдруг могут понадобиться клубные деньги, да еще в уикэнд?!

«Все правильно»,— подумал Кристиан. Не существовало вариантов, при которых, скажем, в субботу кто-то мог потребовать открыть сейф с деньгами, ключ и печать от которого были у него. Но он попробовал еще раз успокоить себя:

— Так ты ручаешься, что деньги вернутся сюда в понедельник?

— Во вторник,— поправил его Юрек.— Я вернусь во вторник.

— Хорошо, а если правительство не утвердит повышение цен?

Младший брат развел руками:

— Я знаю, что утвердит, хотя я и не премьер-министр. Но предположим худшее: не утвердит. Получишь свои деньги назад. Те же самые купюры. Не заработаем с тобой ничего, вот и все.

— Ты пойми, что если... Ты не представляешь, что будет.

— Никаких если. Вопрос лишь в том, наварим мы с тобой или нет. И не надо меня предупреждать. Как-никак я твой брат.

— Ладно. Теперь выйди-ка на минуточку в коридор.

Юрек вышел, а когда вернулся, то увидел стоящий на столе железный ящик, доверху набитый банкнотами.

— Здесь полтора миллиона. Я тебе их

дам, если мне пойдет пятьдесят пять процентов.

Юрек смотрел на деньги, его лицо возбужденно горело, что Кристиан понял и расценил совершенно неправильно. Кто бы знал, каких усилий стоило Юреку выдать из себя совершенно необходимое для психологической достоверности:

— Нет!

— Я тоже не уступлю,— закончил Кристиан.

— Что-то в этом роде я и предполагал,— Юреку прекрасно удавалось сыграть и обреченность, и раздражение.— А что от тебя еще можно было ожидать?! От сыночка хитрого Гамблера?!

— Так ты согласен?— Кристиан все еще не мог поверить, что так легко одержал победу.

— Ты пользуешься возможностью иставишь меня в безвыходное положение,— сокрушенно произнес Юрек.— Согласен.

Братья ударили по рукам.

Укладывая в спортивную сумку пачки денег, Юрек подумал, что, наверное, сразу же поседел бы, если бы правительство в эти дни вдруг действительно повысило цены на золото.

Теперь на очереди был Микун, потому что клуб-то оказался фиговеньким: даже двух миллионов в кассе не набралось! По дороге в Лютень Юрек обдумывал стратегию поведения. Совсем недавно, Шу так крупно наказал кондитера, что вряд ли какая-нибудь сила могла заставить того сесть за серьезную игру. Вдобавок Юрек убедился, что проигрывающий Микун превращается в гангстера. Времени на такие забавы не было. И тут вместо сложных махинаций в голову пришло самое простое, подсказанное врожденным чутьем и умением разбираться в людях.

Он позвонил Микуну и договорился, что вечером зайдет. Пришел задумчивый, весь погруженный в себя. Микун никогда прежде его таким не видел, поэтому сразу же обратил на это внимание. Он усадил Юрека в кресло, как раз в то, где сидел Шу, и налил по рюмке коньяка. Ничего хорошего от этого визита он не ожидал, но сам разговор не начинал.

Таксист тянул коньяк и задумчиво посматривал в «синюю даль». Когда молчание перешло все принятые нормы, Юрек внезапно глубоко вздохнул, как будто только что прорснулся, извиняющимся взглядом посмотрел на хозяина и поставил рюмку. Затем поднял с пола сумку и тоже поставил на стол, после чего молча расстегнул «молнию». У Микуну отвисла челюсть. Такое количество денег произвело впечатление даже на него. Но, видимо, помня о своем печальном опыте

с Шу, он достал наугад несколько пачек и провел по ним пальцами. Нет, это были не «куклы», деньги были настоящие.

— Сложно все... — вздохнул Юрек. Микун смотрел на него, пытаясь хоть что-нибудь понять.

— Сколько здесь? — выдавил он из себя.

— Полтора, — отрешенно сказал Юрек.

Кондитер причмокнул губами. В голову полезли десятки вопросов, но он все-таки решил, что осторожность никогда не повредит.

Юрек еще какое-то время посидел, опустив голову и не отрывая глаз от пола, потом надтреснутым голосом изрек, как приговор:

— Мне нужно еще семьсот.

И хотя Микун теперь уже совсем ничего не понимал, он для себя твердо решил никаких денег не одалживать. Только вот сумка, в которой лежало полтора миллиона, все не давала ему покоя.

— Зачем тебе?

Юрек печально покрутил головой:

— Я понимаю, что это глупо, но я не могу сказать, а врать не хочу.

У Микуну лопнуло терпение:

— Ты хочешь одолжить у меня семьсот тысяч и даже не говоришь на что?! Потвоему, я похож на человека, который швыряет деньги направо и налево?

Юрек подавил глубокий вздох:

— Я все понимаю, но сказать не могу.

Микун даже вспотел от возбуждения — щенок позволял себе слишком много.

— Откуда у тебя такие деньги? — спросил он, немного успокоившись.

— От отца еще остались. Я как-то давно нашел припрятанную банку с золотыми долларами. А сейчас отвез их во Вроцлав и продал.

— Зачем? Только дурак продает такие вещи.

Юрек стиснул зубы. Вновь повисла тишина.

Микун налил еще рюмку и протянул Юреку:

— На, выпей.

Парень послушно взял рюмку и одним дыхом опрокинул в себя. Затем застегнул на сумке «молнию», снял со стола и поставил рядом с собой на пол.

— Мне так нужны эти деньги, что я даже подумывал, не сыграть ли с вами.

Микун замер.

— Ты хочешь сыграть? — спросил он осторожно, чтобы не спугнуть пребывающего в транс Юрека.

— Мне всегда хотелось сыграть с вами по-крупной, вы же знаете. Но сейчас я не могу. Я не имею права рисковать. Надо мной, к сожалению, висит дело.

— Так, может быть, ты выиграешь! — не унимался Микун.

— С «этажерками» предлагаете играть или без? — ехидно поддел его Юрек.

Микун вытаращил глаза.

— Ты!.. Ты! — больше ничего связного он вымолвить не мог.

Юрек спокойно пояснил:

— Я все видел. Я тогда был на балконе и видел, как вы исполняли «этажерку» и как тот взял карту с колена, а вам сказал, что вы ошиблись при сдаче.

Микун побагровел от злости:

— Видел и ничего не сказал?!

— А что я должен был говорить? Кому? Он жулил, вы жулили... Кроме того, вы меня и за человека-то не считали. Зачем мне было совать свой палец между дверьми?

Теперь глаза отвел уже кондитер. Он лихорадочно старался поточнее оценить сложившуюся ситуацию.

— Деньги мне нужны на три дня, самое большее — на четыре. Сделаю дело, верну вам долг, тогда и сыграем. Самое обидное, что дело-то верное, на сто пять процентов, иначе я бы не стал загонять доллары. Там верняк, а вот играть с вами — это бабка надвое сказала.

— Так что все-таки за дело?

— Не могу. Это касается не только меня. О себе — что угодно, а про это не имею права.

— Ну и я тебе не могу одолжить, — тяжело вздохнул Микун. — У меня просто нет свободных. Все вложено, все тоже в деле. Каких-нибудь полмиллиона наберется, но неужели ты думаешь, что я дам тебе пятьсот «кусков» просто так, без всяких гарантий с твоей стороны?

— Помните, совсем недавно вы мне сказали, что я могу на вас рассчитывать?

— Можешь, можешь, только за дурачка меня держать не нужно!

— Если дело только в гарантиях, то тут все очень просто. Мы хоть сейчас можем пойти к нотариусу: квартира, машина, мебель — все записано на меня. Быстренько составляем липовый договор, но со всеми печатями, — о том, что я продал вам квартиру и машину, а через три дня я верну вам деньги и мы эту бумажку порвем. Нотариусу я кину пару тыщенок, чтобы не сомневался и не колебался.

Микун вопрошающе вглядывался в Юрека и взвешивал в уме это дикое предложение. Конечно, в нормальной, обычной ситуации он никогда ни на что подобное не пошел бы. Но на полу, в сумке, лежало полтора миллиона, и они были настоящие. Своим нутром хищника он понимал, что из всего этого можно будет извлечь немалую пользу, причем в самом скором времени. Если хорошенько подумать, он ничем не рисковал. Наконец Микун решился и выдохнул:

— Хорошо. Я дам тебе полмиллиона под залог квартиры и машины.

Юрек неожиданно принял это как должное.

— Я всегда знал, что на вас можно положиться.

Нотариус Вавельский с интересом вглядывался в двоих сидящих по противоположные стороны стола мужчин. Он родился и вырос в этом городке и знал всех его обитателей. Микун был его постоянным и самым доходным клиентом, в нотариальной конторе у него всегда была масса дел. Нотариус Вавельский во всем, как говорится, шел ему навстречу, даже если какие-то операции Микун вызывали некоторое сомнение, как, например, с этим выставленным на аукцион домом. Одной юридической услуги Микун оплачивал чрезвычайно щедро. С аукционом все было понятно, а сейчас? Дело чрезвычайной странности. Что за ним кроется? Микун не могли интересоваться квартира и старая машина Юрека. Нотариус знал, что через несколько дней оба явятся к нему снова с просьбой аннулировать договор и он это сделает — порвет бумажку и положит себе в карман причитающуюся сумму.

Гораздо больше нотариуса интересовало другое. В свое время он хорошо знал отца Юрека, когда тот процветал. Потом началось строительство социализма, и старый Гамблер пропал, а его место и положение в городе занял Микун. Младший Гамблерский и Микун вместе — это было какое-то невообразимое сочетание: Вавельский переводил взгляд с обрюзгшего кондитера на молодого, задорного, хотя чем-то озабоченного Гамблерского. Они пришли вдвоем по одному делу, но нотариус был уверен, что все это до поры до времени и что рано или поздно они окажутся по разные стороны и станут врагами.

Вошла секретарша и положила на стол заполненные на машинке формуляры договора.

— «Гражданин Стефан Микун предоставляет в долг гражданину Ежи Гамблерскому сумму 500 (пятьсот) тысяч злотых сроком на...» — читал нотариус, поглядывая то на серое, помертвевшее лицо Микуну, то на брызжущие весельем глаза Гамблерского: молодой человек явно знал, что должно произойти дальше, и это наполняло его ликованием. Вавельский почему-то подумал, что дни Микуну сочтены. — Хм-м, — промышчал нотариус, закончив читать текст, — с правой точки зрения здесь все в абсолютном порядке, но должен признаться, что это один из самых удивительных договоров, которые мне когда-либо приходилось заверять.

— Это потому, что вы всю жизнь провели в Лютыне, — сверкнул глазами Юрек. — На свете еще и не то бывает.

— Да, да, конечно, — поспешно согласился юрист. — Если вы готовы, то прошу скрепить договор своими подписями.

Микун и Юрек расписались. Нотариус Вавельский пожал обоим руки и прошептал:

— Всегда к вашим услугам.

В полдень следующего дня Юрек Гамблерский сидел в баре отеля «Форум» и ждал своего кумира. Они расстались полчаса назад. Грынич забрал сумку с деньгами и поехал к знакомому валютчику, чтобы обменять их на доллары. Было еще рано, поэтому в баре был «мертвый час». Одинокие заспанные «девушки» пили кофе и за отсутствием других объектов мужского пола время от времени бросали взгляды на Малыша. Но Юреку было не до этого. Он курил сигарету за сигаретой и ждал. У него не было никаких сомнений, что Шу вернется с долларами, в голове даже не промелькнула мысль, что старый мошенник может его обокрасть. В сумке было два миллиона. Такое количество денег могло бы соблазнить любого, не то что профессионального обманщика и шулера. Уверенность Юрека основывалась на самой прочной на свете вещи — магии мужского взгляда, который сразу определяет, есть ли в собеседнике хоть какой-то бог. Кто хоть раз в жизни ощутил себя мужчиной под взглядом другого мужчины, тому не нужны никакие дополнительные гарантии.

В поезде, по дороге в Варшаву, Юрек обдумывал способы, которые обеспечили бы ему безопасность при обмене денег, так как все валютчики наверняка были проходимицами. В кармане у него лежал нож с выскакивающим лезвием, и он бы не задумываясь при необходимости пустил его в дело. Не могло быть и речи о том, чтобы его деньги хоть на секунду оказались в чужих руках. Надо было предусмотреть огромное количество самых разных мелочей.

В столице Юрек быстро добрался до «Форума». Он вошел в номер и небрежно бросил раскрытую сумку на пол. Петр Грынич взглянул на выпавшие пачки денег и с удивительным спокойствием констатировал:

— Итак, ты хочешь стать Великим, Шу.

Вот тогда они и посмотрели друг другу в глаза. Впервые в жизни Юрек ощутил себя настоящим мужчиной — как оказалось, до сих пор он просто не знал, что это такое. После обмена такими взглядами все мелкие подозрения и глупые соображения отпадают сами собой. Да, он хотел стать настоящим Шу — ведь место освобождалось. Великий Шу — Петр Грынич практически отошел от дел, и теперь Юрек поставил его в безвыходное положение. Петр должен был сделать последние мазки, чтобы его незаметная прежде работа обрела плоть и родился бы новый бог игры.

Ни слова не говоря, Шу снял телефонную трубку, набрал номер, бросил несколько отрывистых фраз, затем повернулся к Юреку:

— Ты хочешь при этом присутствовать?

Юрек мотнул головой.

— Я посижу в баре.

Великий Шу удовлетворенно кивнул, ска-

зал в трубку: «Минут через двадцать» — и отодвинул от себя телефон. Они вышли из номера. Шу с сумкой в руках направился к дежурившим у отеля такси, а Юрек — в сторону бара.

— Я буду минут через сорок, — улыбнулся ему на прощание, Шу.

Юрек кивнул и пошел в бар.

Недавно проснувшиеся девицы, смахивающий на манекен бармен и похмеляющийся знаменитый спортивный журналист. Взгляды всех при появлении Юрека наполнились ледяным удивлением. Шоферская куртка и вытертые на заднице брюки воспринимались здесь, с одной стороны, с негодованием и одновременно со смешком: шоферюга перепутал и вместо пивной залетел в бар, где у него от цен глаза на лоб полезут. Юрек усмехнулся про себя: через несколько часов весь этот жалкий и надменный мирок упадет к его ногам.

К главному входу «Форума» подъехало такси марки «мерседес» с таким узнаваемым даже издали силуэтом Великого, Шу внутри. Он сидел рядом с шофером. Юрек затушил в пепельнице только что зажженную сигарету и щелкнул пальцами проходившему мимо официанту, который нес телефон к столику, где сидели две девушки.

В дверях появился Шу с небольшим чемоданчиком вместо сумки, увидел Юрека, насмешливо ему подмигнул и исчез.

Юрек хотел расплатиться с официантом и обнаружил, что у него трясутся руки. Он со злостью швырнул на стол бумажку в пятьсот золотых и, минуя склонившегося в глубокое поклоне официанта, невольно подумал: «А что бы это животное изобразило за тысячу?» Сделав несколько шагов, Юрек ощутил, что у него дрожат не только руки, но и ноги, а спина покрыта холодным потом. Только теперь, когда опасность миновала, он с ужасом осознал, что свободно мог остаться без денег. «Загипнотизировал меня этот старый черт что ли? Ведь он же мог преспокойненько уехать навсегда. Страшно подумать, что бы тогда было», — пронеслось в голове.

Но как только он увидел поджидающего его в холле Шу, все остатки запоздалого страха улетучились, Шу при виде его соорил комичную гримасу, а Юрек поднял вверх сжатые кулаки, как футбольный болельщик, когда его команда забивает гол.

В номере Грынича Юрек долго сидел перед распахнутым чемоданчиком и наслаждался видом уложенной рядами «зелени». Наконец восторженно произнес:

— Шу! Как неплохо смотрится, а?!

Затем закрыл чемоданчик, дернул несколько раз носом и сел за стол перед Петром,

который с аппетитом уплетал завернутую в ресторанный салфетку холодную куриную котлету. Юрек вынул из кармана новенькую колоду:

— Шу, хватит жевать! Раздай.

— Угу, — промычал Петр набитым ртом. — Потасуй сам.

— Уже, — подмигнул ему Юрек.

— Подними, — Петр куснул котлету.

— Допустим, снято, — Юрек шмыгнул носом.

Шу захихнул в рот остаток котлеты, вытер салфеткой губы и руки, взял колоду и сдал по пять карт. Юрек сбросил две, Шу тоже. Прикупили новые. Шу выложил на стол тузовое «каре».

— Я не выиграл? — поинтересовался он.

Юрек еще раз шмыгнул носом и стал медленно выкладывать на стол карту за картой. Он разложил их так, что были видны тrefовые король, дама, валет и десятка. Пятая карта была прикрыта этими четырьмя.

— И-эх! — победоносно рявкнул Юрек и открыл пятую карту. Это была девятка тref. У Юрека был «стрит» по масти, то есть покер — самая старшая комбинация в игре с тем же названием.

— Не слишком нагло? — спросил он.

— Для Денеля? — простодушно вскинул брови, Шу. — Нет. В самый раз.

Юрек сложил карты.

— Во время игры я ему продемонстрирую весь свой арсенал: что-то помечу, что-то загну, с колена сыграю — путь ловит, если сможет, пусть штрафует. Подожду, пока он разогреется, и все решу одной сдачей. Вот этой. Всажу ему свою колоду. Как, ничего?

— А как ты собираешься это сделать? — спросил, Шу.

Юрек набрал в рот воздуха, достал из кармана носовой платок, прикрыл им нос и рот, после чего громко чихнул.

— Будь здоров! — сказал Грынич.

Юрек старательно вытер нос и вдруг резко протянул вперед руку, раскрывая платок. В нем лежала колода карт.

— Спасибо! — поблагодарил он.

Шу внимательно смотрел на карты.

— Графу в голову не придет, что я, ваш ученик, самого Великого, Шу, буду брать его на такой свиный номер. Правда же?

Шу кивнул.

— Неплохо, неплохо. Молодец. Наиболее эффективными всегда оказываются именно вот такие, простейшие фармазонские штучки. Граф будет ждать от тебя чего-то другого.

Юрек задрал руки над головой и радостно потянулся, перегнувшись через спинку стула.

— Я же его предупредил, что побираться пушу. Шу еще раз неопределенно кивнул и достал еще одну котлету, тоже завернутую в салфетку.

Ровно в десять часов утра Великий Шу и Малыш распахнули стеклянные двери холла в отеле «Виктория». Вечером предыдущего дня Юрек обсудил с мастером все подробности своего решающего удара по Денелю, а потом долго упражнялся. Спустя какое-то время Юрек менял колоду, лежащую посередине стола, на свою в сотые доли секунды. Взятый им на вооружение маневр был хоть и примитивным, но такое откровенное начальство при совершенстве исполнения могло принести успех, так как Граф тоже был человеком и после нескольких часов игры мог стать менее внимательным.

Ночью Юрек спал не более трех часов. Перед этим Шу показал ему еще один приемчик, окончательно выбивший его из равновесия. Его главным достоинством была неслышанная простота, так что непосвященный не мог заметить абсолютно ничего. Когда Юрек это увидел, у него подкосились ноги и он понял, что Шу действительно гений.

Весь фокус состоял в умении запомнить десять карт подряд. Во время манипуляций Грынич с картами Юрек как раскрыл рот, так его и не закрывал.

— В колоде для игры в покер вдвоем тридцать две карты,— тоном университетского профессора излагал Шу.— После каждой игры, окончившейся вскрытием соперников, на столе лежат десять открытых карт. Это почти треть всей колоды. Если следующая сдача твоя, то можешь исполнить вот такой номер. Нужна только хорошая память: тебе придется запомнить порядок, в котором лежат эти десять карт.

Шу сдал карты и открыл их.

— Смотри. У тебя — семерка пик, дама треф, валет червей, валет пик и валет бубей. У меня — десятка червей, туз червей, дама пик, туз бубей и дама бубей. Непринужденно, небрежно, не смотря на карты, я сгребаю их со стола и кладу в самый низ колоды, сначала твои, потом — свои. Тасую карты. Смотри внимательно: я создаю у тебя иллюзию, что тасую всю колоду, хотя на самом деле нижние карты я не трогаю и перемешиваю только верхние. Десять нижних карт так и остаются нетронутыми и лежат в том же порядке, в каком я их запомнил. Теперь даю тебе поднять. Над известными мне десятью картами лежат двадцать две другие. На, сними.

Юрек ткнул пальцем примерно посередине колоды.

— Так,— продолжал свою лекцию Шу.— На глазок ты поднял сверху от пятнадцати до двадцати карт. Теперь они внизу. Значит, над моей десяткой карт лежат еще семьдесят посторонних. Не будем гадать, сейчас все увидим. Я раздаю на двоих и смотрю свои карты. Ты держи свои закрытыми. Итак, что у меня? Десятка бубей, туз пик, дама

треф, валет пик и десять червей. Я немного не угадал. Ты поднял сверху не пятнадцать карт, а восемнадцать. Но это не имеет никакого значения и не меняет дела. Из пяти твоих карт я знаю три: семерку пик, валега червей и валега бубей. Теперь сбрасываем карты и прикупаем. Тебе сколько?

Кроме отгаданных Петром карт у Юрека были еще семерка и восьмерка.

— Мне три,— Юрек сбросил свои карты. Шу улыбнулся и наставительно продолжал:

— Ты снес три карты, и я догадываюсь, что ты прикупаешь к двум оставленным валам. Не сдавая, я уже знаю, что ты купишь: туза червей, даму пик и даму бубей. У тебя на руках комбинация «две пары»: два валега, две дамы и еще туз червей. Из тех десяти карт, что я запомнил, в колоде еще остался только туз бубей. У себя я оставил две десятки и туза, а две карты снес. Я наверняка прикупаю одного туза и еще какую-то карту, мне неизвестную, но она меня и не интересует. У меня уже два туза и две десятки. Это старше, чем твои два валега и две дамы. Я знаю твои карты, и это самое главное, понятно тебе?

— Но не всегда же вам так удачно поднимут,— резонно заметил Юрек.

— Конечно. Я могу знать две твои карты, одну, три или четыре. В любом случае я добился преимущества над тобой, потому что я знаю, а ты — нет. Как-то я тебе говорил, что при длительной игре достаточным бывает преимущество в пятьдесят один процент.

— Да, правильно,— признал Юрек, так и не найдя слабого пункта в методе Шу.

— Через пару недель этим можно овладеть,— заметил Шу и хитро улыбнулся.

— Так я ведь уже умею, разве нет?.. — растерянно спросил сбитый с толку Юрек.

Шу негромко присвистнул:

— Ты так думаешь? Возьми десять случайных карт, брось на них только один взгляд, затем собери и скажи, в какой очередности они лежат.

Проделав все это, Юрек с удивлением обнаружил, что он в состоянии правильно запомнить и отгадать только четыре карты, еще две он помнил, но очередность их назвать не мог, а об остальных нечего было и говорить.

— Я тебе назвал срок — две недели. А показал я тебе номер затем, чтобы им в игре не воспользовался Денель, чтобы ты это знал.

— Он тоже этим пользуется? — спросил Юрек.

— Не знаю. На всякий случай нужно иметь в виду, что он может это знать.

— Ясно. На его сдаче буду предельно внимательным.

Шу одобрительно кивнул головой.

Из-за этого проклятого номера Юрек не

спал почти всю ночь. До шести утра он тренировал свою память. В конце концов ему удалось добиться того, что он безошибочно мог назвать все десять карт, но утром, когда он проснулся, оказалось, что все это было во сне или в полусне. Наяву же его умение ограничивалось шестью, редко семью картами, так что в игре с Денелем этот замечательный фокус вряд ли можно было использовать.

Шу разбудил его в половине десятого, и прямо с утра началось его бессвязное занудство:

— Ты знаешь, человек иногда совершает какие-то поступки, которые на первый взгляд могут показаться странными, — на самом же деле в них бывает заключен глубокий смысл, но это становится понятным лишь потом.

— Я не понимаю, это вы про что? — спросил Юрек чихая.

— Запомни, что я искренне испытываю к тебе симпатию, и раз уж ты выбрал свой путь, я хочу тебе только добра.

— Я знаю, я это чувствую, — буркнул Юрек, но прервать дурацкий монолог ему не удалось.

— Бывает, правда, что все это обретает несколько непривычные формы. Так вот, сегодняшняя игра — может быть, самая важная игра в твоей жизни. Старайся все понять и постарайся все понять правильно.

— Я постараюсь, — обещал Юрек, кашлянув, чихнув и высморкавшись.

Они спустились в холл.

Денель стоял рядом с портье, держа в руках телефонную трубку. Увидев их, он закончил разговор и направился к «Певексу»*. Юрек и Шу — следом.

— Я помогаю тебе, как когда-то один человек помог мне. Только после этого, самого главного урока я стал тем, кем я стал. Постарайся извлечь из сегодняшнего спектакля максимальную пользу. Человек по-настоящему силен только тогда, когда ему нечего терять. Пройдешь через это — станешь человеком.

Но Юрек его не слушал — все его внимание было сосредоточено на спине идущего в нескольких метрах впереди Денеля.

— Ладно, Шу, хорошо. Все в порядке. Я обдумаю, только попозже, договорились? Извини, мне нужно сосредоточиться, собраться.

— Больше всего меня беспокоит, чтобы у тебя от избытка эмоций ум за разум не зашел, чтобы шайбы в головке местами не поменялись. Постарайся запомнить и понять хоть что-то из того, что я тебе сейчас говорю.

Денель отошел от кассы и подал чек продавщице. Та уложила в фирменный пакет десять новых колод и с улыбкой подала по-

купку. Денель, даже не оглянувшись на Юрека и Шу, быстрым шагом вышел из магазинчика и подошел к лифту. Учитель и ученик шли в четырех шагах сзади, не спуская глаз с пакета с надписью «Певекс». Юрек знал, что его может ожидать, утратить он хоть на секунду бдительность.

Они все вместе вошли в просторный лифт, поднялись на третий этаж и прошли по коридору в снятый через подставное лицо номер. Закрывая дверь, Шу выглянул в коридор и повесил на ручке трафаретный гостиничный плакатик, на котором был изображен смешной толстяк, приложивший к губам палец.

За столом Денель выложил справа от себя две стопки запечатанных карт и раскрыв свой «кейс». Внутри ровными рядами лежали пачки зеленых банкнот. Шу взял наугад несколько пачек и, разорвав упаковку, проверил — не «куклы» ли. Денель лишь иронически усмехнулся, протянул руку и сделал то же самое с деньгами Юрека.

Разыграли сдачу. Первому сдавать выпало Юреку. Он вытер платком распухший от насморка нос и присвистнул, но вышло не очень-то удачно.

— Через пару часиков кто-то засверкает голый задницей. Интересно вот, кто? Ничего, скоро узнаем, недолго осталось мучиться.

Денель от такого рубашечного юмора и простецких прибауток даже не поморщился. Он был весь внимание и напряженно следил за руками Юрека, тасующего карты.

Покерное сражение началось в четверть одиннадцатого и должно было продолжаться до окончательного результата, то есть до того момента, когда один из соперников останется без денег. В первую же сдачу Юрек выиграл триста двадцать долларов. В картах у него хрен ночевал — пять разных. Чтобы сбить Денеля с толку, он сменил всего одну и затем дважды давал под него дальше. Наконец Граф не выдержал и бросил карты. Все наставления Великого Шу насчет главных принципов покера вдруг ожили в голове Юрека с необычайной четкостью. Он вспомнил, какое значение придавал мастер «войне нервов», поэтому, сгребая деньги, как бы незначай бросил свои карты на стол так, что они открылись, и Денель не мог не увидеть, что у Юрека не было даже пары. Малыш с удовлетворением отметил, что на лице противника появилось злое, нервное напряжение.

В течение первого часа игра шла с переменным успехом, потом удачная полоса пошла у Денеля, и в какой-то момент он выигрывал более двух тысяч. Отыгрываясь, Юрек стремился не столько иметь на руках хорошую карту, сколько вывести Графа из себя. Он еще раз убедился в справедливости

* «Певекс» — сеть магазинов с товарами за валюту, аналог «Березки».

слов Шу, что раздражение — главный враг любого игрока в покер и нужно стараться привести противника именно в это состояние. Сначала Юрек симулировал игру «с колена», которая сводится всего-навсего к тому, что игрок ловко прячет где-то парочку карт (чаще всего действительно на колене) и при обмене имеет таким образом гораздо большую возможность выбора: он набирает комбинации уже не из пяти карт, а из семи. Прием этот считается подзаборным — ниже падать некуда и к тому же хорошо известен всем, кто хоть когда-нибудь жулил в карты. Рассчитывать на него в игре с Денелем было бы глупо. Но Юрек только имитировал игру «с колена». Каждый раз, вытерев платком нос и кладя его обратно в карман, он на несколько секунд задерживал руку где-то под столом в районе бедра. Денель нервно доигрывал партию и немедленно начинал пересчитывать карты. Их всегда оказывалось ровно тридцать две. Денель ничего не понимал и раздраженно смотрел на Юрека. Но Малыш знал, что делал.

Вскоре он «освежил» свою игру новым элементом. Сдавая карты, он держал их в руке таким образом, что можно было подумать, будто к ладони приклеено крошечное зеркальце, каким пользуются дантисты. Это дает возможность знать, какие карты получил соперник. Денель выдержал две такие сдачи, в которых Юреку, кстати, пофартило, и он выиграл около полутора тысяч, а в третий раз внезапным резким движением схватил Юрека за запястье и с силой ржал ладонь с картами. Никакого зеркальца там не было, а карты рассыпались по столу. Юрек взглянул на перекошенное злобой лицо Графа и спокойно объявил:

— За то, что вы рассыпали карты, я вас штрафую.

В «пульке» лежало двести долларов. Денель, ни слова не говоря, доложил еще две сотенные купюры. Пользуясь моментом, когда противник выведен из равновесия, Юрек рискнул и в самом деле сыграть «с колена». Две сдвинутые локтем на край стола, а затем сброшенные на колени карты счастливым образом дополнили «фул», состоявший из трех семерок и двух восьмерок. Когда Денель его вскрыл, в «пульке» было три тысячи. Граф в ярости швырнул на стол трех тузов. Юрек сгрел доллары.

— Идите ко мне, ребятки, вам здесь будет поуютнее, — закудахтал он, надеясь, что подобные присказки коробят нежный слух Графа.

Денель задумался, затем собрал карты и раз уже, наверное, в десятый стал их пересчитывать. В первую секунду Юрек похолодел, но тут же легким движением ноги сбросил карты на ковер и осторожно, стараясь, чтобы туловище даже не шевельнулось, стал

по очереди отодвигать их ботинком от себя как можно дальше.

Денель закончил считать. В колоде было тридцать карт. Он триумфально посмотрел на Юрека, но тот заботливо раскладывал перед собой деньги, совершенно не интересуясь тем, что делает соперник. Сбитый с панталыку Денель откинулся назад и заглянул под стол. Между его широко расставленными ногами лежали две карты. Юрек тоже нагнулся и взгляды противников встретились под столом.

— У вас карты упали, — заметил Юрек, шмыгнув носом, покачал головой и добавил: — Может быть, возьмем новую колоду?

Денель закусил губу. Протестовать, доказывать недоказуемое и выставлять себя в глупом свете не хотелось, хотя он проиграл «пульку» в три тысячи. Он молча поднял с ковра карты, распечатал новую колоду и закурил.

— По рюмочке? — предложил сидевший в глубине комнаты на диване Шу.

Денель кивнул. Шу наполнил три рюмки, две поставил на стол, а сам вернулся на свое место, откуда, потягивая маленькими глотками «Курвуазье», наблюдал за тасующими картами руками.

Все шло по плану.

Великий Шу сидел у маленького столика, заставленного всевозможными бутылками, соками и кока-колой. Впервые за последний, может быть, десяток лет его волновала игра, да еще игра, в которой он сам участия не принимал. Он пил рюмку за рюмкой, и сердце колотилось, как в юности. Разумеется, такой прилив чувств вызывал в нем не конечный результат происходившей за столом дуэли. Результат он знал. Великий Шу наблюдал за талантливыми маневрами молодого человека, прицепившегося к нему, как репей, еще в какой-то провинциальной глуши и таскавшегося за ним и во Вроцлаве, и вот теперь в Варшаве. Надо отдать ему должное — он своего добился. Необходимо иметь в себе нечто большее, чем просто интерес к картам или желание выиграть, чтобы с такой страстью отдаваться игре, в которой можно проиграть все, а выиграть лишь деньги. Петр делал, что мог, чтобы отвести молодого человека от карт, — не действовало. Видимо, невозможно повернуть в другую сторону то, что предопределено судьбой. Сейчас же смешной мальчишка на его глазах превращался в Шу, настоящего Шу с большой буквы. Предположения переходили в уверенность. Петр Грынч уже знал: именно вот этот простоватый с виду паренек в скором времени будет лучшим игроком в этой стране. Соблюдались все необходимые условия, в единый клубок сплелись все нити, чтобы родился преемник, достойный своего учителя. Но решающий миг был еще впереди.

Петр пил рюмку за рюмкой, чтобы заглушить охватившее его беспокойство. Нет, он сомневался не в себе и не в правильности своего выбора, он сомневался в Юреке, которого один удар мог вознести на недосягаемую для других высоту, но легко мог и уничтожить. Петр слишком хорошо помнил свою молодость и тот миг, когда он лежал в зарослях, уткнувшись лицом в мокрую землю, и с холодной, спокойной яростью шептал сам себе: «Я один на всем свете. Мне не поможет никто. Мне нечего терять, поэтому я сильнее всех». Малышу еще предстояло это прошептать. Петр только боялся, сможет ли он так же четко и сразу все сформулировать.

После трех часов игры деньги стали уплывать в другую сторону. Юрек, разумеется, заметил, что Граф все выигрывает и выигрывает, но в чем дело, понять никак не мог. Когда же при солидной «пулке» на сдаче Графа он сразу получил на руки как нарочно уложенный «стрип», то, почуяв опасность, даже не стал вязываться в паролитование, а бросил карты, как будто у него ничего не было.

От былой уверенности в себе не осталось и следа, но Юрек тут же взял себя в руки, стараясь определить причину такого везения. Сам он последнюю удачную игру сыграл полчаса назад. Граф тогда довольно примитивно пометил тузов. Юрек на это внешне никак не среагировал, спокойно проиграл две средние «пульки», а за это время нанес точно такие же фальшивые пометки на семерки и восьмерки. Граф разохотился, вошел во вкус, удвоил ставки, сыграв под Юрека втемную, и прикупил к своим двум тузам не двух тузов, как рассчитывал, а семерку и восьмерку. Поняв, в чем дело, он даже не пробовал блефовать и как-то спасти лежавшие в «пулке» две с половиной тысячи. Еле сдерживая проклятья, Граф зашвырнул всю колоду в дальний угол комнаты и распечатал новую.

Теперь же его удачная серия продолжалась безостановочно, и Юрек, как ни старался, ничего не мог заметить. Он весь внутренне собрался и переключил внимание с «рубашек» карт на самого Денеля. Все вроде было в порядке, за исключением одного штриха: руки Денеля проявляли несколько неестественную нетерпеливость. Юрек посмотрел на застывшее в напряжении лицо соперника, а потом стал демонстративно разглядывать его руки, которые неподвижно пролежали под этим взглядом на столе несколько секунд, но потом чуть заметно дернулись раз, другой... Нет, так ничего Юрек и не заметил — руки как руки, но в глаза Денелю он теперь заглянул с такой всепонимающей усмешкой, что тот сначала непонимательно сжал пальцы, а затем стиснул их в кулаки. Юрек взял несколько карт и стал разглядывать их, повернув «рубашкой» к яркому сол-

нечному свету. Еле заметные наколки на нескольких картах, нанесенные чем-то острым, наконец-то прояснили ему причину нервозности своего соперника. Судя по всему в ноготь Графа был вставлен микроскопический обломок лезвия. То, что он применил это оружие так поздно, спустя три часа после начала игры, свидетельствовало о том, что это был один из главных сюрпризов Графа, и вероятно, на это оружие он очень рассчитывал. Юрек с облегчением рассмеялся, пошарил в карманах и достал пилочку для ногтей. Он протянул ее растерявшемуся Графу с открытой издевкой:

— Прошу!

Тот поблдевел и нервно забарабанил кончиками пальцев по столу, не зная, как быть дальше. Юрек негромко, но залихватски присвистнул, весело взглянул на Шу и решительно объявил:

— Новую колоду, пожалуйста. Я сразу прохожусь тысячей втемную.

Шу взял в руки бутылку шампанского.

Денель покорно и виновато ответил «штукой» втемную и, не меняя выражения лица, дал под Юрека еще три. Класс есть класс. Юрек удивленно свистнул погромче и ответил тем же. Продолжать эту безумную гонку, да еще до того, как сданы карты, Денель не рискнул и сделал Юреку жест, который должен был означать: «Тасуй и сдавай». Он внимательно следил за руками Юрека, когда тот мешал карты и положил колоду на стол, давая подсыхать. Денель сдвинул несколько верхних карт. Юрек чихнул, достал платок, вытер нос и протянул руку за колодой. В этот момент громко стрельнуло теплое шампанское. Оба игрока вздрогнули, а Денель резко повернул голову в сторону Шу. Этой доли секунды Юреку хватило с избытком. Поднятые Денелем карты легли в боковой карман куртки, а посреди стола красовалась подготовленная Юреком колода.

Шу разлил шампанское и с бокалами подошел к столу.

— Если по тысяче долларов дают втемную, а по три проходятся, еще не раскрыв карты, значит игра пошла серьезная. За такую игру не грех и шампанского выпить.

Денель взглянул на лежащие посередине стола карты, с недовольным видом взял бокал и едва помочил в вине губы. Малыш уже знал, что выиграл. Внутри у него все пело и искрилось, как это прекрасное шампанское, которое он медленно и с наслаждением выпил до дна, закинув назад голову и полукрыв глаза. Он оставил пустой бокал, взял карты и раздал.

Как ни старался Денель казаться равнодушным, его возбуждение выдал легкий румянец на щеках. Юрек знал причину этого румянца.

— Меняю,— слишком уж спокойно огла-сил Денель.

— Сколько карт? Три? Четыре? — Юрек полностью овладел собой и разыгрывал эту «пульку», как и многие предыдущие, с бесшабашной, бесцеремонной развязностью.

— Две,— бросил Денель как отрезал.

Себе Юрек тоже прикупил две карты. По дворовой еще привычке одну купленную карту он положил наверх, вторую — вниз и осторожно одним глазом взглянул на нее. Это была девятка пик. Он положил карты перед собой и с интересом стал наблюдать за Денелем, тоже по одной открывавшим купленные карты. Сначала Граф побледнел, затем пошел какими-то пятнами и вновь побелел. Глядя остекленевшими глазами куда-то поверх Юрека, он левой рукой подвинул лежащие перед ним деньги в центр стола и хрипло выдал из себя:

— На все!

Юрек, продолжая дурачиться, тут же подхватил:

— Конечно! Правильно! Чего часами мучиться?! Раз-два, трах-бах, одна «пулька», и все станет ясно, кто пойдет побираться. Я вас вскрою.

Денель аккуратно выложил на стол четырех тузов.

Малыш залился счастливым смехом:

— Шу, ты только посмотри! Как будто кто-то нарочно подмешал: тузовое «каре» против покера!

С обожанием глядя на Великого Шу, Малыш веером бросил на стол свои карты: девятку пик, десятку пик, валета пик, даму пик и короля червей. Но он еще этого не видел. В эйфории он даже не заметил, что взгляд Великого Шу, впервые при нем надевшего очки, из добродушного стал холодным и серьезным. Лишь голос Графа вернул его на землю:

— Ты, мой мальчик, дальтоник.

Все еще смеясь, Юрек посмотрел на него, а потом на свои карты. В уложенном им самим несколько часов назад пиковом покере торчал неизвестно откуда взявшийся червовый король.

Денель открыл свою пятую карту:

— Пиковый король у меня.

Юрек перевел взгляд со своих карт на карты Денеля и ничего не понимал, но в горле уже начинали зарождаться булькающие звуки, которые потом сольются в глухой стон отчаяния. Тщательно, во всех деталях подготовленный финт не прошел. Каким-то образом перескочила одна карта, то ли во время сдачи, то ли еще раньше, когда он складывал четырех тузов Денелю и покер себе. Юрек умоляюще посмотрел на Великого Шу, но вид у того был отстраненный и неприступный.

— Как же так?..— пролепетал Юрек.—

Что же это такое, Шу?!

Шу поправил очки, в которых он окончательно стал похож на профессора, преподающего в университете римское право, и зло сказал:

— Это покер. Понял теперь? Если не понял, то проваливай в свой Лютыннь, сиди там всю жизнь, как мышь, и не высовывайся.

— Шу-у-у!..— завыл Малыш. Из него градом брызнули слезы, но он их не замечал. Казалось, сотрясавшие его рыдания отняли остатки сил. Едва не зацепив ножки падающего под ним стула, он последним, слабым рывком устремился к предусмотрительно открытой кем-то двери.

Коридор поплыл перед глазами. Шатаюсь, Юрек прислонился к стене. Он часто раскрывал рот, стараясь глотнуть хоть немного воздуха, как выброшенная на берег рыба. К нему подошел мужчина в бежевой униформе:

— Вам плохо? Врача, может быть?

Малыш покрутил головой.

В гостиничном холле проснулась профессиональная подозрительность:

— А вы, извините, из нашей гостиницы? Проживаете?

Юрек покачал головой еще раз.

— В таком случае попрошу, пожалуйста, пройти!— он решительно нажал кнопку вызова лифта. В холле бдительный представитель обслуживающего персонала проводил его до самых входных дверей.

Улица была залита ярким летним солнцем. Его отвратительный резкий свет больно резал глаза. Внутри иголкой сидела опустошающая боль, но анализ своей ошибки и всяческие самокопания он оставлял на потом. Сейчас же в нем вдруг забродило неясное ощущение, что он обязательно должен что-то вспомнить и только это позволит спастись и не сойти с ума.

Оглушительный визг тормозов окончательно вернул его к действительности. Малыш поднял голову и в нескольких метрах от себя увидел отчаянно сопротивляющийся асфальту корпус автомобиля. Он сгруппировался для совершенно уже безнадежного прыжка и тут же почувствовал удар.

Как только Юрек выбежал из номера, Денель стал упаковывать деньги. Сначала — пачки Юрека, потом — свои. Некоторые из них все же оказались «куклами», но этого Малыш увидеть уже не мог.

— Теперь щенка долго к столу не потянет,— дернул уголками губ Граф.

Шу промолчал и с рюмкой коньяка в руке подошел к окну. Его вновь охватило чувство неуверенности и беспокойства. Ведь могло случиться и так, что Юрек не понял бы урока. Шу сделал для него все — большего

он сделать не мог. Но сделал ли он из него настоящего Шу?

В окно он увидел, как Юрек выбежал на улицу и как на него с огромной скоростью летит «полонез». Шу закрыл глаза и отвернул от окна голову. Он почувствовал, что из прикушенной нижней губы пошла кровь, и мельком опять взглянул в окно. Безжизненное тело паренька катилось по асфальту по направлению к площади Победы. «Вот, значит, все-таки какой конец написан ему в книге судеб», — подумал он и вдруг понял, что не может шевельнуть ни рукой, ни ногой, как будто все тело было парализовано. Но такая реакция Петра была преждевременной. Спустя несколько секунд он увидел, что неподвижно лежавшее тело дернулось. Малыш оперся на руки, встал на четвереньки и пополз. Сверху это выглядело так, как будто Юрек карабкался на высокую гору. Он попробовал подняться, зашатался, нелепо взмахивая руками, но все же удержал равновесие и встал.

Шу одним махом опрокинул в себя рюмку.

Юрек сделал шаг, другой. Можно было подумать, что он смертельно пьян. Его качало из стороны в сторону, но он упорно шел и шел, будто единственной целью его жизни было достичь площади Победы.

Петр рухнул в кресло и протянул руку за пузатой бутылкой. Сейчас он испытывал облегчение.

Денель собрал в пластмассовый пакет разбросанные по ковру карты, туда же ссыпал нарезанную бумагу.

— В Закопане приехал отдыхать какой-то коммунистический князь из Румынии. Есть сведения, что «зеленых» у него, как в Варшаве грязи. Знакомые ребята уже делали заходы — пока безрезультатно. Но он играет. Это точно. Если я все же сварганю «пульку» и усажу его за стол, ты согласишься?

— Нет. Меня это не интересует, — во взгляде и голосе Шу сквозило равнодушное презрение.

— Как, а это? Вот сейчас, только что, — Граф показал рукой на стол. — Это что было?

На губах Шу мелькнула загадочная усмешка:

— Эстафета.

— Что? — удивился Граф.

— Неважно. Ты все равно не поймешь. Это мое личное дело, — сказал Шу и с нажимом повторил: — Личное!

Граф равнодушно махнул рукой:

— Ладно. Все, уходим!

Они спустились на лифте вниз. На первом этаже дверь бесшумно открылась, и тут Шу вздрогнул. В широком кожаном кресле, каких в холле стоит множество, спиной к ним сидел Микун и не отрываясь смотрел на входную дверь, как будто кого-то ждал.

Шу нажал кнопку цокольного этажа. Дверь закрылась.

— Что случилось? — с опаской спросил Граф.

— Микун. Сидит в холле и кого-то ждет.

— А, черт! — прошипел Граф. — Что делать?

— Да ничего особенного, — спокойно пожал плечами Шу. — Давай мне пакет с мусором, я пройду подвалом и выскочу через черный ход, там и выброшу. А тебе вообще из гостиницы выходить не обязательно — сходи пообедай.

Лифт приехал в подвал. Петр шагнул в темный подземный туннель.

— Все в порядке, Шу, до вечера, — Денель помахал рукой и поехал наверх.

Петр шел по длинному подземному туннелю. Было так темно, что он пару раз наткнулся на стену и испачкал мелом свой элегантный пиджак. Впервые за последнее время он был в прекрасном, даже благостном настроении, чему способствовал не только выпитый коньяк. Перед глазами стоял Малыш, поднимающийся с земли после удара «полонеза» и делающий первые, неуверенные еще шаги. Да, все было так, как с тем пареньком с правого берега Вислы, когда одиночество обернулось великой милостью. Сейчас Петр был уже уверен, что его ученик займет место Великого Шу, и дело тут не только в картах... Петр был счастлив.

Размышляя так, он подошел к перекрестку, где магистральную артерию подвала пересекал узкий коридорчик и было немного посветлее. Внезапно он почувствовал страшный удар в грудь и разрывающую сердце боль, как будто в него вбили длинную, острую иглу. Его отбросило к стене. Сначала Петр подумал, что это приступ, но тут же услышал удаляющийся топот ног. Он приложил к груди ладонь, она наполнилась липкой, густой кровью.

«Ну я и попался! Вот дурак! — с веселым удивлением подумал Петр и чуть не рассмеялся. — Надо же! Едва отпустил поводья — выпил, поддался эмоциям, расслабился и про все забыл! Свершилось!» Он даже не старался разглядеть убегающего — это мог быть кто угодно из тех двух? трех? тысяч человек, каждый из которых сделал бы это с наслаждением. А может быть, это был не кто-то он, один, а они, собравшиеся все вместе, те, кому он доставил в жизни столько страданий? Может быть, они сговорились и выследили его в этом темном подвале, чтобы наконец расплатиться за все? И неясный контур убегающей человеческой фигуры — это все они?

Все правильно. Так и должно было случиться. Это Великий Шу был неуязвим для мелких и подлых людишек, а Петр Грынич только что перестал им быть.

Опираясь руками о стену, Петр пополз вперед, туда, где метрах в тридцати виднелся светлый прямоугольник. Там был въезд для обслуживающих отель грузовых автомобилей и там был выход из туннеля. Там могло быть спасение. Петр передвигался медленно, иногда ненадолго теряя сознание. Глаза заливал пот, глубокая рана кровоточила все сильнее, но сердце еще билось. В нескольких метрах от спасительного света он обо что-то споткнулся, и тянувшаяся вдоль стены гора пустых картонных коробок из-под импортных товаров, которые продавались в «Певексе», пришла в движение. Последним рывком Петру удалось преодолеть еще несколько метров, но тут его ослепил пронзительный солнечный свет. Он зажмурил уже привыкшие к темноте подвала глаза и ощутил страшный холод внутри. Петр упал на спину и стал обеими руками натягивать на себя коробки, словно это было одеяло, которое может согреть. Он чувствовал, как жизнь уходит из него. Но прежде, чем окончательно потерять сознание, Петр успел подумать о Малыше и о том далеком пареньке с берега Вислы, который выполнил свое предназначение на этом свете до конца. Его рука нащупала высыпавшийся из коробки мусор. Петр сжал руку и застыл.

Если бы Юрека Гамблерского в этот день показали врачу, диагноз был бы прост: реактивное состояние у неизлечимо больной шизофренией личности. Он болтался по улицам, заходил во все попадающиеся по дороге бары и кабаки, выпивал рюмку водки и вываливался на улицу, не замечая ни машин, ни прохожих. Он не думал о проигранных деньгах, не думал о брате, который наверняка пойдет сидеть, не думал о доме и жене, которых у него уже не было. Его как настоящего маньяка мучила только одна мысль: он обязательно должен что-то вспомнить. Что-то, сказанное Великим Шу, но когда? Где? Множество выпитых им в течение дня рюмок водки должным образом на него так и не подействовали. Весь мир и без водки был как в тумане. Юрек не реагировал ни на что и жил только этой своей мыслью.

Поздним вечером он, как преступник, которого всегда тянет на место преступления, подошел к «Виктории». Швейцар у дверей как раз отвлекся на какого-то иностранного господина, и Юрек прошел внутрь совершенно свободно, как нож по маслу. В «Зеленом» баре отеля он щелкнул бармену пальцами, и перед ним тут же появилась полная рюмка. Ставя ее, бармен с легким, вежливым укором заметил:

— Вы, если позволите, за предыдущую тоже не заплатили.

Юрек не помнил, чтобы он сегодня после

обеда заходил в «Викторию», но энергично стал шарить по пустым карманам. Внезапно он услышал рядом с собой знакомый голос:

— Ничего, я заплачу.

Юрек повернулся. За стойкой на соседней табуретке сидел Денель. Малыш всматривался в него, испытывая прилив не ненависти, а облегчения. Внезапно его осенило:

— Он меня подставил?! Продал меня, да?

Денель ничего не ответил, но Юрек понял, что попал в цель.

— Шу продал меня. Понятно. Вернее, ничего не понятно. Зачем он это сделал? Деньги? Но он мог «кинуть» меня и раньше. Я ему сам дал их в руки...

— Великий Шу не вор,— сурово оборвал его Денель.

— Тогда зачем он это сделал?!

Денель таинственно усмехнулся, хотя сам во всей этой истории понимал не больше Юрека. Он деликатно, чтобы не обидеть, протянул парню несколько бумажек по тысяче злотых и совсем уже по-дружески сказал:

— Ему не нужны были твои деньги. Это все, что я знаю. Может, он хотел тебя чему-то научить? Трудно сказать. На,— он сунул купюры прямо Юреку в руку.— Не думай пока об этом. Сейчас все равно ничего не поймешь. Лучше упейся.

Юрек спокойно взял деньги и совершенно трезвым взглядом посмотрел Денелю в глаза. Во взгляде было обещание, и Денель, изобразив на лице полнейшее равнодушие и непонимание, с безотчетным страхом подумал, что больше никогда ни за что на свете и ни при каких обстоятельствах не сядет за стол с этим мальчишкой.

Малыш вышел из «Виктории» и пустился в новый рейс, теперь уже по ночным ресторанам. Он решил напиться по-настоящему. Водка ударяла в голову, разливалась по телу и притупляла боль сегодняшнего дня. Перед тем как отключиться окончательно, Юрек вдруг ясно осознал, что стоит на пороге великой тайны и совсем скоро она станет ему доступна и подвластна.

Ранним утром большой мусороуборочный грузовик медленно выехал из подземного туннеля гостиницы «Виктория». Место, отведенное магазину «Певекс» для помойки, было завалено беспорядочно разбросанными коробками, преграждавшими выезд из подвала. Из грузовика выскочили двое молодых мужчин.

— Ну ты посмотри! Вот сволочи! Я не буду это убирать! Пусть сначала научатся не свинячить!— закричал один из них.

— Да ладно, в первый раз что ли? — флегматично буркнул второй.

— Я сказал, убирать не буду, иначе вообще

на шею сядут, мать их за ногу! — он со злостью стал пинать коробки с иностранными надписями и внезапно с изумлением увидел торчавший из-под одной из коробок мужской ботинок.

— Ты! Смотри! — испуганно шепнул он.

С минуту оба стояли в молчании, а потом стали разбрасывать коробки. Перед ними лежал мужчина в сером костюме и светлой рубашке с огромным пятном засохшей крови на груди. Рядом валялся фирменный пакет, из которого посыпалось множество совершенно новых перемешанных карт и листочки аккуратно нарезанной чистой бумаги. Глаза мужчины были закрыты, а губы искривлены в гримасе, которую можно было бы назвать ушмешкой.

Один из рабочих с криком понесся к отелю, и через несколько минут верхний барьерчик, расположенный прямо над въездом в подвал и помойкой, был облеплен персоналом кухни, обслуживающей отеля и редкими случайными прохожими. Среди них стоял Липо, душевно-большой сторож автостоянки при гостинице «Новотель» во Вроцлаве. Он перегнулся через перила и, глядя вниз, радостно хихикал, скаля зубы и потирая руки. Никто не мог сказать, откуда он здесь взялся, а также куда вскорости исчез, видимо, обеспокоенный разорвавшим утреннюю тишину сигналом «скорой помощи».

В это же самое время, только в другом месте, точно в такой же позе, что и Великий Шу, лежал Юрек Гамблерский, и даже его ушмешка была точно такой же, как у мастера. Юрек лежал на лавке Центрального вокзала и спал. Его разбудил громкий и противный, как у политического обозревателя, голос в репродукторе, сообщивший о скором отправ-

лении вроцлавского поезда. Юрек раскрыл глаза и с трудом принял сидячее положение. В течение примерно минуты он пытался разжать ссохшиеся губы, наконец ему это удалось — он несколько раз сплюнул густой белой слюной и осмотрелся. Поняв, где находится, Юрек перевел взгляд на свои измятые брюки и грязные ботинки, потом ошупал карманы. В них он обнаружил смятую пачку из-под сигарет, брелок с ключами от квартиры и две скомканные стоэлотовые бумажки. Сначала он выбросил в стоявшую рядом урну пустую пачку, затем, повертев в руках ключи, опустил туда же и их. Двести злотых он убрал в карман, встал с лавки и направился к киоску, где внимательно изучил выставленные товары.

— Слушаю вас,— высунула голову продавщица.

— Пачку «Гевонта» и две колоды карт,— Юрек протянул деньги.

Он прошел по забитому пассажирами кассовому залу и через самооткрывающиеся автоматические двери вышел на улицу. Окинул взглядом город, проносившиеся мимо автомобили, блестящие на солнце окна недостроенных зданий, нащупал в кармане карты, достал «Гевонт», закурил и медленно двинулся к пересечению Маршалковской с Аллеями Ерозолимскими.

— Вот теперь попробуем,— негромко прошептал он неизвестно кому.

© Copyright by «Pojezierze», Olsztyn, 1985.

Перевод Виктора Бурякова



Лев
РОШАЛЬ

ПОЦЕЛУЙ ВОЖДЯ, ИЛИ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЧЕЛЮСТИ

(опыт трагедии оптимизма)



*Горькую обновушку
Другу шила я.
Любит, любит
кровушку
Русская земля.*

А. Ахматова, 1921.

На экране фотография: драмкружок при Доме коммунистического воспитания молодежи им. Глерона, 1925 год. Сидят и стоят рядком парни и девушки, в их лицах простота и открытость, какая почти всегда ощущается в молодых лицах двадцатых годов.

Еще фотографии: Луначарский и Мейерхольд среди трамовцев, 1929 год. Горький среди трамовцев, тоже 1929 год. Ленинградский ТРАМ (театр рабочей молодежи) в день 5-летия, 1930 год: труппа сидит на сцене, наверху, над головами актеров, четко выписанный лозунг, он протянулся через всю сцену: «Диалектический материализм — основа работы ТРАМ'а!»

А на фоне фотографий звучит молодой звонкий голос, голос театрального зазывалы: — Спешите! Спешите! Спешите! Драмкружок при Доме Глерона преобразован в первый Ленинградский ТРАМ — театр рабочей молодежи. В создании театра...

На экране мелькнет фотография юноши, почти мальчика, в кожанке: он снят

во весь рост вполоборота, но лицо повернул к аппарату, смотрит в объектив — смотрит на нас. Это самая ранняя из сохранившихся его фотографий.

—...принял участие,— продолжает зазывала,— секретарь Московско-Нарвского райкома комсомола Саша Косарев. Сегодня, двадцать первого ноября тысяча девятьсот двадцать пятого года, премьера: спектакль «Сашка Чумовой». Пьеса написана членом литгруппы, рабочим Аркадием Горбенко.

На словах зазывалы возникнет шум заполняемого зрительного зала, звуки настраиваемых инструментов, а на экране фотографии, а может быть, и кусочки из хроники — зрители в театральном партере, на ярусах...

Потом все на мгновение стихнет, но почти тут же грянет марш, и на экране замелькают фото из ранних спектаклей ленинградских трамовцев. Типичные для агитационного «синезлупого» театра того времени лица и мизансцены. Все пластически заострено. Все гротескно.

В. Г. Копачев в роли Сашки Чумового. Парень рабочего вида с подчеркнутым изломом угольных бровей и раскрытым ртом.

Некий Анархист с пистолетом в руке, отбрасывающий тревожную тень на задник. Парень в рубахе навыпуск и малый в костюме, полосатом кепи и «велосипедных» очках (интеллигент), оживленно жестикулируя, о чем-то разговаривают, а сзади уверенный лозунг: «Мы строим социализм».

Еще сцена: один взобрался на какую-то верхотуру, а над ним, на еще большей верхотуре, тоже лозунг: «К социализму», у левой кулисы сверху вниз веером идут надписи, отмеченные той же уверенностью: «Построим, построим, построим, построим, построим социализм», а на сцене слева и справа — массовка, все тянут руки вверх: то ли к парню, который зачем-то забрался на верхотуру, то ли к лозунгу.

А на фоне этих фотографий, под звуки веселого марша — хоровой песней или хоровым речитативом — пойдет вступление. То самое, которым начинался «Сашка Чуумовой» и которым открылся в Ленинграде ТРАМ, созданный при участии Косарева.

Может быть, в какой-то момент монтажный нарез сцен из спектакля снова перебьет фото фронтально снятых членов кружка при Доме Глерона, и их лица начнут приближаться к нам. И может быть, лицо юного, почти мальчишки, Косарева мелькнет тоже снова, приближаясь к нам под звуки вступительной песенки — к тому давнему спектаклю.

Или к нашему фильму — к тому спектаклю, который сейчас развернется перед нами на экране.

Молодые открытые лица из того времени приближаются к нам, а за кадром хор:

Здорово, братишки!
Здорово, комса!
Затягивай песню
На все голоса.

Тут старые фотографии исчезнут, и возникнет наплывом изображение закрытого театрального занавеса, а на его фоне название фильма:

ПОЦЕЛУЙ ВОЖДЯ, ИЛИ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЧЕЛЮСТИ

А за кадром по-прежнему будет звучать радостный хор, пришедший к нам из 20-х годов.

Пойте все напев веселый:
«Трам-трам-трам!..»
Все мы здесь из комсомола.
Трам — трам — трам!..
Мастерская нам учеба.
Трам — трам — трам!..
И спектакль у нас — о с о б ы й.
Тр-рам!..

В тот момент, когда начнет звучать предпоследняя строчка, название фильма исчезнет с экрана, на его фоне останется один занавес, а из глубины кадра вылетит, стремительно разрастаясь, надпись, которая совпадет со своим звучанием:

Т Р А М!..

А затем, создав на мгновение паузу, она погаснет, и снова останется тяжелый

бархатный занавес.

Дрогнув, он начнет подниматься.

Или распахиваться, неторопливо разбегаясь в разные стороны.

И мы увидим одного из героев нашего действия — не самого главного, но отнюдь, отнюдь не второстепенного.

До сладостного умиления, до слезной радости знакомое лицо из славной когорты любимых руководителей 30-х годов: Андрей Александрович Жданов.

И здесь, и в дальнейшем — по мере надобности — мы будем собирать его изображение из разных фото- и кинохроник.

Они, Андрей Александрович (впрочем, как и другие из славной когорты), были не чужды съемке. Так что материала навалом: в полувоенном кителе цвета хаки или в таком же кителе, но белоснежного тона (в основном для отдыха среди кавказских пальм — белый цвет напоминает об отпуске, покроя же не дает забыть и в отпуске о боевитости службы), иногда в серой тройке с галстуком, что подчеркивает широко известную тягу к искусствам, философическим размышлениям, настойчивое внимание к подозрительной прослойке между серпом и молотом, нередко в шинели и фуражке, не совсем военных, но и не так чтобы совсем невоенных, а иногда и в полной генеральской форме, что, в свою очередь, в совокупности подчеркивает постоянную готовность к беспощадной борьбе вплоть до гибели (естественно, не своей, а противника, даже если противник — выдуманный).

Правда, независимо от покроя костюмы на них, на Андрее Александровиче, почти всегда несколько топорщились, несколько собирались складками в районе груди и диафрагмы, ибо их владелец был склонен к полноте: то ли по причине какого-то недуга, то ли из-за гурманства. Склонность отражали не только одутловатое, с припухшими щеками лицо, прочерченное полоской чернявеньких усиков, но и эти самые складки, что фото- и кинопленка со свойственной им объективностью довольно часто фиксировали. А еще фото- и кинокамеры фиксировали безразличную, почти ледяную тусклость маленьких глаз, в которых, однако, иногда вдруг вспыхивали искры дьявольского огня.

Так вот: когда наконец разъедется тяжелый занавес и выплывет Андрей Александрович, за кадром зазвучит голос.

На этот раз не голос веселого театрального зазывалы.

Это достаточно строгий, хорошо поставленный, но и не без будничной задушевности голос радиодиктора (может быть, изображения Жданова на мгновение перебьются взятым из фото или из хроники изображением черного радиоблина, раструба

уличного громкоговорителя), лучше, по моему, женский, что-нибудь похожее на довоенных дикторов, Толстову или Атьясову.

Голос привычно сообщает сводку новостей, среди которых и эта:

— Десятнадцатого ноября тысяча девятьсот тридцать восьмого года начал работу пленум Центрального комитета ВЛКСМ. Пленум открыл член Политбюро, Секретарь ЦК ВКП(б) Андрей Александрович Жданов.

На начале слов тоже может возникнуть шум заполняемого зала, правда, шум сдержанный, скорее даже не шум, а тихий, деловитый говор, взаимные приветствия, негромкое хлопанье сидений, а на экране может появиться фотография зала, заполненного членами только что избранного после X съезда (1936 г.) того самого ЦК ВЛКСМ, который собрался на свой Седьмой пленум.

Впрочем, «того самого» — не совсем верно.

За два прошедших со съезда года состав Центрального Комитета очень, очень изменился, а из семи сидящих на первом плане секретарей ЦК во главе с Александром Косаревым трое исчезли до пленума, остальные — сразу же после пленума.

Но не будем пока это сообщать зрителю, сделаем это в свое время и в своем месте.

Кроме того, есть и еще странность, которая может зацепить дотошного зрителя: с чего это пленум ЦК комсомола открывает секретарь ЦК партии? По какому уставному положению? Где внутрисоюзная демократия?! Действительно, странность. Но это такая, в сущности, крохотная, такая микроскопическая странность в череде всех последующих фантазмагорий, что не будем об нее спотыкаться. Если искать ответы на все эти «с чего?», «по какому?», «где?», то к главному и не двинемся. Так что переступим и пойдем дальше.

Итак, все расселись, прозвенел звонок, призывающий к тишине (ну прямо всё, как в театре), и спектакль — начался.

Жданов у микрофона. Жданов открывает — без всяких на то прав — пленум. Он говорит (разумеется, говорить за кадром будет актер, который поведет его голосовую партию, но это голос Жданова)*:

— Товарищи, настоящий пленум ЦК совместно с секретарями комсомольских организаций собран по предложению ЦК партии. У вас имеются на руках материалы, связанные с заявлением товарищ Мишаковой о безобразном отношении, проявленном руководством ЦК ВЛКСМ в отношении

товарищ Мишаковой. ЦК партии считает, что вопросы, поставленные в связи с заявлением товарищ Мишаковой, ставят вопрос о положении в руководстве ЦК ВЛКСМ. Доклад по этому вопросу сделает товарищ Шкирятов. Товарищ Косарев, откройте пленум, пожалуйста.

Вот изображений Косарева — и фотографических, и особенно кинематографических — сохранилось немного. Вряд ли он сторонился съемок, думается, даже совсем наоборот. Но по сравнению со своим мудрым старшим товарищем Ждановым и жизнь у него оказалась, как известно, много короче, и судьба сложилась иначе. Не было того бережного собирательства для потомков запечатленного облика, какое осуществилось по отношению к славной плеяде преданных соратников Вождя.

Итак, генеральному секретарю ЦК ВЛКСМ Александру Косареву позволено открыть пленум возглавляемого им Центрального комитета.

На экране — одна из его фотографий середины 30-х годов. Это уже совсем не тот мальчик, который мелькнул во вступительных кадрах. Он в костюме с галстуком, завязанным широким, по моде времени, узлом. В нем чувствуется крепость, в самой посадке тела, в развороте торса есть корневая основательность. В простоватом, на первый взгляд, лице рабочего с челкой, идущей от пробора и напоминающей полубокс, в твердых, тяжеловатых скулах, в тонком, чуть-чуть сатанинском разлете ноздрей ощущается воля, жесткость, а в глазах — природный ум, может быть, даже хитрость.

— Значит, повестка дня, — говорит Косарев (голосом того актера, который поведет его роль), — один вопрос: доклад товарища Шкирятова.

А вот Матвеем Федоровичем Шкирятовым наш Красноярский киноархив набит хорошо — не только фотографиями, но в изобилии и кинопленкой.

Правда, в основном Матвей Федорыч почему-то появлялся на съемках двух видов: на вручении наград — себе и другим — и на похоронах.

На похоронах главным образом.

Он выносил гроб с телом Ильича в Горках. Шел и в траурной процессии Дзержинского. Нес урну с прахом Горького. Стоял в почетном карауле у гробов Чкалова, Крупской, разбившихся летчиков Осипенко и Серова. Есть съемка, где Калинин вручает

* У всех основных действующих лиц (кроме, естественно, тех, кто жив) будут свои голосовые партии, ведомые за кадром различными актерами.

ему во время войны орден Ленина, и есть съёмка, где вскоре после войны он вместе со славною когортой несёт Михал Иваныча в гробу.

Правда, между всем этим он появлялся на встрече с избирателями, которые его искренне и горячо приветствовали, демонстрируя свое неколебимое желание отдать голос только за Матвея Федорыча и ни за кого другого, на физкультурных парадах, среди юных пионеров вместе, например, со Сталиным и Ягодой.

Однако все-таки в траурных церемониях он почему-то запечатлен особенно часто.

Возможно, именно оттого, что он считал необходимым отдать последний долг другим, кинохроника достойно отдала этот последний долг ему: сняла в 1954 году фильм «Похороны Шкирятова» в шести частях. В ш е с т и !.. Надо прямо сказать, что смотреть этот фильм без тоски невозможно (что, видимо, и входило в задачу авторов).

Впрочем, причина почтительного отношения к Матвею Федорычу скорее всего связана с его неутомимой борьбой за чистоту рядов, ведь он был на протяжении многих лет секретарем партколлегии Центральной контрольной комиссии ВКП(б) — того самого органа, куда могли жаловаться жестоко оболганные, невинно исключенные, отовсюду выгнанные и где они должны были найти отеческую защиту. В своей борьбе за чистоту Матвей Шкирятов был столь принципиален, сколь неподкупен и последователен, что молва называла его — разумеется, шепотом, в самое ушко — Малютой Шкирятовым. Легко можно себе представить, что оставалось от жалоб оболганных, невинных, выгнанных.

И все-таки были, были жалобщики, находившие у Матвея Федорыча действительно отеческую защиту. Среди них — товарищ Мишакова.

Собирая изображения Шкирятова из разных фото- и кинокадров, мы — вслед за Косаревым — дадим ему слово для основного доклада на пленуме.

— Товарищу Сталину было подано заявление товарищ Мишаковой: «Дорогой товарищ Сталин! Я пишу не потому, что меня лично обидели и фактически за разоблачение врагов народа в Чувашии еще в марте 1938 года меня опозорили и уволили из аппарата ЦК комсомола, а потому, что не могу пройти мимо таких фактов, когда сигналы, поданные в ЦК ВЛКСМ и товарищу Косареву, остаются гласом вопиющего в пустыне». В этой записке она излагает, как она информировала Косарева о ходе Чувашской облконференции комсомола, которую проводила по поручению ЦК ВЛКСМ, и что сообщала Косареву

в своих записках о руководстве Чувашской комсомольской организации. На конференции Мишакова боролась с врагами народа, ей приходилось преодолевать большие трудности, и враги всячески ее старались дискредитировать. Она как коммунист выдержала все это, и хотя не все выкорчевала, но часть врагов была выгнана из организации.

И что же случилось? За то, как пишет товарищ Мишакова в этой записке, что она честно боролась на конференции за линию партии и своей работой показала, как надо проводить решения, за все это она терпит мытарства. Она писала товарищу Сталину, что ею на имя товарища Косарева были написаны две докладные записки: одна о состоянии комсомола Чувашии, а другая на имя товарища Ежова, которая как выяснилось, никуда не была послана Косаревым. Товарищ Мишакова также писала, что товарищ Косарев жестоко отнесся к ней, на бюро ЦК ВЛКСМ назвал ее лгуньей. Она заканчивает свое письмо: «Товарищ Сталин, за что же ко мне такое отношение со стороны ЦК ВЛКСМ, его секретарей? За то, что я помогала Чувашской комсомольской организации разоблачать врагов, которых, благодаря невнимательности к моим сигналам, оставили на свободе. Правда, я излишне давала реплики и часто выступала. Мне было очень там тяжело, враги все время мешали. Дорогой товарищ Сталин! Я прошу вас проверить, почему не были приняты меры по моим сигналам. По чьей вине враги народа в Чувашии еще остались неразоблаченными, не вскрытыми?..»

По ходу речи Шкирятова его изображение будет иногда перебиваться слушающими в зале, в президиуме: Жданов, Маленков (он тоже участвовал в работе пленума), Андреев (и он участвовал), Косарев, другие секретари ЦК комсомола, участники пленума.

— Меня вызвал товарищ Сталин, — продолжает Шкирятов, — как только получил эту записку, и сказал, что надо тщательно это дело проверить, потому что мы должны беречь честных людей, защищать их, когда к ним неправильно относятся. Вот я и хочу сообщить вам, товарищи, что я нашел по заявлению товарищ Мишаковой. Я должен вам сказать, что все то, что написано в этом заявлении, — это есть правда. История дела такова: конференция была в 1937 году, открылась 29 сентября и продолжала работу по 7 октября. Я должен сказать, что Мишакова часть врагов выгнала и исключила из комсомола и из конференции. А дальше что? То, что сделала хорошее дело товарищ Мишакова на этой конференции, надо было это закрепить.

Что же сделал ЦК комсомола?

В результате того что товарищ Мишакова по-настоящему, по-большевистски боролась с

врагами народа, выносят ее на бюро, ведется такое расследование Вершковым, чтобы наказать товарищ Мишакову, и вот на бюро, в присутствии всего аппарата, ее сняли с работы. А в решении, которое было принято, говорится: «Отметить, что, выполняя задание ЦК комсомола по руководству Чувашской областной конференцией комсомола, товарищ Мишакова допустила грубейшие ошибки, в силу чего люди, честные перед партией, зачислены в разряд политически сомнительных и пособников врагов народа». Вот видите, как к человеку относятся, как будто отсутствует личность у большевика. На Пятом пленуме ЦК ВЛКСМ Косарев говорил: «Вы имейте в виду, что врагами народа, а они у нас были в комсомоле длительное время, насаждались нравы: прежде чем выдвинуть того или иного товарища на работу, в нем убивалось все живое, свежее, острое и энергичное». Об этом вы говорили, Косарев. А не есть ли этот случай с делом Мишаковой такой же метод руководства? Когда вы говорили, что нужно бороться с врагами народа, вы других правильно поучали. Но то, что вы говорили, сегодня относится к вам. В чем факт? В том, что товарищ Мишакова боролась с врагами народа, а вы их оправдывали. Это доказано. Вы хотели убить в Мишаковой все живое, большевистское. Но это вам не удалось: она и после этого издевательства над ней продолжала бороться за большевистскую правду, вы не убили в ней сталинский, большевистский дух.

Вот в чем состоит то политическое обвинение, которое вам, товарищ Косарев, теперь предъявлено. Товарищ Сталин в своей речи на выпуске академиков Красной Армии 4 мая 1935 года говорил: «Лозунг "Кадры решают все" требует, чтобы руководители проявили самое заботливое отношение к нашим работникам, "малым" и "большим", в какой бы области они не работали». В этом деле, которое является предметом нашего обсуждения, только вмешательство ЦК и лично товарища Сталина не только спасло товарищ Мишакову, но и помогло раскрыть гнилое руководство в ЦК комсомола.

Комсомол неплохая организация, но надо с этой гнилью расправиться по-настоящему. Комсомол должен так же высоко нести свое знамя, как он нес его до сих пор, идя нога в ногу с нашей партией, под лозунгами нашей партии, следуя указаниям товарища Сталина.

Шкирятов закончил свой доклад.

Аплодисменты не возникнут (они не отмечены в стенограмме). Наоборот, воцарится на какое-то время тишина.

Возможно, она поможет не только участникам пленума (по-своему), но и зрителям

фильма, во всяком случае кому-то из них (тоже по-своему и, разумеется, совершенно иначе), оценить или, точнее, ощутить, пусть пока сумбурно, приблизительно, хоть в какой-то мере, что началось этим только что закончившимся докладом товарища Матвеева.

А начался театр абсурда. Театр теней. Фарс и дьяволиада. Великая туфта. То, что на уголовно-зекском языке именуется «куклой».

По повелению Свыше на пленум будут лететь самолетами, мчаться поездами, ехать в электричках, в автобусах и троллейбусах, в метро члены комсомольского ЦК, секретари комсомола республик и обкомов, им будут заказывать гостиницы, платить проездные, квартирные, суточные, сытно кормить в течение четырех дней, привозить в авто на утренние заседания и развозить после припозднившихся заседаний вечерних, на которых все они очень бурно, очень темпераментно, с впечатляющим пафосом будут заниматься бездельем.

Будут обсуждать то, чего в помине не существует, — п у с т о т у!

Выполняя замысел Режиссера, присутствующие на пленуме его соратники возьмут под защиту женщину, пересажавшую чуть ли не все партийно-комсомольско-чекистское руководство Чувашии, и будут беспощадно клеймить руководителей ЦК комсомола за то, что те ее не поддержали и вообще крайне мало сделали для выявления врагов народа в своей организации, в то время как в стране по этой линии есть гигантские достижения.

Те же, в свою очередь, будут, как мы увидим дальше, с меньшей рьяностью утверждать, что они сделали очень и очень немало. Даже, вообще-то говоря, очень много, хотя бывали, конечно, проколы и недогады.

Но независимо от позиций сторон («мало — много») в основе самого обсуждения все-таки пустота. Ибо отсутствует главное — предмет спора. Гоголевская ситуация — обсуждаются мертвые души, которые ведь как бы и не существуют, они — как бы воздух.

Особенность этого пленума в том, что он отразил, как в капле воды, модель, в которую втиснута в этот момент жизнь страны. Огромная часть материальных, физических, интеллектуальных, морально-нравственных, психологических ресурсов народа тратилась на поиск, выявление, организацию, содержание того, чего не существовало в природе.

И поэтому утверждения одних, что мало выявилось врагов народа, а других — что много, не имели равным счетом никакого значения, несмотря на весь пыл участников полемики.

Ибо дело было не в том, мало или много,

а в том, что самих врагов не было в помине.

Это-то и превращало данную ситуацию в тогда мало заметный (просто в сумятице событий, их напоре, наверное, не выпадало мгновений для спокойной, трезвой оценки), а теперь во все более очевидный театр абсурда, в фарс. В ломание комедии (не случайно эти слова в дальнейшем выговорятся на пленуме). Ибо как ни старайся, чего только не доказывай, а ничего иного, как «ломать комедию» (причем, с любой стороны), не остается, неуловимость предмета спора, его зыбкость нет-нет да и вылезут из какой-нибудь щели, превращая строгое, насупленное действие в феерическую фантазмагорию.

Но у этой «комедии» было одно «но». Ее особенность в том, что вся она густо пропитана человеческой кровью.

На сцене театра абсурда — Бал Сатаны.

Сам-то он прекрасно знает (как и его подручные организаторы и заплечные исполнители), что никаких врагов народа не существует, разве что некоторое количество его личных противников, которых, впрочем, тоже уже давно нет.

Кое-кто из участников этого бала кое о чем тоже начинает догадываться, но смятенно, неясно, не желая верить в это до конца.

А миллионы не догадываются вообще. По сути т у ф т ы это ничего не меняет. Но позволяет бдящему Сатане всех, буквально в с е х держать на ниточке, заставляя ниточкой делать только позволенные па. И все, во всяком случае огромное большинство, эти па делают, ибо чувствуют: ниточка — не что иное, как нить жизни. И она в одно мгновение может натянуться до предела, а затем и — оборваться.

Поэтому участники сатанинского веселья в неодинаковом положении.

Одни получают льготное право спрашивать с других, а «другие» с них спрашивать права не имеют: ниточка-то мгновенно натягивается.

Фарс оборачивается трагифарсом.

Комедия — трагедией.

Но спешить не будем. Однако уже сейчас слегка попробуем помочь зрителю чуть-чуть ощутить — в развитии шкирятовских слов — с т р а н н о с т ь возникающей ситуации.

Как только Матвей Федорыч закончит и «отзвучит» молчаливая пауза, на экране возникнет изображение Косарева, а его голос (тоже в соответствии, кстати, со стенограммой) произнесет:

— Объявляется перерыв — десять минут.

Мы услышим шумок зала, хлопанье в обратном направлении сидений, еще хранящих телесное тепло гостей Бала.

А на экране — опять раздвинутый занавес. За ним афиша, программка и фото тра-

мовской комсомольской оперетты в трех действиях «Дружная горка».

За кадром хор молодых мужских голосов исполняет куплеты из сцены 4-й:

Что за шум и почему?

Неизвестно никому.

Что за шум и в чем секрет?

Шум-то есть,

а драки нет!..

Вот в этом-то и все дело: шум есть, и преогромный, а драки — при всей ее грубой видимости — а драки нет.

Есть только разыгрываемая комедия драки.

И поэтому парни повторяют последнюю строчку несколько раз: «Шум-то есть, а драки нет». Сначала повторяют с воодушевлением, как и в первый раз, потом тише, потом еще тише и как бы с легким недоумением. И наконец их голоса сойдут на нет.

А на экране постепенно исчезнет занавес и появится (на эти, так сказать, отведенные для перерыва десять минут) современная комната обычной московской квартиры.

Комната сравнительно большая, но узковатая, вытянутая в длину, в начале ее, ближе к входной двери, обеденный стол, обставленный стульями, дальше, вдоль стены — диван, потом глубокое кресло, торшер, еще кресло почти у окна. Вдоль другой стены — мебельная стенка с книжными полками и полками для посуды. На стене из инкрустированного желто-коричневого дерева портрет Косарева (выполненный, как говорится, любовно, но, по-моему, не очень похож).

В комнате тесновато, но не только от того, что она узко вытянута и заставлена мебелью. В квартире еще две комнаты, хорошая прихожая, кухня, но обитатели квартиры и те, кто в нее заходят, толкуются здесь. Как часто бывает в современных жилищах, комната эта — и столовая, и гостиная, и место общего семейного времяпрепровождения.

Поэтому пусть какие-то мгновения здесь все будет как в жизни, не для кино. Чем-то занята Мария Викторовна, вдова Косарева. Ей уже восемьдесят два, лицо у нее, на первый взгляд, строгое, суховатое, гладко зачесанные седые волосы и прямая спина.

Тут же дочь Леночка. Елена Александровна Косарева, не очень молодая, но необычайно миловидная, женственная.

Заглядывает в дверь, что-то спрашивает ее дочь Александра, Саша, внучка Косарева.

Муж Елены Александровны — Петр Давыдович.

Муж Саши — Егор. И у всех между ног крутится, не зная усталости и покоя, то бойко щебечет, то хохочет, то канючит (она

умеет все) — трехлетняя правнучка убитого пятьдесят лет назад Косарева — Наденька, Надежда.

Большая семья в трех поколениях, теперь уже с началом четвертого.

Мария Викторовна все время в заботах, суете, хотя этому то и дело мешают годы, нездоровье. И тогда, как бы на ходу, она присаживается на край стула — отходит. А потом начинается все с начала. Но иногда возникает потребность в более длительном покое, и она опускается в кресло.

Вот и сейчас Мария Викторовна, скажем, собирает посуду со стола или разбирает детское, правнучкино, белье, попутно отвечая на ее неумолчные вопросы или останавливая ее стремительный пробег по комнате, а потом проходит к креслу у торшера, садится в него.

Но пока она занята домашними делами, за кадром (а может, и в кадре, синхронно, между переговорами с правнучкой, попутно с делами и по дороге к креслу) Мария Викторовна спросит:

— Есть возможность стать кинозвездой?

В ее лице суховатость, строгость, но в самом тоне вопроса уже предчувствие усмешки, самоиронии, и мы понимаем, что облик человека, особенно если он в годах, и его суть, как это часто бывает, далеко не всегда совпадают.

— Уже поздно, — весело продолжает Мария Викторовна. — Нет уже тех данных.

Она смеется, сидя в кресле.

А потом в изображении как бы все размывается, уйдет «вне фокуса» — комната, другие ее обитатели, останется только Мария Викторовна, освещенная светом стоящего у кресла торшера.

Возможно, Мария Викторовна займет в кресле под торшером лишь небольшую часть кадра, скажем, его правый нижний угол, а все остальное — пока чернота экрана.

— За несколько месяцев до этого самого пленума, — начнет вспоминать Мария Викторовна, — в марте тридцать восьмого встречали возвратившихся с Северного полюса папанинцев.

На словах о папанинцах до сих пор пустовавшую часть экрана заполнит как бы за спиной Марии Викторовны, как бы фоном для ее изображения хроника тех дней, сопровождаемая бодрой маршевой музыкой. Папанин среди участников перелета на Северный полюс, палатка вместе со знаменитой четверкой и псом Веселым на полярной льдине, флаг на льдине, отлет папанинцев. Ленинград встречает папанинцев, Папанин выступает на грандиозном митинге в Ленинграде, Папанин в Москве на вокзальной площади, заполненной народом, он же вместе с женой проезжает в день возвращения в авто по улице Горького к Кремлю, Кремль, встреча у Дворца, Георгиевский зал, может быть,

кадры приема в этом зале из чиаурелевского фильма «Клятва», где Папанина изображал сам Иван Дмитриевич Папанин.

Какое-то мгновение Мария Викторовна продолжает свой рассказ, находясь в кадре на фоне хроникальных изображений, а потом уступит все пространство экрана летописной хронике, но ее голос по-прежнему эту хронику будет сопровождать:

— В Георгиевском зале был устроен грандиозный прием. Мы с Сашей были приглашены. Все сидели за отдельными столами. А во главе — стол президиума. Тамадой был почему-то Молотов, он провозглашал все тосты.

Может быть, здесь фото- или киноизображение совершенно пустого Георгиевского зала, пустота подчеркивает его торжественное, белоснежное великолепие, но за кадром слышится веселый людской говор, восклицания, смех, звон бокалов и посуды.

— По установившемуся ритуалу, — говорит Мария Викторовна, — тому, в честь которого произносился тост, нужно было подойти к президиуму и чокнуться со Сталиным...

Тут, возможно, на фоне этого пустого, но веселящегося зала наплывом появится знаменитейшая, овеянная каким-то неизъяснимым чувством интимности, домашности фотография Вождя — он раскуривает трубку. И может, это ощущение доступной близости к «отцу родному» мы усилим еще тем, что через какое-то мгновение из неподвижной трубки вдруг завьется голубоватый дымок. А потом фотография исчезнет, но дымок, окутывающий изображение зала с именами героических георгиевских кавалеров, останется, по залу поплывет. (Если бы кино еще могло подпустить дымок и в кинозал, может быть, тогда те, кто и сегодня мечтает снова уловить родной запах «Герцеговины Флор», одновременно ощутят, видно, незабываемые холода в груди и пот на ладонях).

— И вдруг, — продолжает Мария Викторовна, пока мы пытаемся унюхать запах табака, — Молотов заговорил о Косареве. Он сказал о нем, пожалуй, самый вдохновенный в тот день тост: за нашего талантливого, замечательного, многообещающего!.. Саша встал, подошел к Сталину, они чокнулись. А Сталин обнял Сашу, прижал к себе и поцеловал. Все радостно зааплодировали.

Эти аплодисменты под звон бокалов и шумный говор продолжают чуть дольше, чем это могло быть на самом деле, затем звон бокалов и говор исчезнут, а аплодисменты останутся, будут нарастать.

И под их аккомпанемент возникнут кадры с хроникой и фотографиями людей, снятых на разных довоенных совещаниях, главным образом женщин, обнимающихся, целующихся, тянущих руки к отцу всех народов. Может быть, даже можно будет ис-

пользовать, чуть сдвинув время вперед, финальный эпизод из «Падения Берлина», где героиня, простая советская девушка, только что освобожденная из фашистской неволи, обращается к только что сошедшему на поле аэродрома по трапу из серебристого самолета в скромном белоснежном кителе с золотыми царскими погонами генералиссимусу с просьбой:

— Товарищ Сталин, можно вас поцеловать?

Не без доброй отцовской усмешки актер Михаил Геловани даст разрешение. И под проникающую в самую душу гениальную музыку великого композитора нашего времени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича и в присутствии собравшихся на летном поле представителей прогрессивного человечества обряд целования свершится (молодая, симпатичная, никому дотолле неизвестная Марина Ковалева после этого поцелуя будет увенчана, разумеется, вместе со всей группой, Сталинской премией, почетным званием, награждена орденом, станет на время актрисой главного театра страны — Художественного...).

А потом, возвращая время назад — к нашему повествованию, появится фотография (возможно, под ту же, но сходящую постепенно на нет музыку Шостаковича и под продолжающиеся аплодисменты, где-то на грани овации), на которой Косарев в президиуме одного из совещаний в Большом Кремлевском дворце (это совещание животноводов, февраль 1936 года) тянется к Сталину.

И вслед за этим фото — обложка роскошно изданного Политиздатом в светло-сером твердом переплете двухтомного «Стенографического отчета X съезда ВЛКСМ, 11—21 апреля 1936 г.».

Фотография президиума съезда. Е. Виноградова, Н. Каманин, П. Ангелина, Сталин, М. Демченко, Молотов, Г. Димитров, Ворошилов, Каганович, Калинин.

Затем кадры из экстренного выпуска «Союзкиножурнала» («СКЖ») — «С трибуны X съезда комсомола»: Большой Кремлевский дворец, делегаты в зале.

Затем фото из книги со стенографическим отчетом: тоже зал дворца с делегатами.

Фото из той же книги: Косарев на трибуне.

Кадры из хроники: Косарев выступает.

— Товарищи! — голос актера за кадром воспроизводит слова Косарева, открывающего съезд. — Сегодня на открытии своего очередного Десятого Всесоюзного съезда Ленинского комсомола собрались лучшие представители молодых борцов за социализм, за дело нашей великой партии Ленина—Сталина.

На этих словах (в согласии со стенограммой) пойдет хроника (есть такая), где «все встают, бурные аплодисменты, возгласы:

”Да здравствует товарищ Сталин!”, ”Ура!” ”Привет товарищу Сталину — любимому учителю молодежи!..”»

Косарев выдерживает паузу, она будет короче, чем была в действительности, но прибережем это тогда неутомимое, а теперь столь утомительное воодушевление для финала, где уж постараемся современного зрителя утомить донельзя.

— Поэтому,— продолжает комсомольский вожак страны,— наш съезд можно назвать слетом сталинской молодежи...

Здесь, опять же согласно стенограмме, мы услышим шумные аплодисменты, крики «ура» (вообще, видимо, придется для фильма разработать целую звуковую партитуру аплодисментов, оваций со множеством нюансов и модуляций).

— ...воспитанной,— говорит далее Косарев,— нашей большевистской партией и нашим вождем и учителем товарищем Сталиным.

Вот тут, судя по стенограмме, должна уже начаться полная вакханалия, что-то на грани восторженной истерики и счастливых рыданий: аплодисменты, переходящие в овацию, все встают, «приветствия и возгласы со всех концов зала на языках народов СССР», правда, сами приветствия здесь даются только на русском языке — «Ура!..», «Да здравствует!..» и т. п., но о некоторых иноязычных приветствиях мы можем судить по их стенографической записи в момент появления на съезде в президиуме «великого,— я цитирую стенограмму,— вождя народов товарища Сталина и товарищей...». Вот некоторые из записанных добросовестной рукой уникальных (теперь таких нет) стенографисток безумных выкриков: «Хай живе великий Сталин!», «Родному, любимому Сталину вид комсомольцев Украины палкий привит!»

Вообще, если опираться на документы стенограммы, то можно с достаточной уверенностью предположить, что спектакль с «палкими привитами» занял при открытии съезда часа два, не меньше, из которых на произнесение, в сущности, одних и тех же слов ушло минут двадцать, максимум полчаса, а все остальное время было затрачено на экстаз. Особенно умирительно с этой точки зрения выглядит тот момент, когда после избрания почетного президиума съезда с поименным перечислением (вслед за каждым именем — буря оваций) решено было послать от съезда приветствие товарищу Сталину (буря оваций), зачитывается приветствие (буря оваций), единогласно принимается (буря оваций) — и все это в присутствии товарища Сталина. Единственно, о чем не сообщает стенограмма, было ли товарищу Сталину послано это «Приветствие товарищу Сталину» обычной почтой или с фельдьеге-

рем или «Приветствие товарищу Сталину» тут же передали товарищу Сталину из рук в руки (буря овец)?!

При этом хотелось бы попробовать сделать так, чтобы весь блок этих кадров и фотографий плывал по-прежнему в дымке (не в дымке). Может быть, даже легким наплывом иногда через те или иные кадры, скажем кадры орущего зала, неторопливо бы пролетала, как помело, крупно увеличенная, изогнутая коротким чубуком черная попыхивающая трубка. Однако это не только дымок трубки.

Но, приберегая, как уже было сказано, экстаз для финала, мы не дадим и здесь ему разгуляться, хотя, конечно, дадим почувствовать его заразительную силу. Для этого есть хорошая хроника в выпуске «СКЖ», посвященном закрытию съезда: зал гремит ладонями и глотками, а кажущийся возвышенным над всеми за счет съёмки (постоянно) с нижних точек коротышка-вождь, довольно поблескивая сощуренными глазами, приветственно вскидывает руку с маленьким кулачком, что-то выкрикивая в зал, но разобрать в общем грохоте, что именно, невозможно...

Когда же после косаревских слов о «вожде и учителе», тех слов, которые должны здесь прозвучать как бы ответным поцелуем на сталинский поцелуй в Георгиевском зале, всеобщее ликование, вызванное этим ответным поцелуем, стихнет, и возникнет пауза, на экране появится (уже вне плавающего дымка) другая фотография Косарева и Сталина: тоже в президиуме какого-то кремлевского заседания (1935 год), тут же Каганович и Орджоникидзе.

Эта фотография примечательна тем, что находящийся чуть сзади Сталин внимательно, с интересом рассматривает задумавшегося, на мгновение ушедшего в себя Косарева. Сталин будто просвечивает Сашин череп, будто желает понять, можно ли во всем и до конца положиться на этого паренька, которого глупая толпа произвела в его, Сталина, любимца.

А может, его, Сталина, насмешливая мысль о другом: удобен ли этот вихрастый затылок для того, чтобы его — в случае надобности — раскроить? Ну, может быть, он думает не совсем такими словами, однако такая суть его, Сталина, мысли не исключена.

Эта фотография появится ненадолго, пусть зритель пока схватит лишь мизансцену, потом ее, наверное, надо будет раз-другой повторить с большей длительностью, где-то и с раскадровкой, увеличивая в контексте дальнейшей конкретной ситуации ее смысловые оттенки: Сталин р а с с м а т р и в а е т Косарева.

И на фоне этой фотографии возникнет голос Автора.

Он будет появляться не часто, но впервые, возможно, появится и несколько раньше — скажем, комментируя Андрея Александрыча и Матвея Федорыча. И если не всегда, то в большинстве случаев для его появления мы будем использовать, в соответствии с взятой стилистикой, театральный прием: реплика в сторону. Может быть, даже появлению авторского голоса будет предшествовать такая надпись на экране, тут же повторяемая этим голосом за кадром, — повторяемая перед тем, что он хочет, прерывая действие, сообщить зрителю.

Итак:

— Реплика в сторону, — произносит Автор. — Из биографии Александра Косарева. Родился 14 ноября 1903 года в Москве, в окраинном рабочем районе Лефортово.

Детских фотографий Косарева не сохранилось, но есть от 20—30-х годов фото его матери Александры Александровны, сестер, братьев.

— Отец и мать, — продолжает Автор, — рабочие трикотажно-платочной фабрики «Рихард — Симон». Семья — девять человек. Отец умер рано.

Фото старых московских рабочих окраин с приземистыми фабриками на тихих, прокаленных солнцем улицах. Отчасти «Рихард — Симон» существует и сейчас в виде фабрики «Красная заря», пригодной для съемки.

— С девяти лет Косарев, — говорит Автор, — чернорабочий на травильно-промывочных ваннах цинкового завода Анисимова, через год — рабочий на «Рихард — Симоне». Образование — неполных два класса церковноприходской школы.

На экране — групповые фотографии молодежи первых лет революции.

— Сразу после революции, — продолжает Автор, — кустовой организатор Союза рабочей молодежи в Лефортово. Член РКСМ с 1918, член РКП(б) с 1919 года.

Фото Косарева в группе слушателей центральной политшколы Петроградского комитета РКСМ (1920), знакомое нам уже фото Косарева в кожанке.

— С 1922 года, в восемнадцать лет, — говорит Автор, — первый секретарь Бауманского райкома комсомола Москвы, с 1924-го секретарь Пензенского губкома.

Фото (или «кусочки» хроники): Троцкий, Зиновьев, Каменев. Газеты конца 1925 года, по заголовкам видно, что идет яростная дискуссия и борьба с «новой» оппозицией.

— В начале 1926 года, — повествует Автор, — вслед за Кировым, Калининим, Молотовым, Ворошиловым направлен в составе бригады ЦК РКСМ в Ленинград для разъяснения решений Четырнадцатого съезда

партии о «новой» оппозиции, участвует в ее разгроме в Ленинграде, избирается первым секретарем Московско-Нарвского райкома комсомола.

Газетные сообщения о VII съезде комсомола, фото делегатов.

— В марте 1926 года, — продолжает Автор, — приезжает в Москву делегатом Седьмого съезда комсомола. По поручению нового комсомольского руководства Ленинграда докладывает: «Ленинград хочет большевистского единства». Предлагает от имени съезда послать приветствие Сталину. Предложение было встречено аплодисментами, но осталось нереализованным. Только спустя пять лет, на Девятом съезде комсомола Косареву удалось осуществить это предложение, ставшее затем традицией.

Все, что предшествует последним авторским фразам о приветствии Вождю, должно промелькнуть на экране в достаточно быстром темпе, в интонации сухого анкетного перечисления, из него в сумме зритель должен, пожалуй, ощутить лишь главное: необыкновенно раннее развитие Косарева — и по линии чисто житейской, трудовой, и по линии общественно-политической.

А вот когда возникнет речь о косаревском предложении послать приветствие Сталину, только что не без волнительных трудностей удержавшемуся, хотя еще не окончательно укрепившему свою власть (некоторые современные молодые историки комсомола выдвигают гипотезу: не было ли это предложение Косарева некоей моральной компенсацией за недавнее неизбрание Сталина Ленинградской партийной организацией на XIV съезде ВКП(б)?), то тут ритм должен несколько приостановиться, стать более сосредоточенным.

На экране снова появится фотография, где Сталин в затылок рассматривает Косарева, и продержится перед зрителем дольше, чем прежде, сопровождаемая паузой. Подчеркнув значительность момента, пауза эта одновременно даст возможность и зрителю понять, что Сталин Косарева — рассматривает.

— Высшее руководство, — говорит Автор, — стало внимательно присматриваться к Косареву. В апреле двадцать шестого его отзовут из Ленинграда в Москву, назначат завотделом ЦК комсомола и введут в состав бюро и секретариата. В марте двадцать седьмого он уже секретарь ЦК, а через полтора месяца одновременно и первый секретарь Московского комитета комсомола. В конце двадцать седьмого года Пятнадцатый съезд партии избирает его членом Центральной контрольной комиссии ВКП(б), а в марте двадцать девятого он становится генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ. (Здесь может возникнуть опубликованный в

«Комсомольской правде» 25 апреля 1928 года дружеский шарж на Косарева — он стоит перед столом с графином, в юнштурмовке, с непослушными вихрами над лбом, с председателем колхозничком в руке). В этот момент ему — двадцать пять лет.

На экране еще фотография (из числа той же тематики сравнительно многочисленных — как архивных, так и газетных), где Сталин и Косарев вместе или во всяком случае неподалеку друг от друга. В одной из газет есть, например, такая фотография: в президиуме ряд представителей «славной когорты» рядом с Кобой, жмурясь от счастья, аплодируют, глядя в зал, а Косарев тоже аплодирует, но не глядя в зал, а лицом и всем торсом повернувшись к Вождю.

Итак, они — рядом, Коба и Саша.

— Два генсека, — поясняет Автор, — партии и комсомола.

И тут же пойдет кинохроника двадцатых и тридцатых годов — хроника первых пятилеток.

В принципе ее можно собрать из отдельных кадров самых разных журналов, фильмов, кинолетописных материалов. Но в данном случае, наверное, лучше всего использовать главным образом ленту, выпущенную в 1938 году к 20-летию комсомола. Однако не только потому, что она, так сказать, в русле нужной нам тематики. И не от того, что в ней много прекрасно снятых «индустриальных», «сельскохозяйственных», «трудовых» кадров, много живых, искренних лиц, выражающих то, что называется энтузиазмом эпохи. А от того еще, что сам монтажный строй картины, ее надписи (например: «Партия зажгла огни индустриализации», «Большевистская весна пришла на социалистические поля», «Шел год великого перелома», «Комсомольцы и молодежь ринулись на леса невиданной стройки», «И чудо свершилось», «Гигантскими шагами страна шла к новым победам»), бодря дикторская мелодекламация («Человек проходит как хозяин необъятной родины своей») — этот закадровый возглас диктора хорошо монтируется с кадрами фильма ликующих избирателей — пляшут, поют частушки, играют на гармошке — идущих на первые выборы в Верховный Совет. А вместе с ними подходят к урнам на избирательных участках, уставленных пальмами в кадках, равные с ними среди равных Лазарь Моисеич, Климент Ефремыч, Вячеслав Михалыч, Иосиф Виссарионович (так называл я его в дальнейшем, довоенном детстве, когда моя мама учила меня выговаривать святое имя), Анастас Иванович, а под конец Михаил Иванович в смешной, блином, рабочей кепочке и пальто, подошел к урне и каким-то очень ловким, даже залихватским движением сунул бюллетень — уж не со своей ли фамилией? —

в прорезь и отошел довольный; останавливаю внимание на этом эпизоде, ибо полагаю, что он нам может пригодиться тогда, когда на пленуме будет поставлен на голосование вопрос о снятии Косарева и его сотоварищей с постов секретарей ЦК комсомола, точнее, вопрос о смерти Косарева и его товарищей, и не только политической, и все проголосуют единогласно. Пусть с ними проголосуют за смерть и эти. Пусть вообще весь эпизод голосования на пленуме (за кадром: Кто «за?», кто «против?» Нет. Кто воздержался? Нет. Принято единогласно!) пройдет на этих кадрах, хотя ни Лазаря, ни Клима, ни Сосо, ни остальных в этот момент на пленуме не было, однако решение-то принято было и м и, а не комсомольским пленумом, лишь послушно подтвердившим это решение; повторяю, и сам монтаж картины, и ее словесное оснащение, и ее маршевое музыкальное сопровождение, а не только изображение, наконец, название «Повесть о завоеванном счастье» (авторы картины И. Венжер и Я. Посельский) несут в себе некую ауру времени, его пафос, в которых сегодняшний зритель может уловить и сложную гамму иных смысловых оттенков и напластований.

Ибо во всем этом есть смесь правды и лжи, пафоса подлинного, идущего от искреннего порыва молодых сердец переустроить мир на человеческих началах, и пафоса выдуманного, возникающего от стремления порыв втиснуть в рамки, взять под контроль бюрократической велеречивости, осознанный энтузиазм перелить в бессмысленную экзальтацию, которые в совокупности делают сегодня такую смесь — гре муч ей. Помогают почувствовать двусмысленность хроники, а через нее — двусмысленность времени. В свою очередь, подобная двусмысленность хроники может нам помочь перевести ее из информационного ряда в ряд, пользуясь эйзенштейновской терминологией, двусмысленный. Говорящий не только о видимых фактах, но и еще о чем-то другом, невидимом.

Правда, «Повесть о завоеванном счастье» насчитывает четыре части, а нам ее надо будет уложить, отобрав наиболее выразительные кадры, надписи, тексты, в несколько минут. Но, может быть, именно такой жесткий отбор и поможет создать действительно двусмысленное зрелище, выявляя его образный потенциал.

Кроме того, в монтажный нарез кадров из этого фильма могут войти какие-то изображения и из других хроник.

Скажем, в одном из «Совкиножурналов» за 1928 год (№ 36) есть прекрасный кадр, снятый на комсомольском субботнике в честь XIV Международного Юношеского Дня (МЮДа): груженную кирпичом приземистую платформу, установленную на рельсах,

из глубины фабричного двора медленно везет — на нас, зрителей, — навалившись на платформу, ватага молодых рабочих — кто в майке, кто голый по пояс. И опять же в веселых, задористых лицах есть незамутненность, чистота.

Возможно, этот кадр возникнет не раз (платформа будет к нам все приближаться и приближаться) как некая «этикетка» времени, как символ не только его невероятных физических усилий, но и чистоты исходного порыва. И может быть, в последний раз этот кадр появится почти в самом финале, когда уже будет расстрелян Косарев, его товарищи, когда пройдет «комсомольский мартиролог» с именами и цифрами убиенных.

Словом, тогда, когда все уже будет конечно, — вновь возникнет этот кадр, может, распечаткой увеличенный до пределов и этим до пределов приближенный к нам.

Потому что это — груз для нас.

Они везли его и везли, но до конца так и не справились с ним. Не потому, что не могли, не умели, всё, что могли, и всё, что умели, они сделали, а потому, что время навалило на них и так и не дало им сбросить тот груз, о котором повествует фильм. Поэтому они передают его — нам.

Или, например, еще один кадр из довоенного фильма «Этапы большого пути», тоже рассказывающего о комсомоле. Среди монтажного нареза, посвященного труду героев-шахтеров, в фильме есть кадр с заполненной шахтерами клетью, какое-то мгновение она находится перед нами, а потом так же мгновенно срывается вниз и исчезает. Пусть мелькнет и это изображение в нашем сжатом монтаже хроники первых пятилеток, мелькнет в качестве одной из подробностей повседневного шахтерского труда.

Потому что в финале и этот кадр может возникнуть вновь, отыгрывая свое иное качество. Возникнуть там, где пойдет речь о погубленных, — как некий зримый символ мгновенного и с ч е з н о в е н и я.

Также в эту внешне бравурную, а по сути сложную, противоречивую, по существу драматическую хронику периодически будут внедряться в виде фото- и кинокадров изображения Косарева: среди молодых работников завода «Красный треугольник», среди строителей Московского метро, вместе с Пашей Ангелиной, среди краснофлотцев Дальнего Востока, на строительстве канала Москва — Волга и т. п.

И наконец, последнее: может быть, на мгновение, повторяясь, как бы рефреном этого куска, должно возникать одно и то же изображение Сталина, для данного случая, по-моему, хорош кинокадр, где после доклада на VIII Чрезвычайном съезде Советов о новой, его имени Конституции, на звуковом фоне очередного разгула любви к Отцу,

Отец ответно вскидывает обе ручки с кулачками вверх и чуть вперед, в сторону изнемогающего от чувств зала. В этом жесте есть как бы благословение. Или, точнее, он как бы посылает тех, кто перед ним, вперед! На новые дела! К новым свершениям!

Но в нарезе хроники бурных пятилеток этот рефрен должен дать почувствовать зрителю не только то, что Вождь двигал огромными людскими массами, а что он ими двигал с помощью таких безоглядно преданных исполнителей, выдающихся организаторов, горячих вожаков, каким был Александр Косарев. Может быть, можно найти и другой, более точный сталинский кадр, но в любом случае тут должна прочертиться мысль о генсеке комсомола как об одном из тех, кто практически реализовывал, создавал, а правильнее, в о з г л а в л я л создание той системы, того строя жизни, которые осуществлялись при Сталине и под его водительством.

По ходу этого эпизода, который можно условно назвать «Повесть о завоеванном счастье», между дикторской патетикой давнего фильма и на фоне патетики его музыкального сопровождения Автор, продолжая биографию нового генсека комсомола, скажет:

— Натура недюжинная, Косарев в годы начавшихся пятилеток весь свой скрытый за внешней простотой природный ум, свою энергию, волю, незаурядный организаторский талант, свою цепкую память и ораторский дар, свое обаяние и доступность, умение заразительно смеяться и остро шутить, буквально всё — всё отдает подъему молодежи на выполнение поставленных задач. Комсомольцы, сплоченные в огромные трудовые соединения от Белого моря до Тихого океана, не жалея себя, своих сил, своих жизней, строят заводы, пашут землю, собирают хлопок и хлеб, возводят города и плотины, тянут линии электропередачи, добывают уголь и прокладывают метротоннели.

А потом пойдет эпизод — как бы в продолжение предыдущего, — открывающий еще какие-то грани природы и деятельности Косарева.

— Он был молод и горяч, — скажет Автор, — был неумен во всем и одновременно последователен и тверд, стремился все довести до конца.

На экране коротенькая заметка из «Комсомольской правды» (28 июня 1928) под названием «Наконец-то! Идеологический мусор будет вынесен из театра». В заметке сообщается (пусть зритель прочтет) о решении Коллегии Наркомпроса, утвердившем решение Главреперткома, об исключении из репертуара московских театров всех постановок по пьесам Булгакова.

— По инициативе Косарева, и не только его, будут запрещены как враждебные в

классовом отношении все спектакли по пьесам Михаила Булгакова, включая «Дни Турбиных» во МХАТе и «Зойкину квартиру» в Вахтанговском.

На экране — портрет Вс. Мейерхольда, фото из его постановок.

— Он спасет, — продолжает Автор, — от закрытия — первого закрытия — в конце 20-х годов, от второго уже не спасет никто — театр Мейерхольда как театр, нужный пролетарской массе.

На экране фото выступающего Косарева, а затем опять мелькнет Сталин, раскуривающий трубку.

— Он потребует решительного похода против пьянства, хамского отношения к женщине, назвав их остатками капиталистической идеологии, а однажды даже в числе таких остатков назвал курение, в запале, видимо, забыв о человеке с трубкой.

Газетная полоса «Комсомолки» 1929 года со статьей Лазаря Шацкина «Долой партийного обывателя», затем фото Шацкина — молодое красивое лицо. Потом страница «Комсомольской правды» с репортажами о VIII съезде комсомола.

— Косарев подвергнет разгрому статью одного из своих предшественников, первого секретаря ЦК РКСМ в двадцать первом — двадцать втором годах Лазаря Шацкина. Статья вызвала гнев Сталина, она требовала от молодых не автоматического выполнения высоких партийных решений, а самостоятельных размышлений. За год до этого, когда VIII съезд комсомола провозжал Шацкина на партийную работу, Косарев назвал его среди тех, под руководством кого оформлялась мозговая оболочка комсомола. В ответ Шацкин под аплодисменты и смех зала шутиво заметил, что его уже второй раз хоронят по комсомольскому разряду и произносят надгробные речи, после которых Косарев кончает: почтим его память вставанием. Вряд ли Шацкин предполагал, что шутка окажется столь нешуточной.

Страницы «Комсомольской правды» (2 июня 1928) с заметкой Косарева «За единую форму комсомольцев», рядом фото: трое юношей и девушка в юнштурмовках. Затем кадры хроники, где Косарев выступает перед микрофоном-коробочкой в такой же форме. Затем кадры из «СКЖ — комсомольский» (к 10-летию комсомола): по Красной площади идут уже целые парадные колонны молодежи в юнштурмовках, а потом — торговый отдел с вывеской «Комсомольский ГУМ» и услужливый юноша-продавец тоже в юнштурмовке на фоне полок с чайной посудой.

— Косареву нравилась, — продолжает Автор, — форма немецкой революционной молодежи, он хотел одеть в нее всех комсомольцев. Но постепенно в форму одевались и многие другие.

На экране скульптурные группы («СКЖ», 1929, № 50) радостно улыбающихся пионеров, колонны пионеров в одинаковой форме проходят по стадиону «Динамо», во главе колонн — 300 барабанщиков. Поезд подходит к платформе московского вокзала, в окнах — пионеры с горном, пионерлагерь на Каспии («СКЖ», 1928, № 36), по звуку горна дети вбегают в море, по горну — выбегают. Молодежный лагерь Осовиахима под Москвой («СКЖ», 1932, № 30). Идет строем колонна наголо обритых, крепких парней в форме, близкой к военной, но без ремней, делают зарядку — по команде приседают, по команде — выпрямляются. Надевают противогазы. Парни и девушки в противогазах. А затем — крупно лицо в противогазе.

— Комсомол,— говорит Автор,— все больше теряет свою самостоятельность, самостоятельность. Во взаимоотношениях с партией все большее место занимали командные методы, окрик и административные меры.

Еще страницы «Комсомольской правды». Рисунок (13 мая 1928) — на фоне бетховенского портрета парень растянул гармонь, подпись: «Атакуем Бетховена». Большими буквами заголовок: «Гармонь на службе комсомола и... у участника» (3 января 1928), в этом же номере газеты колонка «На конкурсе в Доме союзов» с сообщением, что конкурс открыл первый секретарь МК ВЛКСМ тов. Косарев, указавший, что в борьбе комсомола за нового человека гармонь сыграет последнюю роль. Фотографии в газете участников конкурса с гармониями в руках (27 января 1928).

— Очень любил Косарев,— говорит Автор,— музыку инструмента рабочих окраин — гармони. Он организует концерты, конкурсы и олимпиады, привлекает в жюри крупнейших композиторов, театральных деятелей. По всей стране он распространяет ТРАМЫ.

Очень выразительные кусочки из «СЖК — комсомольский» вслед за надписями «ТРАМ в Замоскворечье» и «Занятия по гимнастике челюсти»: то вся группа, то парень, то девушка, на крупном плане во всю работают мышцами лица, растягивают губы, затем надпись: «Игра с вещью», и участники занятий разыгрывают этюды с воображаемым предметом: девушка моет руки, лицо, склоняется к «крану», парень «иглой» с «ниткой» пришивает «пуговицу» (сейчас эти кадры промелькнули, но потом их выразительность мы используем еще раз).

— Он помогает Попову,— продолжает Автор (на экране фото Алексея Дмитриевича Попова, фотографии сцен из «Ромео и Джульетты» в Театре Революции — М. Бабанова, А. Лукьянов),— выпустить для молоде-

жи «Ромео и Джульетту» с Бабановой. Поддерживает Николая Островского (на экране — хроника с Николаем Островским, его дом в Сочи), помогает устроить его переезд в Сочи. Активно участвует в реализации идеи Горького о создании силами комсомольского издательства серии «Жизнь замечательных людей» (на экране — книжки серии, от самых первых до выпущенных сейчас, может быть, мелькнет среди них и изданная в этой серии в 1988 году книга «Косарев» с его портретом на обложке), переписывается с Горьким, встречается с ним.

На экране — горьковские фото- и киноизображения, а затем фотография Косарева в костюме, при полосатом галстуке и в кепке, сидящего рядом с Горьким в накинутах на плечи пальто и Роменом Ролланом, укутанным шарфом, в пальто и шляпе, а вокруг веселые, щекастые, крепко налитые девушки-парашютистки — коротко стриженные и в беретах.

— Это,— объясняет Автор,— Косарев вместе с комсомолками-парашютистками на даче у Горького во время приезда к нему Романа Роллана. Косарев познакомил Горького с только что изданной по его инициативе книгой «Рассказы строителей метро» (на экране — роскошное, многостраничное издание со множеством прекрасных фотографий на плотной бумаге). Писатель,— продолжает Автор,— посетовал на роскошество издания, но что-то его сердило еще. Через три недели он умер (на экране — Горький в гробу), но остался его отзыв о книге. «Когда человека слишком восхваляют,— писал он (а на экране — снова фотографии строителей метро из книги, может быть, в каком-то месте перебиваемые подлинными горьковскими строчками),— за исполнение им его общественного долга, так человек начинает смотреть на себя, как на некое чудо». Имел ли в виду Горький строителей метро? Или кого-то еще? И думал ли Косарев (на экране — крупно его лицо), кого же все-таки имел в виду Горький?..

Фотография с крупно снятым лицом Косарева чуть удаляется от зрителя, и он видит, что Косарев снят на этой фотографии среди группы молодых людей. Пойдут и другие подобного рода снимки: среди делегатов Харьковской городской конференции, среди краснофлотцев, награжденных орденами, в обнимку у Большого театра с другими делегатами XVI партсъезда, среди гостей X съезда ВЛКСМ, есть хороший снимок вместе с Хрущевым среди делегатов этого съезда, сюда же могут быть включены и аналогичные коротенькие киноизображения.

Автор:

— Молодежь его любила, подражала ему. Прошли годы, он оставил юнгштурмовку, стал часто появляться в таком вот свитере (есть

снятый довольно крупно очень хороший кадр в «СКЖ», 1931, № 2 — Косарева, выступающего на трибуне в плотном свитере домашней вязки с большим отложным воротом, можно его дать в вышперечисленном монтаже, доведя до стоп-кадра), этот свитер называли «косаревкой», многие молодые люди старались завести и себе такой же. Его называли по-простому — Саша. А еще его любили потому, что на нем был как бы отсвет любви к молодежи Страны Советов ее отца и учителя (еще одна из фотографий Сталина и Косарева). Распространялась молва, что Косарев — любимец Сталина, запросто вхож к нему. На комсомольских съездах тридцатых годов его встречали овациями, называли «вожаком», «боевым руководителем».

За кадром слышен шквал аплодисментов, а в кадре Косарев на трибуне, звучит один из немногих его синхрон, записанных на X съезде ВЛКСМ в 1936 году, он говорит довольно горячо, но уже в рамках сложившихся словесных стереотипов — славит героический комсомол. Однако надо дать послушать зрителю этот синхрон ж и в о г о Косарева. А на конце синхрона Автор скажет:

— В 1933 году Косарева наградили орденом Ленина.

На экране возникнет фото Косарева на трибуне, к лацкану пиджака привинчен орден.

— А еще раньше,— продолжит Автор,— в январе 1931 года за ударную работу в первой пятилетке орденом Трудового Красного Знамени был награжден Всесоюзный комсомол. По непонятной прихоти Сталина орден вручили лишь спустя шесть лет, в апреле 1937 года.

На экране фотография в «Комсомольской правде» от 18 апреля 1937 года, на которой Г. И. Петровский вручает орден. Награду принимают Косарев, Вершков, Пикина, участники того самого пленума, с которого начался фильм. На фоне их лиц вновь возникает распахнутый занавес, за кадром легкий шумок зала, несколько требовательных звонков, призывающих к вниманию, шумок стихает, слышен голос председательствующего:

— Продолжаем работу нашего пленума. Слово имеет товарищ Косарев. Товарищей прошу записываться.

Здесь, возможно, мелькнет фото того, кто на этом заседании председательствовал,— секретаря ЦК ВЛКСМ Серафима Богачева. Секретарем ЦК он стал всего около года назад, до этого он был первым секретарем Коломенского горкома. Как и Косарева, его арестуют после пленума. В этот момент ему двадцать девять лет. Расстреляют в сороковом, в тот момент ему будет тридцать один год.

— Товарищи! С докладом товарища Шкирятова нам, руководящим работникам ЦК комсомола, и, в частности, мне, приходится согласиться. Мне бы хотелось дать объяснения. После Четвертого пленума ЦК комсомола главной задачей мы ставили — выдвинуть новые кадры, очистить руководящие кадры от враждебных и разложившихся элементов. По этому решению проводилась и областная Чувашская конференция. С чем встречалась товарищ Мишакова на этой конференции? Она неоднократно звонила в ЦК, лично мне, информировала о том, что состав конференции засорен враждебными элементами, что она не встречает поддержки делегатов. Нами указывалось, что она должна быть внимательной, не допускать избиения преданных партии людей и до конца расправиться с врагами, пробравшимися на конференцию. Я лично звоню в ЦК партии, информирую товарища Маленкова...

На экране мелькнет полноватое, бабье лицо Георгия Максимиляныча.

— ...об этом,— продолжает Косарев.— Бывший секретарь Чувашского обкома партии, впоследствии оказавшийся врагом народа, Петров на конференции явно выглядел не по-партийному, и об этом факте знали.

С этого момента нормальное, хотя бы с внешней, процедурной стороны, течение пленума кончится, он превратится в судилище. Тех, кто оказался в роли «подсудимых», будут все время обрывать репликами, с разных сторон обстреливать вопросами. Поэтому, возможно, фотоизображение обстреливаемого займет часть экрана, а те, кто обстреливает (Шкирятов, Жданов, Маленков, Андреев), будут выскакивать в свободной части экрана вместе со своими репликами и вопросами, обступая обстреливаемого, наступаая на него с разных сторон. Причем нередко изображение одного и того же лица может возникать, вновь и вновь множиться, оставаясь во множестве на экране,— в зависимости от количества поставленных вопросов и кинутых реплик в конкретном куске. И все это, повторяю, вокруг единственного изображения обороняющегося, загоняемого в угол (а в конечном итоге — в тюремную камеру и под расстрел) лица.

Вообще, может быть, надо для изображения пленума, его действия, использовать некий фотоколлажный метод (возможно, и с некоторыми элементами мультиработ). А может, использовать восковые фигуры... При этом не надо стремиться и к чрезмерному разнообразию изображения в ходе диалогических сшибок участников пленума. Ибо опыт показывает, что зримое разнообразие при звучании за кадром текстов, требующих от зрителя повышенного внимания, понижает слуховую сосредоточенность в тот момент, ког-

Фото Косарева на трибуне. Он говорит:

да зритель увлекается рассматриванием экрана. Следовательно, «картинку», наверное, надо разнообразить лишь слегка, лишь в точно определенной мере, всячески помогая зрителю совместить в этих эпизодах визуальную и слуховую сосредоточенность для понимания и предчувствования внутренней драматической напряженности.

Итак, Косарев говорит о непартийном поведении Петрова и что «об этом факте знали». Тут же встречается Матвей Федорыч.

Шкирятов: И это заслуга Мишаковой.

Косарев: Я не отрицаю, она там выполняла директиву ЦК.

Жданов: Она выполнила?

Косарев: Выполнила. После этих мер на конференции произошел перелом, часть делегатов была разоблачена как враги народа.

Маленков: Почему вы при помощи Центрального Комитета партии поддержали Мишакову, а без помощи и без ведома ЦК ее потом не поддержали?

Косарев: Мы поддержали. Я рекомендовал Мишаковой написать специальную докладную записку, что она и сделала.

В этот момент на экране впервые возникает «героиня» всей этой заварухи — Ольга Мишакова. Этакий Комиссар из «Оптимистической трагедии» новой эпохи. Или, может быть, правильнее сказать — из «Трагедии оптимизма». Впрочем, она, конечно, героиня не Вишневого, а персонаж по характеру и сути из гораздо более дальних, хорошо на Руси известных времен, в том числе и по литературе — у Н. Лескова, Ф. Достоевского, Ф. Сологуба, отчасти у А. Н. Островского. Но своеобразие новой эпохи, в отличие от Лескова, Достоевского, Сологуба, Островского, в том, что темную бездну в каком-то ее неимоверно порочном крене новая эпоха явила в женском облици. У писателей прошлого такая «бездна» проявлялась все же по преимуществу в мужских персонажах.

Однако для нас ситуация тем и интересней.

К сожалению, пока мы располагаем лишь несколькими фотографиями Ольги Петровны паспортного размера. Ничем особенно не выделяющееся лицо с короткой, уложенной легкими волнами, скорее всего на щипцах, стрижкой. Во всяком случае в фотографиях этих не очень улавливается то, о чем говорят многие ее знавшие, — миловидность и привлекательность. Впрочем, возможно, привлекательность была не в облике, не в чертах лица, а в ощущении (которое может дать только личное общение) несомненно гнездившихся в ней «демонов». Или, может быть, более справедливо сказать — «мелких бесов».

В момент пленума, в ноябре 1938 года, ей тридцать два.

Итак, Косарев спешит сообщить пленуму и своим доносчикам, что он, Косарев, рекомендовал Мишаковой написать в ЦК специальную докладную записку о том, какое великое множество врагов народа в Чувашской партийной и комсомольской организации. Тем самым он старается убедить не столько пленум, сколько своих допросчиков, что все же помогал, помогал «товарищу Мишаковой» (нельзя сказать точно, но легко предположить, как и кем и словами, стискивая зубы, он называл ее про себя). А нам при этом — конечно же, с позиций высокомерного знания нашего времени — очень хочется, чтобы Косарев не рекомендовал. И, как сейчас увидим, Оля Мишакова протянет нам ниточку надежды. Но Саша Косарев тут же эту ниточку оборвет. И будет с необыкновенным упорством стоять на своем. С одной стороны, от непонимания, чего от него хотят, — ведь он делал то, что нужно, надо только это доказать, убедить в этом. С другой, потому, что это — упорство обреченного.

К счастью, а иногда вдруг кажется, что к сожалению, Косарев, судя по всему, своей обреченности до самого конца не осознавал. Как же так — его, генсека, молодого, тридцатипятилетнего — снесут с лица земли? Он знал, и уже неплохо знал, что в принципе такое случается сплошь и рядом. С другими, с кем угодно, но — с ним?!

Однако в подсознании, где-то в тайных потемках души обжигающее ощущение конца, наверное, возникало. Но оно все время перебивалось вспыхивающей надеждой, верой в то, что все еще образуется, поправится. Ну пусть не так, как было, пусть как-то иначе, но главное — будет ж и з н ь. И этот, этот крохотный, едва тлеющий огонек определял на пленуме его некоторые слова и некоторые поступки.

Но разве в этой ситуации наше хотение что-нибудь значит?

Кто, скажите, кто может осудить?!

Даже те (их, видимо, единицы), кто в подобной ситуации не говорил таких слов и не совершал таких поступков, даже они вряд ли приняли бы за этот суд.

Такой суд мог бы свершить лишь сам Косарев. Свершить уже за гранью собственной жизни. Ибо, возможно, что только у смертного порога, в последнее перед расстрелом мгновение жизни ему явилось понимание всего. Стало ведомо то, что нам не ведомо до сих пор.

Но эту свою тайну он унес с собой.

Не для того ли, чтобы мы, не укоряя и не судя, не вознося и не ставя памятника, попытались если и не понять ее до конца, то хотя бы прикоснуться к ее отгадке? К пониманию причин и следствий. Сам смысл смерти Косарева (если вообще в смер-

ти может быть смысл) или, точнее, смысл его смерти в той форме, в какой ее уготовил ему (как и миллионам других) рок, взывает к отгадке, торопит нас, гонит к ней.

Потому что без попытки приоткрыть тайну нам дальше, наверное, — не жить.

Упорство обреченного.

Итак, еще раз повторяю, Косарев сообщает о том, что он рекомендовал Мишаковой написать докладную записку.

Мишакова: Не рекомендовал. (Вот она, ниточка нашей надежды. — *Л. Р.*)

Косарев: Вы можете сказать, что до всего сами додумались? (Ниточка оборвалась. — *Л. Р.*)

Шкирятов: Она правильно говорит.

Косарев: Я отвечаю перед ЦК партии за свои поступки.

Мишакова: Я выступлю и докажу.

Шкирятов: Правильно она говорит. (До чего же хорош Матвей Федорыч, как гнет свою линию!.. — *Л. Р.*)

Косарев: Эту записку я направил в ЦК партии. В феврале поступило заявление бывших секретарей Чувашского обкома комсомола Терентьева и Сымокина, они просили снять записанное им обвинение как пособников врагам народа. В этом же заявлении они писали, что, дескать, сама Мишакова является замаскированным врагом народа.

Шкирятов: А что вы сделали?

Косарев: У меня было заявление, которое я передал товарищу Вершкову. Когда он докладывал на бюро ЦК, был поставлен вопрос о Мишаковой, что она неправильно себя вела, всех зачислила во враги народа. Сейчас все становится ясным: вместо того чтобы обсудить заявление Терентьева и Сымокина, фактически обсуждался вопрос о Мишаковой. После доклада Вершкова начались прения. Я говорил о положительной работе, которую проделала товарищ Мишакова.

Мишакова: Врете, Косарев!

Косарев: Я еще пока в партии...

Мишакова (перебивает): Мне тоже кричали, что я лгу.

Косарев (продолжает): ...и поэтому прошу пожеливее быть. Это невыгодно ни мне, ни вам, ни для пользы дела. Затем я говорил, что она зажимала критику своими репликами, что эти реплики дискредитируют комсомол. Поэтому Горшенин внес предложение насчет ее снятия, но я внес предложение насчет ее освобождения.

Шкирятов: Хрен редьки не слаще.

Косарев: Я предложил перевести на другую работу.

Маленков: Вместо того чтобы поддержать, избили.

Андреев: Фактически взяли под защиту

врагов народа.

Косарев: Я не знаю, враги народа или нет. (Вот и выскочила, пусть на мгновение, фантазмагория, туфта. — *Л. Р.*)

Шкирятов: Есть материал.

Косарев: Тогда они не были арестованы. (Фантазмагория продолжается. — *Л. Р.*)

Андреев: Причем все материалы были в защиту.

Косарев: В защиту Мишаковой.

Шкирятов: И в защиту ее линии большевистской. (Ну до чего ж хорошо! — *Л. Р.*)

Косарев: Все это верно. В этом моя глубокая ошибка. После нашего Четвертого пленума ЦК комсомола мы решили, что развернули борьбу с врагами народа, что мы первые всюду копали (хорошенькое словечко! — *Л. Р.*), потом уже НКВД вмешивается. Даже между собой хвалились: вот какие мы!

Жданов: Кто прививал вам это?

Косарев: Никто. Что Белобородова мы вскрыли. Уткина мы вскрыли... Была переоценка своих успехов.

Шкирятов: Которых еще нет.

Косарев: Нет, они есть, но не таковы, как мы их оценивали, потому что у нас действительно критики и самокритики недостаточно. Отсюда и окостенение, о котором говорил товарищ Жданов в своей речи на пленуме, посвященном двадцатилетию комсомола.

Жданов (в стенограмме нет, но можно предположить, что Андрей Александрович следующую свою реплику произнес со здоровой веселостью): Попробуй вас покритикуй, вы так же, как с Мишаковой, расправитесь.

Косарев: Ну вот на этом я пока и кончу.

Шкирятов: Непонятно как-то.

Тут впервые возникает еще одно лицо — Николай Михайлов, тот, что на этом пленуме сменил Косарева и надолго застрянет в комсомольских руководителях — до 46 лет. А сейчас ему тридцать два, он молод, красив, у него волнистые черные волосы и пухлые, капризные губы. До того как он станет первым секретарем ЦК, он — главный редактор «Комсомольской правды». Ему повезет (хотя, возможно, дело не в одном везении) — добрая сталинская традиция умерщвлять всех (кроме одного, который «отделался» лагерями) первых секретарей ЦК комсомола закончится на Косареве.

В этот момент, на пленуме, Михайлов, видимо, уже знает, какой ему предстоит взлет. И потому — старается.

Михайлов: Я считаю выступление Косарева неправильным.

Богачев (председатель): Переходим к прениям.

Жданов: Это ведь не простые прения. Это официальное заседание (не боится раскрыть карты. — *Л. Р.*). Люди должны дать объяснения, а не в прениях выступать (ниче-

го не боится, да и чего ему бояться? — Л. Р.).

Богачев: Слово имеет Вершков.

У микрофона Петр Вершков.

Он из рабочих, по профессии слесарь. До недавнего времени был секретарем ЦК комсомола. Но во время пленума он уже секретарь Саратовского обкома партии — совсем недавно был на этот пост рекомендован комсомольским ЦК. Однако Шкирятов его активно тягал на беседы к себе в ходе расследования письма Мишаковой на имя «дорогого товарища Сталина», так как Вершков был непосредственным участником разбора в ЦК ВЛКСМ ее дел после Чувашской конференции и докладчиком по ее вопросу на бюро ЦК. Поэтому его вызвали и на пленум, тем более что он еще оставался членом ЦК комсомола. Хотя вернее будет сказать — не вызвали, а призвали к ответу.

Сейчас, в момент пленума, ему тридцать два, всё остальное — по стереотипной программе: арест после пленума и расстрел.

А пока — покаяние, попытка спасения.

Вершков: Мне кажется, обсуждаемый ныне вопрос имеет исключительное значение для большевистского воспитания кадров (не могу удержаться, чтобы не заметить, хотя бы здесь, что «обсуждаемый ныне вопрос» имел, на мой взгляд, действительно исключительное значение для нравственного развращения кадров, для внедрения в среду молодых комсомольских вожakov разного уровня невиданного аморализма, пошлости, взаимного предательства и подлости.— Л. Р.). В вопросе Чувашской организации, о чем подробно докладывал товарищ Шкирятов, я несу, безусловно, огромную политическую ответственность. Вместо того чтобы людей, активно поднимающих дело борьбы с врагами, поддерживать, мы ударили, как это ни неприятно признавать, мы ударили по рукам товарищ Мишаковой и удалили ее.

Вот он, один из аспектов аморализма: попытавшись остановить женщину, в своем остервенении готовую избить (как мы увидим дальше — не только в переносном, но и в прямом смысле слова) и убить ни в чем не повинных людей, они теперь вынуждены бичевать себя, отрещиваться от собственного нравственного поступка (хотя в душе, конечно, понимают, что были правы). Но есть тут и более глубокий пласт, наводящий на размышления. Они решили ее обуздать, потому что она уж очень распустилась. А если бы — не очень? А если бы в пределах некой мыслимой нормы? Трагедия была в том, что они сами были частью созданной системы, ее винтиками и ее же жертвами. То, что они были частью системы, одной из деталей, без которой огромный маховик не запустился бы, Вершков сейчас сам подтвердит.

Но сначала встрянет А. А. А. (Андрей Андреевич Андреев).

Андреев: Вы ударили не по Мишаковой, а по целой организации (сталинские сатрапы свое исполнительское рвение всегда стремились использовать для всемирного раздувания масштабов.— Л. Р.).

Вершков: Верно. Вообще бюро ЦК комсомола занималось многими организациями по их расчистке (вот! — Л. Р.). Я сам непосредственно (вот! вот! — Л. Р.) занимался среднеазиатскими организациями, а там повышибали (вот! вот! вот! — Л. Р.) очень многих врагов и их пособников.

Богачев (он по-прежнему председательствует на этом заседании): Но там и выдвинули много новых врагов (фантасмагория набирает соки.— Л. Р.).

Вершков: Я не знаю, товарищ Богачев, почему вы избрали своей задачей подавать мне реплики. Вы имейте в виду, что я говорю о своих ошибках, а вам придется также говорить о своих.

Богачев: А почему я не могу подавать реплики?

Вершков: Вам дадут слово, и тогда будете говорить.

Да, действительно, уж лучше бы этот юный «сизокрылый Серафим», жизни которому на грешной земле осталось два года, помолчал. Никакие реплики, ни тем более его выступление (оно не появится в фильме, но упомянуть о нем следует) Серафима Богачева не спасут.

Таких реплик, таких взаимных претензий в стенограмме немало. Здесь выбрана лишь эта реплика, но она характерна и, будем надеяться, даст почувствовать зрителю еще один аспект этого насаждаемого сверху руководящими товарищами аморализма, когда загнанные в угол несчастные люди мечутся в поисках выхода и временами им кажется, что какой-то упрек по адресу недавнего товарища и есть искомый выход. А на самом деле, как мы увидим здесь и как увидим еще в одном месте — дальше, когда подобный способ поиска спасения достигнет своеобразного апогея, такого рода с в а л к и только радовали руководящих работников, давали им полную руку козырей. Они это схватывали немедленно и немедленно же реагировали.

Жданов: Товарищ Вершков, эта ваша реплика может быть истолкована так: молчи, иначе я буду говорить о тебе, а если ты будешь молчать, я не буду говорить о тебе.

Ничего не скажешь, Андрей Александрович был замечательным знатоком психологии бездны. Надо думать, что это замечательное его знание базировалось на весьма солидной основе — на самоанализе. Трудно усомниться, что сам Жданов, попади он в аналогичную или хотя бы похожую ситуацию, 83

поступил бы именно так. Вообще в целом ряде ждановских реплик такие мерзкие свойства его натуры проглядывают с достаточной определенностью. Зато радуется, что Вершков, несмотря на всю грозность момента, пытается в ответ сохранить свое достоинство, «утраивая» Жданова, хотя тот в своем высокомерии вряд ли это заметит.

Вершков: Если это так истолковывается, я свою реплику снимаю сейчас же. В заключение могу сказать, что на основании этого дела — я за этот месяц порядочно продумал, основательно, как следует — я извлеку серьезный большевистский вывод и урок и постараюсь впредь в моей работе такого рода вещей не повторять.

Иначе говоря, Петр Афанасьевич Вершков дает обещание больше никогда не удерживать остервеневших людей от их оголтелой (от неоголтелой он, как и иные руководящие винтики, видимо, и раньше, судя по словам о среднеазиатских организациях, не очень удерживал ни себя, ни других) жажды, вызванной ли идейной верностью линии, карьеристскими ли соображениями или же, скажем, желанием оторвать более удачную квартиру у высокопоставленного соседа, губить людей. Правда, дальше зритель убедится, что какую-то очень важную нравственную пружину Петр Афанасьевич сохранил. Может быть, поэтому и с ним, несмотря на обещание, расправились. Впрочем, вряд ли. Расправа, независимо от каких бы то ни было обещаний, была предreshена до пленума, а Коба отступать от принятых решений не держал в своих правилах. Но — страшно подумать! — ведь расправа и спасла Вершкова от практической реализации, в сущности, безумного обещания.

Возможно, на экране, опять же на фоне распахнутого занавеса, появится надпись: «Вечернее заседание, 19 ноября 1938 года. Председательствует Косарев».

— Слово имеет, — слышим мы голос Косарева, — товарищ Мишакова.

Тут следует подчеркнуть, что как и вообще в фильме, так и в данном случае очень многое будет зависеть — при всей документальности материала — от точного актерского (а также фоношумового) разыгрывания закадровых текстовых партий. Все следует просчитать: тембр голоса, паузы, темперамент, смены интонаций, высокие и низкие регистры и так далее. Думается, что в голосе данного персонажа, во всех интонационных оттенках то и дело должны сплетаться некая звонкая уверенность в себе аппаратного работника и откровенные элементы базарной или квартирно-коммунальной свары. Этаким неостановимый поток, ко-

торый силен не смыслом, а именно потоком. К тому же потоком, овеянным предельной благосклонностью любимых руководителей вплоть до самого налюбимейшего. Не совсем то, что называют «брызгать слюной», но где-то недалеко от этого.

Что же касается благосклонности, то она, в частности, проявится в том, что ее речь ни разу не прервется резкой репликой вождя, кроме разве вездесущего товарища Матвея, который, став ласковым котом, подтвердит раз-другой неоспоримость слов. Правда, раз-другой будут ее прерывать то Косарев, то Вершков, уточняя по мелочам какие-то детали и занимаясь, в сущности, унизительно бессмысленнейшим делом. Все же остальные, включая, как уже было сказано, самых сильных мира того, будут с удовольствием внимать этому базарному потоку, хотя совершенно очевидно, что ряд мест ее речи давал, исходя из элементарных этических норм, основание не только остановить поток, но, взяв за руку, вывести оратора из зала.

Поэтому, может быть, следует поставить фотоизображение Ольги Петровны в центр кадра на все время ее речи, а изображения Косарева и Вершкова на их репликах будут влетать в кадр то слева, то справа от нее, под небольшим углом, и тут же отскакивать, отлетать, как отстрелянные гильзы, исчезать из кадра после мгновенного получения вполне в духе свары хамского отпора.

А когда оратора захочет словесно погладить Матвей Федорович, то он наоборот тихо влывает к ней в кадр, как ангел-хранитель или как белое облако, и, выполнив свою миссию, так же тихо выплывает.

Мишакова: Я хочу остановиться на выступлении Косарева и Вершкова. Товарищи! Не верьте им. Они играют вами. Они говорят неправду, причем они сознательно говорят вам неправду. Я перед партией и Советской властью никогда не лгала и не лгу, и то, что я буду вам рассказывать, — это истина и сущая правда. Наконец, товарищ Шкирятов подтвердит, он проверял это дело, что я ничего не солгала.

Шкирятов: Это правильно.

Мишакова: Я правду скажу, что Косарев и Вершков двурушничают перед ЦК и перед партией.

Косарев: Докажи.

Мишакова: Успокойтесь, Косарев, докажу. Они создают видимость, что борются с врагами народа, а на самом деле занимаются покровительством врагов народа. Косарев в ЦК ВЛКСМ создал шумиху, что они по разоблачению врагов народа идут впереди ЦК партии и НКВД.

Косарев: Где я заявлял об этом? Когда

добивался такой установки?

Мишакова: Вы не нервничайте!.. Я прямо заявляю, что за разоблачение врагов народа в Чувашии, за то, что я в ЦК активно добивалась, чтобы этих людей снимали с работы, отправляли туда, где им следует быть, меня сняли с работы и сделали врагом народа. В какой обстановке проходила конференция? Состав делегатов был в значительной степени засорен.

Возможно, здесь на какое-то мгновение исчезнет изображение Ольги Петровны, и возникает сначала надпись из старого журнала: «Занятие по гимнастике челюсти», а затем — парень, молчаливо растягивающий на этюдных занятиях ТРАМА губы в разные стороны, впечатление — на полном серьезе «строит рожи». Думается, что эти кадры во время выступления Мишаковой могут мелькнуть и в других местах. На их фоне продолжается ее речь.

Мишакова: На конференции открыто проводилась контрреволюционная националистическая политика. Делегаты поют контрреволюционные песни на чувашском языке, говоря: «Кулака мы не тронем». Затем дальше: «Гуляй, гуляй, да не женись». Когда я все эти вопросы выдвигала, никто ничего не хотел предпринять. Я очень прошу вас внимательно прислушаться, чтобы вы усвоили тактику этих людей. Начинается запугивание меня — не действует, начинаются угрозы — не действует, наконец, начинают уговаривать.

Вершков: Что вы выдумываете?

Мишакова: Я ничего не выдумываю. Я жалею, что я вам там морду не набила. Я расскажу, до чего вы меня довели.

Где-то здесь снова может помелькать кадр с челюстной гимнастикой.

Мишакова (продолжает): Так нельзя относиться. Вы хотели скрыть активных врагов. Так тенденциозно подходили, что просто невозможно. Я прямо говорю, что мне хотелось их побить! Роль дикой расправы взял на себя Косарев, он много жутких вещей говорил обо мне.

Косарев: Скажите, что говорил жуткого?

Мишакова: Разве это не жуткая вещь — лгунья?.. Товарищи, я не хочу жаловаться, мне очень тяжело, я хочу только, чтобы вы поняли, что это за люди. Я начинаю политически осмысливать и прихожу к заключению, что у нас неблагополучно в Центральном Комитете комсомола. Думаю — к кому можно обратиться? К товарищу СТАЛИНУ (так написано в стенограмме.— Л. Р.), он прислушивается к сигналам маленьких людей. Я как будто бы все сказала. Считаю, что Косарев не может быть секретарем ЦК.

Косарев: Требовалось доказать, а вы не доказали.

Мишакова: Нет, я доказала, вы сознательно меня избивали.

После речей «обвинителя» (Шкирятов), основных «обвиняемых» (Косарев, Вершков) и их допроса, речи «потерпевшей» (Мишаковой) начались прения.

Возможно, на экране здесь надо будет дать мелькание ряда выступающих «голов», а Автору оговорить этот момент течения пленума. Однако, если покажется, что из контекста прошедших выше выступлений, диалогов и реплик глубинные, смысловые пласты этой драмы, этого трагифарса не очень улавливаются (мне-то кажется, что улавливаются, и еще как!), то помимо сообщения о прениях, в которых члены ЦК ВЛКСМ, вчерашние единомышленники генсека, других секретарей, весьма единодушно приняли их клеймить, Косарева, разумеется, в первую очередь, Автор, возможно, и прокомментирует социальную, нравственную, философическую подоплеку развернувшегося театра абсурда. Прежде всего то (и в какой-то мере, может быть, и в тех же выражениях), что мною вначале говорилось о «мертвой душе» этого сборища, об отсутствии главного предмета «дискуссии» и одновременно главного предмета обвинения — врагов народа. Об обсуждении — пустоты, куклы, туфты, превращающих всё в комедию, однако в комедию, густо насыщенную кровью. Впрочем, такой комментарий может в случае надобности появиться и где-то позже — многое зависит от конкретной монтажной расстановки эпизодов.

Однако еще раз хочу подчеркнуть, что очень бы хотелось избежать закадрового педалирования (пусть даже мягкого), я все же уповаю на современное зрительское сознание, делающее громадный скачок за последние два года в своем политическом и художественном росте и способное к осознанию ситуации не через прямо обращенный к нему текст, а через образный контекст.

Мелькание же выступающих «голов» завершится более подробным выступлением выдвигающейся в тот момент фигуры — Николая Михайлова. А может, его надо дать сразу, без всяких «голов» — вслед за Мишаковой. Ибо в михайловском выступлении концентрируется смысл и тональность прочих речей.

Вот его появление Автор, возможно, и должен в виде реплики в сторону прокомментировать примерно в том духе, в каком о нем говорилось раньше. Не знаю, этично ли это, но у меня чешутся руки назвать данную реплику вслух: «Николай угодник».

Косарев (он председательствует, тоже характерная деталь — сам должен вызывать на трибуну тех, кто в совокупности с остальными постепенно его убивает): Слово имеет товарищ Михайлов.

Михайлов: Я вынужден заявить, что вчерашнее выступление Косарева свидетельствует о его политическом банкротстве. Оно уводит от критики, не мобилизует на борьбу с врагами, на внимательное отношение к людям. По поводу дела Мишаковой. Какую здесь позицию заняли Косарев и Вершков в первую очередь? Видите ли, все было случайно. Неверно это, не соответствует истине, не соответствует большевистской политике (единственная правда, которую сказал Михайлов. — *Л. Р.*). Моя прямая ошибка как члена бюро ЦК комсомола, несмотря на то что я два месяца болел (до чего же чудесная оговорка. — *Л. Р.*), что ко многим вопросам мне надо подходить еще острее, чем это я делал. Почему у нас нет критики, товарищ Косарев? Вместо критики насаждались самоуспокоенность и зазнайство. Куда годится такое положение, когда вы звоните в редакцию газеты и спрашиваете: «Слушайте, а почему меня нет на трибуне, руководители партии есть, а меня нет?»

Косарев: Кто, я?

Михайлов: Да, вы, товарищ Косарев.

Косарев: Вам я звонил?

Михайлов: Да, мне вы звонили: «Почему меня нет на трибуне?» Я ответил: видимо, портрет ваш не вышел (какова тонкость фразы! — *Л. Р.*).

Косарев: Когда это было?

Михайлов: Я не помню (ну чудо, просто чудо! — *Л. Р.*).

Тут возникнет пауза на фоне опять появившегося кадра — лица, занимающегося гимнастикой челюсти, а затем голос Косарева:

— Объявляется перерыв на десять минут.

Вновь за кадром шумок зала, а в кадре — раздвинутый театральный занавес. Затем шум зала перебьют звуки настраиваемых инструментов, зазвучит веселенькая музыка, а внутри раздвинутого занавеса появятся фотографии из трамвовских спектаклей, в частности фото странноватого, несколько карикатурного человека с бабочкой и в цилиндре, этот человек держит в руках папку, на ней крупно написано: Д Е Л О. А за кадром зазвучат под музыку (сохранились и ноты) звонкие куплеты из спектакля Ленинградского ТРАМа «Дружная горка»:

Вот вам и жизнь коллектива.

Бывает почти что всегда —

От разных ошибок актива,

Вот вы посмотрите, какая
Выходит у нас ерунда.

Согласно нотам, последняя строчка должна быть пропета дважды. Так что еще раз грянем вместе с веселым хором: Выходит!.. У нас!.. Ерунда!..

Хор стихнет, а на экране неторопливо возникнет изображение Марии Викторовны в своем кресле под торшером. Сидит молча, потом улыбнулась, заговорила:

— Отец разошелся с мамой в двадцать четвертом году и уехал. А мы с мамой и братом продолжали жить в Перми.

Есть фото: Вера Павловна Нанейшвили (мать Марии Викторовны) с двумя детьми — Марией и Павлом.

— Павел поступил, — продолжает Мария Викторовна, — в Плехановский институт, а я перевелась на третий курс рабфака при институте, и мы переехали в Москву. Там, где сейчас Госплан, до революции была гостиница «Париж», а после революции это называлось двадцать седьмой Дом Советов. Мама — большевичка с 1902 года, она из Азова, потом два года училась в Брюсселе, но доучиться не хватило денег. Когда приехали в Москву, нам дали в этом самом Доме Советов комнату. А там жил и Косарев, в одном коридоре жили — так наискосок.

Мария Викторовна усмехается.

— Почему-то поглядывали друг на друга. Мне было девятнадцать. Я училась в Плехановке, потом кончила нефтяной имени Губкина. Он был секретарем МК комсомола. А жил он в одной комнате с Гошей Беспаловым, я его знала по Уралу.

Здесь возникнет сначала за спиной Марии Викторовны, а потом — на весь экран хроника празднеств в Москве 10-летия Октября: улицы с флагами и лозунгами, парад на Красной площади, демонстрация, веселье, искренние лица и звуки то оркестра, то гармошки, то песен, то частушек.

— Мне, — продолжает Мария Викторовна за кадром, — очень хотелось попасть на Красную площадь, на парад. Я позвонила Гоше. А Гоши не было. К телефону подошел Косарев, спросил, в чем дело? Я секунду колебалась, потом объяснила. Он попросил подождать, сказал — перезвонит. Перезвонил и говорит: «Я достал мандат, но можно идти только вместе со мной».

По Красной площади движутся войска, мчится конница, на Мавзолее и вокруг множество лиц, которые потом исчезнут, проходит демонстрация, гремит оркестр, ликуют трибуны.

— Мы шли, — звучит за кадром голос Марии Викторовны, — на Красную площадь веселье... ой, как это давно было... На Красной

площади еще не было ощущения, что между нами что-то случится.

Мария Викторовна в кадре:

— А потом он стал очень интенсивно... ну, это самое... Приезжал с докладами к нам в институт. Его стали спрашивать, что это ты все едешь?.. Саша был коренастый, широкоплечий, а роста не очень высокого: метр шестьдесят восемь — метр семьдесят. Не любил, чтобы я носила высокие каблуки, не надо, говорит, несерьезно... Напористый был — не дыхнул!.. Улыбки не было — сразу смех. Заразительный смех — он так хохотал!.. А когда бывал мрачный, лучше не подходи. Мама сначала была против замужества, а потом они подружились, мы жили вместе. А отец хорошо относился к Саше, уважительно.

На экране фотографии Виктора Нанейшвили, отца Марии Викторовны, изданная в 1966 году в Баку и посвященная ему книжечка, тоже с фотографиями.

— Отец из дворян, — рассказывает Мария Викторовна. — Вообще в Грузии редко кто не дворянин. Дворянство было довольно бедное. Отец вступил в партию в девятьсот третьем — как раз в год рождения Саши. Он окончил Московский университет, филологический. Прекрасно знал русский язык, его страшно раздражали документы с грамматическими ошибками, обязательно их исправлял... Когда пала Бакинская коммуна, отца тайно переправили на лодке. В Грузию на партаблесты отец поехать не захотел, сказал — родственники замучают просьбами. Он был членом ЦИК, секретарем Югострайкома, Пермского губкома. В Перми за ним приезжала лошадь, а губком был по дороге в школу. Мы с братом просили подвезти. «Нет», — говорил отец. И он — ехал, а мы бежали за лошадью в школу.

Здесь в разговор, возможно, вступит Елена Александровна. Она сидит недалеко от матери — в том кресле, что ближе к окну.

— Я вспоминаю, дед все-таки был очень суровый. Светло-синие пронзительные глаза. Я прямо съезживалась. Но все, кто с ним работал, его любили, говорили, что со всеми был одинаково справедлив.

— Да, — продолжает Мария Викторовна, — он был очень твердый человек, жесткий. Был совершенно честен. Он хорошо знал Сталина, был с ним на «ты». В двадцать четвертом они поругались — по национальному вопросу. «Ты меня не учи», — сказал он Сталину. После этого перешел на хозяйственную работу во Внешторг... Косарев его даже боялся, трепетал перед ним.

На экране, возможно, появятся кадры из вертовского фильма «Человек с киноаппаратом» (1929), снятые в загсе тех времен, — все происходит быстро, скромно,

без пышности, но человечно. А затем, может быть, кадры из киножурналов 28-го года с сюжетами, посвященными Женскому дню.

За кадром Мария Викторовна говорит:

— Мы поженились ровно через четыре месяца после похода на Красную площадь, 8 марта 1928 года. Свадьба была... ну, как сказать?.. моя приятельница, его двое товарищей. Посидели за столом — вот и всё. Саша тогда уже получил квартиру на Русаковской улице, там и отпраздновали... У Саши был очень мягкий характер. Он был не мелочный.

На экране короткая информация из «Комсомольской правды» (12 января 1928 года, 4-я страница) под заголовком «Дом правительства СССР» с сообщением о том, что Госпромстрой «в этом году приступит к постройке грандиозного 12-этажного здания правительства СССР» на Берсеневской набережной, где уже приступили к сносу старых зданий. Может быть, можно найти кадры строительства. А перед этим — кадры из хроники, снятые у Берсеневской набережной: тихие воды Москва-реки, солнечная дорожка, высокое небо.

Вообще же счастливая мысль пришла вождю поселить всех скопом, чтобы потом без особых затруднений и очень оперативно изымать из этого «скопа» того, кого нужно.

На этих изображениях Мария Викторовна продолжает:

— Очень было безоблачно... Легко жили... Когда поженились, Сталин спросил об этом у Саши: «Ты женился?» Саша подтвердил, сказав, что жена — дочь старого большевика Виктора Нанейшвили. Сталин не дал договорить: «Я его знаю, это — мой враг». Но даже это не омрачило жизни. Мало ли кто у кого враг. Тогда личный враг еще не становился врагом народа... В 1931 году переехали на Серафимовича. Леночка тогда уже родилась. Она родилась на Русаковской... Хорошо помню: 20-й подъезд, квартира 388.

Здесь могут возникнуть и сегодняшние съемки: этот подъезд, бесшумный лифт, дверь этой квартиры. Сам «дом на набережной», его фасад, усеянный мемориальными досками, среди которых мелькнет и доска в память об Александре Косареве, жильце этого дома, с мощно рубленным профилем, на мой взгляд, мало напоминающим модель. А рядом еще и огромная реклама Театра Эстрады.

— Большая, — говорит за кадром Мария Викторовна, — очень светлая пятикомнатная квартира. Три комнаты маленькие, а две — большие, особенно столовая. Я, когда бываю в этом доме у подруги, всегда смотрю на свои окна.

Может быть, снять и этот кадр из квартиры подруги на окна бывшей квартиры Косаревых?!

На экране кадры хроники и фотографии

авиационных и физкультурных парадов. Косарев принимает рапорт участников физкультурного парада, проходят крепкотелые колонны спортсменов по Красной площади. Косарев на трибуне стадиона «Динамо» во время открытия спартакиады профсоюзов (1935), Косарев, задрав голову, смотрит в небо, летят самолеты. Косарев среди авиаторов, в небе — парашютисты и парашютистки, Косарев среди парашютисток, Косарев на выпуске Центрального авиаклуба («СКЖ», 1936, № 59), идет его короткий синхрон: «Мы подготовили девять тысяч курсантов».

Наконец, на Красной площади стоят приготовившиеся к физкультурному параду колонны, над ними (крупно) транспарант с портретом Косарева и надписью: «Центральный аэроклуб СССР им. А. В. Косарева» (фильм «Праздник молодости»), затем идут к Мавзолею Молотов, Тухачевский, Бубнов, Езов, выступает Хрущев, а затем по Красной площади чуть ли не во всю ее ширь идет строй летчиков в светло-серебристых костюмах и шлемах, и все несут над головой палочку, к которой прибит небольшой фанерный круг, а в круге — портрет Косарева.

Множество маленьких косаревых над Красной площадью.

На фоне этих кадров Мария Викторовна рассказывает:

— Очень любили авиационные парады, физкультурные. Всегда ходили. Ведь комсомол шефствовал над авиацией и флотом. Саша для этого делал очень многое. Когда родилась дочка, стали ездить на дачу — в Серебряный Бор.

Берег Москва-реки, тихий плеск воды, высокие сосны, сбегаящие к реке, лодочная станция, звуки трущихся о борта лодок, дачи за высокими заборами.

— Ну, это не наша была дача, — продолжает Мария Викторовна за кадром. — Нам не давали. Просто ездили туда на лето.

Довоенная хроника: отдыхающие на крымских, кавказских пляжах, ослепительное солнце, морская волна, новые, белоснежные санатории с огромными, тоже белоснежными вазами у входов, тихая, томная музыка за кадром.

— Ездили летом в Крым, — рассказывает Мария Викторовна, — на Кавказ. А в 1936 году получили уже свою дачу в Волынском.

Для кинематографистов, которые ездят в Дом ветеранов кино в Матвеевском, это место хорошо знакомо. Если ехать от метро «Университет» на автобусе, то, свернув с бетонной магистрали в сторону Кунцевской больницы, граничащей забором с Домом ветеранов, оказываешься на тихой, узкой, спускающейся вниз Староволынской улице. По одну, правую, сторону — бесконечный

каменный забор, где теперь больница (а раньше была ближняя сталинская дача), а по другую — тоже забор, тоже каменный и тоже бесконечный, за которым и сегодня, кажется, дачки того же примерно предназначения. Можно это снять.

— В районе Кунцевского шоссе, — поясняет за кадром Мария Викторовна. — Там была и дача Жданова — рядом с нашей. А нам дали дачу Орджоникидзе, он получил другую.

На экране фото брата Марии Викторовны — Павла Нанейшвили.

— В том же тридцать шестом году, — говорит Мария Викторовна, — когда нам дали эту дачу, арестовали моего брата Павла, секретаря райкома партии в Белоруссии. Когда Саша узнал об этом и увидел, что я плачу, он пришел в ярость: «Как твой Павел мог?! И как ты смеешь о нем плакать — ведь он враг?» Саша верил Сталину. Его действия не вызывали у него никаких сомнений.

И здесь вновь на экране возникает надпись: «Реплика в сторону. Из биографии Александра Косарева», а Автор повторит эти слова за кадром:

— Реплика в сторону. Из биографии Александра Косарева.

На экране «Комсомольская правда» от 22 апреля 1928 года со статьей А. Косарева «Навстречу новым трудностям». Кроме того, надо, чтобы зритель увидел и другие газетные материалы, в частности, те, что информируют о подготовке комсомола к своему VIII съезду, он должен вот-вот открыться. А затем появится уже мелькнувший вначале дружеский шарж из «Комсомолки»: Косарев у стола с графином с председательским колокольчиком в руке.

— В этой статье, — говорит Автор, — Косарев в апреле 1928 года писал: «Механика классовый борьбы чрезвычайно усложнилась. Классовый враг не только в эмпане и кулаке с цепочкой от часов через пузо».

Еще «Комсомолка» (6 мая 1928) — сообщения об открытии VIII съезда, рисунок открытия в Большом театре, фото Бухарина с делегатами (Николай Иванович приветствовал съезд от ЦК партии), крупными буквами «шапка» над приветствием ЦК: «Говорит Н. И. Бухарин. Обостряется классовая борьба». Затем страницы комсомольской газеты более поздних лет — 1929—1932 гг., на этих страницах чаще других мелькает слово «чистка». Обложка книги «К чистке ВЛКСМ» (1929). Журнал «Большевик» (1932, №№ 23—24), в нем статья — А. В. Косарев «О задачах комсомола».

Автор цитирует статью:

— «Нам придется чистить всю комсомольскую организацию (эта фраза в тексте подчеркнута автором.— Л. Р.). Напрасно некоторые самоуспокоенные товарищи думают, что кругом — в работе и в быту — их окружают друзья, единомышленники... Пусть оглянутся вокруг себя настороженным большевистским взглядом и нащупают ушедшего в тень врага».

Во время праздничной демонстрации на трибуне Мавзолея Киров.

Проходят колонны демонстрантов.

Приветственно машет им рукой Киров. Через площадь везут огромный фанерный макет значка «ворошиловский стрелок», только внутри значка сам «ворошиловский стрелок» — живой человек, он целится из винтовки (есть такая хроника).

Киров, улыбаясь, машет рукой демонстрантам на площади.

За кадром на фоне этих изображений слышен авторский голос:

— Сразу же после убийства Кирова Косарев вместе с Ежовым выезжает в составе комиссии в Ленинград. По некоторым сведениям, он раньше других разговаривал с Николаевым, застрелившим Кирова.

В кадре появляется Мария Викторовна: — Саша мне рассказывал, что он первым был у Николаева, и тот его уверял, что не стрелял в Кирова. Саша вышел от него растерянный, сказал о словах Николаева Ежову. А потом, часа через полтора, Ежов показал Саше протокол николаевского допроса, усмехнулся: «А ты говоришь — не стрелял».

Еще одна брошюра на экране — А. В. Косарев «О перестройке работы комсомола. Доклад на XI пленуме ЦК ВЛКСМ IX созыва» (М., 1935).

— Накануне этого пленума, — говорит Автор, — Косарев и другие секретари ЦК комсомола имели беседу со Сталиным, он требовал усиления политической работы в комсомоле с учетом обострения классовой борьбы. Косарев говорил в докладе на пленуме: «Классовая борьба не затухает, а принимает новые, более сложные и острые формы. Враг не уступит добровольно своего места. Его можно убрать только насильственно, методами экономического ли воздействия или методами организационно-политической изоляции, а когда в этом есть потребность — и методами физического уничтожения».

На экране еще фотография Бухарина среди молодежи, фото Рыкова, снова страницы «Комсомолки» с бухаринскими словами: «Обостряется классовая борьба». Затем, возможно, кадры бухаринско-рыковского процесса.

А за кадром Автор, в продолжение вы-

щепитированного отрывка и Косарева доклад, комментирует:

— В этих непримиримых словах была, однако, оговорка, на которую тогда, наверное, никто не обратил внимания: прибегать к методам физического уничтожения, когда в этом есть потребность. На августовском пленуме ЦК партии 1937 года Косарев был включен в комиссию, решавшую не только политическую, но и жизненную судьбу Бухарина и Рыкова. Он оказался среди тех, кто занял наиболее жесткую, крайнюю позицию, видимо, решив, что в данном конкретном случае потребности есть: Бухарин, Рыков, участники всевозможных оппозиций, уклонов — нет им веры! Но теоретический посыл об усилении классовой борьбы и необходимости уничтожения классовых врагов к 37-му году набрал невиданный практический размах, аресты партийных секретарей райкомов, обкомов, ЦК республик, как правило, сопровождалась немедленными арестами комсомольских секретарей: если старший товарищ — враг, то не может не быть врагом и младший товарищ. А дальше уже все нарастало, как снежный ком.

На экране письма, поступившие в те годы в ЦК комсомола (частично они хранятся в Центральном архиве ВЛКСМ).

— В ЦК ВЛКСМ, — продолжает Автор, — потоками шли письма от исключенных, чаще всего по малейшему подозрению, от уволенных с работы, родственников арестованных. Была ли в этом потребность? Многие комсомолцы просто по возрасту не могли быть связаны с какими-либо оппозициями и уклонами... Косарев, видимо, перестал понимать, что происходит. Сегодня трудно сказать с полной определенностью: не захотел, не сумел или не смог понять. Понять то, что с полуслова, с полунамека, с движения полуприкрытых глаз или с полудвижения вскинутой кавказской брови понимали кровавые исполнители высочайшей Воли. Косарев продолжает (здесь на экране обложка книги «За сталинскую бдительность», изданной в Ростове-на-Дону в 1937 году, с докладом А. В. Косарева на собрании комсомольского актива Ростова-на-Дону) в своих речах громить врагов народа, после ареста органами НКВД той или иной группы руководителей среднего комсомольского звена называет их «троцкистско-бухаринской сволочью», «бандитами», «шпионами», дает установки на выявление врагов, но Сталин, видимо, чувствует: нет — нет былой активности, нет инициативы. И нет взаимопонимания.

Фото Сталина в своем кабинете. Сталин с трубкой.

Автор продолжает:

— «Как же так,— возможно, рассуждал Коба.— В партии полно врагов. В народном хозяйстве полно. Везде полно. А в комсомоле — маловато, не видно, не заметно. Такого быть — не может!..»

Снова фото Сталина, смотрящего в затылок Косареву, но теперь зритель, наверное, почувствует в этой фотографии иные, более зловещие смысловые оттенки (нечто вроде: «Я тебя породил, я тебя...»).

— 21 июля 1937 года,— говорит Автор,— Сталин вызвал в Кремль Косарева, секретарей ЦК комсомола Валентину Пикину и Павла Горшенина.

Фотографии Ежова — одного, вместе с другими руководителями, вместе со Сталиным, есть хроника, где ему бурно аплодирует зал на торжественном заседании, посвященном 20-летию органов ВЧК — НКВД (на заседании темпераментную речь во славу ВЧК произнес Анастас Иванович).

— На беседе,— продолжает Автор,— присутствовал Ежов. Сталин резко говорил о нежелании ЦК комсомола помочь НКВД в разоблачении врагов. Ежов тут же представил материалы на только что разоблаченного его ведомством секретаря одного из обкомов комсомола. Всякие попытки даже осторожных возражений Сталиным пресекались. Напоследок Сталин угрюмо констатировал: «Вы не хотите возглавить эту работу».

Кремль, Боровицкие ворота, Александровский сад (лучше из довоенной хроники).

— Обескураженные,— говорит Автор,— они не сразу разошлись, обсуждая встречу. Через месяц Четвертый пленум ЦК ВЛКСМ, созданный по указанию ЦК партии, обсудил вопрос «О работе врагов народа внутри комсомола». Доклад сделал Косарев. Пленум заседал восемь дней.

На экране сборник под названием «О работе врагов народа внутри комсомола» (1937), листаются его страницы с косаревским докладом, выступлениями, резолюцией, затем газета «Правда» от 29 августа 1937 года с редакционной статье, посвященной пленуму.

— Итоги пленума,— сообщает Автор,— подвела газета «Правда». Не стесняясь, по моде времени, в выборе слов, она отмечала: «Оголтелые враги народа... пользуясь идиотской болезнью политической слепоты ряда руководящих работников из бюро ЦК ВЛКСМ и в первую очередь товарища Косарева, делали свое подлое, грязное дело». Газета призывала дать отпор «жалкой кучке негодяев», «очиститься от скверны». По решениям пленума была развернута широкая работа. Вскоре его постановление было даже издано отдельной брошюрой гигантским тиражом — 500 тысяч экземпляров.

Виды Донбасса, терриконы, шахты, улыбающиеся шахтерские лица, фото Косарева

среди делегатов комсомольской конференции в Харькове, машинопись корреспонденции: «Ликвидировать последствия вредительской работы в комсомоле». Выступление А. В. Косарева на комсомольской конференции в г. Сталино», машинопись его письма Сталину, Андрееву и копия — Ежову от 3 октября 1937 года.

— В сентябре,— рассказывает Автор,— Косарев едет в Донбасс и Харьков, встречается с молодежью, выступает с речами, присутствует на комсомольских конференциях. Вернувшись, направляет 3 октября 1937 года письмо Сталину, Андрееву (он курировал от ЦК партии комсомол) и копию Ежову. Приведя несколько характерных примеров совершенно абсурдных исключений и арестов комсомольцев, он пишет, что исключения честных людей на основании простых слухов озлобляют их против нас. Интересно, что такие действия он считает проявлением «самостраховки» скрытых, еще не добытых врагов народа и партии. Могло ли это понравиться тем, кому были адресованы письма, особенно главному адресату?..

Опять виды Кремля, а затем газета «Правда» от 29 октября 1938 года, ее передовица «Комсомолу двадцать лет», фотографии, хроника заседания, посвященного 20-летию ВЛКСМ.

— 27 октября,— продолжает Автор,— секретари ЦК ВЛКСМ вновь были вызваны в Кремль, на этот раз без Павла Горшенина, вскоре он будет арестован. А 29 октября отмечалось двадцатилетие комсомола. «Правда» писала: «Успехам комсомола радуется весь народ. Однако эти успехи были бы более значительными и всесторонними, если бы ЦК ВЛКСМ не допустил в последнее время ряд серьезных ошибок... в деле очищения комсомола от враждебных элементов». Кольцо вокруг Косарева и других руководителей комсомольского ЦК сжалось до предела.

И снова праздничная, ликующая Москва, которая встречает папанинцев. А потом — Георгиевский зал, веселый говор, смех, звон бокалов. На этом фоне Мария Викторовна (сначала за кадром, потом в кадре) продолжает свой рассказ, начатый в запеве фильма:

— Тогда, в тридцать восьмом, он уже на ниточке висел, уже почти всех членов бюро ЦК и секретарей забрали. И вдруг Молотов выступает и говорит такую хвалебную речь! Прямо камень свалился с души. Я думаю: ну хорошо, ну все — доволен. Смотрю: он идет мрачный-мрачный. А он сидел как раз за столом с женой Молотова, а я сидела с его ребятами. Он быстро ко мне подошел и говорит: «Поедем домой». Я смотрю: бледный, совершенно белый. Говорю: «Что такое?» Он: «Поедем».

Хроника: величавый Кремль со стороны реки, величавые набережные, Большой

Каменный мост, по которому в сторону Дома правительства (жильцы этого шедевра градостроительства с горькой иронией называли его «Допра») мягко шелестят довоенные «эмки».

Мария Викторовна продолжает за кадром: — Поехали. Я в машине спрашиваю: «Что?» Он говорит: «Потом расскажу».

Скрип тормозов, вход в двадцатый подъезд. Медленно поднимается лифт. Мария Викторовна в кадре:

— Приехали, поднялись к себе. «Что случилось?» — спрашиваю. Тут он мне рассказал: «Знаешь, что шепнул мне на ухо Сталин, когда обнял? “Если изменишь — убью!”»

И опять в экране люди, главным образом женщины, в восторге тянущие руку к «отцу и учителю», здороваются с ним за руку, с таким простым, таким доступным, обнимаются. Обвал аплодисментов, здравицы — мы этого не слышим, но мы это видим.

И еще: замечательный по своей волнующей красоте короткий эпизод из все того же фильма «Повесть о завоеванном счастье»: в весеннем, обсыпанном белыми цветами яблоневом саду девушки в расшитых украинских блузках под задумчивую музыку, натянув холстину на подрамник, вышивают портрет самого-самого-самого любимого. А в финале эпизода — уже готовый портрет на весь экран. Портрет замечателен еще и тем, что, как это довольно часто бывает в подобных случаях, выражение лица у того, с кого портрет «вышит», — выражение истукана.

Мария Викторовна продолжает за кадром на фоне этих изображений:

— Я сказала ему: «О чем ты беспокоишься? Ты же ему не собираешься изменять?» А он сказал: «Ну наше НКВД может сделать из любого контрреволюционера». Значит, — разъясняет вслух Мария Викторовна, — он уже понимал, что контрреволюционеров делают, только, к сожалению, это уже был март тридцать восьмого... Много лет спустя я рассказала своей приятельнице об этом банкете и о том, что шепнул Саше Сталин. Она сказала: «Ну что ты. Ты разве не поняла: он пошутил». Я говорю: «А где же Саша, если он только пошутил?!»

А на экране — склонный к шуткам, слегка улыбающийся в усы человек обнимает замершую от счастья пионерку с короткой стрижкой и чуть раскосыми глазами. Это может быть и фотография, и картина, писанная маслом, и гипсовый бюст, стоявший на парадных лестницах или в актовых залах чуть ли не всех школ страны. Потом это изображение исчезнет и...

...появится вновь раздвинутый театральный занавес, на его фоне надпись: «20 ноября 1938 г. Вечернее заседание». Слышны при-

зывные звонки.

Однако несмотря на то, что изображение Сталина и пионерки исчезло, гул аплодисментов, наоборот, нарастает. Сквозь этот гул сначала слышен голос Косарева: «Продолжаем работу пленума», а затем на все усиливающихся аплодисментах — авторский голос:

— Из стенограммы пленума: «Появление в президиуме пленума товарищей Сталина и Молотова встречается бурными и продолжительными аплодисментами всех присутствующих. Возгласы: «Да здравствует товарищ Сталин! Ура!», «Да здравствует товарищ Молотов! Ура!»

Любвеобильные аплодисменты и крики смолкли.

Продолжается пленум с использованием на экране фотоколлажного принципа.

Косарев: Слово имеет товарищ Сигачев из города Сталино.

Сигачев: По-моему, было достаточно фактов, чтобы заняться Горшениным. Для меня, товарищ Косарев, неясно, почему вы сказали, что вы проглядели, прозевали его.

Сталин: Который раз?

Сигачев: Сколько же раз можно просматривать! По-моему, решения Четвертого пленума нас обязывают, а товарищ Сталин нас учит до конца разоблачать врагов народа, и мы в силе, под руководством товарища Сталина, вести эту борьбу. Почему вы, товарищ Вершков, так не по-партийному подошли к заявлению товарищ Мишаковой? Вы же, по существу, ввели и бюро' в целом, и товарища Косарева в заблуждение.

Шкирятов: Завели в заблуждение!.. А сам он почему не разобрался?

Сталин: Кто кого завел, неизвестно.

Косарев: Слово имеет товарищ Королев.

Королев: Ошибки, вскрытые Центральным Комитетом партии, говорят о том, что работниками ЦК ВЛКСМ, во главе которого сидит товарищ Косарев, по-настоящему не поняты. Они не поняли их по-большевистски.

Сталин: А может быть, поняли, но не сознаются?.. Вы поняли, предыдущий оратор понял, а Косарев не понял.

Королев: Мне кажется, что Косарев не понял по-настоящему.

Сталин: А возможно, что и не хочет.

Королев: Возможно, что не хочет.

Сталин: И это бывает.

Королев: Бывает, товарищ Сталин... Ошибок, зазнайства за последнее время, надо прямо сказать, товарищ Сталин, в комсомоле очень много.

Сталин: А может, это система, а не ошибка? Два года вредительство ликвидируется (вот! — Л. Р.), а ошибок опять очень много. Нет ли тут системы?!

Может быть, здесь или на каких-то иных словах Сталина (а может, и здесь, и на иных) исчезнет на какой-то момент изображение

плена, и вновь возникнут кинокадры занятий в «ТРАМе Замоскворечья».

Парень, двигая челюстью, «строит рожи».

А затем надпись: «Игра с вещью».

И возникает девушка, которая осуществляет «мытьё» рук и лица с помощью воображаемых предметов — несуществующего мыла, несуществующего крана с водой. То есть с помощью предметов, которых — нет.

Потом девушка стряхнет с лица и рук несуществующие капли. Потом она примется старательно вытирать лицо и руки несуществующим полотенцем.

А за кадром товарищ Иосиф Виссарионович Сталин будет задавать свои вопросы по поводу несуществующих врагов народа, играя, как с вещью, со своими собеседниками, с залом, с теми, кого в уме он уже вычел, и облекая свою игру в форму железной логики верного последователя диалектического и исторического материализма.

Королев: Мне одно непонятно в части поведения Косарева — почему он так изменился? (Опять выскочила фантазмагория по искренности наивности оратора, но Иосиф Виссарионович тут же найдет «марксистское диалектическое» объяснение, приперченное шуткой. См. дальше. — Л. Р.).

Сталин: Тактика меняется (какая прелесть! — Л. Р.). Обстановка изменилась и тактика изменилась (вот она, шутка, в стенограмме так и обозначено: «Смех»). Бедные-бедные, они — нет, не они, мы — еще и смеялись. — Л. Р.).

Королев: Вот я и делаю вывод — может он быть у руководства или не может?

Молотов: А вы как думаете? Почему вы все вопросы задаете? А ваше мнение? (Мне кажется, что после панегирического тоста здесь очень уместен молотовский вопрос, не дающий никому, ни кому уйти от личной оценки Косарева и его окружения. — Л. Р.).

Королев: Я скажу, как я думаю.

Молотов (как всегда, з-з-заикаясь): В-вот-вот, р-расскажите.

Королев: Я до сего дня видел в Косареве большевика (бедные-бедные, они стараются как-то сохранить свое достоинство. — Л. Р.). А вот эта серьезная ошибка, дошедшая до издевательства над Мишаковой, у меня покачнула мнение. Я считаю, что Косарева нельзя оставить у руководства.

Голос председателя: Слово имеет товарищ Косарев.

Косарев: Товарищи, я прошу несколько больше времени, чем это позволяет регламент... Ошибка по вопросу о товарищ Мишаковой является сугубо политической, и мы за нее несем ответственность, и в первую голову я. Но почему она стала возможна? Потому что к вопросу о Мишаковой, на мой взгляд, приложили свою руку враги. Происходящий пленум и у меня на многое открыл глаза...

Мы подошли к тем самым словам, которые — нам бы хотелось — уж лучше бы не произносились. Возможно, здесь Автору в виде «реплики в сторону» понадобится порассуждать о том, что в основе своей демагогический характер выступлений защищающихся был не чем иным, как естественной реакцией на демагогию, хотя и более для большинства скрытую, но и более патетическую, если не сказать остервенелую, со стороны обвинителей.

Демагогия на демагогию, как стенка на стенку.

И одна демагогия побеждает другую не за счет, разумеется, силы истины, а за счет злобы дня, то есть за счет в и д и м о с т и - истины («Проглядели врагов народа, вот и отвечайте!»), а попросту говоря, за счет обыкновенной силы — силы власти, силы мясорубки, навиваемой человечинной.

Истины же (врагов никаких нет) никто не ищет, никто не добывается. Одни (меньшинство), потому что знают ее, но она им не нужна, другие (большинство), потому что не знают ее, о ней почти или совсем не догадываются, хотя она им очень нужна, а в итоге — туфта. Одна только туфта и смрад. Должно было пройти двадцать лет, чтобы началось постижение истины. И должно, наверное, пройти лет пятьдесят или сто, чтобы она всеми была постигнута окончательно и навсегда.

Косарев (продолжает): Обратимся к фактам. Лично мне не было известно, что к подготовке вопроса о товарищ Мишаковой имел причастность враг народа Белобородов. Товарищ Вершков скрыл это участие. Мне лично не было известно; что на областной Чувашской конференции товарищ Вершков подвергся критике вместе с Белобородовым. И товарищ Вершков, который цитировал на бюро стенограмму конференции, весь удар сделал по Мишаковой.

Вершков: Вы должны были посмотреть.

Косарев: Да, моя ошибка.

Вершков: Вы теперь прочитайте, в чем меня обвиняют.

Косарев: Слушайте, товарищ Вершков, я отвечаю за свои ошибки, вы — за свои.

Шкирятов: Каждый за свои и в целом.

Косарев: Вот-вот. С этой точки зрения становится вполне ясным, что с Мишаковой нужно было Вершкову расправиться, чтобы спрятать, скрыть сигналы конференции о Белобородове, впоследствии разоблаченном враге народа, и Вершкове.

Жданов: Как по-вашему? Честный человек Вершков?

Косарев: Я прямо вам говорил, что к этому делу приложили руку враги. Вершкова я честным не считаю, прямо вам отвечаю.

Шкирятов: Вершков, ты слышишь? (Можно представить, с каким злорадным удоволь-

ствием выкрикнул свой вопрос Матвей Федорич).

Вершков: Конечно, слышу!..

Жданов: Значит, вы жертва Вершкова?

Косарев: Я жертва собственных ошибок. (Дьяволиада, трагический абсурдизм этого действия нарастает.— *Л. Р.*)

Вершков: Это у тебя ход в речи?

Косарев: Видишь ли, товарищ Вершков, ход это или не ход, но существует ЦК ВКП(б), органы Наркомвнудела, они всё это проверяют.

Вершков: Безусловно.

Косарев: Разрешите мне здесь говорить то, что обязан говорить большевик. Как вам это ни неприятно, но я это говорю.

Андреев: Только вы себя младенцем не изображайте.

Косарев: Личная моя тяжелая ошибка, за которую я несу ответственность, что в этом деле с Мишаковой не заметил руки врага, шел на поводу у него. Я не согласен с Мишаковой — ставить на одну доску Косарева и Вершкова. Вершков пусть отвечает за свои ошибки. Я их формулирую довольно недвусмысленно. А я буду отвечать за свои собственные ошибки. Как их будет квалифицировать ЦК партии — это дело ЦК партии... Меня некоторые выступавшие обвиняют в том, что я подбирал Усенко, прикрывал его, защищал. Прямо должен сказать: я Усенко не подбирал, а Усенко нам прислал (здесь может мелькнуть сохранившееся очень хорошее фото доверительно беседующих Косарева и Косиора.— *Л. Р.*) ЦК КП(б) Украины, враг народа Косиор. Но моя ошибка — врага в Усенко не видел, и долгое время.

Шкирятов: Вражеская деятельность Усенко видна была.

Косарев: Сейчас она становится видна (ну не фантастика ли?! — *Л. Р.*).

Шкирятов: А тогда?

Косарев: Я категорически протестую против обвинения меня, что я знал, что Усенко враг. Врагом себя я не считал и считать не буду. Хотя ошибки мои и крупные, но я большевиком себя считаю. Каждый из вас дорожит партийной честью не меньше, чем я, и я хочу дорожить своей партийной честью не меньше, чем любой из вас.

Шкирятов: Честь должна быть в работе большевистской (ну какая умница! — *Л. Р.*).

Андреев: Тут говорили о фактах.

Косарев: Многие из этих фактов я подтверждаю, но в том-то и толк, что в этом я не видел враждебности (опять дьяволиада, Гофман — ведь действительно во «вражеский» цвет человек окрашивался лишь после прикосновения «волшебной» энкавэдэшной палочки: вечером — нормальный человек, утром — подонко, фанатист, шпион, ублюдок, убийца, бандит; попробуй-ка угонись за этим, а тем более попробуй-ка это обогнать, как теперь это требуют.— *Л. Р.*).

Маленков: Почему разоблачили Флаксмана и других, а Горшенина обошли?

Косарев: Горшенина знали, и тут принципиальности мало было. Личные отношения давили.

Маленков: Какие личные отношения?

Косарев: Ну по работе больше знали (вроде бы нормальный ответ, но Косарев тут же попался.— *Л. Р.*).

Маленков: Значит, хорошие личные отношения? (Изворотливый ум Георгия Максимильяныча сразу же все просек.— *Л. Р.*)

Косарев (вынужден теперь выкручиваться): Какие там хорошие. (Конечно, какие же могут быть «хорошие» с врагом народа? — *Л. Р.*)

Маленков (но его изворотливый ум плетет паутину дальше): А что же тогда — плохие мешали? (Вот интрига, которая строится на сплошной демагогии.— *Л. Р.*)

Косарев: За все эти ошибки по вопросу кадров (а какова стилистика всей этой аппаратной демагогии!..— *Л. Р.*) я несу ответственность. У меня и так достаточно политических ошибок, и нечего мне приписывать то, что мне не свойственно... Я кончаю, товарищи. Ошибки мои перед Центральным Комитетом партии и перед пленумом ЦК ВЛКСМ очень тяжелые, я за эти ошибки...

Андреев: Не только перед Центральным Комитетом — и перед комсомолом, и перед молодежью (ну скажите, разве не демагогия? — *Л. Р.*).

Косарев (продолжая): ...и перед молодежью. Но я прямо заявляю: я был честным членом партии, этим честным членом партии и остаюсь. Никто не может доказать, что я враг народа, а за ошибки я буду нести ответственность.

Голос председателя: Слово имеет товарищ Вершков.

На экране фотография Вершкова. Он говорит:

— Здесь Косарев изобразил дело таким образом, что он, видите ли, оказался на поводу у врагов народа. Затем он заявил, что Вершков нечестный человек...

Шкирятов: Он тебя сильнее назвал. (Наш пострел опять поспел!..— *Л. Р.*)

Здесь, пожалуй, самое время совсем ненадолго прервать действие и с помощью авторской реплики в сторону чуть-чуть задержаться на Матвее Федорыче. На экране в коротком монтажном настриге возникнут подтверждающие уже упомянутую склонность Шкирятова присутствовать на похоронах своих соратников и на вручении им наград, а Автор перед началом этого настрига скажет:

— Реплика в сторону. Евангелие от Матвея.

Он скажет это с одновременно возникшей на экране надписью из тех же двух фраз.

А затем объяснит, уже на самом настроиге, что кинохроника запечатлела Матвея Федорыча главным образом тогда, когда он поздравлял с орденами и выносил гробы. И добавит еще вот что:

— Помимо общей стенограммы этого пленума для присутствующих на нем руководителей партии были отдельно выпечатаны их выступления и поданные ими реплики. Все руководители отдали эти материалы на просмотр и визирование помощникам, кроме Матвея Федоровича Шкирятова.

Здесь возникнет машинопись этих материалов, мы полистаем их перед зрителем.

— Не лыком шитый, он, — продолжает Автор, — оставил свою подпись на каждой странице: Шкирятов... Шкирятов... Шкирятов...

На экране мы видим эту уверенную, размашистую подпись красным карандашом действительно на каждой странице.

— А кроме того, — говорит Автор, — Матвей Федорович счел необходимым в некоторых случаях внести поправки, которые в известном смысле представляют исторический интерес.

И тут мы покажем зрителю с каким только возможно укрупнением эти поправки (тоже красным карандашом), которые, несомненно на свою беду, оставил для нас Матвей Федорыч.

Вслед за словами Косарева о том, что он не знал об одном из мишаковских заявлений, товарищ Шкирятов впишет в свою реплику следующую фразу (дается по оригиналу): «Трудно поверит, что бы не знал». На другой странице он усилил вставку свою зачитанную Мишаковой. «Она написала вам письмо, жалуя что к ней плохо относятся в аппарате, а ты что сделал?..» В другом месте он уточняет: «По моему он назвал тебя подружому». Борясь за принципиальность, член КПК (а в дальнейшем ее председатель) говорил: «А нужно было свое мнение отстаивать» (это машинопись стенограммы), но товарищу Матвею захотелось пояснить, в каком случае надо отстаивать свое мнение, и он дописал от руки: «если оно правильное». На ряде страниц он вставляет слово «расскажите», но пишет его, разумеется, так: расскажите. Еще одно очень трудное слово: «А что там неправильного в стенограмме?» А вот прямое обвинение в отступничестве от линии с характерным (в смысле грамматики) пояснением, от какой именно: «Они поняли, а свою линию проводили, не Портиную».

Возможно, Автор для вящей убедительности все это повторит вслед за текстами документов за кадром, а закончит так:

— Умер Матвей Федорович в 1954 году (тут на экране возникнут похороны уже самого Шкирятова). Похоронен на Красной площади.

На экране ниша в «стенах древнего

Кремля», в нее вставляется урна, которая закрывается доской с надписью: «Шкирятов».

Реплика закончится, и из наплыва на фоне памятной доски в Кремлевской стене опять возникнет изображение Шкирятова на пленуме, и он повторит обращенную к Вершкову фразу, на которой мы его прервали.

Шкирятов: Он тебя сильнее назвал.

Вершков: Конечно, он выразил мне политическое недоверие. Я несколько слов скажу в качестве объяснения.

Голос с места: Только честно говори.

Вершков: Я говорю только честно. Косарев знает меня лет десять, и знает как безупречного большевика, только таким. Почему вдруг в течение одного дня он переменяет мнение? Товарищ Косарев, будучи изболжен как обанкротившийся руководитель, как прогнивший насквозь человек, просто ищет выхода из своего положения. Хочет сделать себя всеми обманутой, обиженной жертвой. Вся речь товарища Косарева лицемерная, злобная, непартийная речь.

Жданов: Вы говорите, что Косарев прогнил насквозь. Что же, вы об этом только сегодня узнали? (Смех).

Вершков: Я не объявляю Косарева врагом народа. Не объявляю, несмотря на тяжкие обвинения, которые ему здесь предъявляют-ся.

Андреев: Лицемерная, злобная речь — что же еще?

Жданов: А если бы он вас не подцепил (какова лексика! — Л. Р.), то так и остался бы прогнивший насквозь человек у руководства?

Вершков: Если так понимать, что я для реванша это делаю, за то, что он объявил меня врагом, то это будет неправильно. Это было бы слишком мелко, грязно и непартийно. От речи же Косарева у меня осталось такое впечатление, что, по его мнению, пленум не так идет, как ему бы хотелось.

Косарев: Не в этом же дело (почему-то мне кажется, что эту реплику он произнес если не с явной, то внутренней тоской. — Л. Р.).

Вершков: Погоди, погоди, именно в этом.

Голос с места (этот «голос с места» можно изображать в виде человека, имеющего во всем нормальный облик, кроме одного — вместо лица нечто расплывчатое, просто блин): Вы заявили, что товарищ Косарев насквозь прогнивший человек, но вместе с тем вы сказали, что не считаете его врагом (вот опять обнажило себя мурло демагогии, туфты и фантастики. — Л. Р.). Тогда как же вы его называете? Большевиком его назвать нельзя, раз он прогнивший человек. Вы тут что-то путаете.

Вершков: Я свое отношение сказал абсо-

лютно точно.

Голос с места: Вы здесь к о м е д и ю разыгрываете с Косаревым.

Вершков: Комедию? Возьмите слово и постарайтесь доказать, что это комедия.

А и доказывать не надо. Конечно, комедия. Все ее здесь ломали. Одни с полным пониманием. Другие — с неполным и вынужденно. Третьи (большинство) с почти или совсем полным непониманием. Поломают и дальше — и еще как!.. Хотя в данном случае Вершков ее ломал меньше всего. Разве не возникало у вас желание в ходе прошедшего эпизода склонить голову перед памятью убиенного Петра Вершкова?..

Тем не менее комедия была в сердцевине всего происходящего. Интуитивно это как раз и уловил «голос с места», ибо — куда ни кинь, всюду клин!

После слов Вершкова за кадром возникнет шумок, а голос председателя объявит перерыв.

Шумок усилится, а на экране вновь распаханутый театральным занавес и афиша, фотографии из спектакля ленинградских трамвоцев «Выстрел» по пьесе А. Безыменского.

За кадром — задорный голос театрального объявлялы:

— Романс Дунди из агитационного зрелища в трех актах «Выстрел». Слова поэта Александра Безыменского (может мелькнуть его молодая фотография), музыка молодого композитора Дмитрия Шостаковича (может мелькнуть и его молодая фотография, а затем — фотографии из спектакля).

На фоне этих сцен звучит под музыку Шостаковича романс:

Ох, проклятая бригада!
Отсекр готовится к войне.
Он говорит, что думать надо,
А думать — это не по мне.

Но, впрочем, что ж, молчи и думай.
Всего опасней — г о в о р и т ь.
То впрешь в уклон, то сжулишь
суммой,
То не сумеешь угодить.

Счастливей всех на свете рыбы,
И бессловесны и умны.
Ах, если бы нанять смогли бы
Двух-трех мыслителей страны!..

Они могли б дать людям сходство
На фоне равенства голов.
А там наладить производство
С т а н д а р т и з о в а н н ы х
мозгов.

И был бы мир устроен с толком,
Все люди, как шкафы, рядком,
И мысли сложены — по полкам,

И чувства все — под
номерком.

Согласно ремарке, этот текст идет без музыки, Дундя (молодой парень) просто его читает.

Отзвучали последние аккорды романса, возникла секундная пауза, на фоне которой появится женщина.

Она немолода, но сразу улавливается, что она сохраняет былую красоту. Вместе с тем в ее лице есть жесткость, даже некоторая холодность и признаки воли. Они есть и в осанке, в том, как она держит прямо спину, сидя скорее всего в кресле у себя дома, в своей квартире.

Впрочем, предметы окружающей обстановки, снятые нечетким фокусом, будут лишь улавливаться. Пусть в женщине будет что-то отрешенное, а пауза пусть поможет зрителю внутренне сосредоточиться.

Пока о женщине мы ничего не скажем, мы «раскроем» ее чуть позже.

И вот, выждав паузу, она прочтет — тихо, спокойно, как бы в контрасте с бодро-ироничной ритмикой отзвучавшего романса — эти ахматовские строки:

Один идет прямым путем,
Другой идет по кругу
И ждет возврата в отчий дом,
Ждет прежнюю подругу.

А я иду — за мной беда,
Не прямо и не косо,
Я в никуда и в никогда,
Как поезда с откоса.

Она закончит чтение, медленно исчезнет с экрана.

А вслед за ней появится Мария Викторовна, не без ноток горькой усмешки расскажет:

— Не помню точно когда, кажется, вскоре после убийства Кирова, Саше дали охранника. Саша мне как-то говорит: не пойму, то ли охраняет, то ли следит за мной. Он сказал тому, кто заведовал охраной: «Убери охранника». А тот говорит: «Тебе хорошо, тебя убьют, а я — отвечай».

И сразу встык с этими словами — Жданов на трибуне в обрамлении распаханутого занавеса. И на этом фоне надпись: «22 ноября 1938. Заключительный день заседания пленума».

Затем всё исчезнет, кроме Жданова. Он говорит:

— Если взять вопрос по существу, то одного дела товарищ Мишаковой было бы вполне достаточно, чтобы поставить вопрос о смене руководства ЦК комсомола. Такое отношение к честным людям обычно появляется там, где существует замкнутая антипартийная,

антисоветская группа, связанная своей групповой дисциплиной.

Где-то здесь (а возможно, и где-то еще раз во время речи Жданова) снова возникнут кинокадры трамбовских упражнений под шапкой «Игра с вещью». На этот раз молодой человек «вдевает» несуществующую нитку в несуществующую иголку, затягивает на конце «нитки» узелок и «пришивает» несуществующую пуговицу к несуществующему предмету одежды.

Жданов (продолжая): Вы должны стремиться к тому, чтобы в нашей среде было больше Мишаковых. Ошибка пленума ЦК комсомола в том, что в нем мало оказалось таких товарищей, как Мишакова. И вы не должны допускать впредь таких вещей.

Голоса: Правильно. Правильно.

Жданов: Здесь много говорили относительно Усенко и Горшенина. А ведь что Усенко заявил на заседании бюро ЦК ВЛКСМ от 5 ноября: «Бюро ЦК ВЛКСМ неправильно ведет себя, когда берет пример с ЦК ВКП(б). ЦК ВЛКСМ в данном случае себя подстроил под ЦК ВКП(б) — не смеет иметь свое суждение!» Ведь это же выступление антипартийное и явно белогвардейское (до чего ж хорош Андрей Александрыч! — *Л. Р.*). Однако в бюро не нашлось ни одного человека, который бы поднял голос против Усенко.

История с Усенко тоже может проходить на фоне кадров игры с вещью.

Жданов (продолжая): Я был на беседе секретарей ЦК комсомола с членами Политбюро ЦК ВКП(б) в последних числах октября. Товарищ Сталин очень внимательно расспрашивал у Косарева, как ведет себя Горшенин (в этих вопросах Сталина о Горшенине хорошо видно, как постепенно подготавливался еще один спектакль, который сейчас разыграет и доведет до конца фигурант этого действия, актер Жданов.— *Л. Р.*). Косарев тогда уклонился от вопроса. А 4—5 ноября, уже после ареста Горшенина (вот он, следующий акт спектакля.— *Л. Р.*), Косарев, бия себя в грудь, заявлял, что у него были все основания, чтобы разоблачить Горшенина.

Тут может появиться фото Горшенина: крупный в плечах, тяжеловатый человек с суровым мужественным лицом, в военной гимнастерке с орденом Красного Знамени, начавший работать на Урале, в небольшом рабочем поселке Ревда близ Екатеринбурга. Он старше своих комсомольских коллег — с 1899 года. Сидел три месяца в одиночке у Колчака, в июне 1919 года бежал из-под расстрела. То, что удалось в девятнадцатом, не удалось в тридцать седьмом. Возможно, вместе с фотографией Автор все это расскажет в коротенькой «реплике в сторону».

Жданов (ведя спектакль дальше): Почему же на прямой вопрос товарища Сталина товарищ Косарев тогда не ответил? Потому что хотел скрыть от ЦК ВКП(б) то, что ему известно о Горшенине. Я это утверждаю!..

И вот она, кульминация спектакля, разыгранного на пленуме. Его апофеоз. И его патетический финал.

Все остальное — жалкая развязка.

Жданов: Послушайте, что показывает сам Горшенин на допросе в НКВД.

Вопрос: Когда, как и при каких обстоятельствах вы были вовлечены во враждебную работу?

Ответ: В конце 1932 года близко связался с Косаревым и Салтановым, стал бывать на квартирах.

Вопрос: Что за встречи были на квартирах?

Ответ: Приходило два-три человека, на стол ставится водка и коньяк. На этих выпивках были выпады такого порядка, что с коллективизацией не выйдет, что она не имеет под собой никакой почвы, что с этим делом партии не справиться, что колхозная политика — авантюра и от нее рано или поздно придется отказываться.

Как благодарить Андрея Александрыча за то, что они, Андрей Александрыч, помогли донести эти слова до наших дней, как благодарить?!

А когда они будут эти слова произносить, то на экране опять возникнет парень, работающий челюстью, но, может, дать это распечаткой и с еще большим укрупнением.

Искаженное, перекошенное лицо.

За кадром же шумовым фоном здесь и на ждановских словах пусть раздаются не очень громкие, но вполне различные звуки стучащих сапог, скрежещущих запоров, металлических скрип открываемой двери, бухающие удары, стоны. Пусть возникнет у зрителя ощущение, что это не парень работает челюстью, а кто-то другой работает с челюстью парня.

А Андрей Александрыч продолжает нам доносить из прошлого слова, за которые нельзя не поблагодарить его.

Жданов (продолжая зачитывать показания Горшенина): Косарев высказал недовольство линией партии. Он сказал, что «сейчас партия стала на путь быстрой индустриализации страны, на путь быстрой коллективизации, на путь пятилеток, которые ведут к разорению, обнищанию народа, не дают культурной жизни молодежи, которая видит только рабо-

ту и никакого культурного отдыха и развлечения». Я сказал, что все это правильно. Тогда Косарев спросил: «Согласны вы разделить это мнение нашей группы?» и назвал: Салтанова, Васильева, Чемоданова, Лукьянова и Андреева. Я сказал, что согласен.

Вопрос: Вы говорите правду? Не оговариваете ли вы Косарева?

Ответ: Нет, я говорю абсолютную правду.

Вопрос: Откуда вы знаете, что Вершков является участником контрреволюционной организации?

Ответ: О том, что он разделял до конца нашу точку зрения на положение в стране, на положение молодежи, я знал из разговоров с самим Вершковым.

Вот что показывает Горшенин. Товарищи, эти показания будут проверены. Но с точки зрения сопоставлений с показаниями Горшенина того, что вскрыто на самом пленуме, похоже это на правду (каков ход! — Л. Р.)?

Голоса: Очень похоже.

Жданов: ЦК нашей партии, несомненно, это дело проверит до конца. А выводы, которые я хотел сделать, заключаются в том, что политическая физиономия Косарева и Вершкова является чрезвычайно сомнительной. Что касается Богачева и Пикиной, то они во всем шли на поводу и не могут, конечно, руководить комсомолом. Пленум ЦК комсомола, несомненно, выдвинет честное (до чего же хорошо звучит это слово в этих устах! — Л. Р.) большевистское руководство, которое поведет комсомол по пути, по которому ведет советский народ наша партия и товарищ СТАЛИН («встенораμμα», как говаривал Шкирятов).

А на экране фото Сталина с трубкой, из нее вьется дымок.

Пауза.

Затем голос председательствующего на заключительном заседании (и его фото) Александрова.

Тут же возможна совсем коротенькая реплика в сторону. Она сообщит, что Александров в этот момент первый секретарь МК комсомола, что ему 24 года и что вскоре после пленума его арестуют, и он проведет в лагерях 21 год.

Александров: Товарищ Косарев просит слово.

Вершков: Я прошу слово. Я думаю, что пленум может дать мне одну минуту.

Александров: Нет возражений дать Косареву десять минут?

Голоса: Нет.

Косарев: Я должен заявить по поводу того, что зачитал товарищ Жданов. От начала и до конца по моему адресу здесь сплошной вымысел, сплошная клевета. Нигде никогда даже намеков на антисоветские разговоры я себе не позволял не только в присутствии

Горшенина, а в присутствии любого советского человека.

Голос с места: Вот именно — советского человека.

Косарев: В присутствии любого человека... Совесть моя чиста. Я никогда не изменял ни партии, ни советскому народу и никогда не изменю. Вот это я и должен заявить.

Вершков: Я долго не буду говорить. Я заявляю пленуму, что я никогда не был в этой компании, ни разу. Я это докажу — вы напрасно улыбаетесь.

Жданов: А вот то, что Косарев здесь заявил, что он абсолютно честен? (Это Жданов как бы подбрасывает спасительный круг Вершкову: осуди!.. осуди Косарева!.. осуди!.. Мы тогда еще подумаем, все в отношении тебя переменяем. — Л. Р.)

Вершков: У меня нет данных называть его врагом. Я, как большевик, не могу клеветать на человека, не имея данных (во логика, не доступная пониманию ждановых всех рангов, логика, кажущаяся им, ждановым, смешной, жалкой, бессмысленной. — Л. Р.). Никогда ни на каких сборищах я не был. Я верю, что проверка тщательнейшим образом будет проведена и ничего абсолютно о моем предательстве партии не подтвердится.

Александров: Слово для предложения имеет Захаров.

Захаров: За бездушно-бюрократическое и враждебное отношение к честным работникам комсомола, пытавшимся вскрыть недостатки в работе ЦК ВЛКСМ, и расправу с одним из лучших комсомольских работников (дело товарищ Мишаковой) пленум постановляет: товарищей Косарева Александра Васильевича, Богачева Серафима Яковлевича, Пикину Валентину Федоровну снять с постов секретарей ЦК ВЛКСМ, Вершкова Петра Афанасьевича вывести из состава ЦК ВЛКСМ.

Александров: Будем голосовать. Кто за это предложение? Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет.

На этих словах Александрова и возникнут кадры из «Повести о завоеванном счастье» голосующих на первых выборах в Верховный Совет Ворошилова, Кагановича, Молотова, Сталина, Микояна, наконец, Калинина, ловким движением опускающего бюллетень в прорезь фанерной урны.

А вокруг лозунги и пальмы в кадрах.

Александров (подводя итог): Принято единогласно!..

Фото Сталина, раскуривающего трубку, по всему видно — настроение у него хорошее. Да и что еще нужно, когда есть любимая трубка, добрый табак и приятное известие?!

Исчезнет сталинская фотография, растворится во тьме экрана, а затем из этой тьмы возникнет вечерний сад, потому что хотелось бы следующий эпизод снять летом на даче у Косаревых.

Нет, это не та дача в Волинском, о которой пойдет сейчас речь. Это дача, на которую косаревское семейство ездит теперь. И хорошо бы снять всю сцену — рассказы Марии Викторовны и Елены Александровны — за столом, выставленном по случаю летнего тепла на участок, под подвешенной над столом лампой, атакуемой мотыльками, с тихо, чуть-чуть тревожно шелестящей листвою во тьме.

Мария Викторовна рассказывает:

— Арестовали нас в Волинском, понятным был комендант ждановской дачи. Я могу забыть, как мы с Сашей познакомились, какие-то еще детали. Но эти несколько дней я не забуду никогда. Пленум кончился, его сняли с работы. После пленума попросили зайти в какую-то комнату. Продержали два часа, а потом сказали: «Извините, можете ехать». «Безобразие, — сказал он. — Я буду жаловаться Николаю Ивановичу». Это — Ежову. А того уже сняли, Косарев не знал. Приехал на дачу. На даче были я и Лена. Он рассказал о пленуме, как все его клевали... И потянулись дни мучительного ожидания — ареста и надежды. В Волинском был большой парк...

Здесь, может быть, снять этот большой парк, который есть и сейчас. Снять тоже вечером, во тьме, только где-то меж деревьев вдали слабые огоньки. Более настойчивые, чем в саду у Косаревых, более тревожные шелест листвы, скрип раскачивающихся деревьев.

— ...и там, — продолжает на этом фоне Мария Викторовна, — уже стояли чуть ли не за каждым деревом. Уже были мы под наблюдением. Мы решили поехать к его маме, к бабе Саше, как ее называла Леночка. Я вела машину, подъехала к воротам — заперты. А потом открылись. Мы поехали, и «эти» за нами. Мы во двор, и они во двор. Мы вылезли, и они вылезли, но остались у машины — ждали во дворе. Саша это увидел, посидели десять минут, сказал: «Поехали». Взяли с собой маму и уехали. На Сашу было страшно смотреть, он сказал: «Я так не могу».

Мария Викторовна в кадре, за столом у себя на нынешней даче, она продолжает:

— В один из этих дней я поехала к отцу просить его, чтобы взял Лену, если нас арестуют. Приехала, говорю: «Папа, нас, наверное, посадят». — «Конечно, посадят». — «Возьми Лену». — «Возьми. Они бы и меня взяли, да не к чему придраться». А его арестовали в ту же ночь, что и нас. Тянулись ужасные часы...

Тут (и в нескольких местах дальше),

возможно, мелькнет кадр колонны летчиков Центрального аэроклуба имени А. В. Косарева, проносающей по Красной площади множество косаревых в фанерном кружке.

— Все плакали, — продолжает спокойно Мария Викторовна. — Косарев был невменяем. Лена ничего не понимала, но что-то чувствовала — все время ластилась к отцу.

На экране — фото маленькой Леночки.

— Он говорил, — рассказывает Мария Викторовна, — «Она мне сердце переворачивает». У нас был заведующий всеми дачами — Чернов. «Может, вам пианино поставить?» — «Да какое пианино». — «Ну что-нибудь...» Чувствовал, что надо чем-то помочь, но не знал чем. 28 ноября, часов в десять вечера, Саша не выдержал, позвонил по «вертушке» (может быть, мелькнет фото или кадр из хроники, из какого-нибудь игрового фильма с довоенным телефоном, а может, еще и телефонистки, включающие свои шнуры на станции — есть хорошие кадры в вертовском «Человеке с киноаппаратом») секретарю ЦК партии Андрееву, тот был прикреплен к комсомолу. Саша спросил: «Что со мной будет?» — «Не волнуйся, Саша. Все будет хорошо, успокойся. Будешь работать. Отдохни». Он очень взволновался, возбудился. «Поедем работать. Ты поедешь со мной?» — «Конечно, поеду; — говорю. — Куда угодно». После звонка Андрееву пошла спать к себе наверх. Вдруг слышим, внизу позвякивает «вертушка» (здесь опять может быть кадр со старым телефоном). Саша сбегал вниз, позвонил в ЦК: «Меня спрашивали?» — «Нет». Это я потом поняла: что-то с «вертушкой» делали, отключали, наверное. Потом мы поговорили с Сашей, думали, что, как. Уже засыпали, вдруг слышу — скрип на лестнице. Я говорю: «Саша, к нам идут». Он говорит: «Посмотри». Я встала, подошла к двери.

Лицо Марии Викторовны освещено неровно, одна половина — в тени, вне светлого круга, но тут же рядом, за столом Елена Александровна. Она слушает мать.

А вокруг лампы — вьются мотыльки.

И тихо шепчет сад, шушукаются деревья.

Мария Викторовна продолжает:

— Вижу, поднимается человек в военной форме, гимнастерка, галифе, но без сапог — в белых шерстяных носках, ступает тихо. Высокий, худой, длинное желтое лицо — запомнила на всю жизнь. Я говорю: «Тише, не разбудите девочку». А он сразу: «Где оружие?» Косарев любил оружие, увлекался охотой. У него была коробка, внутри — атласом обшита, там было штук пятнадцать револьверов. Я сказала: «Оружие внизу». «Одевайтесь, — сказал он Саше, — поедете с нами». А Косарев говорит: «Напрасно вы всё это. Я честный человек». «Там разберемся». Я ему дала носовые платки. Деньги даю... А бледный был, бле-е-едный!..

Тут может снова мелькнуть кадр хроники: множество косаревых на Красной площади.

— Прямо без кровинки в лице, — говорит Мария Викторовна. — Он оделся, бедняга, а я в халатике — и мы пошли вниз. Там вешалка, хотел надеть кожаное пальто, я говорю: «Нет-нет, надень теплое». А он: «Ну что ты, надо мной смеяться будут». — «Нет-нет, теплое». Он шел к выходу впереди, я — сзади. Я крикнула: «Погоди, я попрощаюсь». Бросилась к нему, обняла. И вдруг слышу сзади голос: «А ну возьмите ее тоже».

Мария Викторовна на секунду замолчала, потом продолжает, пожалуй, с еще большим спокойствием, даже с холодной жесткостью.

— Мы оба оглянулись в испуге. А в дверях стоит Берия — вышел из косаревского кабинета. Они увели Сашу в машину, а двое пошли за мной наверх. «Одевайтесь». Платье надела. Халат взяла с собой. Старое пальто надела. Думаю, зачем мне новое, такое красивое, в тюрьме портить. К дочери проститься не зашла.

Темный сад, только теперь это Волинское. Звук работающего автомобильного мотора.

— А Сашина мама, она была в комнате с Леночкой, не вышла: то ли спала, то ли не захотела, то ли ей сказали не выходить... И повезли.

Темный осенний сад, просвеченный лучами фар, звук отъезжающего автомобиля, неторопливо скрежещущего по жести опавшей листвы. Свет и звук автомобиля постепенно меркнут, исчезают. Останется лишь один угрюмый, темный сад.

А затем — Мария Викторовна за столом, у себя на даче.

— Привезли на Лубянку, — рассказывает она. — Следователь Хорошкевич, та же, что и у Косарева. Рассказывали, что она мужчин била пряжкой ремня.

Опять — «косаревы» на Красной площади.

— Меня она не била. Только заставляла стоять. Говорит: «Признавайтесь, вы в одной организации с Косаревым». — «Так если бы я была в одной организации, меня бы сразу взяли вместе с ним. А приехали не за мной — за Косаревым. Только потом Берия крикнул». — «Еще бы! — говорит Хорошкевич. — Ведь вы совершенно неправильно себя вели. Вы с Косаревым обнимались вместо того, чтобы выразить презрение к врагу народа». Следствие шло полгода, до мая. Все спрашивали: была ли в организации? Узнали, что брат тоже арестован. Я спрашивала: в какой организации — у брата или у мужа? Они злились... Однажды, когда вели по коридору, услышала из одной из камер кашель отца. Я пришла в ужас: с кем же Лена? Сказала следователю. На другой день кашля не слышала. В январе ко мне в камеру привели жену Калинина, Екатерину Ивановну. Она мне сказала: «Они тебя забьют. Кинь им

какой-нибудь кусок, чтобы отстали. Дадут по суду, и все тут». Я тогда решила сказать, что у брата были сомнения в Китайской революции. Кроме того, сказала, что ко мне в тридцать третьем заходил после ссылки бывший троцкист из студенческой группы — по дороге к жене в Тбилиси. Они жутко обрадовались: знала о сомнениях брата и оказала помощь троцкисту. Потом отправили на военную коллегию. Сидел Ульрих, два солдата у меня по бокам. Дали десять лет исправительно-трудовых лагерей за участие в контрреволюционной организации. В камеру я уже не вернулась. Завели в какой-то бокс. Я слышу: мужчина, видимо, не мог идти. А его избивают, кричат: «Ползи!»... Применяя пытки, избиения, как они не думали, что следующие они будут?! Я как-то спросила: «Как же вы потом идете на партсобрание, как приходите к своим женам, детям после того, что вы здесь с нами делаете?» — «С врагами все позволено»... После приговора привезли меня в Бутырки, в круглую башню, там, наверное, было человек сто. А где-то над нами была камера, в которой находились женщины с грудными детьми, и они плакали. Самое страшное — слышать в тюрьме плач грудных детей... А потом были этапы. У меня города ассоциируются только с пересыльными тюрьмами. В Дудинке наш пароход встретили духовым оркестром.

Здесь могут возникнуть кадры бодрых довоенных строек, оркестры, есть хорошие съемки ночных работ на снежном ветру с прожекторами все в той же «Повести о завоеванном счастье».

— Марши играли, — рассказывает Мария Викторовна. — Они что-то там напугали — кому-то за это крепко нагорело... Потом был Норильск. Тяжкие, черные дни. Страшнее тюрьмы, ссылки ведь ничего нет.

Опять — «косаревы» на Красной площади.

— Делали с нами, что хотели. Устраивали медицинские комиссии, человек десять мужиков — кто в форме, кто в белых халатах — сидели за столом, а нас, обнаженных, ставили перед ними... Особенно тяжело переносили тюрьмы, лагеря прибалты. Латыши, эстонцы, литовцы очень плохо выживали...

Мария Викторовна молчит. Но, как бы продолжая ее рассказ, начинает говорить Елена Александровна.

— Мне мама как-то написала: «Если есть на земле правда, я — вернусь»... На утро, когда родители исчезли, помню, меня посадили в грузовик. Было страшное ощущение, что выгоняют с дачи. Все делалось очень поспешно. Привезли меня к бабе Саше на Русаковскую. В двух комнатах жили две семьи и еще мы с няней, Ольгой Яковлевной, бабой Олей. Ее многие звали к себе — Микояны, еще кто-то. Но она говорила: «Я люблю Лену и ее не брошу». Жили мы очень

бедно, редко ели белый хлеб. Я уже привыкла, что у меня нет родителей. Было много друзей. В первом, втором, третьем классе я получала похвальные грамоты.

На экране снова кадры, где украинские мастерицы вышивают портрет любимого вождя, а затем кадры детей, играющих у вагончика на полевом стане: дети смотрят, как движется игрушечная танкетка, а затем маленький мальчик играет, широко растягивая, на большой гармошке. А над детскими головами висит прибитый к вагончику транспарант: «Спасибо любимому Сталину за наше счастливое детство».

— По ритуалу,— продолжает за кадром Елена Александровна,— надо было, получив грамоту, сказать: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Я еще ничего не понимала, и мне никто ничего не объяснял, но хорошо помню, всегда только тихо говорила: «Спасибо...»

— Летом,— продолжает в кадре Елена Александровна,— на каникулы, я ездила к няне в деревню, во Владимирскую область. А когда началась война, там осталась. Ходила в школу в соседнюю деревню за полтора километра. А девятый и десятый класс кончала в Москве — 310-я школа. В этой школе меня никто никогда не расспрашивал, не ранил злым словом. Я хорошо училась. Мое сочинение,— Елена Александровна усмехается,— даже опубликовали в сборнике лучших сочинений сорок восьмого года. Я получила медаль, у меня были все пятерки, но дали почему-то серебряную медаль. Когда я училась в десятом классе, маму выпустили, она приехала в Грузию к своим родственникам, а я приехала к ней — вот тут-то мы, можно сказать, познакомились. Но от всех вопросов мама уходила. Она, видимо, боялась дать мне знание, которое меня погубит. А весной ее снова арестовали — в Рустави. Перед этапом было свидание. Мы разговаривали, а рядом ходил часовой — очень это было страшно... Я вернулась в Москву, пришла поступать в МГУ, у меня же медаль, сказали: «Пожалуйста, если нет родственников-репрессированных». В педагогическом — тоже. Тогда пошла в Тимирязевку. Там брали. Я показала, где овес, где пшеница, где рожь — это моя жизнь в деревне мне помогла. Меня приняли. А тут приходит из Дудинки от мамы письмо, что к ним прибывают дети репрессированных, советовала уехать мне из Москвы в Грузию. Но я решила не ехать. Мне нравилось учиться. А потом...

Елена Александровна на секунду умолкает, но потом продолжает:

— ...Я полюбила человека. Первая любовь... Я не хотела с ним расставаться. Впоследствии он отрекся от меня. А когда вернулась, искал со мной встречи. Но я этого

не хотела. Как-то увидела его на улице. Он не заметил меня, и мы разошлись... Но проучилась я всего два месяца. Первого ноября сорок девятого года, ночью, у бабушки раздался звонок: двое из МГБ, дворник, понятия, ордер на обыск, ордер на арест. Эмгэбэшники, два здоровых лба, и вдруг видят: девочка с косичками. Наверное, им было не по себе. Но в доме всё перевернули. Внизу — «вороны», я села со своим узелком и поехала. Привезли на Лубянку, но не на Большую, как для всех бо ль ш и х преступников, а на детскую — на Малую. Пальчики отпечатали, фото: анфас, профиль — и в камеру. Потом к следователю, если не ошибаюсь, Юра Поляков. Вели с ним разговоры о последних фильмах. Вдруг кто-то вошел: «Ой, у тебя девочка». А тот ему: «Что ты, это серьезный преступник». Все это длилось недели две, а потом вдруг приводят в какой-то кабинет, там очень солидная женщина. Она посмотрела на меня, я не преувеличиваю, с ужасом. А в глазах — слезы. Но говорит со мной очень строго, хотя и на «ты»: «Когда приедешь на место, ты не должна куда-то уезжать, понимаешь, ни куда, иначе тебя ждет каторга, лагерь, тюрьма. Тебе заменили статью: не пятьдесят восемь «десять» — антисоветская агитация, а семь «тридцать пять» — СОЭ, социально опасный элемент». Я поняла: она увидела, что перед ней дите, и стала меня напутствовать, зная, что потом меня уже никто напутствовать не будет... Привезли меня в Бутырки, там, как вокзал... Страшное место. Ночью, когда меня привели в камеру — голые стены, нары, тусклый свет, — женщины стали поднимать головы. И та, которая поднимала и смотрела на меня, начинала тут же плакать. В конце концов ревели вся камера: они решили, что начинают забирать детей. Потом отплакали, немного успокоились, уложили меня спать... Там я познакомилась с массой интереснейших людей. Красавица, сестра поэта Перетца Маркиша. Еще одна очень красивая женщина, то ли племянница, то ли дальняя родственница Троцкого — Рида Бронштейн. Была Валерия Герлин, мы с ней разговаривали, шутили, как-то так громко рассмеялись, что я испуганно сказала: «Тише, выгонят!» Тут все еще громче рассмеялись. Невозможно плакать все время, мне же было восемнадцать лет... Вот здесь-то про Сталина мы поговорили вдоволь. Валерия меня просветила.

— Значит,— усмехается Мария Викторовна,— не зря сажали?

— Конечно, не зря,— поддерживает ее с усмешкой Елена Александровна.— Одним словом, у нас было прекрасное общество. Там я познакомилась с Татьяной Кирилловной Окуневской, знаменитой киноактрисой.

На этих словах Елены Александровны возникает (скорее всего в виде стоп-кадра)

изображение женщины, читавшей ахматовские стихи, а затем фотографии Татьяны Окуневской в довоенных и военных фильмах: юная Карре Ламадон в роммовской «Пышке» (ей здесь 15 лет), Тоня в «Горячих денечках», Лена в «Последней ночи», Панночка в «Майской ночи», Лена в «Это было в Донбассе».

— Она читала,— продолжает за кадром Елена Александровна,— Ахматову: «Один идет прямым путем, другой идет по кругу»... У нас там были дежурства, а Татьяна Кирилловна каждый день, каждый, не в свою очередь, мыла пол. Старалась сохранить себя физически.

Елена Александровна в кадре — за дачным столом в вечернем саду.

— Тридцатого декабря,— продолжает она,— у меня день рождения. И меня спросили мои сокамерницы: что ты хочешь? Я подумала и сказала: увидеть зимний лес в инее и съесть мороженое. После этого я видела, как женщины о чем-то шептались с надзирателями, те что-то приносили, в общем, я поняла: готовят мороженое, прятали его между окном и решеткой. Но я делала вид, что ничего не замечаю. А в ночь перед тридцатым вдруг объявляют большой обыск. Всех подняли, повели через двор в другое помещение. И вот мы видим: тихая морозная ночь, луна, а во дворе Бутырок стоят роскошные ели в снегу.

— Разве там были деревья? — перебивает Мария Викторовна.

— Ну конечно,— говорит дочь.

— Что-то я не помню.

— Были-были... «То, что ты хотела»,— говорили женщины, когда мы шли через двор. А большой обыск — это ужасно. В камере полный шмон, а нас приводят в голое, мрачное помещение, каменный пол.

Где-то здесь — снова множество «косаревых» на Красной площади, и заканчивается рассказ Елены Александровны.

— Раздевали догола. Заглядывали куда только можно. И особенно ужасно — изможденные, несчастные, дрожащие от холода старушки. Я смотрела по телевизору Джека Лондона — у Вертинской должны были вернуть карманы. Боже мой, какая трагедия!.. Знали бы они, какие были обыски у нас. И смысла-то в них никакого не было. Просто хотели унижить. Несколько человек обыскивают тебя, а рядом — другую. Ужасно, ужасно... Вот так я встретила свой день рождения.

Елена Александровна продолжает в кадре:

— Но зато, когда вернулась под утро в камеру, мне дали мое мороженое. И это было восхитительно!.. А первого января 1950 года мне зачитали приговор: десять лет ссылки в Кызыл-Орду. Я взяла свой узелок, и начались этапы.

— Когда дочь арестовали,— говорит Мария Викторовна,— я получила от Косаревых

из Москвы телеграмму: «Лена заболела твоей болезнью». Я написала письмо Сталину, но на имя Поскребышева, мы знали его до войны: такой маленький Квазимодо, абсолютно лысый, лицо безбровое, безбородое. В письме умоляла, чтобы дочь направили по месту ссылки матери. И Поскребышев все сделал. Лену разыскали на этапе, отправили в Дудинку — там мы соединились. Это нас спасло.

— В ссылке,— рассказывает Елена Александровна,— я познакомилась с Петром Давыдовичем. У него уже срок кончился: его посадили за плен, да еще — еврей, как это ему удалось выжить?.. А он не был похож на еврея, взял другую фамилию... Срок у него кончился, но он остался на Севере из-за меня. Хотели расписаться, но эмгэбэшное начальство, у которого мы регулярно отмечались, потребовало его показать. Я отказалась. Расписались уже после реабилитации... Я продолжала в Норильске учиться в заочном институте, у нас были лабораторные занятия, вдруг вбегает женщина и говорит: «Товарищи, только что передали страшное сообщение — Сталин тяжело заболел». Я тут же сказала: «Какой ужас». А моя подруга Рина Смирнова, немка — ее полное имя Октябрина (есть фото, красивая женщина,— одна и с Еленой Александровной), так назвал ее отец, был наркомом финансов республики немцев Поволжья, Вормсбехер, был очень революционно настроенный человек, его сослали на край земли, семью тоже, так вот, Рина берет меня под руку, уводит в другую комнату и говорит: «У тебя было такое радостное выражение лица, когда ты сказала: “Какой ужас”». Когда Сталин умер, все вольнонаемные рыдали, а ссыльные были в ожидании счастливых перемен. На комбинате в Норильске проходил митинг в связи с кончиной Сталина. На сцене стояла дирекция, местные начальники МГБ, а в зале почти все бывшие или нынешние ссыльные. И на сцене рыдали, а зал — молчал.

Сидят в молчании за столом Мария Викторовна и Елена Александровна. Сидит на террасе, держа газету в руках, но не читая, Петр Давыдович. Сидят в своей дачной комнате Саша и Егор. Мирно спит в кроватке Наденька.

После паузы Мария Викторовна говорит:

— И нас, и Косарева реабилитировали быстро, в 1954 году... Все эти годы мы ничего о Саше не знали. Его матери сообщили, что ему дали десять лет без права переписки. Тогда мы еще не ведали, что это значит. А потом на Севере все время ходили слухи: то там его кто-то видел, то здесь. Мы все надеялись на встречу.

На экране «Союзкиножурнал» за 1939 год с сюжетом, посвященным 23 февраля — Дню Красной Армии. В этот сюжет (ближе к финалу) вклинятся вполне подходящие к

его теме кадры из уже мелькавшего номера «СКЖ» (№ 30) за 1932 год о комсомольском лагере Осовиахима: утренняя зарядка парней в полувоенной форме, строй в противогазах, а затем — занятия в тире (надпись «Будущие снайперы»): целится парень из винтовки в нашу сторону, его лицо уходит из фокуса, но в хорошем фокусе дуло с мушкой, потом крупно продырявленные мишени с контурами человеческого торса.

— И только в 1954 году,— говорит Мария Викторовна,— от Руденко, Генерального прокурора, узнали, что Косарев был расстрелян 23 февраля 1939 года. Он нам показал акт о расстреле.

Слышится хлопок выстрела, а на экране — клеть с шахтерами, в момент хлопка она срывается вниз, исчезает с глаз долой.

Затем на экране фотография из фототеки «Известий» (она опубликована в газете 5 февраля 1989 года): Каганович в белой «железнодорожной» форме, рядом человек в форме ВВС, но лицо у человека замазано чернилами. Подпись к фотографии свидетельствует, что это Каганович и некто (ибо подпись тоже замазана чернилами) в Тушино на празднике авиации в августе 1936 года. Но если присмотреться к подписи, то сквозь чернила проступает фамилия — А. В. Косарев.

А вслед за этой фотографией — еще одно фото Косарева (крупно, на весь экран) с орденом Ленина на лацкане пиджака.

— Когда Косарева реабилитировали,— говорит за кадром Мария Викторовна,— мне сказали, что никаких вещей его не осталось, только орден Ленина. Но я не взяла. Саши нет, а зачем мне орден.

К последним словам кинокамера наездом на орден укрупнит его до размеров экрана.

Возникнет пауза, а затем исчезнет орден и появится изображение театрального занавеса, в прорези которого будет видна афиша спектакля ЛенТРАМа «Сашка Чумовой» — премьеры 1925 года.

Занавес начнет медленно-медленно закрываться, а за кадром веселый голос выкрикнет:

— Финальные куплеты из спектакля Ленинградского театра рабочей молодежи «Сашка Чумовой».

И на фоне сдвигающегося занавеса за кадром грянет веселый речитатив молодых голосов:

Прощай, веселый комсомол!..
Спектакль наш к концу пришел,
Шпану ведем в кутузку,
Дела окончены на «ять»,
И дальше пьесу продолжать —
Излишняя нагрузка.
Ведь завтра нужно нам и вам
Идти к машинам и станкам,
По мастерским и цехам!

Так проводите нас туда,
За вечер нашего труда
Зарплату выдав — СМЕХОМ.

Последнюю строчку хор настойчиво, но в то же время как бы с возникшим сомнением повторяет еще раз. А затем ее опять повторит, но уже один мужской голос — с возрастающей в голосе горькой интонацией.

Занавес закроется, а на повторах возникнет на экране черная громада снятого в ночи «дома на набережной» — сначала со стороны той стены, где еле различима в ночной тьме мемориальная доска Косарева, а потом со стороны реки, с противоположного берега, где все тоже во тьме, кроме четко горящих голубым неонem букв: «Театр эстрады».

Потом погаснет и это изображение.

А на черном экране начнут возникать фотографии тех комсомольских вожаков, которые были арестованы одновременно с Косаревым,— Валентины Пикиной, Серафима Богачева, Петра Вершкова. Затем других убиенных или (что было редкостью) отправленных в лагерь, на каторгу секретарей ЦК ВЛКСМ. Затем, заполняя экран, появятся фотографии шести предшественников Косарева на посту генсека ЦК ВЛКСМ: Ефима Цетлина (расстрелян в сентябре 1937 года), Оскара Рывкина (расстрелян в конце 1937 года), Петра Смородина (расстрелянного в феврале 1939 года), Лазаря Шацкина (расстрелян в 1937 году), Николая Чаплина (погиб в 1938 году), Александра Мильчекова (репрессирован в 1938 году, провел в заключении 16 лет).

Это — комсомольский мартиролог.

А за кадром Автор назовет фамилии, укажет даты, упомянет хотя бы некоторые цифры: из 93 членов ЦК ВЛКСМ, избранных на X съезде комсомола в 1936 году, были сняты с работы и арестованы 72, из 35 кандидатов в члены ЦК — 27, из 17 членов ревизионной комиссии — 15. Из 385 секретарей обкомов, крайкомов, ЦК комсомола союзных республик заменено 319, из 2750 секретарей райкомов — 2210 человек. Только в Северо-Осетинской АССР по фальсифицированным обвинениям были арестованы 103 комсомольских работника, из них 51 расстрелян, остальные отправлены в лагерь...

Отзвучит мартиролог, и возникнет пауза на фоне экрана, заполненного множеством фотографий.

Потом — опять шахтерская люлька, ухнувшая в небытие.

А затем на экране надпись: «Реплика в сторону. Иосиф и его братья».

И на фоне этой надписи возникнет нарастающий гул, постепенно достигающий апофеоза,— страна рукоплещет вождю.

Пусть этот разгул неистовой любви в кадре

и за кадром длится минут шесть, даже восемь (есть кусок хроники, где Сталин слушает аплодисменты примерно в этом временном отрезке) — так, чтобы зритель в конце кадров и з не мог.

А когда (будем надеяться) он изнеможет (ну хотя бы часть зрителей), то гул начнет спадать, и появится кадр с молодыми, весело улыбающимися, крепкими парнями, везущими на платформе кирпичи — везущими на на с. С помощью распечатки движение будет замедленным, трудным, а изображение будет увеличиваться, разрастаться.

И на этом изображении (возможно, переходящем к финалу в современные съемки спешащих по улице людей) зазвучат за кадром прочитанные Татьяной Окуневской стихотворные строки, тоже ахматовские:

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве и чертополоху
Украсить ее предстоит.
И только могильщики лихо
Работают. Дело не ждет!
И тихо, так, Господи, тихо,
Что слышно, как время идет.
А после она выплывает,
Как труп на весенней реке, —
Но матери сын не узнает,
И внук отвернется в тоске.

1989 г.



Франко
АРКАЛЛИ

Бернардо
БЕРТОЛУЧЧИ

ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ

Сцена 1

Натура: улица Жюль Верна, день.

Фильм начинается с движения: камера следует за мужчиной, идущим твердой походкой под витиеватым мостом. Он смотрит по сторонам и выкрикивает ругательство в адрес режущего над головой поезда.

МУЖЧИНА. ...твою мать!

Это январское утро в часы пик. Но улица не запружена. В ней даже есть что-то ленивое.

Проезжает машина. Это исключение.

Мужчина бегло скользит взглядом по деталям зданий — каменные балконы, занавешенные окна, нарядные фасады — образец изящно стареющей архитектуры.

Слышится звук шагов. Однако тротуар впереди него пустынен. Нет никого и сзади. Это отдаются его собственные шаги.

Странно слышать свои собственные шаги в большом городе.

Потрм происходит нечто абсолютно нормальное, даже банальное, но в этот момент, на этой улице, для этого человека это нечто особенное: видение — силуэт женщины, ничего больше, но для него — видение.

Она появилась из-за угла и идет ему навстречу по той же стороне улицы. Она разглядывает окрестности отчасти с любопытством, отчасти со скукой.

Их разделяет двадцать футов, и они единственные живые существа на улице. Они смотрят друг на друга.

У нее густые светлые волосы, длинные ноги в мини-юбке.

Он без галстука, пальто сидит мешковато, небрит.

Расстояние между ними быстро сокращается. Молодая женщина убыстряет шаги. Она смотрит себе под ноги или на стену с левого бока, немного смущенная, раздраженная. Почему?

Потому что она понимает, что он уперся в нее взглядом и не отводит глаза. Потому что она понимает, что он замедлил шаги, чтобы лучше рассмотреть ее, продлить беззащитное исследование ее тела и лица.

Что-то привлекает ее внимание: это объявление рядом с дверью дома. Девушка читает: «Сдается квартира на пятом этаже».

Она колеблется. Она смотрит на часы, смотрит на улицу. Мужчина исчез. Немного впереди находится бар. Девушка входит в него.

Сцена 2

Интерьер: бар, улица Жюль Верна; день. Девушка спускается по ступенькам в подвал.

ДЕВУШКА. Я бы хотела позвонить.

БАРМЕН. Вниз и налево.

Телефонная будка занята. Она покупает жетон у служительницы женского туалета и нетерпеливо ждет своей очереди.

Дверь будки открывается. В ней мужчина, которого она видела на улице. Девушка отступает, чтобы дать ему пройти, а также чтобы избежать его взгляда. Но расстояние между ними очень мало, и их глаза неизбежно встречаются.

Его взгляд пуст. Он останавливается на ней, не видя и не узнавая ее. Но только на мгновение. Он поднимается вверх по ступенькам и исчезает.

Через открытую дверь телефонной будки мы слышим ее голос.

ДЕВУШКА. Мама, привет, это я, Жанна. Я собираюсь посмотреть квартиру в Пасси. Потом я встречу Тома на вокзале. Я обещала ему. И... да... я приду домой. Увидимся. Целую, пока.

Сцена 3

Интерьер: комнатка консьержки, лестничная площадка; день.

Девушка появляется из тени. Она приближается к подъезду дома. Перед клеткой старого лифта деревянная дверь с квадратной прорезью. Это — помещение для консьержки.

Девушка видит крупную пожилую женщину с седыми сальными, неопрятными волосами. Она читает? Это непонятно.

ДЕВУШКА. Я пришла по поводу квартиры. Я видела объявление.

Консьержка едва поворачивает голову. На ней очки в серой оправе. Она смотрит на девушку без выражения и без интереса. Ее голова втянута в плечи.

КОНСЬЕРЖКА. Объявление? Мне никто никогда ничего не говорит.

ДЕВУШКА. Я бы хотела посмотреть ее.

КОНСЬЕРЖКА. Вы хотите снять ее?

ДЕВУШКА. Пока не знаю.

Пожилая женщина, судя по всему, не проявляет к девушке никакого интереса.

КОНСЬЕРЖКА. Они сдают, передают, они делают, что хотят, а я узнаю об этом последняя. У вас есть сигарета?

Девушка открывает сумочку и протягивает только что открытую пачку сигарет через окошко. Старая дама хватает ее. Она закури-вает одну, а остальные исчезают в ее карма-не.

КОНСЬЕРЖКА. Раньше не была такой. Под-нимитесь наверх, если хотите. Но вам при-дется пойти одной. Я не двигаюсь. Я боюсь крыс.

Она поворачивается к деревянной дощеч-ке, где на гвоздях висит несколько ключей, и ищет нужный ключ.

КОНСЬЕРЖКА. Ключ исчез. Его здесь боль-ше нет. Странные вещи происходят.

Она глубоко затягивается и выдыхает дым через ноздри. Она кажется какой-то оцепеневшей, как будто она прикована к своей нише уже много веков.

Неожиданно открывается дверь — дверь около лестницы. Появляются пустая бутылка и рука. Старуха слышит стук бутылки о пол. Она понимает не глядя.

КОНСЬЕРЖКА. Они выпивают шесть бутыл-лок в день.

Девушка чересчур долго ждала. Она пово-рачивается и собирается уходить, но старуха окликает ее.

КОНСЬЕРЖКА. Подождите, не уходите, тут должен быть дубликат.

Она открывает ящик под лавкой, шаря в нем, как слепая.

КОНСЬЕРЖКА. Вот он.

Она смотрит на ключ, который держит на ладони, не отдавая его девушке. Наконец она протягивает его. Передавая ключ, ста-руха хватается девушку за руку. Это длится только мгновение. Она резко отпускает ее.

КОНСЬЕРЖКА. Вы очень молоды, правда?

ДЕВУШКА (*про себя*). Сумасшедшая.

Сцена 4

Интерьер: квартира; день.

Чтобы лучше рассмотреть темную прихо-жую, девушка оставляет входную дверь на-стежь открытой. Застыв в мрачной перед-ней, девушка раздумывает, где находится гостиная. Утренний свет просачивается через одно из больших окон, жалюзи на котором наполовину закрыты. Она делает несколько шагов в центр комнаты. Погода прекрасная, пустое пространство производит приятное впечатление.

Она начинает поворачиваться, скользя взглядом по окну, светлым стенам, высокому потолку, полу и снова по стенам.

ДЕВУШКА. Кто там?

Она почти вскрикнула.

На фоне стены напротив окна видны неяс-ные очертания силуэта.

Это мужчина с улицы и из телефонной будки, мужчина, с которым она уже встре-чалась дважды. Он прислонился к стене и смотрит на нее. Девушка стоит перед ним, освещенная окном позади нее.

ДЕВУШКА (*улыбаясь*). Как я испугалась! Как вы вошли?

МУЖЧИНА. Через дверь.

ДЕВУШКА. Как глупо с моей стороны. Я оставила ее открытой, но я не слышала, как вы вошли.

МУЖЧИНА. Я уже был здесь.

ДЕВУШКА. Простите?

МУЖЧИНА. До того как вы пришли... я был здесь.

Он вертит ключом перед ее глазами. Нако-нец она понимает, но подозрительность еще остается.

ДЕВУШКА. Ах, ключ. Так это вы его взяли.

Свой ключ она держит в руке. Она кла-дет его в сумочку.

ДЕВУШКА. Мне пришлось дать взятку консьержке... Эти старые дома очарова-тельны.

Она внимательно осматривается вокруг, оценивая пространство с практической точки зрения.

ДЕВУШКА. Около камина хорошо поставить кресло.

МУЖЧИНА. Нет, кресло лучше у окна.

Он в другой комнате. Обрывки газет на по-лу, пустые бутылки, старое бюро на трех ножках, шатко прислонившееся к стене. Он пытается поставить его ровно. Нестабиль-ное равновесие, но все же равновесие. Он оставляет эту затею. Бюро возвращается в прежнее положение. Его сломанная нож-ка никогда не существовала или же суще-ствовала только в виде следа, который она оставила на полу. Дневной свет зали-вает трещины в стенах. Квартира напол-нена ощущением прежней жизни, прежних обитателей.

ДЕВУШКА (*за кадром, громко*). У вас аме-риканский акцент... Вы хотите снять ее?

МУЖЧИНА. А вы?

ДЕВУШКА. Не знаю.

Она также пытается представить прежнюю жизнь этой квартиры, глядя через пустую картинную рамку.

ДЕВУШКА. Что вы делаете?

МУЖЧИНА. Эта часть комнаты... как пода-рок.

Он высовывается из окна, пытаясь уви-деть отражение девушки в окне соседней комнаты. Он видит очертания ее фигуры.

Она стоит неподвижно, потирая шею. Потом она бросает взгляд на его отражение.

ДЕВУШКА. Интересно, кто здесь жил? Похоже, что квартира пустует уже давно.

Он продолжает смотреть на нее. Она отходит, чтобы избежать его взгляда.

В квартире два телефона, стоящих на полу, вещи, которые люди не могут взять с собой, ванная с двумя старинными раковинами, газовые трубы в большой кухне.

Мужчина и девушка бродят по квартире, погруженные в безрезультатное исследование. Их пути пересекаются, они переходят из комнаты в комнату, не глядя друг на друга.

Звонит телефон. Она берет трубку в спальне, он — в гостиной.

ДЕВУШКА. Мне отвечать или нет?

МУЖЧИНА. Алло... Нет, уже поздно... она уже сдана.

Извещения, щелчок, звонивший повесил трубку.

Девушка продолжает держать трубку в руке. Она хотела бы поговорить с мужчиной теперь, когда между ними существует некоторая дистанция. Но она продолжает молчать. Он слышит ее слегка учащенное дыхание на другом конце провода. Она также чувствует его дыхание, его присутствие. Он осторожно кладет трубку на пол, не нажимая на рычаг. Затем он подходит к двери спальни и застает ее врасплох, сидящую на корточках на полу и еще держащую трубку у уха.

Как только она видит его, она вешает трубку с виноватым видом. Она пытается скрыть свое смущение, начиная быстро говорить.

ДЕВУШКА. Ну вы решили? Будете снимать?

МУЖЧИНА. Да... решил... Сейчас я не знаю... а вам нравится?

Она пытается подняться. Он берет ее руку, чтобы помочь ей. Их руки не разнимаются. Это контакт, который они откладывали до этого момента. Их пальцы начинают познавать друг друга, все говорить друг другу в течение очень долго длящегося момента. Затем они отпускают друг друга.

ДЕВУШКА. Мне надо подумать.

МУЖЧИНА. Думайте скорей.

Она следит за ним, глядя, как он исчезает в дверном проеме. Она слышит его шаги, пересекающие прихожую, потом звук захлопывающейся входной двери. Вероятно, он ушел. Но когда она уже собирается уходить, она наталкивается на него.

ДЕВУШКА. Я думала, вы ушли.

МУЖЧИНА. Я закрыл дверь.

Она не может выносить его взгляда и поворачивается к нему спиной, стоя очень тихо. Это как бы некое согласие и отказ одновременно.

Неожиданно мужчина обхватывает ее сзади, их тела ищут друг друга, катаясь на

полу. Его тело становится частью ее. Их губы слегка соприкасаются, соединяются, вгрызаются друг в друга, они напрягаются и смягчаются.

Они занимаются любовью яростно, ища через одежду лазеек, которых не существует, сцепившись, как две собаки, неспособные остановиться до конца.

Потом они лежат какое-то время — обесилевшие, один на другом.

Она встает, и он видит, как она исчезает в ванной.

Ему с трудом удается разгладить помятую одежду, скомканные волосы. Он медленно приводит себя в порядок, прислушиваясь к шуму воды в ванной.

Сцена 5

Интерьер, натура: лестничная площадка и улица; день.

Теперь девушка на лестничной площадке в ожидании лифта. Дверь квартиры открывается. Он выходит следующим. Он запирает дверь, тем временем поднимается лифт. Оба выглядят спокойно и скромно. Он спускается по лестнице пешком. Она едет на лифте. Они не могут избежать встречи на первом этаже. Они выходят, не глядя друг на друга, в явном смущении.

Выйдя из подъезда, она поворачивает направо, он — налево. Два направления, два разных пути для Жанны и Пола. Ибо это их имена.

Сцена 6

Натура: вокзал Сен Лазар; день.

Жанна торопится. Она выскакивает из такси у входа в вокзал рядом с лестницами, ведущими к платформам. Поезд, вероятно, прибыл несколько секунд назад.

Жанна продирается сквозь толпу, движущуюся ей навстречу: люди, носильщики, чемоданы. Она вглядывается в лица в поисках кого-то.

Она так напряжена, что не замечает троих людей, тайком следующих за ней.

Один из них оператор, его глаз прилип к 16-мм камере. Другие — звукооператор с «Нагрой» и наушниками, направляющий микрофон в толпу, чтобы записать шум вокзала, и ассистентка.

Внезапно Жанна останавливается. Она приподнимается на цыпочки и машет рукой в быстром приветствии, затем снова начинает бежать зигзагами, огибая пассажиров.

Мы не смогли разглядеть, кому она махала. И теперь, когда она подошла к нему, мы все еще не видим его лица. Они обнижаются.

Когда Жанна приоткрывает глаза, первое, что она видит, — это линза 16-мм камеры. Не

зная, то ли улыбаться, то ли остерегаться, она прячется за плечом мужчины.

Наконец Том появляется, освобождаясь из объятий. Ему около тридцати, черные волосы, серые глаза, горизонтально сидящие на лице, похожем на детское. Жанна показывает на маленькую киногруппу.

ЖАННА. Они снимают нас или кого-то другого?

Том оборачивается и смотрит в камеру. Потом он улыбается.

ТОМ. Обрати внимание... Нас снимают в кино. Теперь... если я тебя целую, то, может быть, это для фильма.

Жанна не понимает. Том гладит ее волосы.

ТОМ. Если я глажу твои волосы, то, может быть, это для фильма.

Он берет свой чемодан, а свободной рукой берет Жанну под руку. Камера следует за ними.

Жанна изумлена, Том абсолютно раскован. Они идут к выходу. Время от времени в кадр попадает микрофон. Том сжимает ее руку.

ТОМ. Если я стискиваю твою руку, то, может быть, это для фильма.

ЖАННА. Прекрати. Что происходит? Ты знаешь их? Кто это?

ТОМ. Это долгая история. В двух словах... Я снимаю фильм «Портрет девушки». Я предложил его телевидению. Они это приняли... в трех частях. А девушка — это ты.

Жанна безуспешно пытается прервать его. ЖАННА. Ты сумасшедший. Ты должен был сначала спросить меня.

ТОМ. Мне понравилась идея начать с кадров Жанны, героини фильма, встречающей своего жениха на вокзале... Да, я знаю их. Это моя киногруппа.

Жанна какое-то мгновение внимательно смотрит на кинооператора, снимающего их, и на звукооператора, записывающего все, что они говорят. Потом она зарывается лицом в плечо Тома. Она несколько раз щиплет его за руку.

ЖАННА. Значит, ты целуешь меня... зная, что это для фильма.

Она понижает голос. Некоторые ее слова не попадают в микрофон.

ЖАННА. Трус... предатель.

ТОМ. Нет, вот увидишь, кроме всего, это — любовная история. Ты увидишь... скажи мне, Жанна... что ты делала, пока меня не было.

ЖАННА (с иронией). Я думала о тебе днем и ночью, и я плакала. Дорогой, я не могу жить без тебя!

ТОМ. Стоп! Потрясающе!

Оператор прекращает съемку. Звукооператор снимает наушники. Том набрасывается на Жанну и снова целует ее. На этот раз он искренен. Он не играет.

Сцена 7

Интерьер: отель, безликая комната; день.

Обои, старомодный шкаф. Кровать. Перегородка из матового стекла, за которой раковина и ванна. Водопроводный кран над ванной открыт, и вода хлещет, стекая по эмали.

Молодая горничная с глазами кошки на четвереньках оттирает тряпкой кафель. Она выискивает пятна крови, которые могла не заметить. Соскребает их ногтями, затем протирает куском ткани. Кажется, что она разговаривает сама с собой.

КАТРИН. Я бы уже закончила... но полиция не дала мне. Мы не могли ничего трогать. Они не верили в самоубийство... Слишком много крови кругом. Они развлекались, заставляя меня все разыгрывать перед ними. Она прошла здесь... она прошла тут... она открыла занавеску. Я делала все, как она.

Она бросает тряпку в угол рядом с большим полотенцем, пропитанным кровью. Оттирает руки под водой.

КАТРИН. Клиенты не спали всю ночь... Отель полон полиции... Их развлекает кровь... Все шпионы... Столько вопросов. Была ли она печальна... была ли она счастлива... дрались ли вы... били ли вы друг друга... и как долго вы были женаты... и почему у вас не было детей... Свины...

Она сидит на краю ванной и смотрит, как бежит вода.

КАТРИН. Они хорошо осведомлены. Они сказали: «Нервный тип твой хозяин. Ты знаешь, он был боксером?» Вот как? «Это не получилось... тогда он стал актером, потом рэкетиром в порту в Нью-Йорке». Вот как? «Это продолжалось недолго... играл на банджо... революционер в Южной Америке... журналист в Японии... Однажды он появляется на Таити, околачивается там, учит французский... приезжает в Париж, потом встречает молодую женщину с деньгами... он женится на ней... а потом... чем он занимается, твой хозяин? Ничем». Я говорю: могу я теперь убраться? «Нет, ничего не трогай. Ты действительно думаешь, что она сама убила себя?» Он затолкал меня в угол и пытался облапать.

ПОЛ (за кадром). Почему ты не выключаешь воду?

Голос идет со стороны окна.

ПОЛ. Может быть, именно сейчас они делают вскрытие.

Мы видим Пола с наружной стороны окна. Он смотрит на окно на противоположной стороне двора, где молодая чернокожая женщина на коленях пришивает пуговицу к голубым джинсам чернокожего мужчины, стоящего перед ней и держащего в руке тенор-саксофон. Девушка также смотрит на Пола.

Камера на Катрин: она вытирает какой-то предмет туалетной бумагой. Протягивает его

Пола. Это длинная старомодная прямая бритва.

КАТРИН. Они сказали, чтобы я вернула это вам.

ПОЛ (*за кадром*). Это не мое.

КАТРИН. Им это больше не нужно. Они сказали мне, что следствие закончилось.

С противоположной стороны двора мы видим Пола, рассматривающего бритву. Камера — на Пола. Он бросает взгляд на окно, где чернокожая женщина откусывает нитку от пуговицы, которую она пришила почти что на половых органах мужчины.

Затем рука Пола заворачивает водопроводный кран. В неожиданной тишине мы видим затылок Пола, выходящего из комнаты.

Через какое-то мгновение Катрин появляется крупным планом и делает движение, которого мы не видим.

Мы слышим, что в ванной снова начинает бежать вода.

Сцена 8

Интерьер: подъезд, лестничная площадка; день.

Жанна стоит перед дверью.

В руке она держит ключ. Она звонит в звонок. Ничего не остается, как вернуть ключ и уйти. Она звонит снова. Никого нет. Почти полдень.

На лестничной площадке наверху открывается дверь.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС (*за кадром*). И еще купи квартиру молока.

Шаги молодой персоны. Звук становится громче, поскольку ноги перепрыгивают через две ступеньки.

Жанна не хочет, чтобы ее увидели. Она вставляет ключ в замок и быстро открывает дверь.

Оказавшись внутри, она прикрывает дверь, оставив небольшую щелочку. Она видит спускающегося маленького мальчика. Мелькает красное пятно на свитера, поскольку он торопится.

Неожиданно Жанна чувствует на себе взгляд. Она быстро оборачивается, поднимая над головой ключ в качестве доказательства. И ее алиби готово: «Я только пришла вернуть ключ». Кто-то следит за ней. Это черная кошка, дикая и ошестившаяся, которая наблюдает за ней из двери гостиной.

Мгновение. И Жанна взрывается. Она приближается, топая ногами и шипя сквозь зубы, как лунатик. Кошка исчезает в комнате.

Когда Жанна появляется в гостиной, она успевает увидеть, как кошка выпрыгивает в окно. Жанна бегом пересекает комнату,

выглядывая из окна — мирные крыши. Кошки не видно.

ГОЛОС (*за кадром*). Алло? Алло?

Жанна оборачивается. Снова она держит ключ перед собой. Пара шагов. Потом появляется кресло, движущееся кресло, на фут приподнятое над полом, на человеческих ногах.

ВЫСОКИЙ ГРУЗЧИК. О'кей, где это поставить?

Это голос человека, у которого нет желания ждать ответа.

ЖАННА. Вы могли бы позвонить в звонок.
ВЫСОКИЙ ГРУЗЧИК. Дверь была открыта.

Жанна не знает, что сказать. Он опускает кресло и появляется за ним, в зубах огрызок сигареты, вид измученный.

ВЫСОКИЙ ГРУЗЧИК. Можно поставить его здесь?

ЖАННА. Нет, перед камином.

Человек выполняет ее указания и удаляется. Жанне хотелось бы уйти.

В двери показывается рука,двигающая четыре стула, один за другим. Появляется другой грузчик; этот коротышка.

НИЗКИЙ ГРУЗЧИК. Стулья?

Жанна делает неопределенный жест. Низкий грузчик ставит их по кругу.

ВЫСОКИЙ ГРУЗЧИК. Что насчет стола? Она быстро осматривается.

ЖАННА. Я не знаю. Он решит.

Низкий грузчик с отвращением замечает абсурдность установки стульев вокруг пустого пространства, тогда как стол стоит один в стороне.

Когда они уходят, девушка улыбается сама себе. Расстановка мебели несуразна.

Она снова пытается уйти. Ничего нельзя сделать. Ей приходится вернуться. Теперь двое мужчин транспортируют кровать на пружинах с матрасом. Они держат ее с двух сторон, занимая целый коридор, и спрашивают указаний. Она делает невразумительный жест рукой.

Пара заходит в спальню. Мы видим, как кровать исчезает в комнате, но только на три четверти. Конец кровати высовывается из комнаты.

По лицу Жанны пробегает улыбка. Двое грузчиков стоят перед ней в ожидании.

ОБА ГРУЗЧИКА. Спасибо, мадам.

Проходит минута или две, прежде чем Жанна понимает. Она открывает сумочку и протягивает им купюру. Они дотрагиваются указательными пальцами до краев своих беретов.

Она глядит им вслед и видит входящего Пола. Пока он запирает дверь на два оборота, он повернут к ней спиной. У нее достаточно времени, чтобы отступить в гостиную не будучи увиденной. Мы следуем за Полом в гостиную. Жанна сидит в кресле, спокойная, в ненатуральном положении. Пол смотрит на

нее без удивления, как будто ее присутствие здесь абсолютно нормально.

ПОЛ. Этот стул должен стоять перед...

Он направляется к креслу, где она сидит, испуганная, крепко сжимающая колени.

ПОЛ. ...перед окном.

Пол передвигает кресло вместе с ней к окну. Он устанавливает его перед окном, потом снимает свою куртку и вешает на окно. Его жесты точны, непререкаемы.

ЖАННА. Я пришла, чтобы вернуть ключ. Вернуть его в а м.

ПОЛ. Какая мне разница? Снимайте свое пальто. Помогите мне. Возьмите эти стулья... и поставьте их здесь... Поставьте их с другой стороны.

Она подчиняется; его тон не оставляет выбора. Вместе они начинают двигать стол. В центре его на самом виду лежит ключ, который Жанна принесла назад. Она кивком указывает на него.

ЖАННА. Вот он.

Пол отступает на несколько шагов, чтобы обозреть новое положение стола. Потом он берет стулья и передает их ей один за другим.

ПОЛ. Вокруг стола.

Она делает то, что он говорит, и, глядя на мебель, замечает.

ЖАННА. Вы не тратили времени зря.

Она ставит последний стул на место. Когда она оборачивается, мужчины в комнате нет. Она идет к двери. Она хочет позвать его, но не знает его имени.

ЖАННА. Послушайте... Мистер... Мне надо идти.

Она осторожно приближается к спальне, откуда в дверном проходе торчит кровать.

Пол там, комично пассивный перед лицом жестокой реальности: комната меньше, чем кровать.

ПОЛ. Кровать слишком велика для комнаты.

ЖАННА. Я не знаю, как вас называть.

ПОЛ. У меня нет имени.

ЖАННА. Вы хотите узнать мое?

Она не успевает закончить фразу. Пощечина Пола не слишком сильная.

ПОЛ. Нет! Нет, я не хочу — я не хочу знать вашего имени. У вас нет имени, и у меня тоже нет имени. Никаких имен. Ни одного имени здесь.

...Но это полнейшая неожиданность. У Жанны даже нет времени уклониться от удара. Она подносит руку к щеке.

ЖАННА. Вы сумасшедший.

Ее глаза наполняются слезами ярости. Она настаивает на своем.

ПОЛ. У вас нет имени. У меня — тоже. Никаких имен.

ЖАННА. Да, да... никаких имен. Но почему?

ПОЛ. Может быть, у меня есть. Но я не хочу ничего знать о вас. Я не хочу знать, где вы живете или откуда вы пришли. Я хочу

не знать... ничего, ничего! Вы понимаете? ЖАННА. Вы испугали меня.

ПОЛ. Ничего. Вы и я будем встречаться здесь, не зная ничего о том, что происходит за пределами этой квартиры.

Она зажалась в угол. Он поднимает ее подбородок. Затем он скользит рукой по ее щеке.

ЖАННА. Но почему?

ПОЛ. Потому... потому, что нам здесь не нужны имена. Разве ты не понимаешь? Мы будем забывать все, что мы знали, — всех людей, все, чем мы занимаемся, что мы делаем, где мы живем. Мы будем забывать обо всем — обо всем.

ЖАННА. Но я не могу, а вы можете?

ПОЛ. Я не знаю. Ты боишься?

Жанна берет его руку и подносит ее к глазам. Она рассматривает его запястье, гладит его, изучает его.

ЖАННА. Нет, больше нет. Не сейчас... Дай мне уйти. Я приду снова.

Она говорит с опущенными глазами, вдруг оробев.

ЖАННА. Завтра...

Ее губы ласкают его руку.

ЖАННА. Пожалуйста. Лучше завтра. Я слишком сильно хочу тебя сейчас.

ПОЛ. Да. Это хорошо. Тогда это не превратится в привычку. Это способ заниматься любовью.

Пол целует ее, ласкает ее. Она утыкается в его плечо.

ЖАННА. Не целуй меня. Если ты поцелуешь меня, я не смогу уйти.

ПОЛ. Я провожу тебя до двери.

Они идут обнявшись. Но вместо входной двери они оказываются перед дверью в спальню. Пол садится на край кровати, высовывающийся в прихожую. Жанна исчезает в комнате. По выражению его лица видно, что она делает.

Сцена 9

Интерьер: комната Пола; день.

Руки, роющиеся в ящиках, под рубашками, в белье, под свитерами. Руки, обыскивающие ночной столик рядом с двухспальной кроватью; руки, терзающие карманы одежды в стенном шкафу. Женщине, которая что-то ищет, около пятидесяти пяти. Это — теща Пола.

Пол стоит в дверях, прислонившись к косяку. Он смотрит на нее, не проявляя ни малейших эмоций. Заметив его, теща прекращает поиски.

ТЕЩА. Я думала, ты будешь здесь...

ПОЛ. Я ждал вас позже.

ТЕЩА. Я приехала первым поездом... Пол, как ужасно, как ужасно.

Тишина нарушается чрезвычайно усталыми шагами женщины. Она подходит к нему

и крепко его обнимает. Мужчина стоит неподвижно.

ТЕЩА. Папа в постели с астмой. Доктор не разрешил ему приехать.

Она пытается отойти, но Пол виснет на ней на мгновение с каким-то неистовством.

ТЕЩА. Так лучше. Я сильнее.

Неожиданно у женщины появляется какая-то идея. Она идет к стенному шкафу и поднимается на цыпочки. Она шарит рукой по верхней полке.

Она находит две или три дамских сумочки и раскладывает их на кровати. Одну за другой она открывает их и переворачивает вверх дном.

Тем временем Пол пытается распрямыться.

ПОЛ. Что вы ищете?

ТЕЩА. Что-нибудь, что могло бы объяснить... Письмо, знак.

ПОЛ. Я говорил вам. Ничего нет. Абсолютно ничего.

В сумках ничего нет, кроме грязного носового платка, забытой помады.

Теща садится на кровать, она выглядит как человек, потерпевший крах.

ТЕЩА. Невозможно, чтобы моя маленькая Роза... ничего для своей мамы — ни одного слова.

Пол убирает сумки обратно. Наверху, над стенным шкафом, — старый большой чемодан: его. Пол смотрит на него.

ПОЛ. Бессмысленно продолжать искать.

ТЕЩА. Ничего даже для тебя, ее мужа.

Пол не отвечает. Он поднимает чемодан тещи, стоящий около двери; старый и потрепанный, он выглядит совсем не на месте.

ПОЛ. Вам надо отдохнуть. Мне кажется, двенадцатый номер свободен.

Он пропускает женщину вперед. Они идут по коридору молча. Это не коридор частного дома. Он слишком безликий, слишком извилистый, с большим количеством закрытых пронумерованных дверей.

Они взбираются по лестнице, пропустив идущую навстречу чернокожую пару. Пол ловит взгляд тещи, провожающий пару.

ТЕЩА. Бритвой?

ПОЛ. Да.

Женщина снова начинает подниматься. Они на третьем этаже — коридор. Комната номер 12. Пол открывает ее ключом. Типичная комната третьесортного отеля: раковина, стенной шкаф, кровать, стены, оклеенные старыми обоями. Пол кладет чемодан на кровать.

ТЕЩА. В котором часу это произошло? ПОЛ. Не знаю. Ночью.

У него нет желания продолжать разговор.

ТЕЩА. А потом?

ПОЛ. А потом. Я уже говорил вам. Когда я нашел ее, я вызвал «скорую помощь».

Пол выходит в коридор. Соседняя дверь за-

перта. Он прикладывает к ней ухо и слышит звук льющейся воды.

В комнате теща открывает свой чемодан и начинает вынимать немногочисленные вещи. Она обращается к Полу, думая, что он еще слушает.

ТЕЩА. После того как ты позвонил, мы не спали всю ночь, разговаривали... о Розе и тебе. Папа все время говорил шепотом, как будто это произошло в нашем доме.

Она достает из чемодана свои пожитки: ночную рубашку, домашние тапочки, черное платье.

Потом теща громко зовет его.

ТЕЩА. Пол!

Пол появляется.

ТЕЩА. Где это произошло?

ПОЛ. В одном из номеров.

ТЕЩА. Она страдала?

ПОЛ. Спросите врачей. Они делают вскрытие.

ТЕЩА. Вскрытие.

Пол снова поворачивается спиной и выходит, чтобы открыть соседнюю дверь. Звук льющейся воды становится громче. Из коридора можно одновременно видеть обе комнаты — комнату тещи и ту, в которую входит Пол. Кран в ванной все еще открыт. Он наклоняется, чтобы закрыть его.

В своей комнате теща достает из чемодана пачку открыток в черной рамке и конверты. Она чувствует взгляд Пола, который только что вернулся в комнату.

ТЕЩА. Они были у меня дома. Мне уже пришлось столкнуться со смертью. Теперь я думаю обо всем. Я собираюсь приготовить ей прекрасную комнату, всю в цветах.

ПОЛ. Открытки... траурная одежда... родители... цветы... все в этом чемодане. Вы ничего не забыли. Только одно: я не хочу никаких священников.

ТЕЩА. Но, но, Пол...

ПОЛ. Понятно?

Теща встает.

ТЕЩА. Они нужны. Это должны быть религиозные похороны.

ПОЛ. Нет! Роза не была верующей. Никто здесь не верит в этого ё...ого бога.

ТЕЩА. Не кричи, Пол! Не кричи так!

ПОЛ. Священники не хотят никаких самоубийств. Церковь не хочет самоубийств, так ведь?

ТЕЩА. Они дадут ей отпущение грехов. Отпущение и красивую мессу. Это все, о чем я прошу, Пол. Понимаешь? Роза... Это мой ребенок, Роза.

Затем женщина сразу же переходит к шантажу, к обвинениям.

ТЕЩА. Ты знаешь, что сказал папа? «Моя маленькая девочка всегда была счастлива. Что они сделали ей? Почему она убила себя?»

ПОЛ. Почему кто-то убивает себя? Это ни-

когда не известно, почему, правда? Это никогда не известно.

Он выходит из комнаты и хлопает дверью, оставив тещу одну. Он идет по коридору. Несколько дверей приоткрываются. Видны лица, глаза постояльцев отеля.

Он резко захлопывает приоткрытые двери.

Сцена 10

Интерьер: квартира; день.

Мы видим высывающуюся из комнаты кровать. Мы слышим звук шагов.

ЖАННА (за кадром). Я люблю это, потому что это упражнение, полезное для здоровья, — помогает держать тело в форме и способствует хорошему аппетиту.

Жанна появляется и идет к ванной. На ней только джинсы, ни рубашки, ни лифчика. Через минуту за ней следует Пол. В одной руке он держит свою рубашку, костюм и носки. Когда он подходит к ванной, она захлопывает дверь прямо перед его носом.

ЖАННА (за кадром). Не входи. В этой двери даже нет ключа.

ПОЛ. Я убрал его, дай мне посмотреть.

ЖАННА (за кадром). Это не очень интересно.

ПОЛ. Кому как. Ты писаешь?

ЖАННА (за кадром). Нет.

ПОЛ. Значит, ты моешься.

Пол начинает тихо смеяться.

ЖАННА (за кадром). Я закончила. Теперь можешь войти.

Пол входит. Она наводит макияж перед зеркалом. Пол открывает водопроводный кран, продолжая хихикать. Наконец Жанна оборачивается.

ЖАННА. Что такого смешного?

Пол подтягивается на руках, держась за края раковины, как бы проверяя ее прочность.

ПОЛ. Ничего. Я просто представил, как ты уселась на раковине. Нужна практика, чтобы соблюдать равновесие и в то же время следить за собой. Если бы ты упала, ты могла бы сломать ногу.

Жанна в ярости. Он подходит к ней сзади и целует ее обнаженные плечи.

ПОЛ. Не будь такой.

Жанна неожиданно смягчается.

ЖАННА. Мы разные. Есть какие-то вещи... которых я ...я стыжусь.

ПОЛ. Извини меня. Хорошо?

Он возвращается к раковине.

ЖАННА. Да.

ПОЛ. Тогда подойди сюда и помой меня.

ЖАННА. Никогда в жизни. Почему ты думаешь, что можешь приказывать мне такое? ПОЛ. Ты не знаешь, что ты теряешь.

Во время этого обмена репликами он моется без всякой помощи. Она скромно отворачивается.

ЖАННА. Знаешь, кто ты? Свинья.

ПОЛ. Свинья? Я?

ЖАННА. Туалет — это туалет, а любовь — это любовь. Ты смешиваешь святое и богохульное.

Пол надевает трусы и рубашку. Он садится на край ванны, чтобы надеть носки. Он созерцает одну ногу.

ПОЛ. Я однажды видел очень грустный шведский фильм, в котором смешивалось святое и богохульное.

ЖАННА. Все порнографические фильмы грустные. Они — смерть.

ПОЛ. Это не была порнография, это был просто шведский фильм. Он назывался «Тайный Стокгольм». Это была история очень застенчивого парня, который наконец набрался мужества пригласить к себе домой девушку. В ожидании... возбужденный, переполненный эмоциями, он вдруг задумывается, не грязные ли у него ноги. Он проверяет. Они отвратительны. Он бежит в ванную, чтобы вымыть их. Но воды нет. Он в отчаянии, не знает, что делать. Неожиданно к нему приходит озарение. Он ставит ногу в унитаз и спускает воду.

Жанна начинает смеяться.

ПОЛ. Лицо парня светлеет. Но когда он пытается вытащить ногу из унитаза, он не может. Она застряла. Он снова пытается. Он отчаянно тянет ее. Безуспешно. Девушка застаёт его отчаявшегося, плачущего, прислонившегося к стене, с ногой в унитазе.

В этот момент Жанна уже не может удержаться от смеха.

ПОЛ. Он говорит: «Уходи. И больше не приходи». Она отвечает: «Я не могу тебя так оставить. Ты умрешь от голода». И она уходит за водопроводчиком. Водопроводчик изучает ситуацию, но не хочет брать на себя ответственности. «Я не могу разломать унитаз», — говорит он, — это может повредить его ногу. Вызывайте «скорую помощь». Прибывают санитары с носилками и принимают решение отвинтить унитаз от пола. Они кладут парня на носилки с унитазом на ноге, как огромный башмак. Санитары начинают хохотать. Первый поскальзывается на ступеньках, падает под носилки, унитаз валится ему на голову и мгновенно убивает его.

Жанна смеется так сильно, что уже не может краситься. Пол, одевшись, выходит из ванной. Одна, Жанна заканчивает свой макияж.

Пол начинает выдвигать кровать из комнаты. Он с болезненным усилием толкает ее в коридор.

Кровать — в центре гостиной, когда появляется Жанна, собирающаяся уходить, великолепно причесанная, великолепно покрашенная. Они смотрят друг на друга. Она машет ему и подходит к двери. Он видит,

как она останавливается, оборачивается и протягивает руку.

Тогда Пол что-то бросает ей. Мы видим ключ, по медленной траектории летящий к Жанне. Девушка улыбается и исчезает. Мы следуем за ней.

Она идет быстрой, решительной походкой. У подъезда она оборачивается и идет обратно. Она вновь появляется в дверях. ЖАННА. Начнем сначала?

Пол не отвечает. Он начинает расстегивать свою рубашку. Она повторяет его движения. Они далеко друг от друга, на разных концах комнаты, они раздеваются молча, спокойно и естественно. Она начинает медленно двигаться к нему и говорит с опущенными глазами.

ЖАННА. Давай просто смотреть друг на друга.

ПОЛ. Да.

ЖАННА. Я хочу смотреть на тебя.

Они становятся на колени друг перед другом. Они смотрят друг на друга, изучают друг друга. Пол и Жанна медленно открывают для себя обнаженное тело друг друга. Они обмениваются несколькими словами, почти бормотанием.

ЖАННА. Как прекрасно ничего не знать.

ПОЛ. Может быть!

ЖАННА. Адам и Ева ничего не знали друг о друге.

ПОЛ. Мы, как они, только наоборот. Они увидели, что они обнаженные, и им стало стыдно. Мы увидели, что мы одеты, и пришли сюда, чтобы раздеться.

ЖАННА. То, что ты говоришь, прекрасно.

Тишина комнаты нарушается звуком тела Пола, легко скользящего по ее телу. Жанна меняет положение в долгом движении, предлагая себя ему.

ЖАННА. Может быть, мы сможем кончить без прикосновений.

ПОЛ. Кончить без прикосновений? Только глазами... и голосами... Ты концентрируешься? Ты уже кончила?

ЖАННА. Это трудно.

ПОЛ. Я тоже пока нет. Ты не слишком стараешься.

ЖАННА. Я должна придумать для тебя имя.

ПОЛ. Имя? О, Иисус Христос! О, господи, у меня было миллион имен за всю мою жизнь. Я не хочу имени. Мне больше подойдет хрюканье или мычанье в качестве имени. Ты хочешь узнать мое имя?

Он издает звериный звук. Жанна улыбается.

ЖАННА. Оно очень мужское. Послушай мое.

Она также издает звук, идущий откуда-то из глубины ее глотки.

ЖАННА. Тебе оно нравится?

ПОЛ (*смеется*). Я — я думаю, это фамилия.

Они повторяют свои звуки.

Сцена 11

Натура: загородная вилла; день.

Вилла на окраине Парижа: чистое белое сооружение. В саду происходит странная сцена. Шесть или семь человек стоят неподвижно, как статуи. Один человек присел на корточки, на нем наушники, на коленях «Награ» и микрофон, который он направляет в разные стороны.

Это выглядит как церемония, участники которой наблюдают минуту молчания в память кого-то.

Тишина была бы абсолютной, если бы не естественные шумы и природа: цикады, петухи, моторы, свисток баржи с ближнего канала, далекий поезд.

Звукооператор из маленькой киногруппы Тома записывает именно эту звучащую атмосферу. Все остальные окаменели. Помощник оператора засунул руки в черный мешок и перезаряжает камеру, ассистентка читает «Эль», оператор смотрит на голубятню соседнего дома.

Хлопает дверь такси. Из него выскакивает Жанна.

ЗВУКООПЕРАТОР. Стоп! (*Он смотрит на нее очень сердито.*) Спасибо за звук! Сама предусмотрительность.

Маленький театр статуй сразу же оживает.

Жанна обнимает Тома, который делает знак остальным приготовиться.

ЖАННА. Привет всем. С чего вы хотите начать? С начала?

ТОМ. Ты не хочешь сперва поговорить? Совсем немножко?

ЖАННА. Нет, сегодня мы импровизируем... идите за мной.

Группа готовится следовать за Жанной. Она проворно пробирается в угол сада. Срывает несколько маргариток с клумбы и идет через сад. В тени массивного куста боярышника стоит белый надгробный камень. Жанна наклоняется, чтобы положить маргаритки к его подножию.

На камне овальная фотография — великолепная немецкая овчарка. На белом мраморе выгравировано: «Мустафа, Оран, 1950 — Париж, 1958».

ЖАННА. Он был другом моего детства. Он мог смотреть на меня часами. Да, я думаю, он понимал меня.

СТАРЫЙ ГОЛОС (*за кадром*). Собаки лучше людей. Гораздо лучше.

Голос слышен из окна первого этажа.

Том толкает оператора, чтобы он снял лицо старой женщины, которая говорила. Мы с трудом видим ее в тени кухни, облокотившуюся на подоконник.

Выражение ее лица сурово.

ЖАННА. Это Олимпия — моя няня.

ОЛИМПИЯ. Мустафа всегда мог отличить богатого от бедного. Он никогда не ошибался. Если приходил кто-то хорошо одетый,

он никогда не двигался... Если появлялся нищий, вы бы только его видели. Что за собака. Полковник, отец Жанны, учил его распознавать арабов по запаху.

ЖАННА. Олимпия, открой входную дверь. ОЛИМПИЯ. Поцелуй меня.

ЖАННА. Пойди и открой. Олимпия — это антология домашних добродетелей, верная, привязанная и расистка.

Вся группа уже добралась до входа.

ЖАННА (за кадром). После смерти папы мы переехали в загородный дом. Мое детство состояло из запахов. Плесень на стенах... закрытые комнаты... запах мармелада, запах стирки. Многие дети приходили играть в мои джунгли. Мы бегали с утра до вечера... Взросление — это преступление.

Сцена 12

Интерьер: вилла; день.

Памятная фотография обычного школьного класса. Все маленькие девочки — в фартуках, в первом ряду — учительница. Жанна показывает дом, где она выросла.

ЖАННА. Это — я. Справа от учительницы, мадамзель Саваж. Она была очень религиозной, очень строгой.

ОЛИМПИЯ. Она была чересчур хорошей. Она испортила тебя.

Старая нянька следует за группой, держась в стороне и время от времени громким голосом за кадром высказывая свои соображения.

ЖАННА. А это Кристина, моя лучшая подруга. Она вышла замуж за фармацевта, и у нее чудесный ребенок. Здесь немного похоже на деревню. Все всех знают.

ОЛИМПИЯ. Лично я не могла бы жить в Париже.

ЖАННА. Мы здесь отгорожены от мира. Это так забавно — смотреть на прошлое.

Мы в маленькой комнате, которая принадлежала Жанне, когда она была ребенком. Старые игрушки, детские книжки, школьные тетради. Маленькая киногруппа ждет указания режиссера, что снимать. Том листает старые школьные тетради.

ТОМ. Почему это забавно? Это ты. Это потрясающе, это твое детство, это то, что я хотел найти... А что ты делаешь здесь? Кто все эти привидения вокруг нас?.. Дверь! Дверь! Я открываю дверь! Я открываю все двери!

ЖАННА. Что ты делаешь?

ТОМ. Выстраиваю кадр... Так!.. Я понял... Задний ход... А что ты делаешь здесь? Стоп, давай назад! Да. Задний ход! Пони-маешь? Как машина. Давай крутить обратно. Закрой глаза. И назад. Закрой глаза. И иди в обратном направлении. Иди так... и открывай свое детство заново.

ЖАННА. Это папа... Здесь...

ТОМ. Ты отталкиваешься... и снова открываешь свое детство.

ЖАННА. ...При полном обмундировании.

ТОМ. Не бойся. Преодолевай препятствия.

ЖАННА. Папа в Алжире...

ТОМ. Тебе пятнадцать, четырнадцать, тринадцать, двенадцать, одиннадцать, десять, девять...

ЖАННА. Моя любимая улица в восемь лет. Моя тетрадь. Мое домашнее задание по французскому языку. Тема: «Деревня». Экспозиция: «Деревня — это дом коров. Коровы все одеты в кожу. У коровы четыре стороны: перед, зад, верх и низ». Разве это не здорово?

ТОМ. Потрясающе. А что это?

ЖАННА. Там мои личные дневники. В них есть все.

ТОМ. Если не возражаешь, давай откроем один.

Жанна открывает тетрадь.

ЖАННА. Здесь мои культурные источники. «Гран Ларус». Я переписывала его. Менструация... от латинского *mensis*. Существительное женского рода. Физиологическая функция, заключающаяся в регулярном маточном кровотечении, которое происходит у женщины начиная с полового созревания до менопаузы. Пенис. Существительное мужского рода. Половой член размером от пяти до сорока сантиметров... Это маленький Роберт! Посмотри, Том.

Под фотографией — рисунок пастелью: детский рисунок, сделанный по законам перспективы и визуальной логики одиннадцатилетнего. На нем — мальчик за пианино. ЖАННА. И этот рисунок. Ты видишь? Мне было одиннадцать.

ТОМ. Кто это?

ЖАННА. Моя первая любовь — мой кузен Поль.

ТОМ. Его глаза закрыты.

Сейчас оператор снимает Жанну в гостиной. Она скользит рукой по пианино, глядя его.

ЖАННА. Он восхитительно играл на пианино. Я помню, как он сидел за пианино, а его длинные тонкие пальцы бегали по клавишам. Он репетировал часами.

Жанна пытается оставаться спокойной, но видно, что она все еще взволнована. Она продолжает.

ЖАННА. Мы часто ходили вместе к мессе.

Она поворачивается к камере.

ЖАННА. В моем саду есть два дерева. Платан и каштан. Мы сидели там каждый под своим деревом. Мой кузен казался мне святым.

Жанна открывает большую застекленную дверь. Платан и каштан по-прежнему там, но детское ощущение ушло. Металлический забор вокруг сада в некоторых местах раз-

ломан, а в нескольких футах за ним виднеются убогие лагуны.

ЖАННА. Разве они не красивы? Для меня эти деревья были джунглями. Ничего этого не существовало в мое время... *(Детям.)* Что вы делаете?

Четыре или пять маленьких мальчиков сидят на корточках в тени двух деревьев, блаженно облекаясь. Они то напряженно похрюкивают, то конспиративно улыбаются. После минутного колебания они натягивают штаны и убегают, пролезая через дырки в заборе.

Но Жанна успевает схватить одного за руку.

ПЕРВЫЙ МАЛЬЧИК. Мы какаем.

ВТОРОЙ МАЛЬЧИК. Что? Разве вы не видите?

ЖАННА. Вы не могли найти для этого другого места, кроме моих джунглей?

Она говорит с ним ласково, но вместо того, чтобы успокоиться, ребенок начинает дрожать и пытается вырваться. Он брыкается и ругается на иностранном языке — поскольку видит, как из дома в ярости выскакивает Олимпия. Жанна отпускает его.

ЖАННА. Беги быстрее. Давай.

ТОМ. Снимайте! Снимайте! Вы все сняли?

ОЛИМПИЯ. Если я тебя поймаю, я тебя повешу. Какой в своей собственной стране, маленький подонок.

Она бросает в него булыжник, но мальчик уже за пределами досягаемости.

ОЛИМПИЯ. Африка! Вы даже не можете больше жить дома.

ЖАННА *(Тому).* Вы сняли это?

ТОМ. Все целиком.

ЖАННА. Олимпия была великолепно. Теперь у тебя будет ясное представление о расовых отношениях в пригородах Парижа.

Теперь Том протягивает Жанне фотографию ее отца — офицера в военной форме, с большим мечом.

ТОМ. Это действительно джунгли... Расскажи мне о своем отце.

ЖАННА. Я думала, мы кончили на сегодня.

ТОМ. Пять минут.

ЖАННА. Но я ужасно спешу на деловое свидание.

ТОМ. Да, да... значит, полковник?

Сцена 13

Интерьер: квартира; день.

Последние мгновения оргазма, «маленькая смерть». После этого Жанна соскальзывает с Пола. Она переворачивается на живот и кладет руку ему на лицо. Она смотрит прямо перед собой и медленно говорит, обращаясь к Полу, который, по-видимому, задремал.

ЖАННА. У полковника были зеленые глаза и блестящие, блестящие сапоги. Я боготво-

рила его. Он был так красив в своей военной форме.

ПОЛ. Какая куча теплого дерьма!

ЖАННА. Что? Как ты смеешь...

ПОЛ. Всякая военная форма — дерьмо. Все, что находится за пределами этого места, — дерьмо. Кроме того, я не хочу слушать твою историю, о твоём прошлом и всякое такое.

Он прижимается к Жанне и целует ее в рот. Она все еще предается своим воспоминаниям.

ЖАННА. Ночью я не могла уснуть, пока мама не поцелует меня. Но я всегда видела во сне похороны моей матери. Она все еще жива. А папа умер. В Алжире в пятьдесят восьмом.

ПОЛ. Или в семьдесят восьмом, или девяносто восьмом.

ЖАННА. В пятьдесят восьмом. И не шути над такими вещами.

ПОЛ. Послушай, почему ты не перестанешь говорить о том, что не имеет здесь никакого значения? Какая к черту разница?

ЖАННА. Что я должна говорить? Что я должна делать?

ПОЛ. Пососи леденец на палочке.

Она садится на кровать, насупившись. Затем ей вдруг приходит в голову мысль.

ЖАННА. Почему ты не возвращаешься в Америку?

ПОЛ. Не знаю. Думаю, плохие воспоминания.

ЖАННА *(за кадром).* Плохие воспоминания?

ПОЛ. Мой отец был... пьяницей, блядуном, вышибалой в баре, с супермужскими качествами, и он был суровым... Моя мать была... очень поэтической, тоже пьяницей, и у меня сохранилось детское воспоминание о том, как ее арестовывают голой. Мы жили в маленьком городке. Сельскохозяйственной коммуной. Мы жили на ферме. Я приходил домой после школы, а ее уже не было — она была в тюрьме или еще где-нибудь. Я привык доить корову. Каждое утро и каждую ночь. И мне это нравилось, но помню, как однажды я оделся, чтобы пойти с девушкой на баскетбольный матч. И когда я уже выходил, отец сказал: «Тебе надо подоить корову». И я попросил его: «Подои ее, пожалуйста, вместо меня». И он сказал: «Нет, двигай поскорей своей задницей!» И я вышел, я очень торопился, и у меня не было времени сменить ботинки, и все они перепачкались навозом, и по дороге на баскетбольный матч они провоняли всю машину. Я не знаю... Просто... Я — я не могу вспомнить каких-то хороших вещей.

ЖАННА *(за кадром).* Ни одной?

ПОЛ. Одну. Может быть... Там был фермер, очень симпатичный мужик. Старый мужик, очень бедный, он очень много работал, а я рыл водоотводные каналы, он носил комбинезон и курил глиняную трубку, и через

раз он не набивал ее табаком... он ненавидел работу. Было жарко и грязно, и я надрывал спину. Я следил за слюной, которая стекала по мундштуку трубки и повисала на ее чаше. И я заключал пари сам с собой, когда она упадет, и я всегда проигрывал. Никогда не видел, как она отрывалась. Я только моргну, а ее уже нет, а на ее месте уже новая. И потом у нас был прекрасный... Моя мать научила меня любить природу. Думаю, что это было самое большое, на что она была способна. У нас перед домом было... такое большое поле, луг... Это было горчичное поле летом, и у нас была большая черная собака по имени Датчи, и она охотилась на кроликов в этом поле. Но она не могла видеть их, так что ей приходилось подпрыгивать в этом горчичном поле, очень быстро осматриваться, чтобы увидеть, где находятся кролики, и это было очень красиво, даже если ей никогда не удавалось поймать кролика.

ЖАННА. Значит, у тебя что-то было.

ПОЛ. В самом деле?

ЖАННА (с иронией). Я ничего не хочу знать о твоём прошлом, крошка.

ПОЛ. Думаешь, я говорил тебе правду? Может быть, может быть...

ЖАННА. Я — маленькая Красная Шапочка, а ты — Волк, и я говорю: «Какие у тебя сильные руки!»

ПОЛ. Это чтобы выжать из тебя побольше сока.

ЖАННА. Какие у тебя длинные ногти.

ПОЛ. Чтобы получше оцарапать твою задницу.

ЖАННА. О, как у тебя много шерсти.

ПОЛ. Чтобы получше спрятать твои царапины.

ЖАННА. О, какой у тебя длинный язык.

ПОЛ. Чтобы получше... влезть к тебе в зад, моя дорогая.

ЖАННА. Зачем это?

ПОЛ. Это твоё блаженство и мое бля-членство.

ЖАННА. Хрен-ство?

ПОЛ. Schlong, Wicknerwurst, cazzo... пенис, х...

Он бросается на нее. Жанна весело смеется.

ЖАННА. Это смешно. Это как игра во взрослых, когда ты маленький. Я здесь снова чувствую себя ребенком.

ПОЛ. Тебе было весело, когда ты была ребенком?

ЖАННА. Это было самое прекрасное.

ПОЛ. Самое прекрасное — заниматься сплетнями, или восхищаться авторитетом, или продавать себя за конфетку.

ЖАННА. Я не была такой.

ПОЛ. Нет?

ЖАННА. Я писала стихи, я рисовала замки, большие замки, большие замки с башнями. С множеством башен.

ПОЛ. Ты никогда не думала о сексе?

ЖАННА. Никакого секса... башни..

ПОЛ. Тогда ты, наверное, была влюблена в своего учителя.

ЖАННА. Моя учительница была женщиной.

ПОЛ. Значит, она была лесбиянкой.

ЖАННА (кричит). Откуда ты знаешь?

ПОЛ. Это классика. Но в любом случае...

ЖАННА. Моей первой большой любовью был мой кузен Поль.

ПОЛ. У меня появится геморрой, если ты будешь называть имена. Никаких имен. Я не возражаю, если ты будешь говорить правду, но не называй имен. Я не могу...

ЖАННА. Извини...

ПОЛ. Ну продолжай и говори правду. Что еще?

ЖАННА. Ему было тринадцать. Темный, очень худой. Я вижу его. Большой нос. Большой роман. Я влюбилась в него, как только услышала его игру на пианино.

ПОЛ. Ты имеешь в виду, когда он в первый раз залез к тебе в штаны.

ЖАННА. Он был вундеркинд. Он играл двумя руками.

ПОЛ. Я готов поспорить, что ты приходила от него в возбуждение.

ЖАННА. Мы умирали от жары.

ПОЛ. Хорошее объяснение. И что еще?

ЖАННА. Каждый день, когда взрослые ложились отдохнуть после обеда...

ПОЛ. Ты хватала его член.

ЖАННА. Ты с ума сошел.

ПОЛ. Ну он трогал тебя.

ЖАННА. Я никогда не позволяла ему, никогда.

ПОЛ. Лгунишка, лгунишка, в дырках штанишки, длинный нос, как хвост у мартышки. Ты хочешь сказать, что он не трогал тебя? Посмотри мне прямо в глаза и скажи: «Он ни разу меня не трогал». Ну?

ЖАННА. Нет, он трогал меня. Но — по-своему.

ПОЛ. По-своему. Хорошо, что он делал?

ЖАННА. То, что мы делали, было гораздо смешнее. За домом было два дерева — платан и каштан. Я сидела под платаном, а он — под каштаном. По определенному сигналу мы начинали каждый заниматься онанизмом. Кто первый кончал, выигрывал. Это было великолепно. Мы сидели там друг перед другом, глядя друг другу в глаза.

ПОЛ. Сколько тебе было лет, когда ты в первый раз кончила?

ЖАННА. Первый раз? Я опаздывала в школу. Я бежала вниз по холму. Внезапно я почувствовала сильное ощущение здесь. Я кончила, пока бежала... тогда я побежала еще быстрее, и чем больше я бежала, тем больше я кончала. Через два дня я снова попыталась побежать, но... безуспешно!.. Почему ты не слушаешь меня? Знаешь, у меня такое ощущение, что я разговариваю со стеной.

Твоя замкнутость давит на меня. Это невоспитанно и неблагородно. Ты эгоист... Знаешь, я тоже могу быть сама по себе.

Звонок в дверь. Жанна удивлена, как будто этот звук невозможен в этом месте. Пол подходит к двери. Он собирается открыть ее.

ГОЛОС (за кадром). Полная Библия... уникальное издание... без комментариев... без купюр...

Жанна бросается к Полу, чтобы остановить его. Звонок раздается снова.

Пол протягивает руку к дверному замку. Жанна кусает ее.

ПОЛ. Ай...

ЖАННА. Мы заключили пакт — да или нет? Никто не должен видеть нас вместе. Ты мог бы убить меня, и никто бы об этом не узнал, даже этот кретин с Библией.

Пол хватается ее руками за шею и шутиливо начинает душить ее за горло.

ЖАННА (тихим голосом, играя). Помогите! ГОЛОС (за кадром). Истинная Библия... не закрывайте перед собой врата в вечность.

Пол обхватывает ее со спины. Он одной рукой захватывает ей рот, другой продолжает душить ее. Он шепчет ей в ухо.

ПОЛ. Ни он... ни консьержка... которая, впрочем, и так наполовину глухая.

ЖАННА. У тебя даже нет мотива... преступление в совершенном виде... на самом деле... Это глупо. Отпусти меня... Мне это перестало нравиться.

Пол отпускает ее. Она отходит, в то время как он продолжает слушать, прижав ухо к двери. Мы слышим, как Жанна открывает дверь в ванную.

ГОЛОС (за кадром). Там кто-то есть. Откройте дверь свидетелю Иеговы.

Торговец Библией сильно колотит. Пол ждет, пока Жанна зайдет в ванную.

Пол резко открывает дверь. Согнувшийся пополам, приставивший глаз к замочной скважине «библейский человек» отскакивает назад, застигнутый врасплох в момент подглядывания. Он — высокий, очень худой, без волос, некий червяк. Он видит перед собой абсолютно голого Пола, который орет на него.

ПОЛ. Прекрати подглядывать за нами! Библейская свинья! Убирайся! Пошел вон!

Торговец убегает вниз по лестнице.

Сцена 14

Интерьер: отель; ночь.

Еще одна резко открывающаяся дверь. Появляется Пол. Это обычный гостиничный номер, но... но совсем не похожий на другие. Повсюду цветы. Слишком много цветов. Они даже в раковине, огромный букет белых гвоздик в ожидании вазы. Раймон, консьерж отеля, появляется за Полом.

РАЙМОН. Хорошо смотрится, да, хозяин?

В комнате две кровати, сдвинутые вместе. Одна кровать окружена цветами, венками и гирляндами. Она явно предназначена для тела Розы. В соседней комнате кто-то настраивает инструмент. Мы слышим тихие звуки музыки, громкие звуки музыки, затем длительные периоды тишины. Должно быть, это тенор-саксофон.

ПОЛ. Только Розы не хватает.

РАЙМОН. Ваша теща должна еще что-то сделать.

Раймон передвигает венок, бормоча про себя.

РАЙМОН. Это хорошая тихая комната. Окно во двор. Шума нет. Кроме этого шкафа... Мадам Роза хотела продать его. Этот шкаф — прибежище для червей.

Он придвигает кровать к стене, оставив другую посреди комнаты. Медленно подходит к шкафу и прижимает к нему ухо, глядя на Пола в ожидании согласия.

РАЙМОН. Их можно слышать в дереве... ссс... ссс... Я всегда селю в эту комнату южноамериканцев.

ПОЛ. Южноамериканцев?

РАЙМОН. Конечно. Южноамериканцы никогда не дают чаевых. Они всегда говорят: «No tengo dinero. Mañana, mañana»*.

Пол выходит из комнаты вместе с Раймоном, который закрывает дверь.

РАЙМОН. Лучше запереть ее. Никогда не знаешь, вдруг среди ночи явится клиент... ПОЛ (неприятно шутит). У нас все переполнено, мистер. Свободна только похоронная комната.

Они идут вниз по коридору.

РАЙМОН. Вам полезно немножко посмеяться. Мадам Роза всегда это говорила.

Сцена 15

Интерьер: холл; ночь.

Они входят в холл. Женщина облокотилась на стойку, склонившись над регистрационным журналом. Она отскакивает назад, когда видит их. При полном макияже, неопределенного возраста, светло-рыжие волосы. Раймон с показным видом закрывает регистрационный журнал.

Пол идет в соседнюю комнату. Мы слышим голос женщины.

МИСС БЛЭНДИШ (за кадром). Никаких интересных новых лиц сегодня?

Пол готовит кофе. Его движения четки. Видно, что это для него привычное занятие. МИСС БЛЭНДИШ. Пол! Хочешь поиграть на скачках со мной?

Мисс Блэндиш стоит в дверях.

ПОЛ. На скачках? Почему бы нет? Хочешь кофе?

* Денег нет. Завтра, завтра (исп.).

МИСС БЛЭНДИШ. Не теперь. Бедная Роза и я знали жокея, который часто приносил нам удачу.

ПОЛ. Роза никогда не говорила мне. Вы выигрывали?

МИСС БЛЭНДИШ. Никогда. Но это было развлечение, и потом Роза так любила лошадей. Мы собирались купить одну на двоих.

ПОЛ. Она ничего о них не знала.

Мисс Блэндиш перестает говорить и с любопытством смотрит на человека, спускающегося вниз по лестнице. Его голые ноги видны из-под пальто, которое надето на голое тело, как халат. Он обращается к Раймону.

МАРЛОУ (с американским акцентом). Меня кто-нибудь спрашивал?

РАЙМОН. Никто.

Мужчина устремляет взгляд на дверь. Мисс Блэндиш встревает в разговор.

МИСС БЛЭНДИШ. Привет, мистер Марлоу... Как поживаете?

Кажется, что мужчина не узнает ее. Потом через какое-то мгновение он отвечает тихим голосом.

МАРЛОУ. Ужасно, мисс Блэндиш... Ужасно.

Он поднимается по лестнице обратно. Как только он исчезает, она имитирует его голос и его впалые щеки.

МИСС БЛЭНДИШ. Ужасно, мисс Блэндиш. Ужасно.

Она снова поворачивается к Полу, возобновляя разговор.

МИСС БЛЭНДИШ. О чем ты говоришь? Она очень много знала о лошадях. Циркачи научили ее ездить верхом.

Пол наливает себе чашку кофе и смотрит на нее со странным выражением, но внимание мисс Блэндиш снова отвлекается. Молодой человек с короткой стрижкой входит в отель и направляется к Раймону. Воротник его пальто поднят. Он говорит так тихо, что мисс Блэндиш не слышит его. Она снова поворачивается к Полу.

МИСС БЛЭНДИШ. Да, да... Роза убежала из дома, когда ей было тринадцать лет, вместе с итальянским цирком. Смешно, что она никогда тебе об этом не говорила.

В дверях появляется Раймон.

РАЙМОН. Там какой-то парень... говорит только по-английски. Все, что я понял, это то, что у него нет никаких документов.

ПОЛ. Иди поспи, Раймон. Я займусь этим.

РАЙМОН. Спасибо, хозяин.

Мисс Блэндиш наблюдает за сценой. Раймон снимает с крючка свой плащ и портфель. Молодой человек сидит и ждет. Пол допивает свой кофе, а Раймон заходит попрощаться перед уходом.

РАЙМОН. Без паспорта. Без багажа. И также без денег, если вы спросите меня. Спокойной ночи, хозяин.

ПОЛ. Спокойной ночи, Раймон.

МИСС БЛЭНДИШ. Спокойной ночи, Раймон.

Раймон уходит. Пол приближается к молодому человеку, но перед тем, как с ним заговорить, выразительно смотрит на мисс Блэндиш. Она понимает и идет к лестнице, бормоча.

МИСС БЛЭНДИШ. Почему она это сделала?.. В воскресенье был Гран-при в Отейле. Что за идея — умереть.

Она исчезает на лестнице. Пол изучает молодого человека, который держится за воротник своего пальто. У него только маленький сверток под мышкой.

ПОЛ. Откуда вы приехали?

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Из Дюссельдорфа... Там очень долгая зима.

ПОЛ. Я слышал об этом. Вы уже третий за эту зиму.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. По поводу паспорта... Он у меня будет через пару дней.

Пол берет ключ с дощечки.

ПОЛ. Последний этаж.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. По поводу денег... Я не знаю, когда смогу заплатить вам.

Пол идет к кухне. Перед тем как войти, он оборачивается.

ПОЛ. Последняя дверь.

Молодой человек поднимается по ступенькам. Последний этаж. Он идет по коридору. Открывается дверь. Марлоу в своем плаще смотрит, как он проходит. Это не тот, кого он ждет. Он дает ему пройти, потом садится на верхнюю ступеньку лестницы и ждет.

Последняя дверь. Молодой человек входит и запирается. Он распаковывает свой сверток. Он состоит из пары джинсов, рубашки и пуловера. Одновременно он снимает с себя пальто. Он одет в военную форму солдата армии США. Он раздевается резкими движениями и закатывает свою форму в тюк, ища места, куда бы ее спрятать. Вдалеке мы слышим саксофон. Он наконец нашел свою мелодию и одержимо повторяет ее.

Марлоу сидит на ступеньках.

Внизу Пол также слушает отдаленную музыку, льющуюся из недр его отеля. Сидя в маленькой комнатке, он рассматривает предметы, которые его окружают. Это его последняя связь с Розой. Он закрывает глаза.

Сцена 16

Интерьер: отель; ночь.

Как долго Пол сидел с закрытыми глазами? Десять секунд? Два часа? Трудно сказать.

Звук саксофона нарастает и спадает с регулярностью волны.

Рядом с Полом сидит мать Розы и смотрит на него. На ней купальный халат и платок.

ТЕЩА. Я не могу уснуть. Эта музыка...

Пол говорит, не глядя на нее.

ПОЛ. Я пришел в этот отель, чтобы переночевать. Я остался на пять лет.

ТЕЩА. Когда мы владели этим отелем, папа и я, люди приходили сюда переночевать. ПОЛ. Теперь здесь всё. Здесь можно прятаться, принимать наркотики, играть музыку. Не трогайте меня.

Теща мягко кладет руку на плечо Пола. ТЕЩА. Ты не один, Пол. Я здесь.

Пол кусает ее руку.

ТЕЩА. Ты сумасшедший. Я начинаю понимать.

ПОЛ. Роза была очень похожа на вас. Вам должны были часто говорить это... Не так ли, мама?

По ее лицу пробегает улыбка.

ТЕЩА. Еще десять лет назад говорили: две сестры.

ПОЛ. Это совсем неправда. Роза была очень непохожа на вас.

ТЕЩА. Эта музыка... эта музыка... Я не могу выносить ее.

ПОЛ. Хотите, чтобы я заставил их прекратить?

Он встает и неожиданно поднимает руку.

ПОЛ. Я заставлю их заткнуться.

Он подходит к щитку с пробками и опускает рычаг. Неожиданно все погружается в темноту. Это щиток всего отеля.

ТЕЩА. Пол, что ты делаешь?

Тишина абсолютная. Даже саксофон замолчал.

ПОЛ. Они перестали. В чем дело, мама, вы огорчены? Не расстраивайтесь. Нет никакой причины для огорчения.

Пол и теща передвигаются в темноте, еле-еле освещенные отражениями с улицы. Они идут к лестнице. Мы слышим, как открывается дверь, затем другие, затем встревоженные голоса в темноте, спрашивающие, что случилось, на французском, английском, итальянском. Кто-то зажигает спичку; клиенты успокаиваются. Мы видим лестницу, запыленную силуэтами, выхваченными из мрака ночи. Спичка сгорает. Проклятия. Кто-то зовет Пола.

ПОЛ. Видите, как мало надо, чтобы их испугать. Хотите, я вам скажу, чего они испугались? Они испугались темноты, можете себе представить.

ТЕЩА. Пол... включи свет.

ПОЛ. Пойдемте, мама. Я хочу познакомить вас с моими друзьями. Я думаю, вы должны познакомиться с клиентами отеля. Эй, люди, я хочу, чтобы вы поприветствовали маму. Мама, это мистер Джус, главарь торговцев наркотиками. Он наш связной, мама. А это мистер Саксофон... А вот тут первая красавица — Реактивный Самолет 1933. Она еще может что-то сказать, если вынет свою челюсть.

ТЕЩА. Зажги свет, Пол.

ПОЛ. Вы не хотите поздороваться? Мама! Это мама.

ТЕЩА. Свет. Зажги свет.

ПОЛ. О, вы боитесь темноты, мама? Она боится темноты. Ах, бедняжка. Хорошо, дорогая. Я позабочусь о вас. Не беспокойтесь об этом. Я дам вам немного света. Я дам вам немного света. Не беспокойтесь об этом.

Она прислоняется к стойке. Через мгновение свет снова загорается. В дверях стоит незнакомый человек. Он смотрит на тещу, ничего не говоря. На нем пальто и шарф. Должно быть, он пришел, когда было темно. Они выглядят, как две статуи. Через секунду он приподнимает шляпу и вежливо приветствует ее.

МАРСЕЛЬ. Добрый вечер, мадам.

Постояльцы отеля успокоились, двери снова закрылись. Пол выходит из комнаты, держа в руке чашку с кофе, и видит человека, который сам снимает ключ. У него под мышкой кипа газет.

МАРСЕЛЬ. Спокойной ночи, Пол.

ПОЛ. Спокойной ночи, Марсель.

Марсель поднимается по лестнице. Теща провожает его глазами.

ТЕЩА. Кто это?

ПОЛ. Он вам нравится? Он был любовником Розы.

Сцена 17

Интерьер: квартира; день.

Жанна в ванной. Вся ее косметика размазана по лицу. Волосы в полном беспорядке. ЖАННА. Что я здесь делаю в этой квартире с тобой?

ПОЛ. Скажем так: мы просто трахаемся на скорую руку.

ЖАННА. Значит, ты думаешь, что я — шлюха.

ПОЛ. Нет. Ты просто милейшая старомодная девушка, пытающаяся как-то перебиться.

Пол уходит. Жанна одна.

ЖАННА. Я предпочитаю быть шлюхой.

Она видит куртку Пола на вешалке. Она скромно начинает свое расследование. Она изучает этикетку... неизвестный магазин, адрес — на бульварах. Потом она набирается мужества и обыскивает боковые карманы. Какая-то мелочь, использованный билет на метро, сломанная сигарета. Жанна продолжает свои поиски в верхнем кармане. Она находит смятый комочек стофранковых купюр. Ничего больше. Никаких бумаг. Никакого удостоверения.

Жанна вешает куртку на место как раз вовремя, за секунду перед тем, как Пол входит.

В старинной ванной две раковины, каждая со своим зеркалом. Жанна занимает одну, ее косметика расставлена на белом фарфоре. Она начинает краситься.

ПОЛ. Зачем ты лазила в мои карманы?

ЖАННА. Чтобы выяснить, кто ты.

ПОЛ. Если ты получишь посмотреть, ты увидишь, что я скрываюсь за своей молнией.

Он начинает покрывать мыльной пеной свое лицо.

ЖАННА. Мы знаем, что он покупает одежду в некоем большом магазине. Это немного, но это начало.

Она говорит, не глядя на него. Он также не смотрит на нее. Такое ощущение, что их занимает только косметика и крем для бритья. Пол начинает бриться.

ПОЛ. Это не начало, это конец.

ЖАННА. Давай забудем об этом. Сколько тебе лет?

ПОЛ. В этот уик-энд мне исполняется девятно три.

ЖАННА. Это уже лучше. Ты не выглядишь на свой возраст. Ты учился в колледже?

ПОЛ. Да, я учился в университете Конго, изучал, как трахаются киты.

ЖАННА. Парикмахеры, как правило, не учатся в университете.

ПОЛ. Ты хочешь сказать, что я — что я похож на парикмахера?

ЖАННА. Нет, но это парикмахер бритвы.

ПОЛ. Это бритва парикмахера.

ЖАННА. Бритва парикмахера, да.

ПОЛ. Или сумасшедшего.

Жанна резко оборачивается. В ней есть что-то странное и восхитительное: она покрасила только половину своего лица, другая половина — абсолютной чистой.

ЖАННА. Значит, ты хочешь меня прирезать?

Пол приближается к Жанне и поворачивает ее лицо из стороны в сторону, слегка поглаживая его тупой стороной бритвы.

ПОЛ. Можно написать мое имя на твоём лице.

ЖАННА. Как у рабов?

ПОЛ. У рабов выжигали клеймо на заднице, а я хочу тебя свободной.

ЖАННА. Свободной? Я не свободна.

ПОЛ. Ты свободна приходишь трахаться со мной.

ЖАННА. Свободна, черт побери? Я прибегаю сюда... трахаться, да... Сказать тебе, почему ты не хочешь ничего знать обо мне? Потому что ты ненавидишь женщин. Что они тебе сделали?

ПОЛ. Они либо делали вид, что знают, кто я такой, либо что я не знаю, кто они такие, и это очень скучно.

ЖАННА. Я не боюсь сказать, кто я. Мне двадцать лет и...

ПОЛ. Иисус Христос! Побереги свои мозги! Заткнись. Понятно? Я знаю, что это неприятно, но тебе придется смириться с этим.

Его прерывающийся голос заставляет Жанну замолчать.

ПОЛ. Единственная правда в том...

Он бросает на нее взгляд, и его голос смягчается.

ПОЛ. ...Эти раковины-близнецы — прекрасное изобретение. Это редкость, таких больше не найти. Они специально придуманы, чтобы мы могли оставаться вместе после занятия любовью... чтобы продлить наше счастье... мне кажется, я счастлив с тобой.

Он нежно целует ее в щеку, оставив на ее носу белый сгусток крема для бритья. Он выходит из ванной.

Проходит несколько минут... Жанна в ванной вытирает волосы полотенцем. С закутанным лицом она подходит к двери, открывает ее и кричит.

ЖАННА. Я готова. Мы выйдем вместе?

Никакого ответа. Она заворачивается в полотенце.

ЖАННА. Эй, ты слышишь меня?

Ничего. Она обходит квартиру. Ее одежда на полу. Одежда Пола исчезла. Она идет к прихожей и входит туда как раз в тот момент, когда Пол выходит, захлопнув дверь прямо перед ее носом.

ЖАННА. Сволочь... Свинья... Даже не попрощался.

Она подходит к телефону и набирает номер. ТОМ (за кадром). Алло.

Жанна не отвечает, она ждет, когда Том выйдет из себя.

ТОМ (за кадром). Алло... кто это?... Алло... кто там? Черт!

ЖАННА. Я так и думала. Ты можешь быть грубым. Послушай... Случилось что-то ужасное. Я в Пасси... Нет, у меня нет времени объяснять... Приезжай за мной. Мне нужно немедленно с тобой поговорить. Это очень важно.

Неожиданно выражение ее лица меняется... она больше не слушает. Том задает ей вопросы.

ТОМ. В Пасси? Где именно?

Она не слушает. Одной рукой она кладет трубку на пол, в то время как другой берет ботинок и медленно разворачивается к открытому окну.

На подоконнике сидит черная кошка и смотрит на нее. Жанна вспоминает про телефон и бормочет.

ЖАННА. У станции метро.

На цыпочках она приближается к кошке, занеся над головой ботинок, готовая бросить его в животное. Кошка идет к входной двери. Жанна в ярости швыряет в нее ботинок. Он отскакивает от двери.

Сцена 18

Натура: станция метро в Пасси, над улицей Жюль Верна; ночь.

Подъезжает поезд, резко останавливаясь. Том выходит и ищет Жанну. Остальные

пассажиры быстро идут к выходу. Платформа уже практически пустыня. Том подходит к перилам. Он смотрит вниз на мост, где виднеется тихая ночная улица Жюль Верна. Он смотрит вверх на здания, пробегает взглядом по окнам квартиры Пола. Но для Тома эти места не имеют никакого смысла. Сзади него поезд снова трогается.

ЖАННА (за кадром). Том!

Она зовет его с платформы по другую сторону рельсов.

ТОМ. Что ты там делаешь?

ЖАННА. Мне нужно поговорить с тобой.

Том хочет перейти на противоположную платформу, но голос Жанны останавливает его.

ЖАННА. Не переходи. Оставайся там.

Том делает странное лицо — он готов взорваться, но подавляет в себе злость. Он начинает свистеть, чтобы успокоить нервы, и расхаживает по платформе. Вдруг он говорит.

ТОМ. Почему ты не могла сказать мне по телефону? Что случилось?

ЖАННА. Ты должен найти кого-нибудь другого.

Том перестает свистеть. Не глядя на нее, он спрашивает.

ТОМ. Для чего?

ЖАННА. Для твоего фильма.

ТОМ. Почему?

ЖАННА. Потому!

Она начинает сердиться. Ее голос становится громче.

ЖАННА. Потому что ты используешь меня в своих интересах, потому что ты заставляешь меня делать вещи, которых я никогда не делала, потому что ты отнимаешь у меня время... и потому что те вещи, которые ты заставляешь меня делать... Все, что придет тебе в голову. Фильм закончен, понятно?

Последние слова теряются в грохоте поезда, въезжающего на станцию. Жанна видит, что Том кричит ей что-то, но поезд заглушает его. Поезд уходит, постепенно открывая противоположную платформу.

ЖАННА (кричит). Я устала от того, что меня насилуют.

Но напротив нее никого нет. Том исчез. Она идет к выходу. Она останавливается. Он в нескольких шагах от нее. Он внимательно смотрит на нее, ничего не говоря, и одновременно ходит вокруг нее кругами.

Том дает ей пощечину, сильно. Она ударяет его в ответ до того, как он успевает убрать свою руку. Проходит мгновение, они агрессивно смотрят друг на друга, каждый потирая свою щеку. Потом они бросаются друг на друга. Кулачная драка, пинки, укусы.

Это выглядит, как борьба двух подростков. Подъезжает другой поезд и закрывает их от нас. Когда платформа снова открывается, у нас создается впечатление, что они обни-

маются — впечатление, которое длится только одно мгновение, потому что их перекрывает другой поезд. В самом деле это выглядело так, будто они целовались.

Сцена 19

Интерьер: комната Марселя, отель; ночь.

Красный халат Пола. Газетная страница. Длинные ножницы вырезают фотографию вместе с подписью. Кто-то стучит в дверь. **МАРСЕЛЬ**. Войдите.

Пол входит. Марсель, сидящий с ножницами, едва взглядывает на него.

ПОЛ. Ты хотел поговорить со мной? Давай, но я не собираюсь плакать вместе с тобой. **МАРСЕЛЬ**. Надеюсь, тебя не будет раздражать, если я буду продолжать работать. Мне это очень помогает.

Только сейчас Пол замечает, что на Марселе точно такой же халат. Он хочет отметить это, но потом передумывает. Второй мужчина в очках, балансирующих на кончике его носа, продолжает.

МАРСЕЛЬ. Мне это очень помогает после того, что случилось.

Говоря это, он смотрит поверх очков и замечает любопытство Пола по поводу халата.

МАРСЕЛЬ. Тот же цвет. Тот же покрой. Если бы ты только знал, как много у нас общего.

Скорее раздраженный, чем смущенный, Пол подходит к столу Марселя и берет одну из вырезок, только чтобы чем-то занять себя. **ПОЛ**. Ты не можешь сказать мне что-то такое, чего бы я уже не знал. Мне всегда было интересно, Марсель, эти вырезки из газет... Это твоя работа или это хобби?

МАРСЕЛЬ. Хобби? Мне не нравится это слово. Скажем так, это помогает мне в конце месяца. Я делаю это для одного агентства. Это — работа, которая заставляет меня читать. Очень познавательная. Скажи честно. Ты не знал, что у нас одинаковые купальные халаты? У нас много общего. И мне это нравится. Я хотел сказать тебе раньше, что, наверное, ты не знал об этом халате. И, может быть, ты не знаешь еще о многих мелочах.

ПОЛ. Я знаю все. Роза говорила мне все. Если бы ты только знал, как много раз мы говорили о тебе. Я не думаю, что существует много таких браков, как этот... Я хочу пить.

Он идет к двери.

ПОЛ. Хочешь немного бурбона?

МАРСЕЛЬ. Подожди!

Он наклоняется и достает бутылку бурбона и два стакана из ночного столика.

МАРСЕЛЬ. Пожалуйста.

На этот раз Пол искренне удивлен и не пытается скрыть это.

ПОЛ. Это тоже подарок Розы?

Он садится на кровать.

МАРСЕЛЬ. Лично я не люблю бурбон. Но Роза всегда хотела, чтобы у меня была бутылка в ночном столике. Это вопрос, который я задавал себе. Если бы... со всеми этими мелочами... незначительными вещами... мы могли бы предположить, понять друг друга... Уже почти год, как Роза и я... не страстно, но регулярно... Я думал, что знаю ее настолько, насколько возможно знать...

ПОЛ. Свою любовницу.

МАРСЕЛЬ. Например, некоторое время назад случилось такое, что я был не способен объяснить... Видишь стену там?

Он показывает на угол под потолком с оторванным куском обоев.

МАРСЕЛЬ. Она залезла на стул и пыталась оторвать обои одними руками. Я остановил ее, потому что она поломала все ногти.

Он смотрит на Пола в ожидании объяснений. Но их не следует.

МАРСЕЛЬ. Она была вне себя по поводу этого, так странно. Я никогда ее такой не видел.

Пол поднимается и оглядывается, как бы ища других знаков. Он также открывает дверь в ванную.

ПОЛ. Наша комната выкрашена в белый цвет. Роза хотела, чтобы она отличалась от других комнат. Чтобы иметь ощущение нормального дома. Здесь... тоже надо было переменить... Она начала с обоев.

В голосе Марселя горькие нотки.

МАРСЕЛЬ. Может быть, я был всего лишь заменой.

Марсель неожиданно встает, роняя свои вырезки и ножницы. Он прижимает большой палец левой руки к ладони правой.

МАРСЕЛЬ. Черт! Это впервые за десять лет...

Из порезанной руки сочится красная струйка, быстро растекаясь по ее тыльной стороне. Пол подводит его к раковине и подставляет его руку под струю воды. Много крови, но порез не серьезный, только царапина.

МАРСЕЛЬ. Она принимала ванну и одевалась, укладывала свои волосы и поднималась по лестнице. Она приходила сюда, как будто она приходит по делам... Я не выношу физической боли.

Пол идет в комнату за бутылкой бурбона. Одной рукой он держит запястье Марселя, а другой льет спиртное на порез, вытащив пробку зубами. Марсель смотрит в сторону.

ПОЛ. Мы всегда говорили друг другу все. С самого начала... У нас не было секретов, не было лжи... даже измены... измены стали частью... частью нашего брака.

МАРСЕЛЬ. Жжется!

Пол продолжает лить бурбон не останавливаясь.

ПОЛ. Но это не было моим соглашением

с Розой. Здесь Роза конструирует второго мужа... одевает его так же, как первого...

МАРСЕЛЬ. Заставляет его пить ту же дрянью...

ПОЛ. Тебе вполне везло... Наверное, двадцать лет назад ты был привлекательным мужчиной.

МАРСЕЛЬ. Не таким, как ты.

ПОЛ. У тебя сохранились все волосы.

МАРСЕЛЬ. Я часто подстригаю их. И мою.

ПОЛ. Ты делаешь массаж?

МАРСЕЛЬ. Да, массаж тоже.

ПОЛ. Ты в хорошей форме. Что ты делаешь для — для живота?

МАРСЕЛЬ. Для живота?

ПОЛ. Это моя проблема.

МАРСЕЛЬ. Что ж... у меня есть секрет.

ПОЛ. Что?

МАРСЕЛЬ. Думаешь уехать? Я видел твой чемодан... э... Америка... Почему она изменила тебе со мной?

ПОЛ. Ты не думаешь, что Роза убила себя? Мне тоже трудно поверить в это.

МАРСЕЛЬ. Вот мой секрет. Тридцать раз каждое утро.

Марсель подтягивает ноги до подбородка.

ПОЛ. Я искал письмо от Розы. Но письмо — это ты...

Теперь бутылка пуста. Пол, кажется, не замечает этого. Он продолжает сжимать запястье Марселя в своей руке крепче и крепче. Марсель больше не испуган и не обеспокоен.

МАРСЕЛЬ. Пол, отпусти мою руку, мне больно. Отпусти, Пол!

Пол отпускает. На белом фарфоре в стакане — бритва Марселя. Это тоже прямая бритва.

Пол быстро идет к двери.

ПОЛ. Правда, Марсель, удивляюсь, что она нашла в тебе.

Сцена 20

Интерьер: лифт, улица Жюль Верна; день.

Жанна в лифте, поднимающемся вверх. В руке она держит красный футляр с проигрывателем. Она открывает дверь ключом, исчезает в квартире и закрывает дверь.

Сцена 21

Интерьер: квартира; день.

Из прихожей квартира выглядит пустой. Девушка ставит футляр на пол.

ЖАННА. Ты тут?

Никакого ответа. Она открывает стеной шкаф и ставит в него красный футляр.

Она уже готова уйти, когда видит какое-то отражение в зеркале. Она тихонько проходит. На этот раз это не черная кошка. Это Пол, который сидит на полу, скрестив ноги. Перед ним тарелка с хлебом, сыром, нож.

ЖАННА. Привет, чудовище. Что-то не так?

ПОЛ. Там в кухне масло.

ЖАННА. Так ты здесь. Почему ты не отвечаешь?

ПОЛ. Поди принеси масло.

ЖАННА. Я тороплюсь. Меня внизу ждет такси.

Жанна так ошарашена, что подчиняется не думая. Она возвращается с маслом и бросает его к нему на тарелку. Пол не реагирует. Выведенная из себя, она садится перед ним с вызывающим видом.

ЖАННА. Меня сводит с ума твоя проклятая уверенность, что я вернусь.

Пол улыбается ей, намазывая хлеб маслом. ЖАННА. Что ты думаешь? Ты думаешь, что американец, сидящий на полу в пустой квартире и поедающий сыр,— это интересно?

Он ничего не говорит. Она раздраженно барабанит ногтями по паркетному полу.

ЖАННА. Тут что-то скрывается. Я это чувствую.

Кажется, что она говорит о ситуации. Но вместо этого она исследует пальцами щели облезлого паркета. Она стучит по полу. Звук пустой, как тамбурин. Указательным пальцем она обнаруживает почти невидимый изъём в линиях паркета.

ЖАННА. Ты слышишь? Там пустота.

Пол подползает к ней на четвереньках. Он дважды ударяет кулаком по полу рядом с пальцем Жанны.

ПОЛ. Это тайник.

Ему удастся приподнять паркетину пальцем. На полу появляется крошечная дверца люка размером с кирпич.

ЖАННА. Не открывай ее!

ПОЛ. Почему?

ЖАННА. Не знаю. Не открывай.

ПОЛ. В чем дело? Можно открыть это?.. Подожди-ка. Может быть, там драгоценности. Может быть, там золото. Ты боишься? Ты всегда боишься.

Рука Пола гладит дверцу люка. Вдруг кажется, что он открыл ее. Рука Жанны хватается его кулак, ее ногти впиваются в его кожу.

ЖАННА. Нет. Может быть, там внутри какие-нибудь семейные тайны.

ПОЛ. Семейные тайны? Я расскажу тебе о семейных тайнах.

Пол наваливается на нее, прижимая ее руки к полу. Используя масло, как смазку, он овладевает ею сзади.

ЖАННА. Что ты делаешь?

ПОЛ. Я хочу рассказать тебе о семье. Об этом святом институте, предназначенном превращать добродетель в дикость. Я хочу, чтобы ты повторяла за мной.

ЖАННА. Нет и нет!

ПОЛ. Повторяй!

Его кулаки впиваются в нее, причиняя ей боль.

ПОЛ. Святое семейство. Давай, говори это.

Давай! Святое семейство, церковь добропорядочных граждан.

ЖАННА. Церковь... Добропорядочные граждане. (Плачет.)

Пол ослабляет хватку.

ПОЛ. Скажи это. Детей терзают до тех пор, пока они в первый раз не солгут.

ЖАННА. Детей...

ПОЛ. Где подавление сокрушает волю.

ЖАННА. Где подавление сокрушает волю. (Рыдает.)

ПОЛ. Где свободу убивают.

ЖАННА. Свободу... (Рыдает.)

ПОЛ. Убивают... Свободу убивают самовлюбленностью... семья...

ЖАННА. Семья...

ПОЛ. Это ё...я семья. (Судорожно дышит.) Это ё...я семья. О господи, Иисус.

Проходит мгновение. Они молчат. Жанна успокаивается. Она идет к проигрывателю и включает его в розетку, но подсказывает от удара током.

ЖАННА. Черт! Эй ты! Ты там?

ПОЛ. Да?

ЖАННА. У меня для тебя сюрприз.

ПОЛ. Что?

ЖАННА. У меня для тебя сюрприз.

ПОЛ. Это хорошо. Я люблю сюрпризы. Что это?

ЖАННА. Музыка. Но я не знаю, как с этим обращаться.

Он склоняется над проигрывателем. Он берет штепсель и подносит его к розетке. Он вставляет штепсель в розетку, и его тоже ударяет током.

ПОЛ. Тебе это доставляет удовольствие?

Сцена 22

Натура: баржа; день.

Лодка называется «Аталанта». Она стоит на приколе, привязанная длинными металлическими канатами. Она стоит здесь уже давно. Она была переоборудована в танцевальный зал, а сейчас готовится на слом. Жанна работает. Она торгуется со старым владельцем (стариком с татуировкой на груди, как у Мишеля Симона. Может быть, это он) по поводу нескольких предметов декоративного искусства — ламп, различных украшений и т. п.

Теперь маленькая киногруппа скучилась на носу под чем-то вроде обветшалой висячей беседки. Том интервьюирует Жанну. Старик хочет сказать: «Я ничего не собираюсь продавать», но обаяние девушки очаровывает его, и многие предметы один за другим уплывают от него. Старый капитан поставил на свой старый проигрыватель пластинку на 78 оборотов: «Поговори со мной о любви, Мари».

ТОМ. Какая у тебя профессия?

ЖАННА. Всюду совать свой нос.

ТОМ. Я думал, ты торговый агент по антиквариату.

ЖАННА. Я выкапываю вещи. Я рыскаю вокруг. Говорю тебе: я всюду сую свой нос. ТОМ. Что за вещи?

ЖАННА. Все от 1880-го до 1935-го.

ТОМ. Почему именно эти годы?

ЖАННА. Потому что для искусства эти годы были революционными.

ТОМ. Я не понял. Повтори, пожалуйста. Какие это были годы?

ЖАННА. Революционные. Да, новое искусство революционно по сравнению с остальным девятнадцатым веком и викторианской эпохой. По сравнению со старинными безделушками и плохим вкусом.

ТОМ. Плохой вкус? Вкус? Что это такое? И как же ты чувствуешь себя революционеркой, собирая старые вещи, которые когда-то были революционными?

ЖАННА. Ты хочешь подражаться?

ТОМ. Хорошо, хорошо... И где ты находишь эти... революционные предметы?

ЖАННА. На аукционах, на разных рынках, в деревне, в частных домах...

ТОМ. Ты заходишь в дома людей? Что это за люди?

ЖАННА. Старые люди... или же их сыновья, племянники, внуки. Они ждут, когда старики умрут. И потом они все это продают как можно скорее.

ТОМ. Тебе это не кажется несколько патологическим? Запах старых вещей. Останки мертвых?

ЖАННА. Нет, это интересно. Для меня прошлое интересно. Это находка... предмет, имеющий историю. Знаешь, однажды я нашла будильник парижского палача.

ТОМ. Это отвратительно. Тебе нравится спать, когда рядом с твоей кроватью стоит будильник вешателя? Я бы ни минуты не сомневалась, выбирая между старинным домом и чистой, светлой комнатой. Смотри... немного мебели... стекло и хром... свет даже в предметах, все новое... новые вещи. Ты похожа на фильм с техническим браком: звук не синхронизируется с изображением. Мы слушаем, как ты рассуждаешь о старых, пыльных вещах, и в то же время видим тебя — чистую, здоровую, современную.

ЖАННА. Это способ отрицания настоящего, способ... У меня есть платье, сшитое по образцу того, которое надето на моей матери на фотографии 1946 года. Как она была красива и молода с этими квадратными плечами.

ТОМ. Откуда это восхищение сороковых?

ЖАННА. Потому что это проще — любить что-то, что не воздействует на нас непосредственно, что-то, что находится на определенном расстоянии... Как ты со своей камерой.

ТОМ. Расстояние... Сейчас посмотрим.

Вдруг он поворачивается к оператору. ТОМ. Дай мне камеру, Ален, я найду отсюда.

Все отходят, кроме ассистентки.

ТОМ. Отвали!

Ассистентка неохотно отходит. Наконец они остаются одни.

ТОМ. Садись.

ЖАННА. Что мне говорить?

ТОМ. Я буду задавать тебе вопросы. Знаешь, почему я всех отослал?

ЖАННА. Потому что ты или злишься, или хочешь поговорить со мной наедине.

ТОМ. А почему?

ЖАННА. Потому что ты хочешь сказать мне что-нибудь важное.

ТОМ. Это что-нибудь очень важное.

ЖАННА. Приятное или грустное?

ТОМ. Это тайна.

ЖАННА. Значит, приятное. Что за тайна?

ТОМ. Тайна между мужчиной и женщиной.

ЖАННА. Грязь или любовь?

ТОМ. Любовь. И это не все.

ЖАННА. Любовная тайна, которая не все. Что это?

ТОМ. То, что через неделю я женюсь на тебе.

ЖАННА. О господи!

ТОМ. Если, конечно, ты согласна.

ЖАННА. А ты...

ТОМ. Я решил. Все готово...

ЖАННА. Том, все так странно. Мне это кажется невероятным.

ТОМ. Изображение немного не в фокусе, но эти чувства заставляют мои руки дрожать... Ты еще не ответила.

ЖАННА. Потому что я уже больше не понимаю, что происходит.

ТОМ. Ну что? Да или нет?

ЖАННА. Перестань снимать. Я должна выйти замуж за тебя, а не за камеру.

Том с воодушевлением бросает спасательный круг в воду. Он тонет.

Сцена 23

Интерьер: квартира Жанны; день.

Квартира, в которой Жанна живет со своей матерью, — это царство безликого буржуазного комфорта и дизайна. Ее мать похожа на квартиру.

Жанна смбтрит на мать, которая занята. Мать Жанны достает несколько комплектов военной формы и ряд предметов из шкафа и кладет их на кровать. В руках она держит пару сапог.

МАТЬ ЖАННЫ. Скажи мне... Что ты думаешь, отослать их?

ЖАННА. Олимпия будет счастлива. Я была там вчера с Томом... Она готовит семейный музей.

МАТЬ ЖАННЫ. Папины сапоги, нет.

Я оставлю их. Они внушают мне странную дрожь, когда я их трогаю.

Жанна надвигает фуражку набекрень. Она гладит форменное сукно.

МАТЬ ЖАННЫ. Военные формы... Все эти военные вещи, которые никогда не стареют.

Теперь Жанна берет сверкающую кобурку с уставным воинским пистолетом внутри.

ЖАННА. Он мне казался таким тяжелым, когда я была маленькая... и папа учил меня стрелять из него. Почему ты не отошелшь его? Что ты собираешься делать с оружием?

Ее мать упаковывает вещи в два больших чемодана.

МАТЬ ЖАННЫ. В любом уважаемом доме огнестрельное оружие всегда может пригодиться.

Жанна роется в коробке, заполненной старыми бумагами, в ней также паспорт.

ЖАННА. Ты даже не знаешь, как его держать.

МАТЬ ЖАННЫ. Важно, чтобы он был. Это уже само по себе имеет эффект.

Внимание Жанны привлекает красный кожаный бумажник. Она переворачивается на живот, чтобы избежать взгляда матери, и вытаскивает старое удостоверение личности полковника. Под удостоверением очень хорошо спрятанная — маленькая пожелтевшая фотография счастливо улыбающейся молодой девушки с обнаженной грудью.

Жанна прячет бумажник в свою сумку, потом внезапно поворачивается к матери.

ЖАННА. Ты сохраняешь все, что осталось после папы. И ее? Кто она? Его ординарец?

Мать с любопытством берет фотографию. Она немного смущена, но сразу же находит объяснение.

МАТЬ ЖАННЫ. Прекрасный образец берберки. Закаленная раса. Я пыталась держать нескольких в доме. Но они совершенно не умеют вести домашнее хозяйство... Я рада, что решила отправить все это в загородный дом... У нас скопилось так много вещей.

Жанна целует ее.

ЖАННА. Скоро у тебя будет столько места, сколько тебе нужно. Мне надо идти. Я еще не кончила работу. Я просто заскочила, чтобы сказать тебе...

Она вырывается из объятий матери и идет к двери. Мать следует за ней.

МАТЬ ЖАННЫ. Сказать мне что?

ЖАННА. Ничего. Мадам, супруга полковника, я оповещаю...

МАТЬ ЖАННЫ. О чем?

ЖАННА. Что в эти торжественные дни... **МАТЬ ЖАННЫ.** Какие торжественные дни?

Жанна уже сбегает вниз по лестнице. Но перед тем, как исчезнуть, она выкрикивает.

ЖАННА. Я выхожу замуж... Я выхожу замуж через неделю.

Сцена 24

Интерьер: Блошинный рынок, магазин для новобрачных; день.

Магазин слишком мал, так что камера стоит на тротуаре.

Оператор снимает.

Жанна наполовину закрыта двумя продавщицами. Одна стоя, другая присев, они примеряют на нее платье, подгоняя его под ее фигуру с помощью булавок и лент.

ТОМ. Как ты смотришь на брак?

ЖАННА. Я смотрю на него... все время.

ТОМ. Что это значит — все время?

ЖАННА. Да, на стенах, на зданиях... Это тебя удивляет?

ТОМ. На стенах, зданиях?

ЖАННА. Конечно, на досках объявлений. О чем говорит реклама? Что она продает?

ТОМ. Ну... Машины, сигареты, мясо в банках.

ЖАННА. Совсе нет. Объект рекламы — это молодая пара. Перед свадьбой, без детей, и та же пара после свадьбы и с детьми. Короче говоря, супружество.

ТОМ. Если глубоко копать, я думаю, это правда.

ЖАННА. Нет, это не правда. Но это могло бы быть правдой. Совершенный брак — счастливый, удачный, идеальный — уже больше не найдешь в церковных стенах; этот тип супружества основан на бесконечных препятствиях, которые пара должна преодолевать. При таком браке муж обременен ответственностью, а жена постоянно всем недовольна. В рекламе все наоборот. Там улыбающееся супружество.

ТОМ. Улыбки... в рекламе?

ЖАННА. Конечно. Но в конце я хочу сказать, почему бы нет? Почему не принимать рекламное супружество всерьез? Супружество — это... поп.

ТОМ. Вот она формула. Для молодежи это — поп, поп-супружество. Но предположим, что поп-супружество не срабатывает. Что делать?

ЖАННА. Супружество — это продукт, машина. Если она не работает, ее нужно чинить, как ты чинишь машину. Супружеская пара — это двое рабочих в комбинезонах, которые склонились над мотором и пытаются его отрегулировать.

ТОМ. А что происходит с поп-супружеством, если, например, случается измена?

ЖАННА. Хорошо, в случае измены... вместо двух рабочих... их становится трое... или четверо.

ТОМ. А как же дети?

ЖАННА. А, они. Раньше их создавали. Теперь их производят.

ТОМ. В чем разница?

ЖАННА. Когда супружество и любовь были синонимами, их создавали. Теперь все наоборот. Супружество — это продукт, который производит детей. Ты делаешь машину, кото-

рая производит серию маленьких машин. Такие маленькие поп-машинки.

ТОМ. А любовь тоже — поп?

ЖАННА. Нет.

ТОМ. А что же тогда?

ЖАННА. Рабочие идут на тайную квартиру... Они снимают свои комбинезоны, превращаются в мужчину и женщину и занимаются любовью.

ТОМ. Но это просто адюльтер от пяти до семи. Все тот же старый вздор.

ЖАННА. Любовь и адюльтер — это одно и то же. Если ты не обманываешь. Это часть целого.

ТОМ. И это?

ЖАННА. Это непредсказуемо... Это непредсказуемость.

ТОМ. Ты разочаровываешь меня: я думал, что непредсказуемое... должно было бы быть предсказуемым.

ЖАННА. Любовь приходит внезапно. Она наскакивает на нас, как убийца в темноте. ТОМ. Тогда любовь похожа на смерть, ты знаешь, что она придет, но не знаешь когда. Тебе не кажется, что это старомодная идея? Типа того, о чем ты думаешь в церкви?

ЖАННА. Типа того, о чем ты думаешь в пустых квартирах.

ТОМ. Что ты хочешь сказать?

Но продавщица поворачивается к Тому с убийственным взглядом. Другие девушки подражают ей и прикалывают указательные пальцы ко рту: шшшш!

Они отодвигаются, и вдруг мы видим Жанну, прекрасную, как лебедь, в белом триумфе своего свадебного платья, отдаленно напоминающего 40-е. Это чарующий момент. Оператор продолжает снимать. Падает несколько капель дождя.

ТОМ. Жанна... ты великолепна.

Том выбегает наружу.

ЖАННА. Да... платье делает невесту.

ТОМ. Ты лучше, чем Рита Хейуорт, лучше, чем Джоан Кроуфорд, лучше, чем Ким Новак, лучше, чем Лаурен Бейкэл, лучше, чем Ава Гарднер, когда она любила Мики Руни!

Неожиданно начинается дождь. Все бегут прятаться. Оператор и звукооператор убирают свою аппаратуру в «лихтваген». Том и ассистентка помогают им. Когда Том возвращается в магазин, Жанны там нет. Он ищет ее, но безрезультатно.

ПРОДАВЩИЦА. Она была здесь минуту назад.

Дождь льет как из ведра.

Сцена 25

Интерьер: лестничная площадка, лифт; день.

Жанна насквозь промокла. Ее одежда прилипла к телу. Она сидит на деревянной ска-

мейке в нише напротив лифта. Она немножко дрожит.

В холле пусто. Мы слышим стук дождя по железной крыше и время от времени отдаленный звук грома.

Шаги. Это Пол. Он едва взглядывает на нее. Он входит в лифт, оставляя дверь открытой. Она идет за ним. Пол смотрит на промокшую одежду девушки. Она следит за его взглядом, скользющим по ее телу. Она без лифчика и кажется голой под легкой мокрой тканью.

Пол нажимает кнопку.

Панорамный кадр медленно поднимающегося лифта.

Панорамный кадр, поднимающийся, как лифт, снизу вверх от подола юбки Жанны и дальше медленно по ее ногам, ее коленям, ее бедрам, ее обнаженному лобку и к пупку — пупку маленькой девочки. Выше, ее лицо просит прощения.

Затем женская рука тянется к брюкам Пола и пересекается в воздухе с его рукой, протянутой к ее лобку. Их руки слегка соприкасаются, образуя некий крест.

Сцена 26

Интерьер: квартира; день.

Они входят в квартиру. Через окно в нее заливается дождь. Пол подходит к окну и закрывает его. Жанна проходит в гостиную. Пол несет ее на руках к кровати. Она сжимает подушку.

ЖАННА. Прости меня! Я хотела бросить тебя и не смогла. Я не могу! Ты все еще хочешь меня?

ПОЛ (*поет*). Жил однажды человек, и у него была свинья... Знаешь, ты мокрая.

Ее рука нащупывает под подушкой что-то мягкое, что-то чудовищно инертное. В течение какого-то мгновения Жанна не понимает, потом она смотрит и вскрикивает. Это пещерный крик человека, потерявшего самообладание.

Пол вбегает в гостиную. Жанна стоит посередине комнаты, парализованная, дрожащая. Она глазами указывает на кровать. Пол подходит, чтобы посмотреть. На белой простыне — очертания неподвижного животного. Это — огромная дохлая крыса, испачканная собственной кровью.

Жанна дрожит. Пол крепко сжимает ее. Контакт выводит ее из оцепенения. Она ежится, вырывается из его объятий и устремляется к входной двери. На ее лице чувство отвращения. Но Пол — быстрее, он запирает дверь, преграждая ей путь.

ЖАННА. Я хочу уйти. Я хочу уйти!

У Пола нет намерения поддаваться ее истерике. Он снова хочет приласкать и успокоить ее, но она отталкивает его.

ЖАННА. Не трогай меня!

ПОЛ. Ну успокойся же.

Она говорит со всхлипливаниями.

ЖАННА. Ужасно... здесь... в нашей постели!

ПОЛ. Но это просто крыса, дохлая крыса. В Париже полно крыс. Здесь крыс больше, чем людей. Это очень вкусно.

Он берет ее за руку и ведет в гостиную. Он усаживает ее в кресло.

ЖАННА. Я хочу уйти.

ПОЛ. Не хочешь сначала перекусить? Ты ведь не хочешь уйти не поевши.

ЖАННА. Это — конец.

Он берет крысу за хвост.

ПОЛ. Нет, вот конец. Но я бы хотел начать с головы, это лучшая часть. Ты уверена, что совсем ничего не хочешь? О'кей. В чем дело? Ты не любишь крыс?

ЖАННА. Я хочу уйти. Я больше не могу заниматься любовью в этой постели. Не могу. Это отвратительно, тошнотворно.

ПОЛ. Хорошо, мы можем трахаться на батаре или стоя на полу. Слушай-ка, нужно достать немного майонеза, потому что это очень вкусно с майонезом. Я — я оставляю для тебя задний проход. Крысиный задний проход с майонезом. *(Смеется.)*

ЖАННА. О! Я хочу выбраться отсюда. Я хочу уйти. Я больше не могу находиться здесь. Я уйду. Я никогда не вернусь, никогда.

Пол поворачивает ключ. Теперь Жанна может свободно уйти. Пол возвращается в гостиную. Он подходит к кровати и начинает стаскивать окровавленную простыню. Жанна снова появляется в дверях.

ЖАННА. Я забыла тебе кое-что сказать. Я влюбилась.

Пол сворачивает простыню в комок и бросает ее на дно стенового шкафа. Затем он подходит к молодой женщине.

ПОЛ. О, разве это не чудесно! Знаешь, тебе нужно вылезти из этого мокрого тряпья.

Он с яростью срывает с нее промокшую одежду.

ЖАННА. Я собираюсь заниматься с ним любовью.

ПОЛ. Сначала тебе нужно принять горячую ванну, потому что иначе ты схватишь воспаление легких. И знаешь, что тогда будет? Ты умрешь, а я буду трахать дохлую крысу.

ЖАННА. Оооооо!

ПОЛ. Дай мне мыло.

Жанна в ванне, она оперлась головой на заднюю стенку, ее глаза закрыты. Стоя на коленях, Пол намыливает ее тело. Он закатал рукава, чтобы они не намочили. Он ведет себя, как отец, купающий свою дочь.

ЖАННА. Я влюбилась.

ПОЛ. Ты влюбилась. Как восхитительно. ЖАННА *(отрывисто дышит)*. Я влюбилась! *(Отрывисто дышит.)* Я влюбилась, пони-

маешь? *(Отрывисто дышит.)* Ты знаешь, что ты старый и становишься толстым?

ПОЛ. Толстым, вот как? Как это нелюбезно с твоей стороны.

ЖАННА. Половина волос у тебя выпала, а оставшаяся половина почти седая.

ПОЛ. Знаешь, через десять лет ты будешь играть в футбол со своими сиськами. Что ты об этом думаешь?

Жанна отрывисто дышит.

ПОЛ. А ты знаешь, что я буду делать?

ЖАННА. Ты будешь в инвалидной коляске.

ПОЛ. Что ж, может быть. Только знаешь что, я буду ухмыляться и гоготать на протяжении всего пути в вечность.

ЖАННА. Как поэтично. Только перед тем, как ты отойдешь, вымой мне, пожалуйста, ноги.

ПОЛ. Положение обязывает.

ЖАННА. Великолепно.

ПОЛ. Ты знаешь, что ты скотина? Потому что е.и лучше, чем здесь, в этой квартире, у тебя не может быть. Вставай.

Он берет большое полотенце и раскрывает его. Жанна вылезает из ванны. Пол заворачивает ее и вытирает.

ЖАННА. Он полон тайн.

ПОЛ. Слушай, тупица, все тайны, которые ты можешь узнать в жизни, находятся здесь.

ЖАННА. Он такой же, как все, но в то же время он другой.

ПОЛ. Ты хочешь сказать, как все.

ЖАННА. Знаешь, он даже пугающий...

ПОЛ. У?

ЖАННА. Он даже пугает меня.

ПОЛ. Кто он? Местный сутенер?

ЖАННА. Очень может быть. Он похож на него. Ты знаешь, почему я влюблена в него?

ПОЛ. Я не могу ждать.

ЖАННА. Потому что он знает — он знает, как заставить меня влюбиться в себя.

ПОЛ. И ты хочешь, чтобы этот мужчина, которого ты любишь, защищал тебя и заботился о тебе?

ЖАННА. Да.

ПОЛ. Ты хочешь, чтобы этот блистательный и могущественный воин построил для тебя крепость, где ты могла бы спрятаться? Чтобы ты больше никогда... э... никогда... не чувствовала себя одинокой. Чтобы ты никогда не чувствовала пустоты, ты этого хочешь, так ведь?

ЖАННА. Да.

ПОЛ. Ну так ты никогда не найдешь его.

ЖАННА. Но я уже нашла этого человека!

ПОЛ. Ну, значит, скоро он сам захочет, чтобы ты построила для него крепость из своих сисек и своего влагища и из своих волос и своей улыбки — такое местечко, где он сможет почувствовать себя достаточно уютно и достаточно надежно, чтобы молиться перед алтарем своего собственного члена.

ЖАННА. Но я уже нашла этого человека.
ПОЛ. Нет, ты одинока. Ты одна. И ты не сможешь освободиться от этого чувства одиночества, пока ты не посмотришь смерти прямо в лицо. Это звучит как какое-то романтическое дерьмо. До тех пор, пока ты не пролезешь в самую задницу смерти, пока ты не окажешься в самых недрах страха. И тогда, может быть, может быть, тогда ты сможешь найти его.

ЖАННА. Но я уже нашла такого человека. Это ты. Этот человек — ты!

ПОЛ. Дай мне ножницы.

ЖАННА. Что?

ПОЛ. Дай мне маникюрные ножницы. Я хочу, чтобы ты подстригла ногти на своей правой руке, эти два.

ЖАННА. Готово.

ПОЛ. Я хочу, чтобы ты засунула свои пальцы в мою задницу.

Жанна становится на колени между ногами Пола. Она вставляет один, потом два, потом три пальца в его задний проход. Она медленно начинает двигать рукой.

ПОЛ. Засунь свои пальцы в мою задницу, ты что, глухая? Давай же. Я собираюсь завести борова. И я хочу, чтобы этот боров трахнул тебя. И я хочу, чтобы этого борова вырвало тебе в лицо. И я хочу, чтобы ты проглотила эту блевотину. Ты сделаешь это для меня?

ЖАННА. Да.

ПОЛ. А?

ЖАННА. Да!

ПОЛ. И я хочу, чтобы этот боров сдох, пока вы трахаетесь. И тогда ты подойдешь к нему сзади и будешь вдыхать запах подыхающей свиньи. Ты сделаешь все это для меня?

ЖАННА. Да, и еще больше. И еще хуже. И еще хуже, чем это.

Сцена 27

Интерьер: стена и лестница, отель; ночь.

То, что выглядело тихим третьесортным отелем, полностью преобразилось теперь, посреди ночи. Стены завешаны драпировками. Коридоры кажутся бесконечными. Все, что при дневном свете выглядело причудливым хламом — все пыльное, скособоченное, — приобрело ночью свою неосознанную географию. Аромат давнишнего прошлого. Путешествие в подсознательное.

Пол передвигается, как стражник в лабиринте, совершающий прогулку по какой-то странной тюрьме. Он огибают углы. Он исчезает в тени, он снова возникает в пятне света в конце холла, около лестницы: он шпионит.

Он подглядывает через многочисленные глазки, которые на лиственном орнаменте обоев выглядят маленькими глазами, спрятанными посреди невинных пейзажей, спря-

танными в глубине пустых стенных шкафов, спрятанными в тени закоулков.

Отель представляет собой некую паутину. Дырочка там, дырочка здесь, через них можно наблюдать за каждым, кто тут живет, кто тут умирает.

Пол видит тела, погруженные в сон; фигуры, раскрывшиеся в духоте ночи, веки из мягкого камня, которые кажутся закрытыми навсегда; рты, расслабленные в неконтролируемых гримасах; губы, глотающие воздух; задницы, являющиеся отрицанием телесной пышности; груди, старые и бледные; груди, молодые и бледные; глотки, изрыгающие во сне неожиданные обращения, невразумительные фразы, слону, которая стекает по челюсти и высыхает; старые тела, скрючившиеся, как эмбрионы. Это зрелище — галлюцинация, ночной кошмар, потому что сон выявляет анатомию, которая определена и абсолютна.

Все в порядке в отеле. Все спят. И все же Пол узнает знакомые лица со страданием и отвращением. Их узнавание, как опознавание на столе-морга.

С некоторым беспокойством Пол поворачивает ключ в замке и входит в мрачную комнату. Он снова старательно запирает дверь и садится. Он зажигает последнюю сигарету и выбрасывает пустую пачку. Он устал.

ПОЛ. Я только что совершил обход. Я уже давно не делал этого.

Он обращается к кому-то, кого мы не видим.

ПОЛ. Все отлично. Порядок.

Он пытается отыскать что-то пальцами на стене. Это другой глазок.

ПОЛ. Вот он. Эти стены, как швейцарский сыр.

Его глаза привыкли к темноте. Это не его комната. Она вся в цветах и с большой кроватью.

Тело Розы лежит в открытом гробу в блаженной позе. Кажется, что она смеется в маленьком озере из цветов. Цветы вдоль всего ее тела, цветы в ее волосах, собранные в очень маленькие букетики.

ПОЛ. Ты выглядишь смешно в этом гриме. Как карикатура на шлюху. Чувствуется рука мамочки. Фальшивая Офелия, утонувшая в ванной. Жаль, что ты не можешь видеть себя. Уж ты бы посмеялась. Ты — шедевр своей матери. Господи, как здесь много этих ё...ых цветов, я не могу дышать... Знаешь, я нашел на шкафу картонную коробку. В ней я обнаружил все твои маленькие безделушки. Ручки, цепочки для ключей, иностранные монеты, французские презервативы, чего там только нет. Даже воротник священника. Я не знал, что ты собирала все эти побрякушки.

Он обращается к ней, как к живой.

ПОЛ. Даже если муж проживет двести лет, он ни х.. не поймет, что же на самом деле представляла из себя его жена. Я хочу сказать, что я могу понять вселенную, но я никогда не постигну правду о тебе, никогда. Я хочу спросить, кем же ты была? Помнишь тот день, мой первый день здесь? Я знал, что не могу залезть к тебе в штаны, пока я не скажу — что же я сказал? А, да: «Будьте любезны, мой счет. Я должен уехать». Помнишь? Прощлой ночью я вырубил свет для твоей мамы, и все общество взбесилось. Это были все твои — твои гости, как ты их называла. Я подозреваю, что я тоже входил в их число, не так ли? Я входил в их число, так ведь? В течение пяти лет я был скорее гостем в этой ё...ой ночлежке, чем мужем, привилегированным, конечно. И потом, чтобы помочь мне лучше понять тебя, ты оставила мне в наследство Марселя. Мужа-двойника, чья комната была дубликатом нашей. И знаешь что? У меня даже не хватило мужества спросить его. У меня даже не хватило мужества спросить, выделяли ли ты с ним те же самые штучки, что и со мной. Наш брак был для тебя не более чем одиночным окопом. И все, что тебе понадобилось для того, чтобы выбраться из него, — это тридцатипятицентровая бритва. И ванна, наполненная водой.

Он складывает руки, как будто молится. ПОЛ. Ты, паршивая, проклятая, дешевая блядь — надеюсь, что ты сгниешь в аду. Ты хуже, чем самая грязная свинья, которая когда-либо существовала, и знаешь почему? Потому что ты лгала. Ты лгала мне, а я верил тебе. Ты лгала. Ты знала, что ты лжешь. Ну давай, скажи мне, что ты не лгала. Тебе нечего сказать по этому поводу? Ты можешь выдумать что-нибудь, разве нет? Ну давай, скажи мне что-нибудь. Ну давай, улыбнись, ты, блядь. Давай, скажи мне — скажи мне что-нибудь ласковое. Улыбнись мне и скажи, что я просто неправильно понял. Ну, скажи, скажи. Ты, проклятая ё...я свинья — ё...я обманщица.

Неожиданно он встает и берет в ванной полотенце. Он мочит его угол слюной и мягко стирает помаду с ее губ.

ПОЛ (*рыдая*). Извини. Я просто не могу видеть эту мерзкую мазню на твоём лице. Ты никогда не красилась всем этим дерьмом. Я хочу убрать это с твоего лица. Помаду.

Красный цвет мало-помалу исчезает, и губы бледнеют. Пол гладит рукой щеку Розы, затем силы вдруг как будто покидают его, и он опускается на колени; он облокачивается локтями на гроб и закрывает лицо руками. Он плачет.

ПОЛ. Роза, моя любовь... прости меня... я не знаю, почему ты это сделала. Я бы тоже это сделал, если бы знал как. Я просто не знаю. Мне нужно найти способ.

Пока он говорит, слышится звонок. Звук кажется очень далеким. Пол несколько минут сидит неподвижно, затем медленно поднимается. Звонок продолжает звонить с неким отчаянным упорством. Пол начинает одеваться, его жесты — усталые и механические.

ПОЛ. Что? Хорошо, иду. Я должен идти. Я должен идти, любимая, кто-то зовет меня.

Два силуэта в тени за стеклом запертой двери. Пол смотрит на них, они смотрят на него в ожидании, пока он откроет. Это — мужчина и женщина. Этим все сказано. Улица погружена во мрак.

Холл отеля также. Пол не зажигает свет.

Видя, что он не собирается открывать дверь, женщина начинает делать ему знаки головой и руками, подзывая его. Ее жесты неуклюжи и несколько гротескны. Пол смотрит на нее не двигаясь. Тогда она снова начинает звонить в звонок.

Звук наполняет пустынный холл раздражающей настойчивостью. Пол делает несколько шагов к застекленной двери. Голос женщины звучит приглушенно через стекло. ПРОСТИТУТКА. Проснитесь! Откройте двери!

ПОЛ. Уже поздно. Сейчас четыре часа!

ПРОСТИТУТКА. Мне нужна комната только на час, самое большое — полтора часа.

ПОЛ. У нас нет мест.

Женщина смотрит на вывеску снаружи отеля.

ПРОСТИТУТКА. Это неправда. Когда у вас нет мест, вы вывешиваете объявление.

Пол не может разглядеть лицо мужчины, который постоянно бросает беспокойные взгляды на улицу.

ПРОСТИТУТКА. Я устала орать через дверь. Позови хозяина, слышишь? Чего ты ждешь?

Пол открывает дверь, и женщина входит в темный холл с явным облегчением.

ПРОСТИТУТКА. Ты, должно быть, новый человек здесь. Я никогда тебя раньше не видела. Только не шуми, а то я скажу твоему хозяину.

Она ведет себя так, будто она в собственном доме. Через какое-то мгновение она вспоминает о своем клиенте.

ПРОСТИТУТКА. Заходи, все в порядке.

Но мужчины уже нет. Женщина выскакивает на улицу, но потом возвращается и агрессивно набрасывается на Пола.

ПРОСТИТУТКА. Теперь ты доволен? Ты спугнул его.

ПОЛ. Мне очень жаль.

Она хватается за руку и выталкивает на улицу.

ПРОСТИТУТКА. Скорей, он не мог далеко уйти. Убеди его, чтобы он вернулся. Скажи ему, что он не может так уйти.

Пол выходит на пустынную улицу.

ПРОСТИТУТКА. Беги! Непусти его!

Пол устремляется на поиски клиента, передумавшего насчет старой шлюхи.

Сцена 28

Натура: около отеля; ночь.

Маленькие улочки, переулки, похожие ночью на изрезанную, исполосованную декорацию, предназначенную на слом.

Пол быстро идет, глядя по сторонам. Он шарит глазами по темным углам, нишам подъездов. Никого. Он обошел практически всю улицу. Неожиданно он останавливается. Он обнаружил его.

ПОЛ. Иди сюда... Выходи оттуда.

Пол приближается ко входу в метро. Там человек, за которым он охотится. Он прячется на лестнице. Только его голова видна над уровнем улицы, как будто он стоит в яме. Его лицо испуганно.

КЛИЕНТ. Пожалуйста, я прошу вас, скажите ей, что не нашли меня.

ПОЛ. Что с тобой?

КЛИЕНТ. Я уже больше не хочу. Вы видели ее лицо?

Мужчина строит выразительную гримасу.
КЛИЕНТ. Пожалуйста, не говорите, что нашли меня. Вы видели, какая она уродливая?

Он делает жест головой, как бы говоря: «Я готов рвать на себе волосы».

КЛИЕНТ. Когда-то мне было вполне достаточно жены. Но год назад она схватила кожную болезнь. Вот так. Вдруг ее кожа стала отвратительной. Как кожа змеи. Что я должен делать?

Пол хватает его и ударяет об стену.

КЛИЕНТ. Отпустите меня! Сумасшедший! Отпустите!

ПОЛ. Уё...й отсюда! Свинья!

Сцена 29

Интерьер: отель; ночь.

Женщина сидит на диване в темноте, курит. Возвращается Пол, один. Он садится на диван, глядя на нее.

ПРОСТИТУТКА. Я так и знала. Сначала ты дал ему уйти, потом не смог вернуть назад.

ПОЛ. Хочешь что-нибудь выпить?

ПРОСТИТУТКА. Где я найду другого? В это время?

Пол ищет деньги в кармане.

ПОЛ. Сколько я тебе стоил? Сто франков, о'кей?

Женщина громко смеется в темноте.

ПРОСТИТУТКА. Сто... двести... дай мне, сколько можешь. Я делаю это не за деньги. Мне это нравится, понятно? А знаешь, ты привлекательный. Сядь рядом со мной.

Пол не двигается. Она начинает мурлыкать песенку.

ПРОСТИТУТКА. Говорят, у меня красивый голос. Если хочешь, то мы можем прямо здесь. У меня практичное платье. Оно все на «молнии». Мне даже не нужно его снимать. Давай, не сфесняйся...

Пол включает свет. Она не ожидала этого, для нее это, как удар. Она и Пол смотрят друг на друга. Это маска смерти, а не лицо, и это тело — не тело, а скелет. Так думает Пол. И женщина чувствует это. Она сразу же встает и застегивает платье. Все ее лицо — от глаз до рта — выражает отвращение.

ПРОСТИТУТКА. Не смотри на меня так. Я больше не молода. Ну и что? Когда-нибудь и твоя жена станет такой же, как я.

Сцена 30

Интерьер: квартира; день.

Жанна открывает дверь ключом. Но только войдя, она останавливается как вкопанная, потрясенная. Ощущение становится более отчетливым. Квартира пуста, как и в первый день, когда мы ее видели. Свет падает так же, как тогда. Девушка проходит по квартире без всякого выражения на лице. Вся мебель исчезла, за исключением красного проигрывателя, который стоит на голом полу.

Сцена 31

Интерьер: парадное на улице Жюля Верна, комнатка консьержки; день.

Старая консьержка, съевшаяся, как всегда, сидит спиной к своему окошку, тряся головой. Жанна у самого окна.

ЖАННА. Попробуйте вспомнить. Мужчина на пятом этаже. Он жил здесь последние несколько дней.

КОНСЬЕРЖКА. Я никого не вижу, говорю вам. Они приезжают... они уезжают. Хотя я узнаю ваш голос. Вы приходили пару дней назад.

ЖАННА. Мне нужно отослать ключ. Куда вы отправляете почту? Дайте мне адрес.

КОНСЬЕРЖКА. У меня нет адреса. Я не знаю этих людей.

ЖАННА. Даже его имени?

КОНСЬЕРЖКА. Ничего. Вы не хотите сигарету?

Жанна уходит, не ответив. Она задерживается на мгновение, облокотившись о стену, затем внезапно устремляется к бару.

Сцена 32

Интерьер: бар, телефонная будка; день.

Жанна звонит по телефону, как и в первый раз. Она говорит с Томом, с усилием стараясь скрыть свое беспокойство.

ЖАННА. Я нашла для нас квартиру. На улице Жюля Верна... Да, в Пасси. Приезжай

сейчас... Я жду тебя... Пятый этаж.

Том вешает трубку. У Жанны вырывается неожиданное рыдание. Не рыдание, а стон.

Сцена 33

Интерьер: квартира; день.

Жанна ждет Тома, чтобы показать ему квартиру.

ЖАННА. Входи. Открыто... Тебе нравится наша квартира? Она полна света. Здесь комната, слишком маленькая для большой кровати. Может быть, для ребенка... Фиделя. Хорошее имя для ребенка — Фидель. Как Кастро.

ТОМ. Но я хочу дочку тоже. Розу. Как Роза Люксембург. Она не очень хорошо известна, но она ничего... Я хотел снимать тебя каждый день. Утром, когда ты просыпаешься, потом, когда ты засыпаешь. Когда ты первый раз улыбаешься. И я ничего не снял. Сегодня мы заканчиваем съемки. Фильм закончен. Я не люблю, когда что-то кончается. Надо сразу же начать что-то еще... Но она огромная! Где ты?

ЖАННА. Я здесь.

ТОМ. Здесь можно заблудиться. Как ты нашла ее?

ЖАННА. По случаю.

ТОМ. Мы все переменяем.

ЖАННА. Мы переменяем случай в судьбу.

Руки Тома становятся шуточной камерой.

ТОМ. Иди вперед! Отрывайся от земли! Взлетай! Лети! Ты на небесах! Ты воспаряешь. Ты на небе. Теперь пикируй! Делай три оборота. Спускайся... Что со мной происходит? Воздушная яма...

ЖАННА. Что с тобой происходит?

ТОМ. Хватит этих беспокойных зон. Мы не можем так шутить... как дети... Мы взрослые.

ЖАННА. Взрослые? Это ужасно.

ТОМ. Да, это ужасно.

ЖАННА. Тогда как мы должны действовать?

ТОМ. Я не знаю. Изобретать жесты, слова... Одну вещь я, например, знаю. Взрослые серьезные, логичны, осмотрительны... Они всюду видят проблемы. Здесь, эта квартира не для нас. Абсолютно.

ЖАННА. Куда ты идешь?

ТОМ. Искать другую.

ЖАННА. Какую другую?

ТОМ. Такую, в которой можно жить.

ЖАННА. Но здесь можно жить.

ТОМ. Я нахожу ее печальной. Здесь пахнет. Пойдем со мной?

ЖАННА. Мне надо закрыть окна, вернуть ключи. Навести порядок... Пока.

ТОМ. Пока.

Том уходит. Через минуту Жанна встает. Она начинает закрывать все жалюзи.

Сцена 34

Натура: парижская улица; день.

Жанна очень медленно идет по улице Жуль Верна. Улица пустынна. Она слышит за собой звук шагов, но не оборачивается. Затем чья-то рука берет ее за руку. Это — Пол.

Они впервые вместе вне своего острова. Это их первый контакт с реальностью. Они идут какое-то время, держась за руки. Редкие пешеходы смотрят на них и быстро продолжают свой путь. Не говоря ни слова, Пол обнимает ее. Они повисают друг на друге.

Они идут рядом, слегка наклонившись вперед, как будто сопротивляются ветру... который не дует. Они выглядят немного испуганными. Затем рука Пола начинает скользить по телу Жанны к ее шее, затылку, ушам. Он гладит ее щеки очень нежно, как бы боясь повредить ее, потом целует ее.

При звуке приближающегося автомобиля Жанна вырывается из объятий Пола и тащит его вниз по ступенькам метро. Теперь они спрятаны. Они целуются без боязни. Теперь они стоят одни в вагоне метро. Крепко обнявшись, щека к щеке, они видят темноту приближающегося туннеля, но очень скоро дневной свет снова возвращается. Это наземное метро. Они снова начинают целоваться.

ПОЛ. Это опять я.

ЖАННА. Все кончено.

ПОЛ. Да, все кончено. А потом все начинается снова.

ЖАННА. Что начинается снова? Я уже больше ничего не понимаю.

ПОЛ. Тут нечего понимать. Мы оставили квартиру, и теперь мы опять начинаем с любви и всего прочего.

ЖАННА. Прочего?

В его голосе нежность, которой мы не слышали прежде.

ПОЛ. Да. Послушай, мне сорок пять лет. Я вдовец. У меня есть маленький отель, что-то вроде перевалочного пункта, но не совсем уж ночлежка. Я был искателем приключений, потом я женился. Моя жена покончила с собой. Но ты имеешь обо мне представление. Я не подарок. Я подцепил какую-то дрянь, когда был на Кубе в 1948-м, и теперь у меня простата, как картошка из Айдахо. Но я все еще крепкий мужик, хотя у меня и не может быть детей. Послушай. У меня нет никакого пристанища, у меня нет никаких друзей, и я думаю, что если бы я не встретил тебя, у меня была бы тяжелая старость и геморрой... Короче говоря, чтобы сделать длинную скучную историю еще скучней, я из того времени, когда такой парень, как я, вязывался в такую историю, как эта, подцеплял молодую цыпочку, как ты, и называл ее чувихой.

Сцена 35

Интерьер: бар, дансинг; день.

Место очень унылое. Жанна прячется за большие стекла своих темных очков. Позади них в зале проходит небольшой конкурс танго. Жюри за длинным столом наблюдает за танцующими парами с номерами на спинах.

У Пола и Жанны на столе бутылка шампанского, наполовину пустая, и бутылка виски. Пол выглядит очень возбужденным.

ПОЛ. Прошу вас извинить меня за беспокойство, но я был так поражен вашей красотой, что у меня возникло желание предложить вам бокал шампанского. Это место занято?

ЖАННА. Нет.

ПОЛ. Вы позволите?

ЖАННА. Если вам угодно.

ПОЛ. Знаешь, танго — это ритуал, ты понимаешь, что такое «ритуал»? Нужно следить за ногами танцоров... Ты не выпила свое шампанское, потому что оно теплое. Потом я заказал тебе скотч, и ты не выпила свой скотч... Давай-ка. Один глоточек за папочку.

Жанна берет стакан и отпивает.

ПОЛ. Если ты меня любишь, ты выпьешь все целиком.

Жанна одним залпом выпивает стакан.

ЖАННА. О'кей, я люблю тебя.

ПОЛ. Браво.

ЖАННА. Расскажи мне о своей жене.

ПОЛ. Давай поговорим о нас.

Жанна говорит с огромной усталостью.

ЖАННА. Но это место такое жалкое.

ПОЛ. Да, но ведь я здесь, правда ведь?

ЖАННА. Меся метрдотель.

ПОЛ. Это довольно противно. Во всяком случае ты, тупица, я люблю тебя и хочу жить с тобой.

ЖАННА. В твоей ночлежке?

ПОЛ. В моей ночлежке. Какое, к черту, это имеет значение. Какое, к черту, имеет значение, что у меня есть, ночлежка, или отель, или замок? Я люблю тебя! Какая... твою мать, разница? Я продам его.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ТАНГО: Жюри выбрало... Следующие десять пар: номер три, семь, восемь, девять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать и девятнадцать. А теперь, дамы и господа, желаю вам успеха в последнем танго!

ЖАННА. Налей мне еще виски.

ПОЛ. О, я думал, ты не пьешь.

ЖАННА. У меня жажда, и я хочу еще выпить.

ПОЛ. Хорошо.

Она выпивает стакан. Они идут на танцевальную площадку. Она полностью расслабляется в его руках. Они целуются. Музыка кончается. Они возвращаются к своему столику. Жанна несколько нетвердо держится на ногах.

ПОЛ. Я думаю, это хорошая идея. Подожди

минутку, по-по-потому что ты просто прекрасна. Подожди минутку.

ЖАННА. О'кей.

ПОЛ. Извини. Извини, пожалуйста. Я не хотел проливать свой стакан.

ЖАННА. Я предлагаю тост за нашу жизнь в отеле.

ПОЛ. Нет, на х.. это всё. Знаешь что. Давай выпьем за нашу жизнь в деревне, а?

ЖАННА. Ты — любитель природы? Ты никогда не говорил мне об этом.

ПОЛ. О господи. Я — дитя природы. Ты не представляешь меня с коровами? Всего измазанного пометом?

ЖАННА. О да.

ПОЛ. Ну?

ЖАННА. За дом и за коров. Я тоже буду твоей коровой.

ПОЛ. Знаешь что, я буду доить тебя два раза в день. Что ты на это скажешь?

ЖАННА. Я ненавижу деревню.

ПОЛ. Что ты хочешь этим сказать?

ЖАННА. Я ненавижу ее. Я предпочитаю поехать в отель. Поедем в отель.

ПОЛ. Давай потанцуем. Ну что? Давай потанцуем. Давай же. Ты не хочешь потанцевать?

Они идут на танцевальную площадку и танцуют с неистовством.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ. Уйдите! Что вы делаете? Это невозможно.

ПОЛ. Это — любовь! Всегда...

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ. Но это — конкурс. Где тут любовь? На любовь идите смотреть в кино.

Они возвращаются к столику.

ПОЛ. Красавица моя, сядь передо мной. Дай мне рассмотреть тебя и запомнить тебя такой навсегда.

ЖАННА. О!

ПОЛ. Официант, шампанского. Если музыка — пища любви, играйте. Что с тобой?

ЖАННА. Все кончено.

ПОЛ. Что с тобой?

ЖАННА. Все кончено.

ПОЛ. Что кончено?

ЖАННА. Мы больше никогда друг друга не увидим, никогда.

ПОЛ. Это смешно. Это смешно.

ЖАННА. Это не шутка.

ПОЛ. (шутливо). Ах ты, грязная крыса.

ЖАННА. Все кончено.

ПОЛ. Послушай, когда что-то кончено, это начинается сначала, понимаешь?

ЖАННА. Я выхожу замуж. Я ухажу. Все кончено.

Она скользит рукой по бедру Пола, пока рука не исчезает под столом. Она смотрит прямо ему в глаза.

ПОЛ. Го-господи! Слушай, это не поручень в метро, это мой член.

ЖАННА. Все кончено.

Другой рукой она открывает сумочку и вынимает носовой платок. Она быстро вытирает

руку. Теперь у нее даже не хватает мужества посмотреть ему в лицо. Она быстро уходит.

ПОЛ. Подожди минутку! Эй ты, глухая чувиха! Дерьмо! Подожди минутку! Черт подери! Эй, деревенщина! Иди сюда! Иди ко мне! Я поймаю тебя, чувиха!

Сцена 36

Натура: улица, дом Жанны; день.

Пол идет за Жанной на расстоянии десяти футов от нее. Время от времени женщина оборачивается и смотрит на него. Она пытается оторваться от него. Пол следует за ней, соблюдая дистанцию.

Теперь она перед своим домом.

Пол приближается к ней.

ЖАННА. Стой! Стой!

ПОЛ. Перестань!

ЖАННА. Хватит!

ПОЛ. Эй, остынь! Послушай.

ЖАННА. Хватит! Все кончено! Уходи! Уходи!

ПОЛ. Я не могу убедить тебя! Дай мне передышку! Эй, тупица!

Она отворачивается от него и вбегает в здание. Она закрывается в лифте. Пол бросается вверх по лестнице, следя за лифтом на каждом этаже. Он видит лицо Жанны четыре раза через стеклянную дверь лифта. Ее рот напряженно сжимается в страхе.

Лифт останавливается как раз в тот момент, когда Пол, задыхаясь, добегают до этажа. Он преграждает ей дорогу. Она зажала в руке ключ, держа его наготове.

ЖАННА. Я позову полицию.

ПОЛ. Я чувствую по запаху курятник. Черт, я тебе не мешаю. Я хочу сказать, после вас, мадемаузель. Итак, до свидания, сестра. Кроме всего, ты — грудастая телка. Мне плевать, если я больше никогда не увижу тебя. Дерьмо!

ЖАННА. Хватит! Хватит!

ПОЛ. Е..л я эту полицию.

ЖАННА. Ты сумасшедший!

ПОЛ. Послушай, я хочу поговорить с тобой.

ЖАННА. Помогите! Помогите!

ПОЛ. Это уже становится смешным.

ЖАННА. Помогите!

Жанне удается подойти к своей двери. Она входит, крича. Пол идет за ней. Матери дома нет. Повсюду видны признаки предстоящего бракосочетания.

ПОЛ. Это заглавный кадр, крошка. Мы проходим весь путь. Это немного старо. Но теперь полно воспоминаний. Как тебе нравится твой герой? Я был в Африке, и Азии, и Индонезии. Теперь я нашел тебя. И я люблю тебя. Я хочу знать твое имя.

Жанна уже подошла к спальне матери. Теперь она уже больше не кричит, теперь она плачет. Плача, она открывает деревянный ящик, плача, она вынимает оттуда дуэльный пистолет, плача она целится в Пола. Плача, она стреляет.

ЖАННА. Жанна.

В дверях появляются люди, но мы их не видим. Мы только слышим испуганные голоса. Через несколько секунд Жанна выходит из спальни с пистолетом в руке. Пол, шатаясь, вываливается на балкон...

ПОЛ. Наши дети. Наши дети. Наши дети. Будут помнить...

И умирает.

ЖАННА. Я не знаю, кто это. Он преследовал меня на улице. Он пытался меня изнасиловать. Он сумасшедший. Я не знаю его имени. Я не знаю, кто он... Он хотел меня изнасиловать. Я не знаю. Я не знаю его. Я не знаю, кто это. Он сумасшедший. Я не знаю его имени.

Теперь Жанна уже больше не плачет.

© Copyright United Artists Corporation, 1972.

Перевод Ольги Рязановой



ЗАПИСКИ КОНФОРМИСТА, НЕ ДОЖИВШЕГО ДО ПЕНСИИ

Меня вызвали в первый отдел студии.

— Александр Михайлович, — сказал начальник первого отдела, избегая смотреть мне в глаза. — Финны отказываются подписывать договор с нашим директором и представителем «Совинфильма», пока не придут режиссер, оператор и художник. Так как оформление вашего паспорта несколько задержалось, может быть, вы дадите им телеграмму, что заняты, а потом поедете прямо на съемки?

— Я могу допустить, — сказал я, — что люди, оформляющие документы, могут неуважительно относиться ко мне, но я не допущу, чтобы неуважительно относились к моей профессии. Или я поеду сейчас и выберу все места съемки, выясню технические возможности и сроки, или не поеду совсем.

— Это ваше окончательное решение? Комиссия райкома будет только через неделю, а ехать нужно завтра.

— Значит, я еду завтра или не буду снимать этот фильм.

Назавтра мне вручили синий служебный паспорт, и вечером я сел в поезд, уходящий в Хельсинки.

На перроне в Хельсинки нас встречали три солидных джентльмена: два брата — совладельцы фирмы, задумавшей фильм о Ленине, и здоровый молодой парень с лицом боксера — мой коллега по профессии. Они с удивлением покосились на мою канареечную японскую горнолыжную куртку и кепочку цвета хаки, и мы расселись по машинам. В отеле «Торни» меня отвели в мой номер и сказали, что через час я, в костюме и галстук, должен быть на подписании контракта.

Я принял ванну и полюбовался тремя видами пипифакса. Потом напялил костюм и галстук, которые терпеть не мог, и заглянул в соседний номер, где жил мой соученик по ВГИКу, ныне заместитель директора студии, приехавший раньше нас. У того в номере было две кровати.

— А кто на второй? — спросил я.

— Это на тот случай, если ты вызовешь женщину и она останется на ночь.

— А можно вызвать?

— Можно, — сказал он, — и не дорого. Но имей в виду, если наши узнают, больше за границу не поедешь.

— Ладно, — сказал я, — как-нибудь потерплю до Ленинграда.

— Сегодня вечером, — сказал он, — финны приглашают нас на «Эммануэль».

— Это что такое?

— Забавный фильм о нимфоманке, очень любопытный фильм.

— Это что — провокация? Ведь мы же советские люди!

Он засмеялся.

— Советую сходить, я пойду второй раз.

В Финляндии я относительно быстро уладил свои дела. Я объездил все места, связанные с Лениным, и оговорил с представителями фирмы количество осветительной аппаратуры, время съемки, количество массовки и необходимые мне средства передвижения: операторский автомобиль, рельсы, тележки и т. д.

Один из совладельцев фирмы, которому принадлежала идея совместной постановки, красивый седой человек по мени Мауно был во время финской войны снайпером или, как у нас их называли, «кукушкой». Дом его был забит ружьями и винтовками всех систем, а на почетном месте в кабине висела грамота от Маннергейма и винтовка с оптическим прицелом, из которой он убил несколько сотен наших солдат. Каждый раз, когда я смотрел на эту винтовку, мне становилось не по себе и я задавал себе вопрос: почему же Мауно пришла в голову идея ставить фильм о Ленине? Однажды я впрямую спросил его об этом.

— Видишь ли, Саша, — сказал он, — в то время я ненавидел вас. Ведь вы хотели отнять у нас то, что дал нам Ленин, — независимость. Я ненавидел русских и все русское. Я даже приказал выкинуть на помойку русский самовар, хотя я очень любил чай из самовара. Но со временем я убедился, что русские — добрый народ и с вами можно иметь дело, если играть в открытую. Не могу сказать, чтобы я полюбил вас, но мы соседи, и

нам нужно жить в мире и быть честными партнерами. А Ленин для нас очень дорогой человек, может быть, такой же дорогой, как и для вас. Поэтому, если ты в следующий раз привезешь мне в подарок самовар, я буду рад и обещаю пить чай только из него.

Я пообещал Мауно привезти самовар, но, к сожалению, выполнить это обещание не смог по независящим от меня причинам.

До конца нашего пребывания в Финляндии оставалась еще неделя. Все мои дела были закончены, и теперь я изнывал от скуки. Хельсинки очень чистый и красивый город с прекрасными, набитыми товарами магазинами, с замечательными витринами, но тем не менее город очень провинциальный, в котором, если ты не знаешь языка, девать себя некуда весь день. Даже кинотеатры днем не работают. По вечерам нас водили в кинотеатры, принадлежащие фирме, и мы смотрели по два фильма за вечер.

Однажды смущенный представитель фирмы отвел нас в какой-то подозрительный кинотеатр на окраине и купил нам билеты за наличные. Нам выдали очки, из чего я понял, что кинотеатр стереоскопический. Когда в темноте билетерша усадила нас в кресла, я надел очки и остолбенел. Надо мной раскачивались груди побольше Вериных, потом в перспективу уходил весь остальной женский торс, а дальше находился джентльмен, который, похоже, старался не испортить даме прическу. Два часа мы наблюдали в стерео и цвете все возможности блуда, связанные нехитрым сюжетом. А потом, когда груди дамы с помощью джентльмена вновь стали раскачиваться над нашими головами, встали и, ошеломленные, вышли из кинотеатра.

— Вот,— сказал режиссер,— а ты говоришь: Бергман, Бергман...

Наша миссия подходила к концу, я истратил все деньги на подарки и теперь давал на чай гаванские сигары «Эскейпс», которыми была забита половина моего чемодана, свободная от водки и консервов. Оказалось, что это довольно щедрые чаевые, так как каждая сигара стоила несколько долларов на «проклятом Западе», объявившем экономическую блокаду Кубе. Поэтому моя популярность в гостинице резко возросла. А служащие фирмы считали меня чудачком и миллионером (если только можно было предположить, что в Советском Союзе есть миллионеры). Еще в первый день приезда, попивая кислое шампанское на приеме в честь подписания контракта, я заметил своего коллегу, стоявшего с выражением лица, соответствующим содержанию его бокала. В это время директор нашей студии и министр культуры Финляндии, симпатичная дама в очках, обменивались речами, и их снимали на телевидение. В конце своих спичей они подняли бокалы, засверкали вспышки блицев, и

мой коллега с видимым отвращением отхлебнул из своего фужера.

— А водка? — спросил я его.

— О, водка — вери гуд! — сказал он.

Официальная часть закончилась, и теперь предстоял официальный обед, присутствие на котором было для меня необязательным. Я подумал о тоске, которая будет царить на обеде, кивнул головой в сторону выхода и спросил коллегу:

— Гоу?

— Гоу, гоу,— закивал он.

У себя в номере я открыл чемодан и выгрузил на стол две бутылки московской винтовой водки, баночки икры, хрустящие ржаные хлебцы и разные дефицитные консервы из лососевых, то есть продукты, которые мы достаем с трудом, когда едем за границу, чтобы не посрамить Россию. Коллега позвонил по служебному телефону, и вошла очаровательная горничная, перед собой она катила тележку с большим количеством бутылочек пива фирмы Синебрюхова. Через полчаса мы были лучшими друзьями и объяснялись на ужасающей смеси англо-немецкого языка, разбавленного профессиональными терминами и жестикомацией племен каменного века. Так началась моя дружба с будущими коллегами по работе.

Уезжали мы в первый день рождественских каникул. С утра нас пригласили на фирму. Там каждый принес свое кулинарное изделие, и образовалась очень милая демократичная атмосфера, в которой директор и посильный дарили друг другу подарки и выпивали по маленькой горячей глинтвейна из чайника. Я раздарил все свои сигары, причем все заверяли меня, что выкурят их в новогоднюю ночь, и получил взамен кучу самых разнообразных подарков. Женщины соревновались в том, кто лучше подберет шапочку к моей дурацкой оранжевой куртке, и, как мне показалось, с удовольствием целовались, вручив мне подарок. С некоторыми я даже поцеловался несколько раз.

В этот день я увидел, как может напитокся целая страна. Когда поздно вечером мы ехали на вокзал, пьяны были все: портье и швейцары в гостинице, носильщики на вокзале. Трезва была только дочь Мауно, которая была за рулем и отвозила нас на вокзал, поэтому она была очень злая. В общем, расстались мы с финнами замечательно, и впереди была перспектива дружной и веселой работы.

Через неделю после приезда из Финляндии ко мне в павильон зашел наш начальник кадров по имени Лаврентий, но очень обижавшийся, когда его называли «Палыч». Хотя, вероятно, лет двадцать тому назад он гордился этим, так как работал в системе МВД. Он был похож на Гиммлера и Берию одно-

ременно. Ко мне он относился хорошо, потому что однажды я, преодолевая отвращение, последовал настоятельному совету директора одной из моих картин и принес ему в кабинет целый портфель, набитый виски и коньяком. После этого мое продвижение по службе пошло, как положено по тарификационному справочнику, и мне не приходилось снимать в два раза больше картин для следующей надбавки к жалованью, как раньше.

— Александр Михайлович,— сказал он,— сегодня в семь часов вечера комиссия райкома.

— Какая комиссия? — спросил я, сидя на крае.

— Выездная,— сказал он.— Вам же нужно выехать в Финляндию.

— Я только что оттуда приехал.

— Но вы не проходили комиссию.

— А зачем, если я там уже побывал? — Я достал из заднего кармана джинсов служебный синий паспорт и показал ему.— Вот виза на целый год.

— Так положено,— сказал он,— все пройдет через эту комиссию. Директор студии тоже пройдет, хотя он был в Финляндии, как и вы.

— Ладно,— сказал я,— но у меня съемка до семи.

— Ничего,— сказал он,— уйдете на полчаса раньше.

Я пошел на комиссию прямо со съемки в старых джинсах с заплатами и черном свитере. В коридоре перед дверью комиссии толпился народ. Пожилые мужчины в парадных костюмах расспрашивали друг друга: какое население Венгрии, сколько политических партий и кто председатель скупщины в Югославии. Все это напоминало обстановку перед экзаменом географии в седьмых — девярых классах средней школы.

Я почувствовал свое превосходство: ведь заграничный паспорт лежал у меня в заднем кармане и не какой-нибудь туристский, а солидный, синий рабочий паспорт сроком на пять лет и с визой на год.

Иногда дверь приоткрывалась и на площадку вылетал потный красивый человек. Люди в парадных костюмах бросались к нему, и я слышал лихорадочные вопросы: «Что спрашивали? Ну как? А сама вопросы задает?» Потом в дверях появлялась женщина с каменным лицом и называла фамилию следующего, и тот под возгласы «Ни пуха, ни пера» обреченно шел к двери.

Вскоре назвали и мою фамилию. Я вошел и остановился перед большим столом в форме буквы Г. Сбоку за малой гранью стола в одиночестве сидела очень важная и серьезная женщина с точно такой прической, как у Веры. За большим столом сидели все остальные,

их было человек восемь. Это были члены выездной комиссии. С краю стола примостился наш начальник отдела кадров и мой соученик по ВГИКу — заместитель директора.

— Садитесь,— сказала мне дама с прической, и я присел на одинокий стул, как подсудимый перед трибуналом.

Дама зачитала мою биографию и страны, в которых я побывал. Тут я узнал, что замечаний по поездкам я не имею. Значит, все это время я инстинктивно вел себя так, как и положено советскому гражданину. Потом дама спросила:

— Какие будут вопросы?

Комиссия слегка оживилась — видимо, мои джинсы и свитер отчасти развеяли благостную скуку, навеянную парадными костюмами предыдущих граждан. Наконец сухонькая седенькая старушка спросила:

— Скажите, а как вы повышаете свое идеологическое воспитание?

Я не знал, как можно повышать воспитание, тем более идеологическое, но вступить в спор по поводу правильности формулировки не стал.

— Газеты читаю,— сказал я.

— А какие газеты?

— Как какие? «Правду».

— А какую «Правду»?

— «Правда» бывает одна,— сказал я, радуясь тонкости своего ответа.

— Почему? — сказала старушка. — «Правда» бывает центральная и бывает ленинградская.

— Тогда я читаю и «Комсомольскую» тоже. Приходилось мне читать и новгородскую, и псковскую «Правды».

— Так,— сказала старушка,— и какое же событие в мире вы считаете самым важным?

— Встречу Брежнева с президентом Фордом,— не задумываясь, сказал я.

— Интересно,— сказала старушка,— а позвольте узнать, почему вы считаете это самым важным?

— Потому,— сказал я,— что пора уже двум великим державам договориться. Потому, что если мы договоримся, на земле не будет войн, не будет голода, и мы сообща сможем преодолеть стихийные бедствия и оказывать помощь слабым.

— Интересно,— сказала старушка,— а как же вы все-таки повышаете свой идеологический уровень (на этот раз она выразилась правильнее)?

— Больше никак,— простодушно ответил я.

— Ну а кружки по изучению марксизма-ленинизма? Вы их посещаете?

— Нет,— сказал я.

— Почему?

— Потому что я работаю.

Старушка дернулась, как будто я нанес ей пощечину.

— Мы все здесь работаем,— сказала она,— и все посещаем кружки.

— И вы тоже? — спросил я.

— И я тоже.

— Поздравляю,— сказал я.— Мне после работы до койки бы добраться, а не до кружка. Кроме того, я половину времени нахожусь в экспедициях и поэтому не могу быть приписан к какому-нибудь постоянному кружку.

— А как вы повышаете свой уровень в экспедиции?

Я начинал злиться и хотел сказать: «С помощью налива», но промолчал.

— Так все-таки, какое самое важное событие произошло в последнее время? — спросила старушка. Теперь она сидела, наклонившись вперед, сверля меня своими выцветшими глазами.

И вдруг я почувствовал, что не хочу снимать фильм о Ленине. Ни черта хорошего из этого не выйдет. Приличный фильм снять не дадут вот такие бабушки. Мог ли Владимир Ильич предвидеть, что спустя пятьдесят лет после его смерти будут комиссии, где восемь здоровых, оторванных от работы людей будут отрывать от работы еще большее количество, чтобы проводить унизительные и бессмысленные допросы, не приносящие никакой пользы? Думал ли Ленин, возмущавшийся тем, что ему дважды пришлось пойти в полицию, прежде чем получить разрешение на выезд за границу, что будет создана многостраничная анкета, и сотни людей месяцами будут сверять все данные, изучать досье и допрашивать человека, прежде чем послать его на работу или в туристскую поездку? «Единственное, что может погубить Советскую власть,— это бюрократизм»,— говорил Ленин. Ну что ж, Владимир Ильич как всегда был прав.

— Вы что, не слышите мой вопрос?! — прокричала старушка.— Какое событие вы считаете самым важным?

— Я вам ответил,— сказал я,— но, судя по всему, наши взгляды на важность событий не совпадают.

— Вы знаете,— сказала старушка,— что на той неделе у нас закончилась сессия Верховного Совета?

— Да ну? — сказал я.

— Так вот, я хочу, чтобы вы рассказали, какие вопросы разбирались на этой сессии. Вы же читаете газеты не только центральные, но и псковские?

— В газетах я читаю только четвертую страницу,— сказал я,— знаете, там, где футбол-хоккей и уголовная хроника.

— Вы что, смеетесь над нами? — Дама с прической даже привстала со стула.— Вы знаете, вам придется прийти сюда еще раз.

— Думаю, что нет,— сказал я,— полученного удовольствия мне хватит надолго. Желая приятных развлечений.— Когда я

выходил из комнаты, челюсти у членов комиссии слегка отвисли.

— Дурак,— сказала Вера,— господи, какой же ты дурак! Ты что, не знаешь, с кем имеешь дело? Ты живешь в определенной стране, с определенным законом, как же ты можешь его не соблюдать?

— Соблюдать — твоя обязанность: ты же прокурор.

— Не остри,— сказала Вера.— Ну и чего ты добился, дурак несчастный? Плохо тебе было в Финляндии? Снял бы фильм — стал бы лауреатом: за Ленина всегда лауреатов дают. Привез бы кучу шмоток, ездил бы и дальше. У нас ведь только начини ездить — не остановиться. А так — тыфу... По виду ведь и не скажешь, что имеешь дело с клиническим идиотом. Человек всегда должен иметь цель! Вот я поставила цель и пожалуйста: на первом курсе — комсорг, на третьем — член партии, в тридцать лет — районный прокурор! Много ты видел тридцатилетних прокуроров? И это не конец.

— А что — конец? — спросил я.

— Муж — капитан дальнего плавания, уважаемый человек; квартира — пять комнат в центре города; дача, машина и денег сколько хочешь, я даже не знаю сколько. Все у меня есть и только потому, что я поставила цель и уважаю закон.

— Ты его не уважаешь — ты его обходишь.

— Потому и обхожу, что уважаю,— сказала Вера.— Это такие дураки, как ты, идут напролом и разбивают себе головы. Зачем ты это сделал, была у тебя цель?

— Была,— сказал я,— я не хотел снимать фильм о Ленине.

— Зачем же ты пошел с самого начала?

— Тогда я этого не понимал, а потом не мог сам себе объяснить. Понял это только в райкоме — старушка помогла.

— Почему ты не хотел снимать фильм о Ленине?

— Понимаешь,— сказал я,— снять про него правду — время не пришло: сейчас это невозможно. А снимать ложь — душа не лежит.

— Можно подумать, что ко всем твоим остальным фильмам у тебя душа лежала...

— Я наемный убийца,— сказал я,— но я не растлитель и не вор.

— Ты опасный человек,— сказала Вера,— ты плохо кончишь, нужно держаться от тебя подальше.— Она натянула стриптизные трусики.— Есть у тебя расческа?

— Зачем тебе?

— Не могу же я выйти от мужчины с такой прической.

За окнами стало темно, когда она вышла

из ванной с некоторым подобием башни на голове.

— Давай попробуем не испортить прическу,— предложил я.

— Нет уж, на сегодня с меня хватит,— сказала она,— хватит твоих дурацких рассказов. Терпеть не могу дураков.

— Ты знаешь,— сказал я,— ведь сегодня я в тебя заложил столько информации в виде генетов, что ты имеешь шансы поглупеть.

— Как это? — спросила она.

— Есть теория, по которой женщина получает информацию от мужчины во время совокупления. Поэтому если она живет с умным мужчиной, то она умнеет, а уж если с дураком, то глупеет катастрофически.

Вера оправила платье и зажгла свет. Губы были жирно намазаны помадой, глаза подведены, и теперь она снова напомнила мне даму из райкома. Я налил полстакана виски.

— Да здравствует закон и его прекрасные представительницы,— сказал я.

Поджав губы, она, стараясь не шуметь, повернула ключ и вышла из номера, не прощаясь.

Теперь на пляже я лежал один. Вера и Аня выходили поздно и не раздеваясь садились на лежаки под зонтиком метрах в пятидесяти от меня. Здоровались они холодно и официально, и я понимал, что имею честь быть знакомым с прокурором и женой ответственного работника. Примерно раз в три дня перед обедом на пляже появлялся один из мафиози, и женщины покорно, но с достоинством шли за ним в машину. Я читал, загорал, купался и в общем не испытывал желания общаться, поэтому держался по возможности в стороне от компании московских кинематографистов, которые, как коттики на лежбище, лежали вокруг Метра.

Ко мне подсел высокий, дочерна загоревший парень — бывший чемпион мира по метанию копья. Он был женат на кинозвезде, с которой я учился одно время во ВГИКе. Сейчас звезда подставляла солнцу интимные места своего по-прежнему стройного и молодого тела, выслушивая при этом что-нибудь особенное из уст жены Метра.

— Какая тоска,— сказал Чемпион.— Будь я проклят, если хоть что-нибудь понимаю из того, что он несет.

— А вы запоминайте,— сказал я,— только потом вы поймете, что находились в мире мудрых мыслей. Быть рядом с великим человеком — это не каждому удается.

— Мне удастся,— сказал Чемпион и зевнул.— Однажды в Лондоне я поставил мировой рекорд. Меня пригласили на ужин к королеве, и весь вечер вокруг меня прыгали фотографы с блицами. Рядом сидела какая-то тощая баба, которая все время норовила ко мне

прижаться, чтобы попасть в объектив фото-репортера. Когда я утром купил все газеты, оказалось, что я на фотографиях где-то сбоку, а то и вовсе торчит часть моего плеча или уха. Ну, думаю, и фотографы, пьяные они, что ли? Но эта тощая, что сидела рядом, на всех фотографиях была в центре. Потом мне объяснили, что она — это Мисс Мира. Никогда бы не подумал — она моей Таньке и в подметки не годится.

— Интересно,— сказал я.

— Или,— сказал Чемпион,— летим мы как-то через Касабланку в Штаты. Я сижу в своем туристском салоне вместе с командой, вдруг подходит стюардесса и просит пройти в пассажирский салон. Я пошел. Сидит за столиком седой мужик с бородой, на столе целый бар: и виски, и джин, и вермут. Что, спрашивает, будет пить чемпион? Я выпил апельсинового сока, а он интересуется про метание. Оказывается, он в двадцатых годах тоже копые метал. По тем временам неплохо, особенно если учесть, что он любитель. Ну а сейчас я запросто метаяу в два раза дальше. Ну посидели мы до Касабланки. Он вылакал бутылку джина и бутылку вермута и — ни в одном глазу. В Касабланке остановка. Мы с командой гуляем около самолета. Видим, тащут огромные кофры и идет мой старик. Пожал мне руку, похлопал по плечу, сказал что-то вроде «ни пуха» и ушел. Меня спрашивают: «Ты знаешь, кто это такой?» Откуда мне знать. Дурак, говорят, это Хемингуэй. Нужно было хотя бы автограф взять, а то ведь никто не верит.

— Я верю,— сказал я.— Не хотите ли выпить? Замечательную историю вы рассказали.

— А что, вы с собой на пляж носите? — с любопытством спросил Чемпион.

— Нет, но мы можем подняться ко мне.

— Да я не пью,— тосливо сказал Чемпион,— я ведь все-таки спортсмен, хотя и бывший.

— И никогда не пили?

— Пил,— грустно сказал Чемпион,— но я буйный. Уж лучше не пить.

Вечером я опять в одиночестве сидел на террасе бара и, потягивая «Bells», наблюдал, как Метр вещает в компании, сидящей за сдвинутыми столиками. Мои коллеги напряженно смотрели в рот Метру, как будто оттуда вот-вот вылетит птичка. На всех лицах было восторженное выражение. Я подумал, что многие современники Метра давно лежат в могилах. И Эйзенштейн, которого я не застал, и Савченко, серый от усталости, замученный человек, которого я встречал в коридорах ВГИКА, и роскошный седой Довженко, говоривший стихами в прозе, и ироничный, совестливый Михаил Ильич Ромм, и даже

Чиатурели, который после двадцатого съезда партии из всех своих многочисленных наград с утра до вечера носил только орден Ленина. Все они уже в могилах.

Из бара на террасу вышли Вера и Аня. Они огляделись и пошли устало в дальний угол террасы. Следом за ними вышли трое мафиози, на этот раз одетые в джинсы и адидасовские футболки. Походки их напоминали походку ковбоя, проскакавшего без отдыха две-три миль.

Через некоторое время к моему столику подошел самый молодой мафиозо.

— Извините, пожалуйста, — сказал он, — но мы просим вас подсесть за наш столик. — Я собираюсь уходить, — сказал я.

— Не обижайте нас, мы вас очень просим.

Я встал, взял бутылку с остатками «Bells» и стакан, и пошел мимо компании Метра в темный угол террасы, где стоял столик. Метр проводил меня взглядом. Я заметил, что в последнее время его, привыкшего к всеобщему вниманию и восхищению, беспокоит, что я держусь на отшибе и лишь раскланиваюсь с ним при встрече. Я заметил Чемпиона, когда проходил мимо, он сидел рядом со своей красивой женой, и на лице у него была написана смертная тоска.

Компания, сидевшая за столиком, к которому я подошел, видимо, была сильно утомлена дневными маневрами. Мужчины развалились в креслах, закинув обтянутые голубыми джинсами ноги, демонстрируя туфли на высоких ковбойских каблуках. Женщины, наоборот, сидели прямо, скромно потупив взоры, как и положено приличным женщинам, попавшим в мужскую компанию. Шелковая каблуками, мафиози сердечно пожали мне руку. Двое младших, руководствуясь легким движением руки человека с бриллиантовыми челюстями, кинулись в бар, а я был рядом с Аней и Верой так, чтобы мне была видна терраса с баром и вспышки маяка за вершинами сосен. Хотя человек, который назвался Дато, сидел спиной к свету и на лицо его падал только свет звезд и луны, зубы его светились и при этом скудным освещении. Такие светящиеся зубы я видел только однажды у знаменитой певицы, которая встала их во время гастролей в Америке. Обошлись они ей в пятнадцать тысяч долларов.

— Девушки очень много рассказывали о вас, — сказал Дато, лениво почесывая под адидасовской футболкой волосатую грудь. — Говорят, вы тут единственный, с кем можно не умереть со скуки. Но уж мы им умереть не давали. Правда, девушки? — Он улыбнулся лениво-снисходительной улыбкой самца, довольного проделанной работой. Вера хихикнула, а Аня втянула голову в плечи и слегка съежилась.

К нашему столику поспешно приближа-

лись обе барменши и мафиози с подносами, заставленными бутылками и чашками с кофе. Это была демонстрация невиданного уважения. Даже Метр получал свой кофе сам и сам относил его на столик. Дато взял с подноса бутылку отборного армянского коньяка и брезгливо отгледел ее. Барменши извиняюще залопотали что-то по-грузински.

— Ладно, — снисходительно сказал Дато, — пришлю вам ящик — хорошие люди должны пить хорошие напитки.

Дальнейшее было наполнено бесконечными грузинскими тостами. Причем я заметил, что меня явно пытаются спить. Я уже бывал свидетелем подобных проявлений «гостеприимства», когда спаивают мужчину, а потом уводят его жену или любовницу и делают с бедной женщиной черт знает что. Иногда это оканчивалось трагически, но обычно женщины, руководствуясь врожденным практицизмом и заботой о мужьях, молчали, и их соблазнитель становился друзьями семьи и дома — настоящими «рыцарями» без страха и упрека. Но в данном случае дамы не нуждались в защите, они сами пошли на это добровольно, и я ничего не мог изменить.

На террасе появилась директриса Дома творчества — величественная дама в трауре с лицом Пассионарии. Когда-то во время культа личности она была крупным партийным начальником, видимо, тогда она была необыкновенно красива. Сейчас ее лицо сохранило остатки былой красоты, но в сочетании с трауром оно наводило ужас на легкомысленных русских девушек, которых она безжалостно выгоняла из Дома с сопроводительными письмами на работу. Письма могли бы служить лучшими рекомендациями для поступления в публичный дом, надумай девушки туда поступать. Сейчас она подошла к нашему столику, и младший мафиозо вскочил и пододвинул ей кресло. Дато, полуобернувшись, приветствовал ее доброжелательным движением руки. Директриса присела на краешек кресла, прямая как палка, и обвела нас начальственным оком. Наши дамы не съежились под ее взглядом — их осеняла тень Дато.

— Выпьем за избранника народа, — сказал Дато и, не вставая с кресла, вытянул волосатую руку, украшенную массивной «сейкой», в сторону молодого мафиозо.

Директриса брезгливо двумя пальчиками взяла фужер с шампанским и, не сводя глаз с Дато, небрежно чокнулась со вскочившим молодым человеком. Я тоже чокнулся, не понимая, о чем идет речь. Теплая расслабляющая волна алкоголя наполнила меня симпатией к окружающим. Дато и его друзья, которые совсем недавно казались мне воплощением всего гадкого, чем может обладать самец грузинского происхождения, теперь казались мне милыми, симпатичными ребя-

тами, немного ограниченными, но щедрыми и не дураками повеселиться. А директриса, которая напоминала мне зловещую черную птицу, теперь казалась славной, доброй женщиной, по-матерински снисходительно относящейся к шалостям своих сыновей или племянников (как ни удивительно, и Дато и два других молодых человека имели неувольнимое сходство с директрисой). «А говорят, алкоголь — зло», — подумал я. Теперь и Метр казался мне добродушным старикашкой. Он подошел к нашему столику. Дато вскочил, директриса представила его, и Дато, низко кланяясь, с холуйской улыбкой заглядывал в лицо Метра. Потом Метру представили дам и остальных мафиози и уже собирались представить меня, но Метр сделал рукой успокоительное движение и сказал:

— С этим молодым человеком мы давно знакомы.

Мы действительно были давно знакомы, но я не думал, что Метр с его глубоко насыщенной общественной работой жизнью запомнит это знакомство. Потом мы выпили за Метра, величайшего режиссера всех времен и народов, а потом почему-то за Метра и младшего мафиозо как за избранных народа, причем они торжественно пожали друг другу руки. Потом наш столик стал обрастать поклонниками и учениками Метра, которые не могли долго находиться в одиночестве и без руководства. Я решил смыться по-английски — хлопнул на прощание фужер коньяку и, сделав по возможности благопристойную видимость немедленной потребности в туалете, стал пробираться сквозь стулья поклонников Метра. Лифт уже не работал. Дом спал, и только пьяный галдеж на террасе бара проникал сюда, в центр Дома.

В номере я открыл холодильник — слава Богу, выпивки было достаточно. Понимая, что это лишнее, я все-таки налил полстакана «Bells» и вышел на балкон. Взрывы смеха на террасе бара становились все тише и постепенно заглушались мерным шумом волн. Сквозь сосны периодически мерцал луч маяка. Море светилось, отражая сияние звезд.

Свет в номере за моей спиной погас, и я подумал, что перегрела лампа. Я еще немного постоял на балконе, допил виски и стал раздеваться, заходить в духоту номера не хотелось. Когда, оступив на балконе, я зашел в номер и включил настольную лампу, в моей постели лежала Аня. Она лежала поверх покрывала в белых трусиках и белом бюстгалтере. Платье было аккуратно повешено на спинку стула.

— Подарок, — сказал я, — подарок прокурора.

— Погаси свет и иди ко мне, — сказала она.

Я погасил свет и сел на кровать. Пожалуй, я был слишком пьян, чтобы заниматься любовью.

— Помогите мне, — сказала она и повернулась ко мне спиной.

В этот момент раздался стук в дверь. Аня прижала ладонь к моему рту.

— Не открывай, — шепнула она.

Стук повторился, громкий и настойчивый, и я понял, что если люди позволяют себе так стучать в три часа ночи, они не уйдут, не добившись своего.

— Кто там? — спросил я сонным голосом.

Стук повторился. Я понял, что сейчас они разбудят весь дом, и хорош я буду пьяный с чужой женой, когда начнут выламывать дверь. Я надел плавки и, оставив сжавшуюся от ужаса Аню на кровати, пошел открывать, предварительно закрыв дверь из прихожей в спальню.

Стук не прекращался.

— Какого черта... — сказал я и открыл дверь.

В коридоре стояли Вера, Метр и молодой мафиозо, в руках у них были бутылки с шампанским и коньяком.

— Мы хотим, — сказал мафиозо, — чтобы вы посидели с нами.

— Я уже сидел с вами целый вечер, — сказал я, — сейчас я пьян и хочу спать.

— Вы не видели Аню? — спросила Вера, глядя на меня в упор своими бесстыжими зелеными глазами.

— Какую Аню? — глупо спросил я.

Мафиозо мягко потеснил меня и вошел в номер. «Сейчас будет драка», — подумал я. Только этого не хватало. Представляю, какое удовольствие получит Метр. Мафиозо вышел из номера слегка обалдевший и заглянул в туалет. Сейчас у него был вид мужа-рогоносца.

— Так вы не хотите выпить с нами? — глго спросила меня Вера.

— Я предпочитаю увидеть вас во сне. Простите, мне действительно нехорошо. — Закрывая дверь, я увидел, как мафиозо недоуменно развел руками. Потом я услышал удаляющиеся шаги и повернул ключ на два оборота.

В комнате никого не было. Не было ни Аниного платя, ни ее туфель, и только помятое покрывало на постели могло бы кое-что подсказать Шерлоку Холмсу. Я настолько одурел от событий, произошедших за сегодняшний вечер, что не очень удивился отсутствию женщины, которая всего пять минут тому назад сидела на моей постели. Потом я заглянул под кровать — пусто, выглянул на балкон — никого. И только когда я налил в стакан немного виски, чтобы прийти в себя, шезлонг на балконе зашевелился и из-под него выползла Аня, держа в руках платье и туфли. Все это время она лежала на кафельном

полу под шезлонгом.

— Зачем ты пришла ко мне? — спросил я, когда некое подобие любви состоялось.

— Мне страшно.

— Кого ты боишься?

Она заплакала.

— Я боюсь их.

— Но они же друзья твоего мужа?

— Поэтому мне и страшно. Сегодня они пригласили еще пятерых, и когда я попробовала отказаться, сказали, что напишут мужу.

— Это у них шутки такие, — сказал я, — шутки начальников. Но здорово вы их вымолтали, если они приводят подмогу.

— У них это называется «для друга ничего не жаль».

— Где это твой муж нашел таких друзей?

— Они были на каком-то семинаре в Москве, а потом заехали на три дня к нам. Но я бы никогда не подумала — такие вежливые, воспитанные мужчины.

— Воспитание написано на их рожах крупными буквами, только трудно определить, получили они его в Кембридже или Оксфорде.

— Я боюсь идти в номер, — сказала она, — опять начнется этот кошмар.

— Не начнется, — сказал я, — они пригласили великого режиссера и на первых порах постесняются разыгрывать перед ним подобные мизансцены.

— Можно, я останусь до утра у тебя?

— Ладно, — сказал я. — Хочешь выпить?

— Я не пью, — сказала она, — ну только если чуть-чуть шампанского.

— За шампанским нужно идти к ним. У меня только виски и коньяк.

Я налил ей коньяку, который принесла мне Вера со стола мафиози. Это был «Тбилиси» двадцатилетней выдержки, сделанный на экспорт. Он сильно отличался от того «Тбилиси», который продавали в магазинах, я бы даже сказал, не имел с ним ничего общего. У мафиози был неплохой вкус на выпивку, да и на женщин тоже. Об этом я подумал, глядя, как она сидит на постели в позе Будды, поджав под себя ноги и втянув живот.

— Не надо, — сказала Аня, — я сегодня так устала. Мне даже думать об этом противно.

— Какого же черта ты залазаешь ночью в номер пьяного мужчины? Может быть, чтобы прослушать лекцию о пользе полового воздержания?

— Если ты хочешь, я уйду, — сказала она.

— Ладно, — сказал я, — делай, что хочешь, я тебя трогать не буду, я не половой террорист и не принадлежу к компании друзей твоего мужа. Он что у тебя — садист или мазохист?

— Не знаю, — сказала она, — сейчас он алкоголик и импотент. Когда-то был нормальный парень, у нас с ним двое детей.

— Что же случилось?

— Он так переменялся, когда стал начальником. Стал поздно приходить, дома напивался в одиночестве, потом я узнала, что у него есть любовницы. Он начал меня бить, унижать. Хотя на людях мы образцовая семья. — Она зарыдала. — Мы ненавидим друг друга.

— Так разойдитесь.

— Он начальник, — сказала она. — Разойтись — это значит конец карьеры.

— Ну и черт с ней, с карьерой, — сказал я. — Жить ведь так нельзя.

— Ты дурачок, — сказала она. — А как же мы будем жить? Ведь ни он, ни я ничего не умеем. Он комсомольский вожак из села. Я имею незаконченное среднее образование. Я забеременела в девятом классе. На что я буду жить, на какие шиши?

— Пойдешь работать, — сказал я. — Ты женщина молодая, красивая. Можешь стать манекенщицей, модельершей, секретарем. Найдешь себе мужа — другого начальника, доброго.

— Они добрыми не бывают, — сказала она, — добрые в начальниках не задерживаются. И мужа никакого я не найду. Все вы только норовите переспать. А кто возьмет женщину с двумя детьми? Никому я не нужна. Я порченная. Я не могу стоять в очередях, не могу есть городскую колбасу, не могу сидеть на работе по восемь часов, не могу ездить общественным транспортом и все время крутиться, крутиться, крутиться... Я привыкла, что у меня свой парикмахер, я не думаю о продуктах, о билетах в театр. Меня все уважают, мне всё доставляют на дом. Куда хочу — могу поехать, даже в ваш засра-тый Дом, куда вы, кинематографисты, путевок достать не можете, а я, если захочу, поеду в любое время.

— А действительно, чего ты надумала приехать сюда?

— Это все Верка — у нее в молодости были любовники кинематографисты, говорит — хорошие ребята. Вот и решила тряхнуть стариной. Да нет, у вас тут хорошо, если бы только мой идиот не дозвонился до своих приятелей.

— Да уж, приятелей он выбрал что надо.

— А они все такие, — неожиданно спокойно сказала Аня. — Думаешь, эти первые, с кем я спала? У них только одно общее — очень они скучные и в любви ни черта не понимают, хотя похотливые, как коблы. Потом у них комплекс: «Если я начальник — ты дурак, если ты начальник — я дурак».

— Да, — сказал я, — Фрейд до такого комплекса не додумался.

— Женщины нужна нежность, — сказала она, — нежность и любовь. Поцелуй меня, пожалуйста. — Потом она сказала: — Ты не

сердись на Веру. Она очень переживает, что вы поссорились.

— Я с ней не ссорился, и потом я думаю, что вряд ли у нее было время для переживания.

— Ты имеешь в виду наших друзей? Дурачок, — сказала она. — Ты был в Копенгагене?

— Нет, — сказал я.

— Там, в центре на площади, есть секс-шоп, и в витрине выставлена такая штука, вроде мотоцикла. Садись на нее, как на мужчину, и регулируешь ручкой газа то, что тебе нужно. Замечательная вещь для онанизма, только дорого стоит. Так вот, друзья моего мужа — тоже приспособления для онанизма, только без регуляторов, их нельзя вовремя выключить. Поэтому когда их много — это невыносимо. А если им не даешь, они грозятся написать мужу.

— Ты баба с перцем, — сказал я.

Мы оба засмеялись.

— Слушай, — спросил я, — скажи правду, это тебя Вера послала?

— Нет, — сказала она. — Мы с Верой старые подруги и бывали с ней в разных переплетках, но я пришла сама. Я знаю, что у тебя было с Верой, но ты ей обо мне не рассказывай. Если хочешь, я буду приходить к тебе тайком.

Мы выпили коньяку, и я помог ей застегнуть бюстгалтер.

— Чао, гамарджоба, — сказала она.

— По-моему, самое время познакомиться с твоим мужем, — сказал я.

Утром, небритый и невыспавшийся, я спустился в столовую. В башке у меня стоял туман от смесей шампанского с виски и коньяком, а по организму изнутри бежали мышки — симптомы алкогольного отравления. Завтрак был парадный, на столе стояли икра и чешское пиво. Для меня это было очень кстати. В середине завтрака в столовую вошла директриса в самом парадном из своих траурных платьев.

— Дорогие друзья, — сказала директриса, — сегодня у нас праздник — день выборов в Советы депутатов трудящихся. Поэтому после завтрака подадут автобусы и вы сможете отдать свои голоса за избранников народа.

Допив пиво, я вышел на улицу и стал обдумывать план действий. Сейчас я поднимусь в номер, выпью полстакана «Bells», а потом — сон на пляже под зонтиком в чередовании с купанием в замечательной, прохладной, бодрящей, снимающей любой похмелье и душевную грязь воде. Мимо меня прошли под руку Вера с Метром. Они величественно кивнули мне, и я склонился в низком поклоне. Наконец Вера добралась до истоков совет-

ского кино. За ними шла жена Метра, одетая в платье от Диора, под руку с Дато, который сверкал своими бриллиантовыми челюстями, отвечая на приветствия местного обслуживающего персонала. На этот раз мафиози отсутствовали. Я смотрел, как нарядная публика заполняет автобусы и как Дато усаживает Метра и дам в две сверкающие черные «Волги», несколько перегруженные хромированными деталями. Мимо меня, торопясь, пробежала Аня и нырнула в одну из «Волг». Я заметил, что у обеих Мессалин прически в полном порядке. Видимо, Дато с утра свозил их к парикмахеру и им не пришлось стоять в очереди.

— А вы разве не едете? — усышал я голос.

Я обернулся — за мной стояла директриса.

— У меня нет открепительного талона, — сказал я.

Строгое выражение лица директрисы сменилось снисходительной улыбкой.

— Ну за избранника народа вы можете проголосовать и без талона, я думаю, что здесь ни у кого нет талона.

— А если я проголосую против?

— У нас никто никогда не голосует против, — резко сказала директриса.

— Вот видите, — сказал я, — как я могу испортить вам картину. А потом я поеду в другие участки и, не имея открепительного талона, проголосую против и там, а представляете, если я не один, а действует целая банда аморальных людей, которые, пользуясь тем, что у них не спрашивают талонов, с утра до вечера ездят по стране и голосуют против. Понимаете, к чему может привести подобное нарушение закона?

На лице директрисы отразилась напряженная работа мысли.

— Но вы же так не поступите? — неуверенно сказала она.

— Я не знаю кандидата, — сказал я, — я не встречался с ним, не слушал его предвыборных обещаний. Я привык серьезно относиться к своим гражданским обязанностям. Я не могу голосовать за незнамого мне человека.

— Да знаете вы его! — воскликнула директриса и ткнула пальцем в агитационную афишку, висевшую около проходной. — Это Гиви.

— Не имею права, — сказал я, — без открепительного талона не имею права. С вами едет прокурор — вон та прекрасная блондинка, — я кивнул на Верочку, выглядывавшую из машины. — Она вам все объяснит по поводу наказаний, предусмотренных за нарушение закона о выборах.

Вконец растерявшаяся директриса обре-

ченно пошла к машине, вероятно ожидая, что там Верочка наденет на нее наручники. Праздничный кортеж с гудками сорвался с места.

Я подошел к агитационной афише. С нее на меня смотрел красивый молодой человек в галстук, со скромным и достойным выражением лица. В нем с трудом можно было узнать одного из мафиози, сопровождавших человека с бриллиантовыми челюстями и, по словам Веры, оберегавшего его от закона. Это был он — Гиви — человек, который сегодня ночью без спроса вошел в мой номер в поисках Ани.

«Немедленно надо выпить», — подумал я и побежал к лифту.

В марте 1953 года умер Сталин. В этот момент я лежал на кушетке у Марии Николаевны с распухшим коленом, которое я расшиб накануне на съемке, и с трудом мог доковылять до туалета. В этом случае больная нога спасла мне жизнь, так как иначе я бы наверняка поперся на похороны, где бы и попал в число тех пятисот несчастных, которых Великий Вождь и Учитель унес с собой на тот свет. В отличие от Николая II Кровавого общественной Ходышкой увенчались не восхождение на престол, а его похороны. Люди давили друг друга для того, чтобы в последний раз взглянуть на Великого Вождя Народов.

Я лежал на кушетке, слушал траурную музыку и сообщения о тяжелом состоянии его здоровья. Как я узнал позднее, Сталин был уже мертв, но сводки об ухудшении передавались еще несколько дней, прежде чем решили оповестить народ о его смерти. Никто не знал, как же жить дальше без Вождя. Не знал этого и я, поэтому, лежа на кушетке и захлебываясь слезами, я молил Бога, чтобы он позволил мне умереть, лишь бы великий Вождь остался жив.

Теперь мне понятна мощь пропаганды, которая заставила мое поколение идти в атаки с именем Сталина на устах, прощаться с жизнью, думая о нем, стоя на вилицах или под дулами автоматов. Так же понятна страшная мощь пропаганды, заставлявшая двенадцатилетних мальчишек стрелять по советским танкам среди развалин Берлина.

Но в тот момент я искренне молил Бога (если он есть) взять мою жизнь взамен Его. Никогда я не плакал в своей жизни так — ни до, ни после этого. А ведь я похоронил своего отца, и мать, и многих близких мне людей. Я лежал, слушая траурный митинг с Красной площади. Я слушал прерываемый рыданиями го-

лос Молотова и твердую, исполненную мужества речь Берии, который говорил, что враги надеются, что Великое Дело, начатое Сталиным, умрет, но пусть они знают, что оно будет жить вечно, органы не допустят этого.

— Он очень вовремя умер, — сказал дядя Пепа, — неизвестно, что бы случилось, проживи он еще, может быть, третья мировая — он был в состоянии ее начать. — Мы сидели на кухне и разбирали журналы с фоторепортажами о похоронах на Красной площади. — А вот этот колорадский шериф еще на свободе, — сказал дядя Пепа, указывая на Лаврентия Павловича Берия, который в черном пальто и черной широкополой шляпе придерживал край гроба, в котором лежал Сталин. Голос дяди Пепы звучал жестко, и я подумал, что, может быть, дядя Пепа принадлежат к тем людям, о которых говорил Берия.

Павлик Морозов ожил во мне, и я с ужасом смотрел на усталое лицо дяди Пепы, на его покрытые экземой руки, пытаюсь распознать в нем врага. В моем мозгу выстроилась страшная цепочка: мой отец предатель — он его брат, яблоко от яблони недалеко укатится... Но я?... Кто же я? Я сын предателя и племянник брата предателя. Значит, я тоже?... Но как же тогда Павлик Морозов? Как же он нашел в себе мужество? Ведь он тоже был сыном. Почему же не можешь ты во имя Великого Дела, ради которого жил и умер Вождь народов? Нет, я не находил в себе этого мужества.

— Давай выпьем, — сказал дядя Пепа и достал пыльную, оплетенную соломкой бутылку французского коньяка, доставшуюся ему из запасов Геринга.

— За вечную память, — сказал я, держа в руках семейную рюмку, из которой пил еще прадед дяди Пепы.

— Нет, — сказал дядя Пепа, — за его память я пить не буду и тебе не советую. Выпьем за память убитых им и погибших по его вине — их миллионы. — Слова дяди Пепы звучали кощунственно, но голос у него был убежденный, и я выпил. Никогда позже я не пил коньяка лучше, видимо, Геринг тоже был не дурак насчет выпивки. — Теперь, — сказал дядя Пепа, — выпьем за здоровье твоего отца. — Это был первый случай, когда он заговорил со мной об отце.

— Он же предатель, — сказал я.

Дядя Пепа молча вертел рюмку в руке.

— Запомни, — сказал он, — среди Чечульских предателей не было.

— Но как же тогда?..

— Не надо, мальчик, — сказал дядя Пепа и положил мне руку на голову. — Пройдет время, и ты все поймешь. Выпей за здо-

ровые твоего отца. Дай Бог, чтобы ему хватило его, чтобы дожить до встречи с вами.

Мы выпили и закусили лимоном и ломтиками рокфора. Приятное тепло распространилось по моему телу, и я видел, как повеселел дядя Пепа.

— Шумел ночной Марсель в притоне «Трех бродяг», — неожиданно пропел он.

Сейчас мне почти столько же лет, сколько было в то время генерал-полковнику Чечулину, и сейчас я лучше понимаю, что происходило с ним тогда, но в тот момент я был ошеломлен и растерян.

— Пей, мальчик, — сказал дядя Пепа. — Женщины придут сегодня поздно, и мы можем посидеть спокойно как мужчина с женщиной. Иногда я думаю, что эта жирная свинья Геринг затеял войну с Францией, чтобы попить этот коньяк и закусывать настоящими французскими сырами.

— И Гитлер тоже?

— Нет, — сказал дядя Пепа, — Гитлер нет. У того были другие мотивы. Тот был идейный параноик-вегетарианец. А Геринг слишком любил свой желудок и понимал толк в жратве и выпивке, поэтому мог затеять войну и для этого.

— Ты тоже понимаешь толк в жратве и выпивке? — спросил я.

— Понимаю, — сказал дядя Пепа, — но я русский человек, воспитанный на Достоевском и Чехове, поэтому не сравнивай меня с Герингом.

— Может быть, он тоже любил Достоевского и Чехова?

— Никогда, — сказал дядя Пепа, — никогда фашист не полюбит Достоевского.

— Почему?

— Потому что Достоевский антифашист, хотя, наверное, и не догадывался об этом.

— Я не могу читать Достоевского, — сказал я, — я боюсь его.

— Правильно, — сказал дядя Пепа, — правильно, что ты его боишься. Наверное, поэтому из тебя и не удастся сделать фашиста. Со временем ты перестанешь его бояться, и как я тебе завидую, что ты прочитаешь «Братьев Карамазовых»! Господи, какое счастье ожидает тебя! Только не спеши, не торопись. Важно прочитать Достоевского, тогда ты будешь понимать его не только кожей, но и умом. Сейчас читай Хемингуэя — он тоже антифашист и тоже замечательный писатель, но по возрасту он будет тебе более понятен. Надеюсь, Пушкина и Лермонтова ты читал?

— Да, — сказал я, — в детстве.

Дядя Пепа засмеялся.

— Их не грех перечитать и во взрослом состоянии.

— А кого ты любишь из советских писателей? — спросил я.

— Никого, — сказал дядя Пепа. — Советских писателей нет. Есть русские писатели, грузинские писатели, есть просто писатели, а советских писателей нет, как нет социалистического реализма. Реализм не может быть социалистическим или критическим или еще каким — или он реализм, или нет. Так и литература. Она бывает двух сортов: или хорошая, или плохая, все остальные выдумали негодяи. Есть две хорошие книги, которые относят к советской литературе, но они достижения мировой литературы. Это «Тихий Дон» и первые части «Хождения по мукам». Есть хорошие, честные писатели, и сейчас, мы их, правда, мало знаем. Такие как Платонов, Булгаков. Были замечательные писатели, которые могли бы прославить нашу литературу, но их убили с вехом твоего Вождя и Учителя. Это и Артем Веселый, и Бабель, и многие другие. Я надеюсь, что те, кто остался в живых, пишут такое, что будет опубликовано через много лет после их смерти. Хотя вряд ли. Они работают для того, чтобы жить, а на остальное у них не остается времени. Вот только, Шолохов внушает мне надежду. Не может писатель такого класса так долго молчать.

— Говорят, он пьет, — сказал я.

— Жаль, — сказал дядя Пепа, — хотя я его понимаю, уж лучше пить, чем писать то, за что сейчас дают премии.

— Но ведь премии дают за то, что литература служит обществу?

— Радищев тоже служил обществу, — усмехнулся дядя Пепа, — но получил за это пожизненную каторгу. Служили обществу и Пушкин, и Лермонтов, и Достоевский. Для русского писателя всегда было оскорблением получать награды из рук власти имущих. Но почему-то товарищи Фадеевы, Бабаевские, Федины и другие этого не стесняются. Хотя, прямо скажем, литература у них несколько отлучается и не в лучшую сторону.

— Но им премии дает народ, — сказал я.

— Сталинские премии — дает народ? — дядя Пепа засмеялся. — Знаешь, сколько этих премий я мог бы иметь, если бы не старомодное воспитание? Я ведь директор двух институтов, и у меня каждый год половина сотрудников получает эти премии.

— Почему же ты их не имеешь?

— Деловой вопрос современного молодого человека, — сказал дядя Пепа. — Я русский офицер, и у меня, слава Богу, сохранился кодекс чести русского офицерского корпуса, который не позволяет носить незаслуженные награды. Я последнее время только и делаю, что отбиваюсь от этих премий, правда, отчасти твой отец мне в этом помог:

не очень-то настаивают на включении в списки человека, у которого в биографии темное пятно, даже если он директор и без него эта работа не состоится.

Мы выпили еще, и дядя Пепа сказал:

— Ты не представляешь, какой для меня сегодня счастливый день. Нельзя радоваться смерти человека, но я радуюсь. Последний раз я испытал счастье, подобное этому, только в День Победы.

— А какой день был для тебя самым несчастным? — спросил я.

Дядя Пепа задумался.

— У меня было много несчастливых дней, — сказал он, — значительно больше, чем счастливых, неизмеримо больше. И день, когда погиб твой дядя Ваня, и день, когда умер дядя Гриша, и твой отец доставил мне много несчастливых дней. И дни, когда в тридцать седьмом — тридцать девятом годах расстреливали моих друзей — честных солдат, которые готовились защищать Россию. И день, когда началась война, которую нам не дали встретить во всеоружии колорадский шериф и твой Великий Вождь и Учитель. Но, пожалуй, самым страшным днем в моей жизни был день, когда я сидел на банкете в Берлине. Банкет был по поводу подписания советско-германского договора о ненападении. На нем присутствовали Геринг, Геббельс и Гиммлер, только Гитлера не было. Наши военные специалисты сидели вперемежку с эсэсовцами и чинно говорили то-сты о советско-германской дружбе. Самое страшное было, когда они напились и стали пить на брудершафт. — Дядя Пепа побелел, закрыл глаза, и я услышал, как хрустнула в кулаке прадедовская рюмка. — Не будем вспоминать об этом, мальчик, — сказал он и стал вытирать кровь носовым платком. — Вот это был самый страшный день в моей жизни.

— Но как они могли, — ошеломленно сказал я, — ведь это фашисты!

Дядя Пепа устало усмехнулся.

— К сожалению, мальчик, — сказал он, — фашизм — это не только социальное явление, это еще и состояние души.

Почти сразу после смерти Сталина в семье дяди Пепы появилась кухарка. Ее звали мадам Жюли. Кухарка была дама пенсионного возраста, одетая в кружевные кофточки начала века, с жеманными манерами и неожиданно острыми, хотя и избегающими прямого взгляда глазами. До революции она работала кухаркой у знаменитого булочника Филиппова. В свободное время посвящала меня в тайны интимной жизни миллионера и гуляки, который был к тому же довольно скуп и, узнав о неверности своей

любовницы, выкрал у нее жемчужное кольцо, которое сам же и подарил.

Мадам обладала высокими кулинарными способностями, и теперь каждое воскресенье я ходил на обеды к дяде Пепе. Перед воскресным визитом я заходил в парикмахерскую гостиницы «Москва», где меня стригли, брили и причесывали. Жена дяди Пепы настаивала, чтобы я делал и маникюр, но я стеснялся и старался следить за своими руками сам. Овеянный облаком «Шипра», я выходил из парикмахерской, и гардеробщик заботливо обмахивал меня щеткой, прежде чем подать пальто.

После скромной, хотя и обильной студенческой еды обеды у дяди Пепы были блаженством для гурмана. И мадам Жюли, которой я не стеснялся высказывать свое восхищение, пыталась положить мне лишний кусок или дать фужер восхитительного крющона из консервированных ананасов, свежих фруктов и кусочков банана в шампанском с несколькими каплями французского коньяка. Видимо, Филиппов понимал толк в еде, поэтому держал мадам Жюли постоянной кухаркой у своих любовниц и, бросая очередную пассию, забирал мадам с собой.

После революции мадам бедствовала некоторое время, но потом пристроилась на работу в ЧК и была кухаркой сначала у Ягоды, а потом у Ежова. Об этом периоде своей жизни мадам не любила рассказывать, но, судя по всему, меняла начальников НКВД с такой же легкостью, как и любовниц. Филиппова. Так как дядя Пепа по своему положению не мог взять кухарку со стороны, то ему и рекомендовали мадам как человека надежного в политическом и кулинарном отношениях.

Мадам озабоченно возилась у плиты с кастрюлями и сотейниками, но, как только в прихожей раздавался телефонный звонок, кулинарные манипуляции прекращались, и мне казалось, что я вижу, как у мадам вырастает ухо, направленное в сторону телефона. Однажды я пришел к дяде Пепе вечером в будний день. Мадам уже ушла, и мне достались куски холодного ростбифа и маринованные сливы. Я приканчивал последний кусок, с сожалением думая об отсутствии мадам, как вдруг Ирина Вячеславовна, глядя на меня в упор своими узкопоставленными аристократическими холодными голубыми глазами, спросила:

— Саша, тебя вызывали в КГБ?

Дядя Пепа поморщился и поставил кофейную чашку на блюдечко.

— Ира, — сказал он, — не нужно об этом спрашивать.

— Нет, — упрямо сказала Ирина Вячеславовна, — он твой племянник, и я хочу знать правду. Тебя вызывали в КГБ?

— Нет, — растерянно сказал я. — А зачем меня должны вызывать в КГБ?

— Тебя не расспрашивали о дяде Пепе и о нас? Как мы живем, о чем говорим? Кто к нам ходит, какие книжки мы читаем? Говори правду. Он твой дядя, и ты ничего не должен от него скрывать, даже если тебе велели молчать.

— Ира, — сказал дядя Пепе.

— Замолчи, Петр, — сказала Ирина Вячеславовна. — Он не должен ничего скрывать от тебя.

— Я ничего не скрываю, — сказал я. — Меня никуда не вызывали и никто ни о чем со мной не разговаривал.

— Ты не обманываешь нас? — спросила Ирина Вячеславовна, не спуская с меня глаз. Она была очень бледна, и пальцы ее тряслись мелкой дрожью.

— Успокойся, Ира, — сказал дядя Пепе.

— Я не могу больше, — сказала Ирина Вячеславовна очень спокойно и тихо. — Я не могу больше чувствовать себя шпионкой, с которой не спускают глаз. Я даже не могу ходить к одной и той же маникюрше два раза подряд, потому что после первого посещения ее допрашивают, и когда я прихожу во второй раз, она смотрит на меня, как на змею. Я не могу не чувствовать, что наш дом каждый день обыскивают, потому что вещи лежат не так, как я их положила. Я не могу терпеть в доме эту старую сводню, хотя она прекрасно готовит. Но еще лучше она сажает людей. Уж если она посадила Ягodu и Ежова, ты можешь представить, что она сделает с тобой.

— Перестань, Ира, — резко сказал дядя Пепе.

— Я не могу терпеть, когда твой сосед сидит, прильнув ухом к мусоропроводу, и слушает, о чем мы здесь говорим. Они и сейчас слушают. — Она приоткрыла крышку мусоропровода и сказала: — Пусть слушают. Я не верю, что твоего племянника не вызывали в КГБ и не расспрашивали о нас. Саша, скажи правду, не лги.

— Если вы не верите мне, — сказал я, — лучше я больше не буду ходить к вам. Но меня никто никуда не вызывал и никто ни о чем не допрашивал. Если меня вызовут, я обязательно скажу дяде Пепе об этом, даже если с меня возьмут самую страшную клятву.

— Не надо, мальчик, — сказал дядя Пепе, — не слушай Ирину Вячеславовну, у нее нервы не в порядке, ей нужно отдохнуть.

— Отдохнуть от чего? — спросила Ирина Вячеславовна, голос ее звучал тихо и спокойно, но мне вдруг стало страшно. — Вот уже двадцать пять лет я с тобой и отдыхала только четыре года во время войны, потому что знала, что тебя не тронут,

так как без таких, как ты, им не выиграть войны. Вот тогда ты был им нужен.

— Я и сейчас им нужен, — сказал дядя Пепе, — иначе я бы давно был там, где его отец.

— Что ж, — сказала она, — ты и там сможешь работать на них, но что делать нам с Ирочкой? Об этом ты подумал? Как жить нам?

— Не надо, Ира, — сказал дядя Пепе, — не надо об этом думать. Я делаю свое дело и буду делать его, пока хватит сил. Будем надеяться, что все это изменится — не может не измениться. Сталин умер.

— Умер твой защитник, — сказала Ирина Вячеславовна, — и через неделю прислали эту стервятницу, всего через неделю. Неужели ты не понимаешь этого?

— Послушай, Ира, — дядя Пепе засмеялся, — дай хоть перед смертью вкусно поесть.

Этот разговор поразил меня. Квартиру дяди Пепе обыскивают каждый день? Мадам Жюлю — шпионка? Наверное, это из-за отца. Теперь я чувствовал глухое раздражение. Как он посмел сдать в плен? Как он мог сделать это, не подумав о нас, которым придется отвечать за его трусость? Трусость? По-прежнему я не мог представить отца трусом. Но что же тогда? Почему он не покончил с собой? Почему Ирина Вячеславовна была спокойна за дядю Пепу во время войны? Тогда ведь не знали, что отец попал в плен? «Тогда ты был им нужен». «Им!» — кто такие «они»? Я не знал. Во дворе дома дяди Пепы зимой и летом играли в футбол крепкие молодые парни в возрасте от двадцати до тридцати лет. Иногда они играли несколько часов подряд, прерывая игру частыми перекурами. Когда из подъездов дома выходил какой-нибудь генерал, — а дом в те времена был весь населен генералами, — один из парней прекращал игру и шел вслед за ним. Примерно такие же здоровые, красномордые парни без конца фланировали по Арбату и улице Горького, а также по тем улицам, где проезжали правительственные машины.

В те времена фотографировать в Москве без разрешения было запрещено. И если мы, студенты операторского факультета, доставали на улице фотоаппарат, на нас бросались милиционеры или вот такие ребята и требовали предъявить документы. Обычно нас отпускали, но почти всегда засвечивали пленку, как будто памятник Минину и Пожарскому или гостиница «Москва» и Большой театр были крупными военными объектами. Постепенно мы сами привыкли к мысли, что фотографировать на улице нельзя, и снимали в основном березовые рощи и пейзажи с

туманом. Когда же нам нужно было сфотографировать интерьер, то мы получали специальное разрешение в первых отделах учреждений, где находились эти интерьеры, и нас сопровождал сотрудник, который следил, чтобы мы не сняли что-нибудь не то. Я помню, как был удивлен, когда задумал снять интерьер Центральных бань, а там не оказалось первого отдела и не у кого было получить разрешение на съемку. Только во время демонстраций мы получали возможность фотографировать на улицах города и даже на Красной площади. Милиционеры не могли справиться с буйной колонной ВГИКа, в которой каждый третий был вооружен фотоаппаратом, и в конце концов махали на нас рукой. И мы с упоением снимали Красную площадь, набережные Москвы-реки, площадь Революции и маленькую фигурку Великого Вождя, стоявшего вместе с другими членами правительства на Мавзолее.

После смерти Сталина во ВГИКе постепенно стали отменяться ограничения на просмотры. Теперь на уроках операторского мастерства мы смотрели не только канонические картины советского кино, связанные в основном с именем Сталина: «Великое зарево», «Падение Берлина», «Незабываемый 1919», «Сталинградская битва», «Оборона Царицына» и другие, но нам стали показывать и другие картины, в основном американские: «Гроздь гнева», «Гражданин Кейн», «Пикник», «Дилижанс», «Табачная дорога». И наряду с именами Головни, Косматова, Гальперина, Москвина, Демущего, Волчека, Магидсона, Кириллова — замечательных советских кинооператоров — нам стали известны имена Грегга Голланда, Тони Гаудио, Берта Гленнона и других не менее замечательных американских операторов. Мы открыли для себя, что изображение — главный элемент создания драматической атмосферы действия. Поэтому такие картины, как «Тупик», «Гроздь гнева», «Гражданин Кейн», приводили нас в восторг, но мы не находили им аналогов в нашей современной кинопродукции, где все было чисто-светло, каждый стул в декорации был вылизан светом. Мы не понимали, как такой оператор, как Юрий Екельчик, снявший замечательную и всеми нами любимую картину «Богдан Хмельницкий», умудрился снять «Ревизора» в тонах Ватто, где в чистеньких, роскошных декорациях действовали чистенькие, вылизанные, одетые в разноцветные фракки актеры, игравшие скучного Гоголя. Теперь я понимаю это, вспоминая картины Шурпина, Налбандяна, Лактионова, представлявших официальное ис-

кусство, — не может быть изображения, при отсутствии драматургии.

А драматургия тех времен стояла на позициях умиления действительностью, и я чувствовал свою ущербность от восприятия быта и вечеринок на Мало-Московской. Я понимал, что так не надо, но тем не менее атмосфера настоящей жизни нравилась мне, и я ничего не мог с этим поделать.

В это время в Москве состоялась первая Неделя итальянского кино. В гостинице «Советская», где в то время помещался Дом кино, для вгиковцев показывали фильмы в девять часов утра. До сих пор я помню фильмы «Дорога». Феллини, «Чувство» Висконти, «Без жалости» Латтуады, «Хроника одной любви» Антониони и «Пайза» Росселини. Все картины были разные, непохожие одна на другую, но, как ни странно, они были больше похожи на нашу жизнь, чем картины Пырьева, Герасимова и других советских режиссеров, которые демонстрировали нам жизнь в розовых тонах — этикие умиленные скучные картинки из предполагаемой жизни современного рая. Художники побежденной в войне Италии мужественно рассказывали о прошлом и настоящем своей страны, не боялись показывать трущобы, очень похожие на коммунальные квартиры, в которых я и мои сверстники снимали углы, дворы и улицы, где царили хулиганы или хозяйничала мафия — тоже, кстати, похожие на наших. Итальянцы делали это открыто и честно, сохраняя свои симпатии на стороне простых людей. Пожалуй, ни одно искусство не оказало такого влияния на советское кино, как итальянский неореализм.

И большое ему спасибо за это, потому что он учил нас правде, которую к этому времени стали подменять понятием «типичное», то есть чем-то далеким от настоящей правды, но очень удобным для разного рода начальников, которые, проживая на дачах за заборами и не испытывая ни в чем недостатка, хотели видеть на экранах своих загородных дач безоблачную жизнь своего народа. Определенная часть советских кинематографистов очень быстро усекла это и снимала картины специально для дачных экранов, собирая крохи с барского стола в виде лауреатских медалей и званий народных художников.

Фильмы Росселини, Де Сантиса, Джерми и других были очищающим ливнем для наших студенческих душ, смывавшим с них сахарный сироп «Кубанских казаков» и им подобных кинокартин. Но сироп смывался не сразу. На просмотре «Пайзы» Росселини — на мой взгляд, одного из великих фильмов всех времен и народов — половина зрителей вышла из зала. Мы уже были приучены к сюжетам, где есть завяз-

ка, развязка, кульминация и тому подобное. А это была бесхитростная история об американском солдате, пытавшемся соблазнить итальянскую девушку. Потом, когда он понял, что девушка близка ему как сестра, и с помощью жестов стал рассказывать ей о себе, то между ними возник духовный контакт и стала возможна любовь. Но он был бессмысленно убит и остался лежать мертвый и неотмщенный. Эта история, так же как и другие новеллы этой замечательной картины, показала скучной большинству зрителей, отвыкших думать самостоятельно, привыкших к указательному пальцу режиссера, рассказывающего им, что такое хорошо и что такое плохо.

Тогда, сидя в зале, слушая шарканье ног выходивших и хлопанье дверей, сжимая в ярости кулаки, я понял, что большинство людей желают сказок, красивых сказок, в которых все ясно: вот добро, вот зло. Они устали от серости собственной жизни и хотят «красивого». Огромное мужество нужно художнику, который не поддается соблазну подать им это «красивое» на блюдечке. Вот таким художником был Росселини.

Такой художник из меня не получился. Вероятно, по слабости характера, а может быть, из-за определенной привычки к комфорту (впрочем, весьма относительному) я снял много картин, которые мог бы не снимать, так как никому, кроме начальства, они не были нужны, но если бы я не снимал их, я бы не снял и других (немногих), которые представляли интерес не только для меня и моих товарищей, но и для зрителей. Со временем я придумал себе утешительное название — «наемный убийца» — и старался даже, на мой взгляд, никому не нужную картину снимать профессионально добротнo, но радости это мне не приносило.

Педагоги во ВГИКе делились на две категории. Первые — официально благополучные. К ним относились: Чааурели, Герасимов, Александров, из операторов — Косматов и Волчек. Они, как правило, были заняты на основной работе на «Мосфильме» или студии Горького, и в институте каждое их появление воспринималось как явление Христа народу. За исключением, пожалуй, Герасимова и Волчека, которые регулярно проводили занятия со своими студентами. Это были солидные, уверенные в себе люди, знавшие себе цену и покровительственно относившиеся к своим студентам. Вероятно, это были хорошие мастера и неплохие люди, но они слишком серьезно относились к себе и к своему «творчеству», и это настораживало. С детства меня приучали скептически относиться к людям, которые считают себя пупом земли.

Поэтому мне значительно больше нравились другая категория людей, которые, по выражению Станиславского, больше любили искусство, а не себя в искусстве. К этой категории принадлежали Савченко, Кулешов, Ромм, Тиссе, Магидсон.

С Львом Владимировичем Кулешовым я познакомился в Ленинградской публичной библиотеке, где впервые прочитал «Основы кинорежиссуры» — книгу, которая явилась основополагающей при моем выборе профессии. Личное знакомство с ним только усилило мою любовь и уважение к этому замечательному человеку, чье творчество, к сожалению, осталось в тени, потому что его ум, доброта и нравственные основы не шли в ногу со временем. Лев Владимирович никогда не был ханжой ни в личной, ни в общественной жизни. Он никогда не говорил того, чего не думал. А то, что он думал, как правило, не нравилось начальству, потому что это были оригинальные высказывания Личности. А, как известно, Личность всегда раздражает посредственных людей, тем более если она еще говорит правду. Лев Владимирович приезжал во ВГИК на открытом «мерседесе». Рядом с ним гордо восседала прекрасная пятнистая охотничья сука из породы курцхаар по кличке Агашка. Сзади сидела жена Льва Владимировича — Александра Сергеевна Хохлова и их постоянный шофер Леша. Лев Владимирович вылезал из машины с тростью в руке, одетый в канадскую курьянку, которые выдавали командам торпедных катеров во время войны. У него была белоснежная шевелюра и такие же белоснежные моржовые усы. Вдвоем с Хохловой, одетой в экстравагантный костюм из шотландки, с огромной кондукторской сумкой на ремне, они составляли разительный контраст с официально преуспевающими коллегами, на которых самые дорогие костюмы сидели совсем не так лихо, как брезентовая канадка на Кулешове. Они просто были людьми из другого мира и неудивительно, что не вызывали любви у власть имущих из мира этого.

Со своими студентами Лев Владимирович обращался как с абсолютно равными ему, этим он напоминал мне дядю Пепу, он считал, что они имеют полное право на собственное мнение, но ничуть не стеснялся при этом выражать свое. Так как на свой курс Лев Владимирович старался не принимать по блату, то знал, что многие его студенты стеснены в средствах, и поэтому регулярно, два раза в неделю, а то и чаще проводил занятия у себя дома, подкармливая их по мере возможности. Случилось так, что я дружил с его учениками Л. Махначем, А. Шахмалиевой, Г. Полокой и А. Вехотко. И поэтому Лев Владимирович пригласил на обед и

меня, после чего я стал бывать у них регулярно, хотя никакого отношения к его курсу не имел, даже не снимал курсовых работ.

Дом Льва Владимировича поразил меня. Тогда он жил в старом доме около Публичной библиотеки. Во дворе шофер Леша возился с двумя кабриолетами: «Победой» и «мерседесом» — Лев Владимирович любил открытые машины. А в большой комнате накрывали стол на двадцать персон. За столом Лев Владимирович не только кормил будущих режиссеров, но и неназойливо обучал их быть джентльменами, как есть и как пить. Поэтому стояли полные куверты, и начинающие режиссеры учились с помощью ножа и вилки расправляться с бифштексами и пить водку из рюмок, а не из граненых стаканов. На стол подавали икру и крабы, сухое вино и шампанское, и я думаю, что Лев Владимирович не откладывал денег в кубышку. Но парадные обеды, где все чинно пользовались ножами и салфетками, чередовались с «мальчишниками», когда на стол ставились запотевшие бутылки водки, чугуны картошки в мундире, а в мисках лежали соленые огурцы и капуста. Никогда я так весело не проводил время. Между шуток и подначек Лев Владимирович высказывал свои соображения о кино и работах своих учеников, и совсем не чувствовалось, что он Метр, хотя на самом деле он являлся Метром в самом полном смысле этого слова.

В спальне Кулешова над кроватью висела белая балетная туфелька на синем бархате, как я узнал позднее, это была туфелька Улановой. В туалете на откидном столике стояли пишущая машинка, песочные часы, несколько коробок сигарет, висели лубочные картинки с рынка «Извержение Везувия» и «Парад лебедей».

Не знаю, по каким причинам Лев Владимирович, один из популярных советских режиссеров двадцатых годов, не снимал фильмов теперь. Вероятно, творческий революционный дух, пронизывавший его ранние фильмы, не соответствовал парадному стилю фильмов сороковых — пятидесятых годов. По природе своей Лев Владимирович не был склонен к восхвалению и воспеванию и поэтому вынужден был ограничиться преподавательской работой, да и то его «прорабатывали» почти на каждом партийном собрании. К счастью, не «проработали» до гроба, и Льву Владимировичу удалось воспитать несколько десятков кинематографистов, которые всегда будут помнить его.

На Первом учредительном съезде Союза кинематографистов СССР Льву Владимировичу поручили открыть съезд как старейшему кинематографисту. И он сделал это,

искренне сказав простые слова, в которых не было парадности и подхалимажа, так свойственного нашим речам. Он сказал свою речь как настоящий джентльмен от кинематографа, каким он и являлся.

За год до его смерти я поехал на семинар в Болшево. Мы сидели за завтраком, когда я увидел Александру Сергеевну Хохлову. Она сидела, широко раскрыв глаза, и смотрела на меня. Я встал, подошел к ней и поздоровался. Глаза Александры Сергеевны, затянутые серовато-голубоватой пленкой, неподвижно глядели на меня. Я подумал, что она не узнала меня, и, поклонившись, пошел за свой столик. После завтрака в мой номер постучала горничная.

— Вы Чечулин? — спросила она. — Вас просят зайти в тринадцатый номер.

На кровати, поджав ноги по-турецки, одетый в красивые трикотажные дырявые кальсоны «смерть девкам», сидел Лев Владимирович. Даже в этих дырявых кальсонах он был элегантен. Усы его стали желтыми от никотина, он прикуривал одну сигарету от другой и беспрерывно кашлял.

— Какого черта, — сказал он, — ты не заходишь? Совсем зазнался, растак-перетак. — Матюгался Лев Владимирович непринужденно и, я бы сказал, красиво.

— Простите, Саша, я вас не узнала, — сказала Александра Сергеевна, — совсем стала слепая.

— Хорошо хоть по голосу догадалась, — сказал Лев Владимирович. — Достань коньяку и свари нам кофе.

Александра Сергеевна полезла в тумбочку и достала бутылку «Наполеона». Потом я с щемящей болью смотрел, как она трясущимися руками пытается зажечь спиртовку, а Лев Владимирович кашлял, не выпуская сигареты изо рта. Потом мы пили коньяк и вспоминали его учеников. Как правило, судьба у них была нелегкая. Порядочному человеку пробиться в кино всегда сложнее, чем человеку с подвижной нравственностью. А Лев Владимирович помимо мастерства учил их и порядочности.

— Черт его знает, — сказал он, — может быть, зря я это делал?

— Нет, — сказал я. — Вы это делали не зря.

— Ты в самом деле так думаешь?

— Да, — сказал я, — я так думаю в самом деле, видит Бог, я не вру.

— Тем хуже для тебя, — сказал Лев Владимирович и засмеялся.

Через год его не стало. На похороны я не поехал — некогда было, снимал очередное дерьмо.

Другим мастером, вызывавшим у меня любопытство, был Александр Петрович Дов-

женко. Впервые я увидел его на совместном занятии всех факультетов зимой пятьдесят второго года. Был страшный холод, и в большом просмотровом зале, где собрался почти весь институт, плюнуть было некуда. Довженко вошел величественный, с белоснежной густой шевелюрой, в наброшенной на плечи шубе.

— Простите, — сказал он, — что я буду выступать перед вами в шубе. Я болен, мое сердце стучит как перегревшийся мотор. Я спросил, почему холодно, а мне ответили: потому, что не подвезли угля. Я подумал и решил, что коммунизм мешают строить две вещи: американский империализм и... — тут Довженко сделал эффектную паузу, — ...и глупость человеческая. — Дальше он принялся рассказывать о великих стройках, о плане перекрытия Берингова пролива, об изменении климата планеты. Время от времени он говорил кому-нибудь из шептавшихся студентов: «Если вам не интересно, выйдите, пожалуйста». Но никто не уходил, потому что было интересно. Довженко говорил красиво и величественно.

— Если мой сын, — говорил он, — погибнет в межзвездном пространстве, я не буду говорить, что он погиб во имя Родины. Я выйду в сад и буду рыдать под цветущими вишнями, закрывая шапкой лицо, чтобы не спугнуть соловья, поющего над скамейкой влюбленных.

Довженко сделал много хорошего, в том числе он посадил два прекрасных сада — на «Мосфильме» и студии собственного имени. Правда, сады занимают площадь, которая могла бы быть занятой производством, но они доставляют радость людям. Тем не менее, когда я смотрю на бюст Довженко с гордо поднятой головой и устремленными в будущее глазами, воспоминания о Кулешове, сидящем в рваных красных кальсонах «смерть девкам», прикуривавшем одну сигарету от другой, пьющем коньяк и сомневающимся в том, правильно ли он прожил жизнь, воспитывая честных, ироничных, скромных людей, вызывают у меня большую любовь к этому интеллигентному и сомневающемуся человеку, чем к «Поэту, Творцу, Учителю» — человеку, знавшему все наперед и при жизни воздвигшему себе памятник. Господь с ними, с памятниками, была бы память человеческая.

Память сохранила для меня образ Михаила Ильича Ромма. Нервного, напряженного, с вечно дымящейся папиросой, подвергающего сомнению свое творческое прошлое, за которое он был удостоен многочисленных наград. Прекрасного оратора с громовым голосом, не застывшего в позе величия, как застыли многие его сверстники. Бесконечно ищущего, входящего в контакт с молодежью, с жадностью стремящегося

получить от них недостающую информацию. Умудренного в интригах и наивного, как ребенок. Борца за правду, какой бы страшной она ни была. И бесконечно верующего в хорошее в человеке. Не случайно картина, на которой оборвалась его жизнь, называлась «И все-таки я верю».

Я много встречал в кинематографе хороших, добрых, талантливых людей, но Лев Владимирович Кулешов и Михаил Ильич Ромм останутся в моей памяти эталонами Человека и Художника.

Летом пятьдесят третьего года я приехал в Репино на дачу к дяде Косте. Дядя Костя, к этому времени подполковник МВД, был на дежурстве в управлении. Вернувшись утром с дежурства, он рассказал странную историю о том, как солдат из группы радиоперехвата сошел с ума. Окончив смену, он выскочил из радиорубки и стал бегать по управлению, срывая портреты Берии и разбивая попадавшиеся ему по дороге бюсты, при этом он кричал, что Берия — враг народа. Солдат наверняка сошел с ума и только этим можно объяснить, почему его не пристрелили на месте после первого портрета, а дали сорвать еще несколько. Но теперь участь его решена. Его не спасут ссылки на сообщения Би-Би-Си. Это еще больше углубит его вину, потому что он категорически не имеет права говорить, что он там услышал по вражескому радио в комнате радиоперехвата.

Дядя Костя искренне возмущался происшествиями вражеской пропаганды, благодаря которой сочтены дни жизни молодого человека. Однако к середине дня стали поступать сведения из других источников, подтверждающих правоту слов солдата. В этих сведениях говорилось, что Берия английский шпион, завербованный еще со времен революции, что после смерти Сталина он пытался сделать переворот и захватить власть в свои руки, чтобы повести страну по капиталистическому пути.

Второй раз страну спас Георгий Константинович Жуков, при жизни Сталина пребывавший в ссылке. Говорили, что армейская контрразведка засекла передвижения частей МВД, которые стягивались к Москве, перехватила тайные переговоры и доложила обо всем Жукову, который принял решение ввести в Москву Таманскую дивизию и лично арестовал в Кремле Берию, который наложил от страха в штаны, и когда его, арестованного, вели по Кремлю, воняло неимоверно.

Дядя Костя очень растерянный сидел на веранде и повторял:

— Не может быть, не может быть. Он же старый большевик, правая рука Ста-

лина и — английский шпион? Не может быть. Тогда все они там английские шпионы.

— И Жуков? — спросил я.

Дядя Костя воевал под командованием Жукова. Он с возмущением посмотрел на меня.

— Как ты можешь говорить такое! Жуков — английский шпион? Жуков — великий русский полководец!

— Значит, он знал, что делал, когда арестовывал Берия?

— Не знаю, — сказал дядя Костя, — сам черт ногу сломит в этой проклятой политике. Ну их всех. Давай выпьем. — Он достал бутылку водки и разлил по стаканам. — Уйду-ка я на пенсию, — сказал дядя Костя. — Надоело мне работать в этой чертовой системе.

— А зачем ты туда пошел? — спросил я.

— А куда мне деваться? Я боевой офицер, ничего, кроме как стрелять из пушки и командовать, не умею. А кто будет кормить семью? Учиться мне уже поздно. Вот отслужу еще два года и — к чертовой матери, пойду матросом на спасательную станцию и буду выращивать клубнику. Свежий воздух, солнышко, вода, никаких интриг, никаких эзков, никаких старых большевиков, посаженных другими старыми большевиками. Райская жизнь. Как ты считаешь?

— А что, у вас сидит много старых большевиков? — спросил я.

— Много? — сказал дядя Костя. — Да чуть ли не половина — одна половина посадила другую. Теперь они, наверное, поменяются местами. Нет, надо сваливать, пока не поздно, и Алексею посоветую. Незачем нам, боевым офицерам, соваться в это дерьмо.

— Раньше тебе нужно было советовать.

— Раньше я ничего не знал, — сказал дядя Костя, — а за эти годы я насмотрелся такого — не приведи Господь. А раньше — чекисты, святые люди. Железный. Феликс, Железный Лаврентий... И вот тебе нá — английский шпион. Тьфу! — дядя Костя сплюнул и выпил залпом стакан водки. — Никакой он не шпион. Это они за власть дерутся. Навидался я в лагерях этих шпионов. Нужно кого-нибудь посадить — вот и пишут: английский шпион. Видел ты, чтобы англичане вербовали шпионов на лесоповале в Коми? Он даже не знает, где Англия, кроме трактора никакой техники не видел. А ему — признайтесь, что вы английский резидент. Ну и признается да еще выдает всю организацию — своих дружков, которых он «завербовал».

— Как же так?

— А вот так, — сказал дядя Костя, — посадят на воду да будут каждый день шкуру спускать, и ты признаешься, что твоя мать — резидент «Интеллидженс Сервис».

— Не признаюсь, — сказал я.

— Признаешься, — сказал дядя Костя устало, — там специалисты. И Берия признается. Никуда ему не деться.

— А может, Берия признает, что и Сталин английский шпион?

— Ну-ну, — сказал дядя Костя, — ты шути, но знай меру. А мой тебе совет — лучше вообще помалкивай, здоровее будешь. Хватит с вас отца.

— А ты считаешь — отец предатель?

Дядя Костя задумался.

— Нет, — сказал он, — Михаил — честный человек, но зря он вернулся из Франции, теперь ему не отмыться до конца дней.

— Почему? Если он не предатель?

— Кто побывал там, — дядя Костя неопределенно махнул рукой на запад, — тот порченный, нам такие не нужны.

— Нам — это тебе и мне?

— Нам — это им, — сказал дядя Костя и показал пальцем вверх.

Во ВГИКе состоялось собрание, посвященное разоблачению Берии. Все с возмущением говорили о том, как мог затесаться в ряды нашей партии подобный человек. На стенах канцелярий, кабинетов белыми пятнами зияли места, где раньше висели портреты человека в пенсне, за стеклами которых сталью карающего меча пролетариата сверкали глаза второго человека страны. Оказывается, дядя Пепа был прав. Но, значит, не он один знал об этом. Почему же этот человек так долго находился у власти? Почему он получил реальную возможность захватить власть сегодня? Почему он мог командовать целой империей внутри государства, строительством железных дорог, великими стройками коммунизма? Он — английский шпион. Если это так, то значит, Англии выгодно то, что происходит у нас. Почему же тогда они ведут «холодную войну» против нас? Я не находил ответов на эти вопросы, слушая выступления с трибуны. Неожиданно на трибуну взобрался маленький, с длинными волосами человек, который подрабатывал натурщиком на художественном факультете.

— Я прочитаю вам стихи, — резким фальцетом сказал он. Зал затих.

Сегодня ты герой,
Гордящийся собой,
А завтра ты червяк,
Раздавленный судьбой, —

быстро проговорил волосатый человек и соскользнул с эстрады в зал. Зал молчал.

Цепь разоблачений продолжалась. Информация, о которой мы и представления не имели, хлынула на нас ошеломляющим потоком. Правда, для меня этот поток не был совсем неожиданным: вольно-

думные рассуждения дяди Пепы успели несколько подмыть ортодоксальный фундамент моей веры в Вождя и в правильность всех действий, которые он предпринимал. Например, я очень осторожно воспринимал борьбу с космополитизмом. Мне казалось противоестественным и смешным приписывать все достижения мирового разума одному народу. Так же отрицательно я воспринял антисемитскую кампанию, раздутую в связи с делом врачей-евреев. С детства мама и все мои родственники внушали мне, что важно — каков сам человек, а не его национальность. Личные достоинства ставились на первое место. И, если человек был порядочный и работающий, не имело значения, какой он национальности. Поэтому, когда меня в школе время от времени обзывали жидом или евреем за то, что я картавил, я пускался в драку, но никогда не отрицал, что я еврей, мне это казалось постыдным. Одним из самых отвратительных явлений на свете я считаю расизм и национализм. Стремление получить какие-то привилегии за счет своей национальности — первый признак фашиста, независимо от того, кем он является — немцем, евреем или русским.

Факты, которые мы узнавали из материалов следствия по делу Берии, а потом из решений Двадцатого съезда партии, были ужасающе отвратительны и свидетельствовали о фарисействе наших руководителей, которые на словах призывали свой народ к социалистической морали и нравственности, а на деле совершали преступления, достойные Нерона и Гитлера. И я всегда буду благодарен Никите Сергеевичу Хрущеву (что бы о нем ни говорили) за то мужество, которое он нашел в себе, чтобы сказать своему народу хоть часть правды.

Я люблю свой народ и горжусь его исторической миссией. Но насколько больше он мог бы сделать, если бы не ложь кучки негодяев, дравшихся за власть и личное благополучие и не гнушавшихся в этой борьбе никакими средствами. Они расстреливали и уничтожали честных людей, они натравливали детей на родителей, они сделали героем Павлика Морозова. Они добились, чтобы люди из чувства патриотизма доносили друг на друга. Они пытались создать государство роботов, руководимое жесточайшим бюрократическим аппаратом и законами коммунистической морали и нравственности. Сами же они никаких законов не соблюдали, кроме закона сильного. Они унижали нижестоящих и лебезили перед вышестоящими, пьянствовали и развратничали, разлагая, подобно раковым опухолям, свои семьи, окружающих их людей, дело, которым они занимались, и в конечном итоге свою страну и свой народ. И все это время

ими руководил страх, что правда в конце концов восторжествует и последует наказание. Поэтому они так боролись с правдой, уничтожали талантливых писателей и кинематографистов, музыкантов и художников, талантливых ученых и инженеров. Они понимали, что Талант и Ложь несовместимы. Только Правда и Талант могут дать нужные плоды. Но эти плоды для них смертельны. И вот повсюду пришло. Главные преступники были наказаны. Реол Вождей померк, и они оказались обыкновенными трусливыми, мелкими людишками, отчаянно цеплявшимися за жизнь. Говорят, Берия перед смертью потерял от страха рассудок и занимался онанизмом. Люди, недавно пытавшие невинных, ползали на коленях, моля о пощаде. Им, манипулировавшим законом в отношении других, защищенным круговой порукой и полным отсутствием гласности, теперь самим пришлось предстать перед законом, и это казалось им несправедливым. Говорят, Аббакумов на допросах читал спортивную хронику и говорил следователю, что скоро они поменяются местами, и тогда следователь пожалеет, что появился на свет.

Самое страшное, что все эти люди считали себя коммунистами. И тогда я опять вспомнил дядю Пепу. Он говорил: «Фашизм — это не только социальное явление, это еще и состояние души». Как великий народ, совершивший революцию, мог вырастить на своей крови и допустить к власти подобных негодяев? И что бы было, если бы не Георгий Константинович Жуков? Неужели государство рабочих и крестьян стало бы фашистским? Эти вопросы мучили меня, и я не находил на них ответов. Основные раковые опухоли были вырезаны, но метастазы-то остались? Ведь они заражали все окружающее их. Они создали аппарат управления, а сменить его — значит делать вторую революцию. Две революции и мировая война на протяжении тридцати лет — это многовато даже для государства Российского. Народ устал. Аппарат остался. Метастазы затаились.

Мадам Жюли ушла на пенсию. Это случилось через месяц после разоблачения Берии. Вероятно, ее возраст не позволял ей приспособиться к новому стилю руководства, и мадам ушла на заслуженный отдых. Кормить у дяди Пепы стали хуже, теперь Ирина Вячеславовна готовила сама. Но с уходом мадам спокойствие не вернулось к ней, и новые перемены усилили ее беспокойство за жизнь и карьеру дяди Пепы. Теперь каждый раз, когда я приходил к ним обедать, она задавала мне вопросы о том, вызывали ли меня в КГБ, и я начал

понимать, что Ирина Вячеславовна психически серьезно больна.

Она привыкла к тому, что дядя Пепа хотя и отмечен каиновой печатью измены брата, но нужный для армии человек, которого не тронут, пока он в рабочем состоянии и может приносить пользу, потому что сам Сталин когда-то сказал Берии: «Не трогайте Чечулина, он политикой не занимается, а специалист он отличный». Теперь тайных домашних обысков не производилось. Ирина Вячеславовна могла свободно, без наблюдений посещать парикмахерские и магазины. Мадам ушла на пенсию, и все это казалось ненормальным, как бы затишьем перед бурей. Ирина Вячеславовна находилась в непрерывном ожидании грядущего. Она периодически ложилась в госпиталь на обследование. И тогда мы с дядей Пепой выпивали на кухне.

Теперь я был ниспровергателем основ и шел в ногу со временем. Слушая мои рассуждения о культе личности, о любовницах Берии, о злоупотреблениях властью, о Лысенко, о кибернетике, о разрушении, дядя Пепа грустно усмехался и молча пил коньяк из пыльной, оплетенной соломкой бутылки. Вероятно, он многое мог бы рассказать, но теперь считал, что говорить плохо на могиле покойника недостойно мужчины.

Уже в то время во ВГИКе, наряду с бывшими фронтовиками и честно попавшими по конкурсу людьми, учились дети «великих» или приближенных к «великим». Это были дети генералов, крупных партийных работников, а также приехавшие из республик Средней Азии и Кавказа по направлениям. Из некоторых впоследствии получились неплохие специалисты, но таких было немного. Развращенные с детства блатом и привилегиями, они, как правило, не смогли тянуть тяжелую кинематографическую лямку и по окончании института рассеялись в поисках легкой работы и высоких заработков по разным предприятиям, не имевшим к кино никакого отношения. Это были люди, приспособленные для красивой жизни. За границей их называют «плейбойями».

Почти у каждого была машина. Одежды они были во все заграничное, аппаратура у них была самая современная, которую даже за бешеные деньги было трудно купить в комиссионных магазинах. Снимали они на пленке «кодак» и «геверт». Педагоги их слегка побаивались, поэтому на лекции они ходили, когда хотели.

Это было общество «аристократов», куда простые смертные доступа не имели. Они устраивали вечеринки в узком кругу на

папиных дачах, где и вели себя в соответствии с моралью, которую исповедовали их родители. В результате одна девушка, очень способная актриса, погибла в автомобильной катастрофе. Иногда всплывали громкие скандалы с изнасилованиями или даже убийствами людей, которые начинали им мешать и становились опасными.

Я с ними почти не общался, хотя как племянник генерал-полковника имел некоторые основания войти в их «общество», так как, по их мнению, меня также приняли по «блату».

С детства я мечтал об автомобиле. И вот однажды во время обеда у дяди Пепы, когда я рассказывал о том, какие преимущества дает автомобиль оператору, дядя Пепа, глядя на меня в упор, спросил:

— А хочешь, я подарю тебе «майбах»?

«Майбах» был тот автомобиль, на котором встречали нас с мамой, когда мы в первый раз приехали в Москву. В автомобильной табели о рангах «майбах» стоял рядом с «роллс-ройсом». Это были заказные машины, и всего их было выпущено около пятисот. Руководил фирмой инженер Майбах, который положил начало процветанию фирмы «Даймлер-Бенц». «Майбахи» делались по заказу финансовых тзвов и крупных нацистских бонз. После войны Советское правительство подарило трофейные «майбахи» маршалам и генералам. «Майбах» Гудериана (по слухам) достался дяде Пепе.

Дядя Пепа знал по фамилиям многих моих сокурсников «плейбоев» и, судя по всему, отрицательно относился к их родителям да и к ним самим.

— Утри нос папенькиным сынкам,— сказал он,— только используй машину по делу, чтобы мне не было за тебя стыдно.

Дядя Пепа, чтобы не привлекать внимания, ездил на работу на серенькой «Побед», а «майбах» вот уже второй год пылился в гараже института в Болшеве. Через несколько дней дядя Пепа заехал за мной и Колей Помельцовым, преподавателем комбинированных съемок, который считался крупным автомобильным специалистом, и мы поехали в Болшево.

В гараже, тускло сверкая запыленными фарами, стояло чудовище почти семиметровой длины цвета мундиров генералитета вермахта с черными крыльями. Шестицилиндровый однорядный танковый мотор с подвесными клапанами, два карбюратора фирмы «Солекс», электрооборудование БQШ, рама с тараном толщиной с железнодорожную рельсу, стальной двухмиллиметровый кузов с дюралевыми крыльями, с хромовым откидным тентом. Фары больше моей головы. Салон, отделанный карельской березой, с си-

гарным ящиком и карманами для автоматов, светло-серая кожа на передних сиденьях, светло-серое генеральское сукно — на задних, разделительное стекло с переговорной трубкой, подножки, на каждой из которых могло стоять по два автоматчика. Все это теперь принадлежало мне.

— Носи на здоровье, — сказал дядя Пепа и протянул мне техпаспорт, оформленный на мое имя.

Когда мы выехали на Ярославское шоссе и Коля нажал акселератор, «майбах» прыгнул, как пантера, его почти трехтонное тело присело, и меня вжало в сиденье, стрелка спидометра прыгнула к ста сорока. Коля с трудом успел увернуться от машины, шедшей впереди нас, и я увидел искаженное ужасом лицо шофера грузовика, шедшего нам навстречу.

— Зверь, — сказал Коля, сбросив газ и вытирая покрытое потом лицо.

«Майбах» стоял во дворе ВГИКа, и около него толпились студенты и преподаватели. Такой машины не было ни у кого, даже у Льва Владимировича Кулешова. «Плейбой» с завистью осматривали салон и ящик для сигар, и я уже получил несколько приглашений на вечеринки. Радости я не испытывал, а только чувствовал усталость и ощущение, что добром это не кончится. Началось самое беспокойное лето в моей студенческой жизни. К вечеру в кабине «майбаха» собрались мои лучшие друзья, нас набилось человек двенадцать, и актер Леша Пархоменко с дремучим кулацким лицом без конца бегал в соседний магазин, таская портфели с бутылками. Потом мне стоило больших усилий воспрепятствовать поездке за город. Территория вокруг «майбаха» была усеяна пустыми бутылками, и каждый из моих друзей отважно предлагал себя в качестве шофера.

Потом начались каникулы, и я стал перегонять «майбах» в Ленинград. Во время перегона я выяснил одну из причин, по которым немцам не удалось завоевать Россию. Иногда «майбах» тащил трактор, и я с болью слушал, как он пузом едет по колее, в которой колеса не доставали до земли. Кажется, это его хозяин, Гудериан, на вопрос, что он может сказать о дорогах России, ответил: «Там нет дорог. Там есть направления». Конечно, не только дороги помогли нам выиграть войну. Для дисциплинированных и аккуратных немцев явилась полной неожиданностью способность советского народа в кратчайшие сроки перестроить экономику, работать всю войну без выходных и отпусков, едва залечив раны, снова вступать в строй, сжигать собственные дома, чтобы они не достались врагу. Недаром говорится: что русскому здорово, то немцу смерть. Теперь «майбах» полз по раз-

битым дорогам, чихал на низкооктановом бензине, наткался на гвозди и железки, и я за два дня в совершенстве овладел секретом монтировки колес и заодно понял, что быть владельцем такого автомобиля со стипендией даже повышенной далеко не сахар. Зато на редких участках дороги, соответствующих западным стандартам, «майбах» оказывался непревзойденным. Он несся со скоростью чуть сорок километров в час, оставляя за собой все современные виды транспорта, включая новенькие «ЗИМы» и правительственные «ЗИСы-110». Он был подобен Карлу из «Трех товарищей» Ремарка. Когда ночью на дороге зажигались фары, стоило только включить дальний свет огромных майбаховских фар, и вся дорога испуганно гасла, понимая, что с таким светом может ехать только высокое начальство.

Впервые я путешествовал не на поезде и мог увидеть, что сделала война с моей страной. Шел пятьдесят четвертый год, а почти во всех городах стояли развалины. Смоленск, Витебск, Невель несли на себе следы страшных боев. С продовольствием было совсем не так, как в Москве и Ленинграде. С утра в городах стояли очереди за хлебом. Ежегодные снижения цен, о которых торжественно объявлял Левитан, не имели никакого практического значения для провинции, и люди жили впроголодь, так как в магазинах, кроме горохового концентрата и клюквенного киселя в пакетах, купить было нечего.

Вот тогда я впервые задумался о бесстыдстве режиссеров типа Пырьева, создававших на экранах иллюзорный мир «Кубанских казаков» с их ярмарками, изобилием, песнями и плясками, с их потемкинскими деревнями. Огромная прекрасная страна с необозримыми полями, корабельными рощами, озерами и реками проносилась передо мной за стеклами «майбаха». Жаркое солнце сменялось бешеными грозами. Утренние туманы — беспощадной резкостью полуденного зноя. И только одно оставалось удручающе однообразным: серые усталые лица людей, жалкие деревни с обвалившимися заборами, маленькие приусадебные участки с тщательно ухоженными картофельными кустами, словно заплатки на огромном ленивом теле целины, и дороги, ужасающие проселочные дороги, половина которых была наезжена еще при царе Горохе, и это была не худшая половина.

Большой талант нужно было иметь, чтобы довести огромный работающий народ до состояния полупьяного равнодушия, свергнуть его в спячку, лишить инициативы. Только война, только ненависть к поработителям Родины всколыхнули его. И он показал свой богатырский характер, стрях-

нул оккупантов, освободил Европу и снова оказался в полуголодной, полупьяной дреме. Обложенный бессмысленными налогами, он вырубал сады, чтобы не платить налог с дерева, резал скот, оставляя одну корову, чтобы только не умерли без молока рахитичные послевоенные дети. Да и ту корову нужно было кормить сеном, накошенным в лесу за тридцать километров, хотя рядом были цветущие луга и трава на них вяла без пользы. И все время им, народом, руководили: сеять это, не сеять то. Руководили люди, которые вкусно жрали, мягко спали и отвечали только за недостаточно активное руководство. Они издавали циркуляры, натянув сталинские френчи, разъезжали по районам, собирали совещания и оперировали цифрами, которые с каждым годом становились все краше. А жизнь становилась все хуже, потому что исчезла вера. Лозунг, под которым прошла революция, «кто не работает, тот не ест» трансформировался в свою противоположность «кто не работает, тот и ест».

Люди постепенно понимали, что быть болтуном и бездельником проще и надежней, чем честным работягой. Поэтому и сегодня желающих стать барменами и мясниками значительно больше, чем желающих стать даже космонавтами, несмотря на всю престижность этой профессии. Страшную формулу придумал Маркс: «Бытие определяет сознание». Нищенское бытие определяло сознание этих людей — главное водка, потому что только она помогает забыть о том, что ты бессилен что-нибудь изменить. Водка была единственной устойчивой валютой. За водку тебя заправляли бензином, за водку снимали колеса с трофейного «хорьха», стоявшего в райкомовском гараже, за водку ты мог достать немисливо откуда детали даже к такому редкому автомобилю, как «майбах». За водку трактора вытягивали тебя на буксире, забросив полевые работы. Деньги не имели значения, если на них нельзя было купить водку.

Когда много лет спустя я был в Лондоне, мне сказали, что нет такой вещи, которую нельзя было бы купить, если у тебя есть деньги. Эта формула была недействительна для моей страны. Все можно было купить только за водку. За границей всегда смеются, когда рассказываешь анекдот о русском бизнесе: украли фургон водки, водку продали, деньги пропили. Действительно смешно. Но за этим анекдотом стоит душа бескорыстного великого народа, который веками сносил унижения, рабство, насилие и искал забвения в водке и в людях, которые делили с ним это забвение. Народ, который всегда презирал накопителей и уважал молодецкую удаль и широкий размах и в деле и в гулянке; если освободить его

силы от мелочной и неграмотной опеки, он может сотворить невиданное, во всяком случае я верю в это.

В Ленинград я прибыл на пятый день после выезда из Москвы. Недоезжая Луги «майбах» заглох, потому что динамо не давало зарядки, а старенький аккумулятор истощил свои возможности. Я отдал последние сто рублей, и меня взяли на буксир. Во двор своего дома я въехал позорно-триумфально. К этому времени дядя Костя начал всесоюзный розыск, так как я потерялся на целых три дня. Но, как я понимаю, тогда система ГАИ была недостаточно надежна, потому что еще через неделю после моего прибытия ему докладывали, что «майбах» с экипажем обнаружить не удалось.

Отец моего друга Юры Спиридонова одним из первых в Ленинграде купил «ЗИМ», который по тем временам стоил безумные деньги — сорок тысяч рублей, и во дворе нашего дома как заслуженный моряк построил для него гараж. На мое счастье, он уехал в отпуск на машине, и Юра отдал мне ключи от гаража, но «майбах» помещался туда впритык, и каждый раз, ставя его в гараж, я вышибал заднюю стенку, иначе не закрывались ворота.

Началась беспокойная жизнь. В автомобилях я ничего не понимал, и за время перегона из Москвы научился только вести его по автострате на скорости сто сорок километров в час. Когда мы попадали на плохую дорогу, меня, как правило, подменял шофер, который поехал со мной до Ленинграда. Теперь шофер уехал обратно в Москву, и я остался один на один с чудовищной машиной, непохожей на остальные нормальные автомобили. Советчиков у меня хватало. Все любители автомобилей собирались с утра около «майбаха», обсуждали его конструкцию и особенно автомат переключения скоростей и систему тормозов с вакуумным усилителем, но ничего конкретного они сказать не могли. Итак, каждое утро я выкатывал «майбах» из гаража во двор, слушал советы, а к вечеру закатывал его обратно, каждый раз выбивая заднюю стенку. Потом, установив «майбах» с точностью до сантиметра при помощи дворовых мальчишек, я забивал стенку гвоздями, закрывал дверь и шел спать. Так непродуктивно проходили мои каникулы, пока однажды во дворе не появился человек в засаленном офицерском кителе без погон и в летной фуражке без кокарды. Судя по всему, этот человек пользовался непререкаемым авторитетом у всех автомобилистов, потому что они моментально замолчали и принялись вместе с ним

ходить вокруг автомобиля. Внимательно осмотрев «майбах», человек снял фуражку и вытер несвежим платком вспотевшую лысину.

— Будем знакомы, — сказал он, протягивая мне потную вялую руку, — Иван Афанасьевич.

С этого момента началась моя автомобильная жизнь. Через полчаса во двор въехал «форд», и мне привезли новый аккумулятор. Потом Иван Афанасьевич сел за руль «майбаха», и мы поехали на склады «АФИ» — так назывались склады, где хранилось трофейное автомобильное оборудование и остатки неиспользованной американской техники, полученной по ленд-лизу. Иван Афанасьевич пользовался на складах непререкаемым авторитетом, и я ходил за ним среди гор запасных частей к «виллисам» и «студебеккерам», «хорьхам» и «мерседесам». Стоили эти части безумно дешево. Так, например, задний мост к «виллису» стоил семьдесят рублей (на старые деньги), а вполне приличный «виллис» можно было купить за полторы-две тысячи рублей. Как я узнал позднее, Иван Афанасьевич скупал по дешевке моторы от списанных немецких и американских грузовиков, делал из них электростанции, которые продавал на эстонские хутора, за каждую такую электростанцию Иван Афанасьевич брал двадцать пять тысяч рублей, имея стократную прибыль, но он никогда не снимал своего старого, пропотевшего кителя и летной фуражки без кокарды. Друзья Ивана Афанасьевича состояли из отставных офицеров, в основном служивших по интендантской части, и молодых жуликоватых ребят, помогавших ему переделывать автомобильные моторы на электродвижки для хуторов. По вечерам компания собиралась на квартире одного из дружков Ивана Афанасьевича и пила коньяк. Иван Афанасьевич пил мало, по его бледному лицу крупными каплями стекал пот. Напившись, компания пускалась на поиски приключений, впрочем, весьма однообразных: все ехали на угол Литейного и Невского, где около магазина «ТЭЖЭ» собирались женщины легкого поведения. В дальнейшем ни Иван Афанасьевич, ни я не участвовали — он по состоянию здоровья, а я по старомодным соображениям нравственности, которые оказали мне услугу, так как в один прекрасный день вся компания заболела триппером.

Вообще, как я убедился тогда и продолжаю убеждаться до сих пор, разврат довольно скучное дело, если он не связан с движением души. А покупать видимость любви за деньги да еще торговаться при этом — не знаю, что может быть унижительнее? Разве только снимать никому не нужную картину, зная заранее, что ты по-

лучишь за нее Государственную премию. Ежедневные пьянки у друзей Ивана Афанасьевича надоели мне довольно быстро, и как раз в это время я встретил Фиму Капелевича.

С Фимой мы занимались в кружке фотографии во Дворце пионеров. Фима на вид был полусонным мальчиком с замедленными, вялыми движениями и большими сонными глазами с поволокой. Но, как оказалось впоследствии, под этой сонной оболочкой кипели страсти. Самой сильной из этих страстей была любовь к автомобилю. В отличие от меня Фима прекрасно разбирался в технике и поступил в технологический институт, где блестяще учился, но инженером не стал, хотя закончил институт с отличием. Фима стал шофером, потому что не мыслил себя без автомобиля. Много лет спустя я узнал, что Фима еще будучи студентом проводил свои каникулы оригинальным способом. Он угонял автомобиль из Ленинграда и ехал на нем в Грузию, где продавал его. Так как никаких других видов транспорта, кроме автомобиля, он не признавал, то угонял автомобиль из Тбилиси и ехал на нем в Прибалтику, где тоже были люди, нуждавшиеся в краденых автомобилях. В отличие от Деточкина Фима не переводил деньги на счет дядеца, что позволило ему купить собственный автомобиль еще в студенческие годы. Таким образом, он с пользой проводил каникулы, сочетая изучение географии родной страны с неплохим заработком, значительно превышавшим его зарплату инженера. На втором десятке украденных автомобилей Фиму застукали, и он честно отсидел свои восемь лет, после чего я встретил его в ленинградском Доме кино на одном из закрытых просмотров. Как Фима попал на этот просмотр — остается для меня загадкой. Вероятно, по одному из обкомовских билетов, по которому может пройти кто угодно, в то время как работники киностудии, не являющиеся членами Союза, стоят жалкой толпой просителей перед неумолимым администратором. Мы обнялись. Фима, теперь полуседой элегантный джентльмен, одетый в импортный дефицит, сообщил, что работает шофером «Икаруса» и собирается уезжать в Штаты. У него были роскошная дача и машина, но тем не менее он ждал инициативы и свободы предпринимательства. Судя по последним сообщениям, энергия Фимы получила достойный выход. Из Штатов он нанялся служить в войска Израиля, где за несколько месяцев заработал крупные деньги и купил себе самый роскошный автомобиль, который только можно купить в Америке. Дальнейшая его судьба мне не известна.

Когда Фима увидел «майбах», его приспу-

щенные веки дрогнули, и из-под них сквозь поволоку мелькнул взгляд экстрасенса. Теперь мы днем копались в гараже, а ночью Фима учил меня водить автомобиль. Это было прекрасное время в моей жизни. Тихими белыми ночами мы неслись по Приморскому шоссе вдоль застывшего Финского залива. Разжигали костры на берегах озер Красавица и Комсомольское. Утром по росе собирали грибы. Потом неслись домой, не останавливаясь по требованию ГАИ. И когда милиционеры пускались за нами в погоню, я давал газ, и сразу фигурка мотоциклиста отлетала далеко назад, а на спидометре «майбах» стрелка приближалась к ста сорока километрам. Бедный блюститель порядка догонял нас только тогда, когда мы останавливались на каком-нибудь лесном повороте. Фима садился на мое место и невозмутимо предьявлял взбешенному милиционеру свои права. Заканчивалось тем, что с Фимы брали штраф, а гаишник начинал осматривать «майбах», причем все они повторяли одно слово: «Зверь». В то время не существовало ограничения скорости в девяносто или шестьдесят километров, а было требование «двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность движения». В отношении «майбах» этот пункт можно было толковать по-разному. Даже если бы он на скорости сто сорок километров сошел с дороги и врезался в кирпичный дом, пассажиры остались бы живы, а «майбах» прошел бы сквозь дом, как нож через брусок масла. Вся конструкция «майбах» гарантировала полную безопасность пассажиров даже в экстремальных условиях.

Фима как прирожденный автомобилист понял это сразу, и нахальству его, когда он садился за руль, не было предела. Любимым его способом развлечения было медленно ехать по шоссе в ожидании какого-либо начальника, спешившего на дачу. Когда машина начальника, поравнявшись с нами, шла на обгон, Фима садистски медленно прибавлял газ, и новенький блестящий «ЗИМ» полз рядом с нами, не понимая, что же происходит. И лишь когда скорость приближалась к ста двадцати километрам в час, «майбах» вдруг делал резкий прыжок, и опозоренный начальник оставался далеко позади. Не знаю, чем бы окончились эти развлечения, но на мое счастье. Фиму забрали на военные сборы, а я пошел на «Ленфильм» проходить производственную практику. И «майбах» остался под присмотром Ивана Афанасьевича, который продолжал ездить на нем на склады «АФИ», вывозя оттуда моторы для своих электростанций.

Однажды Иван Афанасьевич пригласил

меня к себе. Меня это очень удивило, потому что, насколько я знал, Иван Афанасьевич никогда и никого не приглашал в гости, хотя и жил в нашем доме. Все выпивки обычно происходили в квартирах его друзей. И я подозревал, что он боится свою жену или не приглашает в гости по каким-либо другим обстоятельствам. Мы поднялись по широкой мраморной лестнице нашего голуновского дома. До 1905 года на этой лестнице была квартира моего деда, и лишь после рождения отца вся семья переехала во вновь отстроенный корпус с лифтами и прочими удобствами. В старом корпусе были большие мрачные квартиры, которые снимали адвокаты и модные писатели, а теперь на высоких дубовых дверях гнездились индивидуальные звонки жильцов коммунальных квартир. Иван Афанасьевич открыл дверь, и мы вошли в обширную прихожую, освещенную сорокасвечовой лампочкой. Из прихожей шел коридор, терявшийся в бездонном мраке, а справа от входной двери сверкала, подобно дверце сейфа, обитая легированной сталью дверь. Ее-то и открыл Иван Афанасьевич, используя несколько ключей, похожих на хирургические инструменты, сделанные из нержавеющей стали. За дверью была вторая прихожая, вся заставленная шкафами из дорогого красного и черного дерева. Поверх шкафов висели темные мрачные картины с романтическими пейзажами в духе Коро. Пол в прихожей был застлан огромным ковром. Ковры висели и на стенах за шкафами, не было их только на потолке, с которого свисала роскошная люстра, она могла достойно украсить шикарный публичный дом начала прошлого века.

Иван Афанасьевич открыл раздвижные застекленные двери, и мы оказались в комнате с окнами, занавешенными тяжелыми портьерами, сквозь которые едва проникал скудный свет. Видимо, окна выходили в колодец самого маленького двора в нашем доме, где даже в июльскую жару было сыро и прохладно, а солнечный свет никогда не достигал дна колодца. Комната была очень большая, наверное, метров сорок, и тоже сплошь завешана коврами и картинами и заполнена предметами мрачной роскоши в стиле Габриеля д'Аннунцио. Здесь были серванты из черного дерева, мавританские инкрустированные столики, бронзовые переплетения вакханок и сатиров, венецианский хрусталь. Комната дышала мрачным сладострастием, на одной стене висела каючаяся Магдалина с роскошно обнаженной грудью, по которой струились не менее роскошные волосы. На стене против Магдалины висела сильно увеличенная фотография женщины, напоминающей рекламу финского сыра «Виола», только женщи-

не было лет сорок пять и лицо ее было исполнено достоинства. Фотография была раскрашена анилиновыми красками, и глаза у женщины были пронзительно голубые.

Я замер, пораженный роскошью обстановки, которая напоминала обстановку особняка Глории Свенсон в голливудском фильме «Бульвар Сансет». Эрих Штрогейм в лице Ивана Афанасьевича стоял рядом, только на нем вместо роскошной ливреи дворецкого мешковато висел пропотевший китель без погон и отсутствовала выправка прусского юнкера.

— Ну как? — спросил он.

— Потрясающе! — сказал я. — Я такое видел только в кино, да и то один раз.

Иван Афанасьевич удовлетворенно хмыкнул и достал из серванта хрустальный графин и две рюмки. Коньяк был хуже дяди Пепиного, но несомненно такой в магазине не купишь. Мы закусили бутербродами с икрой и налили еще.

— Я сюда никого не пускаю, — сказал Иван Афанасьевич. — Сам ведь знаешь, какие люди. Зависть и жадность — вот что руководит ими. Но тебе я верю, сам не знаю почему.

— Откуда у вас это? — спросил я.

— Это целая история, — сказал Иван Афанасьевич. — Это все благодаря ей, — он кивнул в сторону фотопортрета стареющей Виолы, и неожиданно из его глаз потекли слезы. — Если бы ты знал, как я ее любил. Я ничего не жалел для нее, не было такой вещи, которую я бы не достал для нее. У нее было все, что только может пожелать женщина! А теперь ее нет. И на кой черт мне все это? Смотри... — Иван Афанасьевич встал и вышел в прихожую. Я пошел за ним. — Смотри, — говорил он, открывая двери шкафов, безошибочно находя нужный ключ в огромной связке ключей. — Смотри — все, что она хотела, было у нее.

В шкафах висело бесчисленное количество шуб: котиковое манто, норковый палантин, каракулевая шуба и шуба из неизвестного мне легкого, как пух, голубоватого меха, чернобурки, песцы, соболя. Похоже было, что Иван Афанасьевич скупил всю продукцию международного пушного аукциона.

— Смотри, — сказал он и нажал какую-то скрытую кнопку — в стене открылся потайной шкаф, и там я снова увидел ряды шуб, висящих на вешалках.

— И все это она носила? — удивленно спросил я.

— Она носила их передо мной, — горделиво сказал Иван Афанасьевич. — Она была умная женщина, а не какая-нибудь вертихвостка.

Мы вернулись в комнату и выпили.

— Ты думаешь, она любила только шу-

бы? — сказал Иван Афанасьевич. — Нет, она была женщина со вкусом. — Он достал шкапулку, и со дна ее засияли бриллианты и изумруды, кольца, браслеты, серьги.

«Просто остров Сокровищ, — подумал я, — остров Сокровищ на Второй Советской».

— Но самого главного, — сказал Иван Афанасьевич, — самого главного здесь нет.

— Какого главного? — спросил я.

— Большого камня, — сказал Иван Афанасьевич. — Я достал его перед войной, все, что ты видишь, не стоит и трети его стоимости. Это был камень — всем камням камень. Когда началась блокада, ей предложили его продать. Они не знали, где он лежит, но знали, что он есть. А такой камень стоит не один миллион. Проглоти его, один такой камушек в животе, и ты обеспечен на всю жизнь там, — Иван Афанасьевич довольно точно показал в сторону запада.

— Ну и что вы с ним сделали? — спросил я.

— Давай выпьем, — сказал Иван Афанасьевич. Его глаза лихорадочно блестели, по лицу крупными каплями стекал пот. Мы выпили. — Я прилетел в Ленинград, — сказал Иван Афанасьевич. — Видит Бог, это было трудно во время блокады, но я прилетел. Я служил в авиации, и у меня были кое-какие связи. Я прилетел к ней на одну ночь.

— Почему вы не вывезли ее отсюда?

— Я хотел вывезти, — сказал Иван Афанасьевич, — но она не захотела.

— Ваня, — сказала она, — деньги — мусор, и продавать камень за деньги бессмысленно. Сейчас нужны продукты, и они могут их достать.

— Кто это они? — спросил я.

Иван Афанасьевич показал пальцем вверх, почти так же, как дядя Костя.

— Я сказал ей: «Ладно, Муся, пусть они дадут продукты. Для меня самое главное — ты». Поздно ночью ей привезли полный грузовик продуктов: муку, сало, консервы, сахар, гущенку, крупы — пять тонн за один камушек. — Иван Афанасьевич засмеялся и показал фигу, далеко высунув большой палец. — Вот такой был камушек. На продукты она выменяла все это, — Иван Афанасьевич широким жестом обвел комнату. — Она спасла родственников и выжила сама. Она была очень умная женщина, моя Муся. А какая она была красивая, как она прогуливалась передо мной в этих манто. Красота!

Я смотрел на фотографию Виолы и старался представить, как она обменивала продукты у голодных людей. Передо мной возникли мои тетки, выехавшие из блокадного Ленинграда, — их висящие пустыми мешками груди и обвисшая кожа бедер и рук, когда они ночью умывались в тазике в Усть-Вы-

ми. Как можно было что-то выменивать у этих людей? Вот этот сервант — за буханку хлеба и банку сгущенки. А этот — за мешочек гречневой крупы и кусок сала. Эти канделябры — за десяток кусков сахара. А эту бронзовую порнографию — за пачку махорки. Пять тонн продуктов! Сколько это человеческих жизней? И кто эти люди, которые могут отдать такое за камень, который можно проглотить и почувствовать себя миллионером? Наверное, эти люди имели доступ к продуктам, если с такой легкостью расплачивались ими за бриллиант величиной с фалангу большого нечистого пальца Ивана Афанасьевича. Расплачивались в то время, когда тысячи людей умирали с голоду в эту Новогоднюю ночь. Так кто же они?

— Послушай, Саша,— сказал Иван Афанасьевич,— у меня к тебе есть дело.

— Какое? — спросил я.

— Ты человек с будущим,— сказал Иван Афанасьевич.— Ты не дурак, хотя и излишне доверчив, у тебя дядя генерал, он тебя любит, видишь, «майбах» подарил. У тебя хорошая профессия — в кино люди много зарабатывают. Я остался один, совсем один. И все это пропадет, когда я умру. Деньги мне не нужны, их у меня хватит на сто лет, а умру я скоро, может, через год, ну от силы — два. Женись на моей племяннице, и все это — твое.

— Как это я могу жениться, если я ее в глаза не видел?

— А зачем тебе смотреть? — сказал устал Иван Афанасьевич.— Она не моя Муся, на нее не наглядись. Глядеть ты будешь на других, а ее ты не обижай. Дай слово, что не обидишь?

— Вы с ума сошли,— сказал я,— я вообще жениться не собираюсь!

— Подумай,— сказал Иван Афанасьевич,— подумай. А «майбах» продай, не к лицу студенту ездить на такой машине. Я найду покупателя за хорошие деньги. Жить надо скромно и незаметно: завистников вокруг ой как много, и выставляться совсем ни к чему. А о женитьбе подумай. Второго такого случая не будет, такого приданого тебе больше никто не даст.

Приехал отец Юры, и «майбах» выселили из гаража. Я отогнал его в Репино, на дачу дяди Кости, и мы с Левой Житковым поставили его на чурбаки и скотили над ним навес от снега. Нужно было уезжать в Москву, начинался новый учебный год. «Майбах» грустно поблескивал фарами, стоя на чурбаках, он будто прощался со мной.

Осенью мама написала мне, что врачи советуют поехать ей на юг и что прихо-

дил Иван Афанасьевич с каким-то эстонцем. Они предлагают за «майбах» шестнадцать тысяч, столько же, сколько стоит новая «Победа». Я выслал маме доверенность и написал, чтобы она поехала на юг. «Майбах» продали, и мама съездила на месяц в Гудауту — это было для нее счастьем, потому что она впервые увидела Черное море. Двадцать лет спустя «майбах» продали за двенадцать тысяч новых рублей. Старый владелец хвастался, что купил его у какого-то дурака за шестнадцать тысяч старыми, правда, посреднику, который ему это устроил, он заплатил пятьдесят тысяч, ну да машина того стоила, она послужит еще лет двадцать. Через год Иван Афанасьевич оформил брак со своей племянницей, а еще через полгода, как обещал, умер.

В 1955 году открыли общежитие ВГИКа на Яузе, и весь свет нынешнего советского кино впервые собрался под одной крышей. До этого вгиковцы жили в деревянных дачных постройках на Клязьме и в Пушкинской, маленьком двухэтажном общежитии в Лосиноостровской и по углам у мадам жабиных и толкушкиных. Теперь они разместились в новом кирпичном пятиэтажном здании в светлых комнатах на четыре койки, с кухнями на каждом этаже, с комнатами для занятий и залом для танцев. Свет в окнах горел до глубокой ночи, в комнатах до хрипоты спорили о кино и литературе, выпивали, играли в карты и целовались с девушками. В зале для танцев веселье не прекращалось всю ночь, и, когда комендант вырубала пробки, чтобы разогнать компанию, в темноте танцевального зала будущие деятели советского кино под звуки детской песенки «Баба сеяла горох...» дружно подпрыгивали, отчего все здание тряслось и вскоре дало трещину. В коридорах общежития разговаривали на всех языках Европы и Азии. Заключались смешанные браки и любовные связи. И только китайцы держались особняком, ежедневно делая зарядку после полуночи, говорили, что так учил Мао Цзедун. Это было счастливое время. Я уже был старшекурсником и мог ходить во ВГИК по своему усмотрению, что я и делал, посещая главным образом просмотры.

После мрачного периода борьбы с космополитизмом и эпохи культа личности во ВГИКе восстановили в прежнем объеме изучение западного кино, и почти каждый день преподаватели В. С. Колодяжная и С. В. Комаров, ранее находившиеся в опале, теперь смотрели по два-три фильма в день, готовясь написать учебник по истории западного кино. Среди немногих до-

пускаемых на эти просмотры находился и я. Видимо, они не забыли, как в мрачные годы борьбы с космополитизмом я устраивал факультативные просмотры и лекции, на которые целиком оставались два курса операторского факультета. Теперь вечерами после занятий я смотрел фильмы Карне, Ренуара, Хичкока, Джона Форда, Уайлера, Кьюкора, Чаплина, Фрица Ланга и многих других мастеров, ранее находившихся под запретом. Поразительно, как великие художники довоенного кино подсознательно чувствовали приближение войны, зыбкость и неустойчивость существующего порядка. Грегг Голланд, Гарри Стредлинг, Рошар, Шюфтан, Юбер видели этот мир в зыбком мареве ночных туманов, искаженный широкоугольной оптикой с резкой светотенью, с экспрессионистической установкой света, в пламени свечей и керосиновых ламп, в декорациях с потолками, по которым струился свет из окон, с текущей по ним водой. Все это создавало ощущение мира, затаившегося в ожидании страшной и неминуемой опасности — войны. Особенно умело создавал атмосферу ожидания ужасного Альфред Хичкок, великий мастер кино, незаслуженно оболганный нашими киноведами, невежественными и нечестными, превозносившими посредственности, которые даже и развлечь людей толком не могли, а создавали фильмы-однодневки на «злобу дня».

Все менялось, правда, не всегда в лучшую сторону. Михаил Чиаурели, этот любимец богов и студентов, некогда увещанный лауреатскими значками и окруженный толпой почитателей, теперь появлялся в одиночестве с единственным орденом Ленина на груди, и все сторонились его как зачумленного. Михаил Геловани, прекрасный артист и человек, игравший Сталина почти во всех фильмах Чиаурели, умер забытый и брошенный. Застрелился Фадеев, видимо, он боялся взглянуть в глаза людей, которые постепенно возвращались из лагерей. Появился роман Дудинцева «Не хлебом единым». Властители дум послевоенного поколения, создатели «Далеко от Москвы», «Кавалера Золотой Звезды» и другие лауреаты многих премий скромно отступили в тень, чтобы пересмотреть свои позиции и снова верно служить «социалистическому реализму». Все, кто мог, приспособлялись к новому. Кто не мог приспособиться, уходили из жизни, как Фадеев, но их было мало, очень мало.

Студенты ВГИКа очень быстро приспособились к новому. Это понятно — к хорошему привыкаешь быстрее. Кроме того, во ВГИКе даже в самые мрачные времена была демократическая атмосфера благодаря мастерам, которые понимали, что воспи-

тывать творцов, используя обычные методы обучения, нельзя. Традиции, заложенные Эйзенштейном, Кулешовым, Савченко, были слишком сильны, и их не удалось изжить чиновникам от культуры, хотя они и пытались это сделать. Я всегда вспоминаю ВГИК того времени с радостью, может быть, отчасти и оттого, что именно в это время в стране произошли большие перемены, дававшие надежду на будущее, надежду, которая, к сожалению, сбылась не во всем.

Я поселился один в комнате на четвертом этаже. Кроме меня в комнате числились женатые Вехотко и Зярник и холостой Пушкирев. Все они продолжали жить на частных квартирах, но в комнате стояли новые кровати с роскошными панцирными сетками, готовые принять своих хозяев в любой момент. Когда после проходного двора квартиры на Мало-Московской мне становилось одиноко в своей комнате в обществе пустых кроватей, платяного шкафа и письменного стола, я выходил в коридор или на кухню, где всегда царил оживление.

Представители грузинской колонии братья Шенгелая, Андроникашвили и другие пели хором под аккомпанемент гитары. Вася Шукшин — в матроской форменке без гюйса и в широченных клешах — выступал в роли комсомольского вождя двадцатых годов. В семидесятые годы я встретился с ним на премьере его фильма «Странные люди». Вася сильно изменился, похудел, стал молчалив, и на его деревенском лице лежал отпечаток раздумий. К этому времени он уже писал замечательные рассказы, и я захлебывался от смеха, читая их. По нашим беседам на кухне общежития трудно было предположить, что в Васе таится такой запас таланта. Слишком по-комиссарски он был прямолинеен, изображая моряка-братишку, прошедшего тяжелую морскую службу и презиравшего всякую гнилую интеллигенцию, папенькиных и маменькиных сынков.

Теперь Вася стал другой. Когда после премьеры мы пришли в ресторан и я стал разливать водку, Вася накрыл свою рюмку ладонью.

— Я не пью, — сказал он.

— Давно? — удивился я.

— Второй год.

Представить себе непьющего Васю было трудно, потому что, как почти всякий русский человек, Вася не знал ни в чем меры: ни в работе, ни в выпивке, ни в душевных сомнениях, ни в самобичевании. Напивался он до изумления, глотал водку тонкими стаканами «по-сибирски», после чего начинался мордобой и всякие другие приключения. Выяснилось, что Вася построил себе кооператив в писательском доме. Однаж-

ды, загуляв где-то по-крупному, он не дошел до своей квартиры и свалился около лифта. Вася пролежал почти сутки. Советские писатели, жившие на одной с ним лестнице и завидовавшие скоропалительной Васиной славе, поднялись на лифте в свои квартиры. Ни один из них не сделал попытки отнести тело Васи домой или хотя бы известить об этом его домашних. Все они испытывали чувство брезгливого удовлетворения от созерцания Васиного тела.

— Я был в полном сознании,— сказал Вася,— я все слышал и понимал, только пошевелить ничем не мог. Я слышал, как они хихикали, переступая через меня, и я решил, что больше такой радости я им не доставлю. Все. С тех пор я не пью.

Вот тогда я увидел нового Васю — не разубабистого братишку, не человека, который использовал свой типаж, потому что ему «поперло», а человека, думающего самостоятельно, по-шукшински, сердце которого болело по поводу нашей жизни, чувствуя ее несправедливость и несовершенство. Найти путь к этому новому Шукшину помог Васе Михаил Ильич Ромм.

Позже мне пришлось встречаться с учениками Ромма. Они вспоминали его с нежностью и любовью. Как правило, все они были людьми глубоко порядочными, для которых слово «честь» не было пустым звуком. Этому их научил Ромм.

1956 год прошел очень весело. Я был студентом-дипломником, посещал лекции, когда хотел, пользовался уважением младшекурсников, ходил на закрытые просмотры во ВГИКе и Доме кино, участвовал в дружеских пирушках в ресторанах и все реже ходил к дяде Пепе. Постепенно еженедельные посещения сократились до двух, а потом и одного раза в месяц. Я по-прежнему встречал в доме дяди Пепы Новый год и другие праздники, но теперь я спешил в общежитие, где меня ждали друзья, девушки, бесшабашное студенческое веселье.

Меня все больше удивляла, а потом постепенно начала угнетать замкнутая жизнь семьи дяди Пепы. К ним никогда не приходили гости, не звонил телефон, и они, казалось, не испытывали никакой тяги к общению, их вполне устраивало общество друг друга. Случалось, что все трое они раскладывали пасьянсы. Дядя Пепе в присутствии женщин почти не разговаривал, и, похоже, их это тоже вполне устраивало. Ирина Вячеславовна не задавала мне больше вопросов о том, вызывали ли меня в КГБ. Но я кожей чувствовал, что она все время думает об этом.

Я поехал в парикмахерскую гостиницы

«Москва», которую регулярно посещал перед обедами у дяди Пепы, и с опозданием на сорок минут нажал кнопку звонка квартиры. Дверь открылась, за ней стоял дядя Пепе в старых генеральских брюках с лампасами и в синей фланелевой американской куртке а ля Айк. Он молча выслушал мои поздравления и повесил пальто на плечики. Мы прошли в комнату Ирины Вячеславовны, где обедали по большому праздникам, в отличие от простых воскресных обедов, когда ели на кухне. Ира и Ирина Вячеславовна молча кивнули мне и стали усаживаться за стол, видимо, ждали только меня, и мне стало неловко за то, что я опоздал, но транспорт работал плохо — демонстрация только что кончилась, да и очередь в парикмахерской была больше, чем обычно.

Обед проходил почти в полной тишине, только позвякивали вилки и ножи да булькало вино, наливаемое в фамильные хрустальные фужеры. Что-то случилось. Но я не понимал, что. После обеда Ирочка принесла кофе и коньяк, и дядя Пепе закурил прямо в комнате. Это меня удивило: последнее время он почти не курил дома или курил у мусоропровода в кухне. Ирина Вячеславовна ничего не сказала, она вышла из-за стола и вернулась с пепельницей, которую поставила перед дядей Пепой. Потом она положила передо мной сверток.

— Это тебе,— сказала она. В свертке лежали замшевые перчатки на заячьем меху, бордовый галстук и флакон мужских духов фирмы «Шанель».

Похоже, что я успевал на вечеринку в общежитие. Я допил коньяк, дождался, когда дядя Пепе потушит папиросу, и встал.

— Спасибо,— сказал я.

Ирина Вячеславовна и Ирочка церемонно поклонились. Дядя Пепе помог мне надеть пальто. Мы были одни в прихожей.

— До свидания,— сказал я.— Спасибо за все.

— Послушай, мальчик,— сказал дядя Пепе, глядя на меня своими усталыми серыми глазами.— Тебе больше не следует приходить сюда. Ты понял?

Я ничего не понял, но кивнул.

— Когда-нибудь ты все поймешь,— сказал он.— А теперь иди и будь счастливым. Деньги я буду присылать на Центральный телеграф на твоё имя до востребования. Прощай.— Он открыл дверь, выпустил меня, постоял, секунду глядя, как я вызываю лифт. Потом дверь закрылась, и остался только зеленоватый светящийся смотровой глазок, а потом погас и он.

Я шел в праздничной толпе по улице

Горького и ничего не понимал. Что случилось? Может, я в чем-то провинился? Но я не чувствовал за собой никакой вины. Может быть, опять что-нибудь с отцом? Но почему тогда дядя Пепа не сказал об этом мне? Я ничего не понимал, и мне было очень грустно и одиноко.

До сих пор я не знаю, почему дядя Пепа в те тяжелые времена, пока были живы Сталин и Берия, не боялся принимать у себя и оказывать мне помощь. И почему он отступился от меня, когда отца реабилитировали и выпустили на свободу? Правда, каждый месяц, когда я приходил на Центральный телеграф получать деньги от мамы, меня ждал и почтовый перевод на пятьсот рублей от дяди Пепы. Но с тех пор я его не видел. Потом я окончил ВГИК и перестал ходить на Центральный телеграф и получать переводы. Перед защитой диплома я написал короткое письмо-благодарность и приглашение на защиту. Я писал, что обязан ему всем и никогда этого не забуду. И если ему когда-нибудь понадобится моя помощь, я сделаю все, что в моих силах. Но дядя Пепа не пришел на защиту и ничего не написал в ответ. Я увидел его еще раз. Это случилось через четыре года.

Я уже работал на «Ленфильме», и в одно прекрасное утро я завтракал в кафе «Nord» с одной замечательной девушкой, с которой у меня были полудружеские, полулюбовные отношения. Девушка снималась в картине, на которой я работал, и в нее были влюблены еще два моих друга. Мы не могли выяснить, кому она отдает предпочтение, поэтому вели себя слишком уж по-джентльменски, предоставляя ей полную свободу выбора. Мы приканчивали кофе с коньяком, когда девушка вдруг сказала мне:

— По-моему, за соседним столиком сидят твои родственники. Во всяком случае этот мужчина как две капли воды похож на твоего дядю, фотография которого стоит у тебя на столе.

Я оторвал глаза от рюмки коньяка и увидел дядю Пепу. Он сидел за столиком напротив и смотрел на меня. Он почти не изменился, только голова из сивой стала совсем белой-белой, белей, чем накрахмаленная белая рубашка, которая была на нем. Одет он был в штатское и очень походил на иностранца, скорее всего на англичанина. На русского он не был похож совершенно — такая сила и спокойствие исходили от него. Советские граждане его возраста, оставшиеся в живых, не обладали и десятой долей того чувства собственного достоинства, которое исходило от дяди Пепы. Рядом с ним сидела мгновенно состарившаяся за эти четыре года Ирина

Вячеславовна. Она тоже была совершенно седая, и чувства собственного достоинства ей не нужно было занимать. Они великолепно выглядели рядом, и вдруг я понял, почему к ним никто не ходил и они ни с кем не общались. Ведь они были монстры. Да, да, монстры. Потому, что у них не было ничего общего с девяноста девятью целыми и девятью десятками людей, окружавших их.

Тех людей, которые походили на них, уже давно уничтожили, вырубали под корень вместе с семьями. Ну, может быть, внуки еще остались и воспитываются в детприемниках, не зная, кто их родители и тем более деды. Я вспомнил, что за свою жизнь встречал несколько таких монстров, чудом уцелевших в «нашей славной, веселой стране». Это был директор лесопункта Киселев с женой и дочкой Норой. Это был учитель географии Спиридонов, умерший от голода в Ухте. Было еще несколько людей, похожих на них, которых я встречал за свою жизнь, но мне хватило бы пальцев на обеих руках, чтобы пересчитать их. Мои дядя с материнской стороны: дядя Сережа, дядя Леша и дядя Шура тоже были монстрами, только более добрыми и менее гордыми.

Итак, я сидел в кафе «Nord» и смотрел на двух монстров — моих родственников, сидевших передо мной. Я отложил салфетку, встал и поклонился. Они благожелательно наклонили головы. Не кивнули, а поклонились сидя. Мне показалось, что дядя Пепа одобрительно посмотрел на мою девушку. Она и в самом деле заслуживала этого, наверное, поэтому у нас с ней ничего путного и не получилось — слишком она была хороша для меня. Потом я расплатился, и встал, и снова поклонился, и снова они ответили мне. Мы вышли, и я проводил девушку в гостиницу «Европейская», где узнал у портье, что генерал-полковник Чечулин остановился в бельэтаже, в «охотничьем» номере.

В следующий раз я видел дядю Пепу лежащим в гробу, в морге военного госпиталя. Санитары одели его в штатское только после того, как я отдал им почти все наличные деньги. Перед гробом на подставках лежали подушечки с боевыми орденами, но дядя Пепа лежал в штатском. Я исполнил посмертное его желание. Пожалуй, это единственное, что я смог сделать для него.

Первое свидание с отцом было таким же безрадостным, как и то, когда мы с мамой приехали к нему в Печору сразу после войны, летом 1946 года.

Я блестяще сдал экзамены, получил диплом с отличием и направление на «Ленфильм». Прощание со ВГИКом было печаль-

ным. Наверное, это были лучшие годы моей жизни. Я занимался любимым делом, меня окружали люди, которых я любил и которые любили меня. Замечательные педагоги читали мне лекции, и почти половину студенческой жизни я просидел в просмотровом зале и с замиранием сердца смотрел на экран, где передо мной проходили шедевры мирового кино. Никогда после я не получал от кино такого наслаждения, почти необъяснимого чувственного наслаждения. По мере того как я вырослел и приобретал профессию, это наслаждение приходило ко мне все реже, но во ВГИКе я испытывал его ежедневно. После прощальной пирушки друзья посадили меня в поезд и я поехал навстречу новой, взрослой жизни, в которой меня ждали встречи с новыми людьми, работа, работа и еще раз работа.

Дома дверь мне открыл отец. За пять месяцев после освобождения он успел немного поправиться, но по-прежнему был худ необычайно. При росте почти в один метр девяносто сантиметров он весил не более семидесяти килограммов, почти столько, сколько я. Мы пожали друг другу руки, и он поздравил меня с получением диплома.

Прошло уже пять лет с его смерти, а я до сих пор со стыдом вспоминаю нашу встречу. Надо же, после смерти Сталина, после разоблачения Берии, после бесед с дядей Пепой, после всего стыдного и страшного, что я узнал за последнее время, я относился к нему как к врагу, врагу, изменившему своей стране, своему народу, своей партии. С беспощадностью Павлика Морозова я судил своего отца, и только где-то в потаенных глубинах моей души теплились крохи брезгливой жалости. Я жалел свою мать, дядю Пепу, моих родственников, которых отец замарал предательством, и конечно, в первую очередь я жалел себя. Я жалел себя за будущие унижения при заполнении анкет, за косые взгляды кадровиков, за то сочувствие, которое будут испытывать ко мне наши стукачи дома и за границей. Очень сильно я жалел себя. И эта жалость не дала мне возможности заключить в объятия человека, который был моим отцом, человека, честнее и отважнее которого я более не встречал да и вряд ли встречу.

Итак, мы удержались от объятий и прошли в комнаты. Я заметил, что отец смущен, и приписал это чувству вины за то, что он совершил по отношению ко мне и родственникам, посмеив сдаться в плен живым. Теперь я знаю, как легко призывать к героизму других, когда ты сам ничем не рискуешь. И как трудно быть героем, когда на одной чаше весов лежат твоя честь и человеческое достоинство, а на другой — твоя

жизнь, и принимать решения нужно немедленно, не раздумывая и не взвешивая возможные варианты.

Через несколько дней, в субботу, отец устроил прием в честь моего окончания ВГИКа. Гостей было много — человек сорок. Были почти все родственники, мои школьные друзья, друзья по двору, не успевшие сесть в тюрьму или успевшие из нее выйти. Отец настоял, чтобы я пригласил всех. К вышедшим из тюрьмы он относился особенно ласково и предупредительно. Пришло несколько моих соучеников по ВГИКу, получивших направления на «Ленфильм». Все они с некоторым удивлением смотрели на отца, потому что пока я учился, они знали, что его у меня не было. Во время перекуров в коридоре они спрашивали, почему я никогда не говорил, что у меня такой чудный старик. Я отшучивался, как мог, но эти вопросы мне были неприятны.

За годы воздержания в тюрьме и лагерях отец соскучился по хорошему столу, и все деньги, которые он получил в компенсацию за отсидку, угрохал на банкет. Стол ломился от яств, вин, коньяков, множества домашних наливок, изготовлению которых отец посвятил пять месяцев после выхода из лагеря. Гости ахали и восхищались, и к концу ужина все девушки были влюблены в отца и признавались мне в этом, вызывая у меня некоторое чувство мрачной зависти.

Только дядя Костя и дядя Леша чувствовали себя несколько скованно. Они сидели за столом, одетые в форму офицеров МВД, и вид у них был слегка смущенный, как будто они были виноваты в том, что отец столько времени был лишен возможности устраивать такие застолья.

Вечер закончился танцами под музыку Гленна Миллера в нашей бывшей гостиной, из которой соседи вынесли кровати и стол в прихожую и коридор. Пары покачивались в полумраке под «Лунную серенаду». За окнами стояла белая ночь. Я вышел в темную прихожую, дверь на парадную лестницу была приоткрыта. На площадке стояли мои дядья и отец.

— Ты не можешь обвинять нас, Михаил, — говорил дядя Костя. В тусклом свете белой ночи на его плечах поблескивали погоны подполковника МВД.

Дядя Леша стоял рядом, прислонившись к перилам, и курил, на его плечах тоже поблескивали погоны майора. Отец и дядя Сережа стояли рядом.

— Вы боевые офицеры, ребята, — сказал отец, — не к лицу вам эти жандармские погоны. Я знаю, что эти ордена вы заработали в окопах, иначе я не пустил бы вас

на порог своего дома — Чечулины сроду не подавали руки жандармам.

— Мы офицеры Министерства внутренних дел,— сказал дядя Костя,— мы не занимаемся политикой. Мы честно воевали.

— Вот и не марайте свою боевую честь,— сказал отец.

— Мы честно служим и сейчас.

— По правде говоря,— сказал дядя Сережа,— мне ваши погоны тоже не по душе.

— Ну понятно,— сказал дядя Костя,— тебе больше по душе уголовники, которых приглашал Михаил.

Я понял, что он имеет в виду моих друзей по двору, которые под музыку Гленна Миллера, мотая широченными клешнями моды сороковых годов и поблескивая фиксами, пытались соблазнить моих изысканных институтских подруг. Эти парни прожили всю блокаду в Ленинграде, тушили зажигалки и ловили ракетчиков по крышам, заступались за меня в драках и были добрыми и хорошими ребятами. Сели они за ограбление военной машины, захватившей в наш двор. Шофер и сопровождающие отправились на ночь к дамам легкого поведения, оставив машину без присмотра. В ней были ящики с оружием, и весь наш двор вооружился новенькими наганам. Поймали только этих двоих, и они не выдали никого, а наганов пропал целый ящик. Они честно отсидели свои восемь лет и вышли из лагерей чуть раньше отца. Теперь они работали помощниками машиниста тепловоза и по-прежнему жили в железнодорожном доме, который замыкал наш двор.

— Это друзья моего сына,— сказал отец,— и, по-моему, они хорошие ребята.

— Они только-только вышли из тюрьмы,— сказал дядя Костя.

— Большинство хороших людей за свою жизнь я встретил в тюрьме,— сказал отец.

— И я тоже,— сказал дядя Сережа.

— Пойдем, Алексей,— сказал дядя Костя,— нам тут делать нечего.

— Не валяй дурака,— тихо сказал молчавший до этого дядя Леша.— Ты прекрасно понимаешь, что они правы, и тебе так же, как и мне, стыдно за эти погоны. Прости нас, Михаил,— сказал он.

— Перестань,— растроганно сказал отец.— Я ведь знаю, что вы тут ни при чем.— Они обнялись все четверо.

А я тихо закрыл дверь и пошел в гостиную, где в полумраке под музыку Гленна Миллера покачивались пары. Впервые с момента моего приезда в Ленинград у меня на душе было легко и спокойно.

— Пап, расскажи, как ты попал в плен,— попросил я.

Отец невесело усмехнулся.

— Очень просто,— сказал он.— Ты же знаешь, что я пошел в народное ополчение. Кроме меня там были в основном одни старики и люди, которые никогда не держали в руках винтовки. Да и теперь не всем удалось ее подержать: винтовок было мало — одна на пять-шесть человек, патронов тоже было не густо. Обмундирования фактически не было, мне достались сапоги на два размера меньше, а я ведь был офицером. И вот таких необученных, невооруженных людей бросили против армии, которая воевала уже три года, захватила всю Европу, была вооружена автоматическим оружием. Мои солдаты бросались на них в штыковую атаку, имея одну винтовку на пятерых. Сам понимаешь, никто из них и не подошел на расстояние штыкового удара. В первый же день мы остались без патронов, немцы просто обошли нас, и нам ничего не оставалось, как покончить с собой или сдаться в плен.

На моем языке вертелся вопрос: «Почему же ты не покончил с собой?», но, слава Богу, я не произнес его.

— А что было потом?

— Потом немцы стали выяснять, кто из нас комиссар и кто еврей. В моей роте нашелся подонок, который, чтобы выслужиться, назвал коммунистов. Про меня он сказал, что я еврей. Нас бросили в глубокую яму, и мы просидели там больше недели. Было уже холодно, шел октябрь месяц, и мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, и питались гнилыми овощами и каким-то подобием супа, который немцы давали нам раз в день. Потом нас вытащили из ямы. Мы думали, для того чтобы расстрелять, но нас погрузили в теплушки и отправили во Францию, в шталаг под Сен-Этьеном.

— Что такое «шталаг»? — спросил я.

— В отличие от концентрационного лагеря, где находились и гражданские и военные, женщины и дети, в шталаге были только военные: англичане, французы, американцы и мы, русские. Условия там были получше, чем в концлагерях. Нас вывозили на работы на грузовиках и без особой охраны. Шел сорок второй год. Немцы везде одерживали победы, и считалось, что бежать нам бессмысленно, так оно в общем и было. Но я все равно решил бежать. Однажды мне удалось незаметно ускользнуть с места работ, и я вышел на окраину маленького городка. Там в огороде копался пожилой человек. Я заговорил с ним на ломаном французском, который я запомнил еще с гимназии. И вдруг этот человек начал говорить со мной по-русски. Оказалось, он донской казак, приехавший во Францию с русским экспедиционным корпусом еще в первую мировую войну. Фамилия его Воробьев. Он нашел мне гражданскую одежду и на следующий день отвел меня к партизанам, связным которых он был.

— В маки?

— Да, в маки,— сказал отец.

Само название «маки» было для меня овеяно легендами, отважными покушениями на гитлеровских функционеров, подпольной работой, диверсиями на фабриках и заводах. И теперь часть этого ореола распространялась и на отца.

— И что ты делал в маки? — спросил я.

— К сожалению, мало чего полезного,— сказал отец.— В основном отряд состоял из людей, которые скрывались от военной и трудовой повинности. Они не хотели работать на немцев, но и воевать с ними они не испытывали большого желания. Иногда убивали какого-нибудь зарвавшегося коллаборациониста или грабили продуктовые склады. Боевые действия начались, когда появилось много бежавших русских военнопленных. А так они сидели в уютных землянках. Женщины приносили им вино и еду, оставались на ночь. Совсем была неплохая жизнь. Они называли себя борцами за свободу и носили повязки, но при малейшей опасности повязку вместе с автоматом можно было закинуть в кусты, и ты становился обычным французом. А вот русских сразу ставили к стенке без суда и следствия, потому что, как правило, они воевали в немецкой форме и плохо знали французский язык. 14 июля 1942 года, в день взятия Бастилии, я был дежурным по лагерю. К вечеру все собралось за столом, вина и еды было вдоволь. Я долго слушал, как они пили за великую Францию и за самих себя, сражавшихся за ее свободу, и не выдержал. Я сказал, что стыдно им сидеть в уютной землянке и не заниматься ничем, кроме жратвы и любви, в то время как русские сражаются за них под Сталинградом, пускают под откос эшелоны в Белоруссии, когда горят тысячи русских сел и городов. В первую мировую войну русские спасли их под Танненбергом и сейчас проливают свою кровь, чтобы они могли хвастать за обильным столом. Поздно вечером я обошел лагерь — все часовые спали пьяные. Я вынул замки из автоматов и поднял боевую тревогу. Если бы это была настоящая боевая тревога, их бы всех перебили без единого выстрела.

— Что было потом? — спросил я.

— Потом они не смотрели мне в глаза несколько дней, но боевая деятельность резко активизировалась. Мы совершили нападение на хорошо охраняемый склад оружия и теперь были вооружены до зубов.

— Хорошие парни французы?

— Как тебе сказать,— задумчиво произнес отец,— они разные, так же, как и мы или немцы.

— Ну немцы-то полное дерьмо! — сказал я.

— Не скажи,— отец нахмурился.— Твоя

прабабка была немкой, и я за свою жизнь встречал много хороших и честных немцев, во всяком случае их не меньше, чем хороших французов.

— Очень уж они расчетливые.

Отец засмеялся.

— Расчетливость немца ничто по сравнению с меркантилизмом француз. Ты знаешь, что до войны наши работники посольства заходили в кафе и платили по две тысячи франков, чтобы хозяин повесил портрет Сталина?

— Ну да? — удивился я.

— Да,— сказал отец.— И хозяин вешал портрет Сталина. А потом приходил немец и предлагал пятьсот франков, чтобы повесили портрет Гитлера. И хозяин вешал портрет Гитлера. Так они и висели друг против друга. Забавно, не правда ли? Впрочем, они друг друга стоили.

Эта фраза сильно покорила меня — поставить на одну доску Сталина и Гитлера было, по-моему, чересчур.

— Ну и что дальше? — спросил я.

— Так мы и воевали понемножку,— сказал отец.— Конечно, ни в какое сравнение с партизанами Белоруссии наши боевые действия поставить нельзя, но когда американцы высадили десант в Нормандии, немцы сильно струхнули. Они уже понимали, что война проиграна, поэтому не предпринимали никаких карательных операций и сдавались в плен при первой возможности. Вот тогда мы сильно активизировали свои действия. Однажды мы захватили маленький городок, я уже не помню его название. Мы взяли тринадцать пленных, четверо были немцы, остальные — наши среднеазиаты: казахи, узбеки, киргизы. Они были одеты в форму вспомогательных частей вермахта. Их выстроили на единственной площади городка, и начался праздник. Жители городка, мужчины и женщины, праздновали победу и постепенно стали напиваться вместе с моими коллегами по оружию. Чем больше они напивались, тем больше в них пробуждалось чувство мести, особенно у тех, кто всю войну просидел дома. В них сработал комплекс рабов, получивших свободу. «Прекрасные» французские женщины гасили сигареты о лица пленных, щипали их и давали им пощечины под одобрительный хохот мужчин — лавочников и владельцев кафе. Когда измученные пленные падали, женщины мочились на них. Яма, в которой нас держали немцы, была пустяком по сравнению с этим.— Отец побледнел и замолчал.

— Ну и что дальше?

— Дальше,— сказал отец,— дальше я понял, что еще немного и их убьют, потому что эти люди напились до скотского состояния. Я пытался остановить их. Я кричал: «Это же пленные, опомнитесь, вы же фашисты!» Но

они смеялись мне в лицо и продолжали свое дело. Половина пленнх уже лежала на земле, и какой-то негодяй пытался подпалить их факелом. Я почувствовал, что еще немного и я начну стрелять по этим довольным пьяным рожам. Тогда я от греха подальше снял автомат, отбросил его в сторону и встал в одну шеренгу с пленными.

— Что было дальше? — спросил я.

— Дальше они перестали смеяться, — сказал отец. — Дальше они сказали: значит, ты предпочитаешь их нам? И я ответил, что да, потому что люди, способные издеваться над пленными, для меня не люди. Нас оставили в покое, и все остались живы. Вместе с пленными я просидел в тюрьме, пока не подошли американцы.

— Что было дальше? — спросил я.

— Американцы очень удивились, что я, воевавший в маки, сижу в казематах, где сидели интернированные испанцы, каземат был бетонный, по колено заполнен водой. Меня освободили, выдали форму и оружие и зачислили в полк, составленный из русских военнопленных, забавших из плена и воевавших в маки. Видимо, французы и американцы решили, что мы выполнили свой долг, поэтому мы больше не воевали, а стояли в казармах под Сент-Этьеном на полном довольствии, жрали американские консервы, пили французское вино и спали. Постепенно многие уходили из казарм и женились на французенках, а оставшиеся начали спекулировать на черном рынке продуктами и сигаретами. И тогда я сказал: «Братцы, мы же представители великой державы России. Не к лицу нам выступать в роли спекулянтов и пьяниц. Давайте кончать это».

— И что они тебе ответили?

— Михаил, — сказали они, — мы столько перенесли в своей жизни, столько съели дерьма. Дай нам хоть немного пожить как следует.

— Ну и что ты сделал?

— Я написал письмо командованию о том, что полк получает в два раза больше обмундирования и продовольствия, чем положено. Приехала комиссия. Они посмотрели на то, что происходит, махнули рукой и уехали. «Вы заслужили это своим боевым прошлым», — сказали они. После этого снабжение полка еще улучшилось, а пьянство и спекуляция возросли.

— Зачем они это сделали?

— Видишь ли, американцы привыкли к тому, что их солдаты спекулируют казенным имуществом. Бизнес есть бизнес. И то, что проделывали наши, по их мнению, было младенческим занятием. Они действительно считали, что мы достаточно вытерпелись, и поэтому смотрели сквозь пальцы на наше поведение. К этому времени война заканчивалась, и я поехал в Париж. Нашел наше кон-

сульство и попросил, чтобы меня отправили домой. Работник консульства, который беседовал со мной, был пожилой интеллигентный человек.

— Михаил Петрович, — сказал он, — вы состоите в союзных нам войсках.

— Но мы же ничем не занимаемся, не участвуем в боевых действиях.

— Значит, командование считает, что так и нужно.

— Отправьте меня на фронт.

— Это не в моей компетенции.

— Тогда отправьте меня домой.

— Только после окончания войны.

Война кончилась через два месяца, и опять я пришел к нему.

— Михаил Петрович, — спросил он, — почему вы так рветесь на Родину?

— У меня там семья: мать, жена, ребенок.

— Я хочу вам дать совет, — сказал он. — Война только что закончилась. Сейчас еще не ясно, как сложится обстановка дальше. Повремените, не торопитесь. Если все будет хорошо, вы поедете домой.

— А если не все будет хорошо?

— Тогда я вам ехать не советую.

— Я русский и не представляю себе жизни вне России.

Он еще долго уговаривал меня, но потом махнул рукой.

— Как хотите, — сказал он, — только не поминайте меня лихом.

Это был очень порядочный и добрый человек, но понял я это только потом.

До границы с Восточной Германией мы ехали в спальных вагонах. Мы — это несколько сотен русских, воевавших в маки и теперь, как и я, решивших вернуться на Родину. Как только мы пересекли границу, нас обыскали, отобрали оружие, которое нам оставили французы, и погрузили в телушки. Несколько дней мы жили в ожидании формирования состава, потом, когда состав сформировали, двери закрыли наглухо и мы поехали. Ехали мы долго, почти полтора месяца. Вначале нам давали какую-то баланду и хлеб, а потом перестали давать совсем. В вагоне началась дизентерия, и каждое утро мы находили несколько трупов умерших за ночь людей. Я знал, что ветеринары лечат лошадей, бросая в ведро с водой ржавые гвозди, поэтому я старался не пить ту мутную гадкую жидкость, которую нам иногда давали чуть ли не в параше. Я лизал ржавые болты вагона, а потом, когда стало холодно, обкалывал выросший на них лед и сосал его. Когда мы приехали в Печору, половина вагона была мертва. Трупы не убрали и складывали их в один угол. Так мы и ехали — полвагона мертвецов и полвагона живых мертвецов. Мы не понимали, что происходит, потому что на станциях, где стоял поезд, люди кидали в окна телушки камни. Все стекла были

выбиты, и никто ни разу не кинул нам и горбушки хлеба. Я всегда знал, что русский народ самый милосердный народ в мире, и я ничего не мог понять — за что нас так встречает Родина? Понял я это только тогда, когда нас выгрузили на перрон. На всех вагонах крупными буквами белой масляной краской было написано: «Предатели Родины».

— Что было потом? — спросил я.

— Я не хочу вспоминать, а тем более рассказывать это, — сказал отец. И действительно, он никогда больше не вспоминал лагеря, и даже когда приходили его друзья, с которыми он вместе сидел, они не вспоминали о прошлом.

Друзья, как правило, были старые коммунисты. И я все время пытался узнать у них, как же случилось, что их, затевавших и делавших революцию, первыми посадили в лагерь. Но старые коммунисты смущенно молчали. Они никого не обвиняли, ни на кого не жаловались, как будто виноватыми они считали самих себя, и то, что произошло с ними, воспринимали как нечто неизбежное и необходимое. Похоже, что для многих из них Сталин оставался гордым символом партии, и они сдержанно-неодобрительно отзывались о Хрущеве, который освободил их. Теперь они имели персональные пенсии и приусадебные участки с огородами. Государство выдало им ссуды на строительство дач. И собравшись у нас за столом, они обсуждали поведение какого-то капитана первого ранга в отставке, который на своем участке построил теплицу и выращивал в ней цветы для продажи на рынке. Они говорили, что он недостойн состоять в партии, и, если он не прекратит свой цветочный бизнес, они добьются его исключения.

Они вспоминали своего друга — секретаря комсомольской ячейки двадцатых годов, который взял из вверенного ему клуба кожаное кресло и поставил его в свою комнату. Они так проработали его на собрании, что утром друг повесился. Он зацепил веревку за крюк для люстры и спрыгнул с кожаного кресла — больше в комнате не было предметов мебели, с которых можно было бы спрыгнуть, так как друг спал на полу на газетах, и высота постели не позволяла покончить жизнь самоубийством. Они вспоминали это с удовольствием оттого, что друг, хотя и ценой жизни, вернулся на честный и бескорыстный путь работника партии.

Почти сразу после освобождения отец принялся разыскивать П. Воробьева — старого донского казака, помогшего ему бежать в маки. Отец писал письма в наше посольство в Париже, в префектуру города, в котором жил Воробьев. И наконец пришло письмо от самого Воробьева. В письме была цветная фотография, изображавшая Воробьева и его семью на фоне их дома. Воробьев писал, что

награжден орденом Почетного легиона за участие в Сопротивлении, что у него прекрасная семья, отличный дом, он пользуется уважением — его даже хотели избрать мэром городка, но это невозможно, так как он до сих пор является подданным России и подданство менять не собирается, так как хочет умереть русским. Отец послал приглашение Воробьеву, но получил ответ, что Воробьев приехать в Россию не может, так как не является подданным. Французской Республики, а белоэмигранты, даже награжденные орденами за борьбу с фашизмом, права на въезд не имеют. Вот такой получился заколдованный круг.

Они долго переписывались. Иногда переписка прерывалась, и тогда отец снова писал в посольство и в префектуру, узнавал, жив ли Воробьев, и вслед за извещением префектуры о том, что Воробьев жив и здоров, приходили письма от Воробьева, в которых он писал, что не получил ответа на свои письма и очень рад, что у нас все в порядке, и что это, наверное, французская почта работает так скверно, и что он надеется перед смертью приехать в Россию навестить места, где прошло его детство, но принимать французское подданство он не намерен. Он родился русским — и умрет русским. Всю свою жизнь он гордился тем, что русский.

Я думаю, что Воробьев умер русским, так и не повидав Россию, потому что перестал писать за два года до смерти отца, а он был лет на пять старше.

Двадцать пять лет прожил отец после освобождения. За эти годы он не совершил ни одного поступка, которые мы во множестве прощаем своим близким или посторонним людям потому, что «человек есть человек», и все мы не лишены слабостей и недостатков. Он ни разу не соврал и ни разу не умолчал о том, что считал стыдным и непорядочным. Если бы существовало такое понятие, как «идеальный коммунист», пожалуй, из всех моих знакомых только отец мог бы претендовать на это звание. Все хорошие, честные люди тянулись к нему, как к гигантскому нравственному магниту. И я понимаю, почему Октябрьская революция одержала победу. Она не могла не победить, если в партии состояли такие люди, как отец.

Тем более мне непонятно, как люди, подобные моему отцу, оказались в большинстве своем в тюрьмах и лагерях, а еще больше — в могилах, убитые своими же соратниками по партии. Убийства эти были санкционированы высшим руководством страны. Зачем это было нужно им?

Отец любил статистику.

Однажды наш Верховный прокурор А. Я. Вышинский на очередной сессии ООН

сказал, что «есть просто ложь, а есть подлая ложь — так это статистика». Не знаю, в связи с чем Вышинский сказал такое. Может, этим он хотел опровергнуть статистические данные о количестве политических заключенных в нашей стране или еще какие-нибудь неприятные для него цифры.

После смерти отца я нашел записи, в которых отец скрупулезно подсчитывал число погибших и уцелевших участников съездов партии, число расстрелянных и уцелевших маршалов, командиров дивизий и полков. Расстрелянных и уничтоженных было во много раз больше, чем оставшихся в живых. Из делегатов Четвертого съезда партии в живых осталось только двое — Сталин и Молотов.

Ни одна вера после христианства не привлекла столько последователей, сколько привлекла к себе вера в коммунизм. Как же вера во всеобщее равенство и братство могла выродиться в беспощадное уничтожение своих собратьев, в ненависть к инакомыслящим?! Средневековое аутодафе — детские представления по сравнению с тем, что творили с нашим народом железные рыцари революции.

Я проснулся от резкого, повелительного стука в дверь. Часы показывали семь часов тридцать минут. Я подумал, что стук мне приснился, и повернулся на другой бок. Но стук повторился — громче и настойчивее. Вероятно, так стучат в любое время суток люди, обладающие неограниченной властью, например, работники органов госбезопасности при задержании опасных преступников.

— Кто там? — спросил я.

— Откройте, — повелительно ответили за дверью.

Чертыхаясь, я натянул пижамные штаны и пошел к двери.

— Кто там?

— Откройте!

Я открыл дверь и увидел дежурную поэтажу и двух перепачканных масляной краской мужчин в рабочих комбинезонах.

— В чем дело? — спросил я.

— Мы маляры, — сказал один из мужчин.

— Какого черта! — сказал я. — Маляр был у меня вчера.

Один из мужчин отстранил меня и прошел в ванную. Пощупав свежечершеные трубы, он сказал:

— Тут все в порядке.

— А вы не могли прийти пораньше? — спросил я. — Или хотя бы извиниться?

— Мы на работе, — ответил маляр и хлопнул дверь перед моим носом.

Я немного постоял у двери, слушая, как они ломятся в соседние номера, и понял, что уснуть больше не придется. Эти люди не умели говорить вполголоса. Грохот разносил-

ся по всей гостинице, и слабые протестующие возгласы постояльцев заглушались резким повелительным голосом администраторши.

Вот уже три дня в мой номер врываются какие-то комиссии. Они бесцеремонно, не обращая на меня никакого внимания, осматривали потолки и двери, ржавые трубы в санузле, открывали дверцы шкафа и выдвигали ящики письменных столов. Вслед за ними шли плотники, которые привинчивали к шкафам недостающие ручки, вешали термометры и трехпрограммные репродукторы. Последним пришел маляр. Он побелил потолок в ванной и аккуратно закрасил ржавые потеки на трубах.

— В чем дело? — спросил я. — Почему такой аврал?

— Немцы приезжают, — ответил маляр. Вот уже третью неделю я жил в гостинице «Южная» в Волгограде, который когда-то носил гордое имя Сталинград, известное всему миру потому, что именно здесь произошла историческая схватка с фашизмом, за которой с напряженным вниманием следил весь мир. Теперь об этом напоминали уродливые памятники солдат, застывших в величественных позах с противотанковыми ружьями, автоматами и гранатами; массивный, выложенный мрамором и урочный потолочными фресками вокзал, в котором некуда было приткнуться уставшему пассажиру; и мемориал, который я боялся идти смотреть, потому что однообразное бетонное творчество, виденное мной на других мемориалах, вызывало у меня чувство вины перед погибшими.

Я вспомнил кладбище с табличками захоронений дивизий, бригад, частей особого назначения на Малаховом кургане под Севастополем и понял, что никакими даже самыми громадными бетонными конструкциями нельзя воздать память людям, лежащим в этой земле. Возможно, эти мемориалы успокаивали чью-то совесть и, несомненно, являлись серьезным источником дохода для не слишком даровитых художников, сумевших, однако, понять, что масштаб в первую очередь поражает эстетические центры мозга людей, стоящих у власти.

Когда я смотрел фильм Ромма «Обыкновенный фашизм», я не мог понять, почему Ромм так не любит Вучетича. Вся скульптура гитлеровского рейха предвосхищала послевоенное творчество наших мемориальных скульпторов. Потом я понял, что дело не в том, любил или не любил Ромм Вучетича. Дело в том, что Ромм очень не любил фашизм. Наверное, поэтому он назвал свой фильм «Обыкновенный фашизм».

Михаил Ильич, выступая по телевидению, говорил:

— Я знаю, что тот фашизм, который по-

терпел поражение в 1945 году, вряд ли возникнет в том же обличье. Но он обязательно возникнет снова. И для того, чтобы вы могли его распознать, я и сделал этот фильм. Вы должны уметь распознать обыкновенный фашизм.

Говорят, что после просмотра фильма к Ромму подошла его ученица, немка из ГДР. Она сказала:

— Михаил Ильич, я очень уважаю и люблю вас, но то, что вы сделали,— это ложь. Я дочь антифашиста, и все это время я жила в Германии. Ничего подобного я там не видела.

Ромм очень расстроился, ему было жаль девушку, но он понимал, что вылечить ее можно только правдой, только фактами. Девушке показали фото- и кинодокументы, представленные на Нюрнбергском процессе. Семь часов она просидела в просмотрном зале. Когда вышла из зала, она постарела на двадцать лет.

— Если это правда,— сказала она,— то не стоит жить.

Около гостиницы на скамейках сидели ветераны. Одни приехали сюда с семьями, женами и внуками, другие приехали одни. В ожидании автобусов, которые отвезут их в мемориал, они фотографировались на ступеньках гостиницы. Седой полковник в мундире, который, по-видимому, сохранился у него еще с Парада Победы, собирал немногих оставшихся в живых из 13-й гвардейской дивизии. Оставшихся в живых было немного, но орден, которые их украшали, хватило бы во всяком случае на целый полк. Но их не хватило бы на остальных бойцов дивизии, сложивших свои головы на этой земле.

В дверь снова постучали. Вошел молодой человек с чемоданчиком.

— У вас телефон не в порядке? — спросил он.

— Да, я уже дважды говорил об этом дежурной две недели тому назад.

— Немцы приезжают,— сказал он,— говорят, из ФРГ. Мы проверяем номера, где они будут жить. Им заранее сообщили телефоны номеров, в которых они останутся. Неудобно, если им позвонят из Берлина, а телефон плохо работает.

Через пять минут он сказал:

— Ну вот, теперь можете звонить куда угодно. Телефон в порядке.

— Хорошо,— сказал я,— я позвоню в Берлин — пусть едут.

«Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет» — эти слова Александра Невского я запомнил со времен войны. Я всегда гордился этими словами и горжусь до сих пор.

Немцы, которые должны были выслать из номеров ветеранов, на этот раз явились без меча. С мечом это у них не получилось. И мне непереносимо больно представить себе, как

войдут в номер седого полковника, который собирал своих оставшихся солдат на ступеньках гостиницы, и предложат ему покинуть номер, в котором он поселился, потому что «едут немцы». А ведь это сделают обязательно. И в лучшем случае полковнику предложат переехать в другой номер, где ржавые трубы и неработающий телефон, и потолки с протечками, и нет холодильника и телевизора, и куда нельзя поселить немцев. Предложат это люди, которые каждый день видят скульптуру Матери-Родины на берегу Волги.

Потом полковник будет обниматься с немцем, которого поселили в его номер, чтобы очередной начальник мог поставить очередную галочку в графе «мероприятия», которую можно было бы озаглавить «дружеская встреча врагов по оружию».

Несколько лет тому назад в день 9 мая я оказался в Калинин. Мы выбирали натуру для кинофильма «Кадкина всякий знает», и после трех дней изнурительной езды по ужасным дорогам мы решили передохнуть и отпраздновать, пожалуй, самый ценный для нас праздник — День Победы. Самый ценный потому, что все остальные праздники существовали до нас, до нашего появления на свет: и Новый год, и 7 Ноября, и 1 Мая. Этот праздник появился при нас. Мы заслужили его своим голодным детством, погибшими родственниками, запущенными болезнями, трудом на полях и у станков, тушением зажигалок, своей ненавистью к захватчикам и своей верой в Победу.

Утром, отскоблив бритвой свои заросшие физиономии, приняв душ и надев чистые рубашки, мы спустились в ресторан. Почти все столики были заняты. Слегка подвыпившие граждане в орденах и медалях молча смотрели на большой стол, за которым шла гулянка. Над столом на стене висела надпись: «Стол только для иностранцев. Спецобслуживание». Компания, сидевшая за столом, судя по количеству пустых бутылок из-под шампанского, веселилась давно. Это были здоровые, откормленные ребята моего возраста и младше.

К нам подошла официантка, и мы, потирая руки, приготовились как следует выпить и закусить. Но как выяснилось, закусывать практически было нечем, а когда я показал официантке на соседний столик, уставленный закусками, она, высокомерно пожав плечами, сказала:

— Так ведь это немцы — спецобслуживание.

Тверские ветераны, позвякивая медалями, молча закусывали соленым огурцом, наблюдая, как веселятся «побежденные».

А «побежденные» не стеснялись. Им, прав-

да, не удалось захватить эту страну с помощью меча, но зато теперь они захватили ее с помощью валюты. Они смотрели на этих жалких, увешанных медалями и орденами русских и чувствовали себя победителями. Лишь один немец, постарше, пытался их урезонить. Но они хохотом отвечали на его попытки. Потом они положили руки на плечи друг другу и хором запели, раскачиваясь над столом. Они пели «Хорст Вессель».

Я не могу объяснить, что случилось со мной, но я вдруг оказался у их стола с неоткрытой бутылкой шампанского в руке.

— Заткнитесь! — крикнул я почему-то по-английски.

Они замолчали. Только один парень, улыбаясь, глядел мне в глаза, продолжая петь, он покачивался в такт песне, но пожилой немец что-то резко и повелительно сказал ему, и он блудливо отвел глаза, продолжая презрительно улыбаться. Это был здоровый красивый парень, настоящий ариец, превосходивший меня по всем статьям. Но я чувствовал, что если он попытается запеть, я просто убью его этой бутылкой и никогда не буду жалеть об этом.

— В этот день, — сказал я, — вы должны молчать! Verstehen?

Я сел за столик, и тут же ко мне подскочила разъяренная женщина метрдотель.

— Вы понимаете, что вы наделали? — заорала она на меня. — Вы оскорбили наших друзей. Это вам так не пройдет!

— Передайте вашим друзьям, чтобы они молчали весь этот день, — сказал я. — И скажите, что я убью первого, кто посмеет запеть свои поганые фашистские песни. Это наш праздник — наш и наших мертвых.

Метрдотель отошла, и постепенно немцы тоже стали расходиться. Последним ушел молодой супермен. Он довольно долго в одиночестве пил шампанское, с вызовом поглядывая на наш столик, но петь не осмелился.

Я никогда не обладал агрессивными наклонностями и никогда не думал, что способен убить человека.

К нашему столику подошел спортивного вида парень.

— Можно попросить вас выйти на минутку? — спросил он.

В холле парень показал мне красное удостоверение работника КГБ.

— Так, — сказал я, — значит, вы хотите меня арестовать?

— Нет, — сказал парень, — я хочу, если позволите, пожать вашу руку. По долгу службы я должен их охранять. Это немцы из ФРГ, и они строят тут завод. Приехали они надолго. Мне так часто хочется намылить им рожи, уж больно они наглые. Вы бы на самом деле ударили его бутылкой?

— Да, — сказал я. — У меня к ним свои счеты.

— Слава Богу, что этого не случилось, — сказал парень, — очень бы мне не хотелось вас арестовывать.

— Не зарекайтесь, — сказал я, — всякое в жизни случается.

Я сижу в Краснодаре в номере гостиницы «Москва». Номер хороший, чистый, с горячей водой и холодильником, только телевизор не работает — нет изображения, хотя звук есть и я слушаю спектакль по пьесе Горького. Уже трижды я просил дежурных по этажу вызвать специалиста, но специалист не приходит, наверное, необходим приезд немцев или каких-нибудь других иностранных гостей.

За окном идет дождь, идет уже третий день. Говорят, его не было целое лето, и сейчас он берет реванш. Группа осатанела от безделья, и, поскольку в Краснодаре царит сухой закон и можно выпить триста граммов только в гостинице «Интурист» и только сухого вина, вся энергия людей направлена на добычу спиртного. Русский человек не любит запретов. Когда мы попадаем в города, где борьба с алкоголизмом не достигла высоты перестройки и водку можно спокойно купить в магазине — все идет нормально. Люди выпивают после работы, ложатся спать и выходят на работу свежие и отдохнувшие.

Здесь же творится что-то неопишное. Шоферы, пиротехники, гримеры, ассистенты с утра рыскают по городу, обмениваются адресами самогонщиков, выезжают за пятьдесят километров в села и на побережье Черного моря. Дежурят на железнодорожной станции, у вагонов, где продают бормотуху. Пьют одеколон и лакают пиво десятками литров. В общем, вовсю осуществляют закон Ньютона, который гласит (боюсь сформулировать не совсем точно): всякое действие вызывает противодействие.

Я погрузился в осуществление этого закона и выпил невероятное количество напитков, которые бы никогда не стал пить раньше. Но я русский человек и очень не люблю, когда всевозможные ханжи или вообще негодяи решают за меня, как мне нужно жить.

Я некоторое время жил по их указке, о чем теперь очень сожалею, но это было в те времена, когда я был молод, глуп и переполнен Верой. Верой в такие понятия, как Вождь, Партия, Отечество, Светлое будущее. Сейчас мне пятьдесят пять лет, и я верю в другие понятия. Я верю в Долг, Любовь, Предназначение. Я очень боюсь потерять Веру и в это. Тогда останется верить только в Бессмысленность и Смерть.

Одна хорошая женщина, которая меня любила, когда-то говорила мне, что я конформист, потому что перестал верить в то, во что

верил раньше и во что она продолжает верить теперь. Не знаю, может быть, она права, я ее давно не видел. Но тогда я ответил ей, что предпочитаю конформизм — терроризму и фанатизму. Ибо, если я буду продолжать верить, то я стану фанатиком, а если я стану бороться с этим, то — террористом. Ни то ни другое меня не устраивает.

Вероятно, я пошел в деда и буду лучше пьяницей-либералом, то есть, как это ни неприятно признать, конформистом. Пусть мир меняют другие. Я для этого не гожусь. Но я не допущу, чтобы эти другие меняли меня, даже исходя из самых лучших побуждений. Хватит. Я видел, как они пытались изменить моего отца. Ни черта у них не вышло, а я все-таки его сын — неблагодарный, недостойный, но сын.

Я вспоминаю то время, когда отвез отца на Березовую аллею, а сам с компанией поехал в Таллинн. Проведя ночь в отеле «Олимпия» в номере а ля корабельная каюта, читая Конечского и вспоминая нашу молодость, я выпил под утро остаток водки и заснул.

Утром за нами заехали друзья и повезли нас за город, где в сугробах на берегу маленькой речушки стояла сауна с банкетным залом и спальнями на втором этаже — идеальное место для разврата начинающих лиц, которые взывают ко всеобщей трезвости сегодня. Около сауны уже стояло полтора десятка автомашин, и их владельцы орудовали топорами и пешнями, расчищая прорубь для купания.

Это было довольно давно, и компания по борьбе с алкоголизмом только робко заявляла о себе небольшим повышением цен на спиртные напитки. Поэтому напитков было много, я бы даже сказал, излишне много. Я не люблю пить перед баней, но ее только начали растапливать, а стол был уже накрыт, и любовницы начальников хлопотали, украшая его дефицитными продуктами.

Короче, когда мы пошли в сауну, мы были уже изрядно пьяны. Это чудо, что никто не упал на печку или не свалился с обледеневших ступеней лестницы. Мы с наслаждением плюхались в прорубь, к счастью, не очень глубокую, иначе кого-нибудь обязательно затщило бы течением под лед. Смеялись и притворно отворачивались от обнаженных женщин, которые делали вид, что не замечают, что мы в костюмах Адама.

Я совсем забыл об отце.

Наказание настигло меня через несколько месяцев. На Зеленых озерах под Вильнюсом подо мной подломились ветхие ступени сауны, и я упал на раскаленные камни печки, которые краснели в темноте. В этот момент я был один, компания уже начала выпивать, а я решил сделать последний заход. Извиваясь

от дикой боли, я все-таки успел подумать, что это «возмездие». Но, как ни странно, эта мысль не дала мне впасть в болевой шок и тихо сгореть на камнях. Я вывернулся, и серьезно у меня сторело только плечо и половина груди. Я прыгнул в холодную, кипящую пузырями воду и испытал блаженство, которое, пожалуй, никогда не испытывал, — боль прошла мгновенно. Я сидел в воде, смотрел на уходящие в темноту берега Зеленых озер и думал о том, что Господь Бог предупреждает меня.

Когда я вошел в комнату, где выпивали мои друзья, почти всех начало тошнить. Вид у меня был, прямо скажем, не очень аппетитный. На этот раз под Таллинном все обошлось. И когда поздно ночью мы ехали в гостиницу и началась легкая пурга, я, сидя рядом с водителем, вспомнил об отце.

Утром я поехал на окраину Таллинна, там посреди пустыря стояло новенькое бетонное здание, на нем горели неоновые буквы «Дезинтегратор». Я не знал, что это такое, но грязный пустырь перед зданием был забит автомобилями с номерами всех областей и городов нашей страны. Эти люди приехали за «Чудом». В фанерном помещении посреди пустыря была налажена торговля «Чудом». Было только двенадцать часов дня, но лимит «Чуда» на сегодня кончился, и люди становились в очередь на завтра. Им предстояло провести здесь весь день и всю ночь, а может быть, и еще день и еще ночь, потому что «Чуда» на всех не хватало. «Чудом» начинали торговать в шесть утра, а к двенадцати оно, как правило, кончалось. Я слышал о «Чуде» еще в Ленинграде и перед поездкой спросил лечащего врача, поможет ли отцу «Чудо». Лечащий врач сказал, что он никогда не имел с этим лекарством дела, но если мне удастся его достать, это будет замечательно.

К этому времени вера в «Чудо» охватила многих, в том числе и врачей. Говорили, что зарубежные страны дерутся за лицензии на право выпуска этого лекарства, что оно продлевает жизнь, восстанавливая силы, и даже излечивает неизлечимых больных. Авторы «Чуда» долго находились под запретом завистников, но вот им разрешили торговать на кооперативных началах. И теперь они стали миллионерами, но не могут удовлетворить спроса всех жаждущих, хотя и построили свой первый завод с названием «Дезинтегратор».

Я не очень-то верю в чудеса, но слабая надежда зародилась и во мне, когда я увидел это скопление автомобилей и людей. Я стоял почти весь день, только съездил пообедать в гостиницу и вечером снова вернулся вместе с приятелем, который добровольно согласился провести со мной в очереди

всю ночь. Мы спали в машине или стояли на пронизывающем ветру у стен фанерной палатки, наблюдая за соблюдением справедливой очереди, и пресекали попытки желавших игнорировать ее. Желавших было очень много, но у нас была надежда — мы были сто пятидесятые.

В шесть утра началась лекция по применению лекарства, но мы не пошли, боясь пропустить очередь. Мы стояли прижавшись друг к другу, и никто не мог вклиниться между нами. К десятой утра подошла наша очередь. Давали по три бутылки, две для внутреннего употребления и одну для наружного. Набрал полный комплект, который стоил довольно прилично, мы стали пробираться к машине через толпу, умолявшую продать наши драгоценные бутылки за любую цену. Из ночных бесед с гражданами я установил, что большинство из них вполне здоровы и просто хотят с помощью чудесного снадобья продлить себе жизнь. Никогда бы я не мог подумать, что, имея сорок — сорок пять лет отроду, можно ехать к черту на кулички из Свердловска или Западной Украины в Таллинн, чтобы купить себе пару бутылок для продления жизни. На мой взгляд, и жизнь жаждущих была не так уж хороша, чтобы ее стоило продлевать. Как правило, это были люди непьющие, скучные и средние обеспеченные, заботились они не о больших близких, а о себе. Ни разу, пока мы стояли в очереди, никто не предложил выпить, или погреться в его машине, или сыграть в карты, чтобы скоротать время. Если бы не отец, я с удовольствием загалл бы им это «Чудо» за тройную цену и тут же пошел бы в ресторан, чтобы компенсировать ночное бдение.

В результате приобретения двойной дозы «Чуда» денег у меня осталось только заплатить за гостиницу и заправить бак интуристовским бензином. Перехватив в буфете чашку кофе с бутербродами, мы отправились в дорогу.

Машина, заправленная неразбавленным интуристовским бензином, летела по трассе, построенной к Олимпийским играм, как ветер. Компания, еще не пришедшая в себя после сауны и дня рождения, посапывала на заднем сиденье, а я думал, что еще к вечеру успею отвезти «Чудо» в больницу к отцу, завтра ему должны были делать операцию.

Чудо спасло нас, но не то, в бутылках, которое мы купили в Таллинне. Чудо состояло в том, что переднее колесо прошло по самой кромке ямы, скрывавшейся под весенней водой, покрывавшей Олимпийскую трассу, построенную в прошлом году на удивление иностранцам в предельно короткие сроки. В яму попало заднее колесо, поэтому нас не вышвырнуло с трассы и мы не превратились в кровавое месиво из особой мужского и женского пола, обильно политых оздоро-

вительным чудесным бальзамом, продлевающим жизнь. Нас развернуло почти на сто восемьдесят градусов, и нос нашей машины смотрел в направлении Таллинна, а я не мог разжать руки, сжимавшие баранку.

Я попал в больницу к концу операции. Практически я не спал две ночи, и мне казалось, что врач, делавший операцию, находится в аквариуме — я видел, как шевелятся его губы, но разобрал только: «Жить ему пять-шесть дней». Отец прожил десять дней.

Он лежал румяный и удивленный и спрашивал, который час. Операция закончилась очень быстро, его только вскрыли и поняли, что вскрывать было не нужно. Весь организм отца был поражен метастазами. Он мог бы прожить еще год, но теперь, после того как в его организм попал кислород, он был обречен. Все это мне пытался объяснить врач, а я понял только то, что ему осталось пять дней.

Первые дни отец был в полном сознании и не говорил, как ему больно. Он только не хотел пользоваться судном, и я на пятый день повел его в туалет. Он стеснялся пользоваться судном, стеснялся чем-то помешать людям, лежавшим в его палате. Он стеснялся говорить о том, что ему больно, стеснялся стонать и не просил уколов. Врачи сами стали колоть его, они-то знали, какие боли он испытывал. Последние пять дней он приходил в сознание только для того, чтобы попроситься в туалет. И теперь я и моя бывшая жена водили его в женский туалет, так как мужской был в конце коридора, а весил он сто килограммов, хотя и худел прямо на глазах. Врачи ходили обалдевшие и уже не пытались заставить его пользоваться судном.

Я сидел у его кровати положенные мне часы, потом меня сменяли родственники, и я шел на работу. Сидя у его постели, я ничего не испытывал, только усталость. Я не испытывал любви, я не испытывал жалости, я понимал, что ничем не могу помочь. Первые два дня он пытался принимать «Чудо-лекарство», но каждый раз его тошнило, да и меня тошнило от одного запаха. Единственное, что я понимал, это то, что я дерьмовый сын. Сейчас я понимаю это более отчетливо. Но тогда я понимал, что недостоин его.

Я представлял себе отца, снимающего автомат и становящегося в строй пленных, чтобы спасти их от смерти. Смог бы я сделать такое? Смог бы я поделиться в общей камере посылкой с эсэсовцем, от которого отворачивались советские граждане, поедавшие посылки под одеялом в одиночку? Смог бы я произвести экономические выкладки и отослать в ЦК предложение о сокращении дармоедов-надзирателей, зная, что за это меня бросят в карцер? Смог бы я любить всю

жизнь только одну женщину и вернуться к ней, зная, что меня арестуют? Смог бы я плакать у постели своего сына, зная, что он останется хромым?

Я сидел у его постели и не мог плакать. Я позвонил матери и сказал, что он умирает.

— Вези его домой,— сказала она,— пусть умрет дома.

Лечащий врач обрадовался, когда узнал, что я хочу забрать его домой. Но главный врач, которому тоже была безразлична статистика смертей в больнице, сказал:

— Я вам не советую — ему нужно делать уколы почти каждый час, он вряд ли придет в сознание.

Потом я искал санитарный автомобиль. У санитаров был обеденный перерыв, но когда я сказал, что заплачу, они согласились.

Отец всю жизнь не любил никому доставлять неприятности, поэтому, как только дома он пришел в сознание и понял, что дома, он сказал только одно слово: «Оля». Мать подошла к нему и взяла его за руку. Он закрыл глаза, улыбнулся и умер.

На похороны пришло неожиданно много людей. Многих из них я не знал. Тут были сослуживцы с довоенной работы отца и с той работы, на которой он работал после заключения. Пришли мои товарищи по двору, которые сидели в тюрьмах и танцевали на вечере, устроенном отцом по случаю моего окончания института. Я не видел их много лет и с трудом узнал. Они надели свои парадные костюмы, увешанные орденами и медалями за трудовую доблесть, и сейчас трудно было представить их вооруженными наганы из военной машины в нашем дворе. Пришли мои друзья, даже те, с которыми я не общался уже много лет. Я не уверен, что они придут на мои похороны, но они пришли почтить память моего отца. Не знаю, каким образом они узнали о смерти, но они пришли.

Они подходили и пожимали мне руку, некоторые говорили: «Это был человек». Все они с трудом поместились в средний зал крематория. Ведущему ритуал, который обычно вещает казенным, скорбным голосом о заслугах покойного, не дали сказать ни слова. И из выступлений людей, которых я даже

никогда не видел, я узнал, какой замечательный человек был мой отец, которого я стыдился много лет, пока он сидел в лагерях, а потом каждый раз испытывал чувство неловкости, заполняя анкеты для поездки за границу.

Как и всякий мещанин-конформист я уважал Власть и Закон и думал так же, как думает каждый чиновник, просидевший в своем кресле всю жизнь, читая в анкете, что «был осужден членами Особого трибунала» к смертной казни, я думал так же, как и они: «Нет дыма без огня».

И даже после того, как я прожил с отцом много лет, я не мог понять его до конца. Я не мог понять, как он отдал половину своей пенсии эсэсовцу, сидевшему в общей камере, с которым никто не хотел делиться, хотя в этой же камере сидели убийцы, с которыми делились все (главным образом потому, что боялись их).

Это христианское милосердие отца казалось мне блажью, мне, воспитаннику советской школы. Теперь я понимаю, что нет разницы между убийцами-фашистами и убийцами-коммунистами. Хотя, если верить Владимиру Ильичу, разница есть — с коммуниста надо требовать строже. Но тот же Владимир Ильич на вопрос, что такое мораль, говорит: «Морально все, что делается в интересах пролетариата». Значит, с точки зрения эсэсовца, морально все, что делается в интересах его класса? Чем же он хуже Ежова, Берии и многих других поменьше рангом, которых даже не судили, и они доживают свои дни персональными пенсионерами?

Мое воспитание ответов на эти вопросы не давало.

Но, видимо, эти вопросы не тревожили моего отца. Он обладал не социальной нравственностью, он обладал нравственностью личной. Поступал так, как считал нужным.

Наверное, потому так много людей пришло на похороны и, наверное, потому эти люди были такие разные: от бывших уголовников до едва державшихся на ногах ветеранов партии.

Декабрь 1983 — июль 1987 гг.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Публикация

Иван Ильин

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ

I

Историческая эпоха, ныне переживаемая народами, должна быть осмыслена, как эпоха великого духовного разоблачения и пересмотра.

Все продолжающаяся мировая война и революционное брожение, потрясающие всю жизнь народов до самого корня, являются по существу своему явлениями стихийными; и потому они только и могут иметь стихийные основания и причины. Но всюду, где вспыхивает стихия и где она, раз загоревшись, овладевает делами и судьбами людей, всюду, где люди оказываются бессильными перед ее слепым и сокрушающим порывом,— всюду вскрывается несовершенство, или незрелость, или вырождение духовной культуры человека: ибо дело этой культуры состоит именно в том, чтобы подчинить всякую стихию своему закону, своему развиту, своей цели. Стихийное бедствие обнаруживает всегда поражение, ограниченность и неудачу духа, ибо творческое преобразование стихии остается всегда его высшим заданием; и ее победа являет всегда его неудачу и его поражение. Но как бы ни было велико это бедствие, как бы ни были подавляющи вызванные им страдания, дух человека должен принять свою неудачу и в самой остроте страдания усмотреть призыв к возрождению и обновлению. Это и значит осмыслить стряшную беду как духовное разоблачение и духовный кризис.

Стихия, ныне вовлекшая человечество в злосчастную войну и влекущая его далее по путям духовного, политического и хозяйственного разложения,— есть стихия

неустроенной и ожесточившейся человеческой души.

Как бы ни было велико значение материального фактора в истории, с какою бы силою потребности тела ни приковывали к себе интерес и внимание человеческой души,— дух человека никогда не превращается и не превратится в пассивную, недействующую среду, покорную материальным влияниям и телесным зовам. Его призвание — власть над материей; его задача — подчинить ее и организовать ее служение духовным целям. Слепое бессознательное повиновение ей умаляет его достоинство; ибо назначение его в том, чтобы быть творческою причиною, творящею свою жизнь по высшим целям, а не пассивным медиумом стихийных процессов в материи. Всякое воздействие, вступающее в душу человека, перестает быть мертвым грузом внешней причинности и становится живым побуждением, влечением, мотивом, подверженным духовному преобразованию и разумному руководству. И, поскольку дух человека не руководит жизнью этих влечений, а подчиняется им, постольку обнаруживается его незрелость; постольку перед ним раскрываются новые задания и возможность новых достижений.

Но для того, чтобы достигнуть этой власти и использовать ее во всей ее миропреобразующей силе, дух человека должен овладеть своею собственною стихиею,— стихиею неразумной и полуразумной души. Невозможно устроить мир материи и жизнь на земле, не устроив мир души; ибо душа есть необходимое творческое орудие мироустроения. Душа, покорная хаосу, бессильна создать космос во внешнем мире,— в природе и в общечеловечности. Грубая и своевольная, жадная и упрямая, с порочными и разнузданными страстями, она бессильна создать технику и организовать хозяйство; тем более не способна она строить здоровую государственность и творить духовную культуру. Духовно разлагающаяся душа не созидает и не властвует; она рабствует своим страстям и через них беспомоществует перед лицом материи.

Ныне, на наших глазах, новый мир повторяет путь древнего страдания; новый опыт дает старые выводы. Эти выводы снова научают нас тому, что человек отличается от животного духовным самообладанием; что самопознание и самовоспитание человеческого духа должно лежать в основе всей жизни,

Публичная речь, произнесенная на открытии Русского Научного Института в Берлине 17 февраля 1923 г.

дабы она не сделалась жертвою хаоса и гибели. Они научают нас тому, что духовное разложение человеческой души делает невозможным общественное устройство, а разложение общественной организации ведет жизнь народов к позору и гибели. Сквозь все страдания метущегося человечества восстает и загорается древняя истина, зовущая людей к новому пониманию, признанию и осуществлению: жизнь человека расцветает и оправдывается только тогда, если душа его живет из единого, духовно-предметного центра,— движимая подлинною любовью к духовному предмету. Эта любовь и рожденная ею воля лежат в основе всей осуществляющейся духовной жизни человека и вне ее душа блуждает, слепнет и падает. Вне ее знание превращается в ворох неосмысленных, распыленных сведений; искусство вырождается в крикливую и пошлую видимость; религия превращается в нечистое самоопьянение; добродетель заменяется лицемерием и притворством; право и государство становятся орудием зла. Когда в душах людей иссякает любовь к божественному — тогда мелеет и вырождается вся духовная культура, тогда искажается облик человека, отравляется злобою его воля, расшатываются общественные связи и жизнь народов становится уделом хаоса, унижения и мора.

Войны и революции наших дней свидетельствуют с очевидностью о том, что духовная жизнь современного человечества слалась неверно, что все стороны ее находятся в состоянии глубокого и тяжелого кризиса. Человечество заблудилось в своих духовных путях; оно утратило живое, цельное и искреннее отношение к высшим предметам и целям жизни; оно религиозно оскудело и растерялось. И вследствие этого в нем расшатались воспитавшиеся в нем веками глубокие основы миросозерцания и характера. Жизнь личная и общественная замутилась потому, что глубокие, страстные силы человека отвратились от подлинных духовных предметов и прилепились к таким предметам и целям, служение которым расшатывает все строение духа и ослабляет его зиждущую силу.

А между тем духовное творчество требует от человека особого внутреннего и внешнего уклада, особого подхода, особой душевной организованности, волевой сосредоточенности и умственной направленности. Духовно живущая душа

имеет особый творческий ритм жизни,— и в науке, и в искусстве, и в нравственности, и в политике. Восстановить этот ритм, исследовать его, оправдать и возродить его составляет великую очередную задачу наших дней. И, прежде всего, если задача организовать мирное и справедливое, творческое сожителство людей на земле есть задача права и государства, то мы должны, пережив то, что нам ниспослано, начать наш духовный пересмотр с того способа жить правом и подходить к государству, который усвоен современным человечеством.

Современное правосознание должно быть поставлено в фокус научного внимания, анализа и диагноза.

II

Всегда и во все времена правосознание является реальною и священною основою общества и государства.

Человеку невозможно не иметь правосознания. Его имеет каждый, независимо от того, знает он об этом или не знает, дорожит этим достоянием или относится к нему с пренебрежением; каждый, кто живет и сознает, что на свете кроме него есть еще другие люди. Ибо право есть незримо присутствующая, но объективно обстоящая грань, отделяющая каждый живой человеческий дух от другого и, в то же время, соединяющая его с ним.

Обычно люди не замечают в себе правосознания и не воспитывают в себе его верного, духовного ритма; вследствие этого оно часто оказывается в них беспочвенным и бессильным, оно легко теряет из вида свою верную цель, перестает пульсировать в душе и отдает ее во власть дурных страстей. Напротив, человеку, духовно не разложившемуся, свойственно глубокое непосредственное убеждение в том, что во внешних взаимоотношениях людей возможно и необходимо отличать верное и допустимое поведение от неверного и недопустимого; — уверенность в том, что есть верная и справедливая (на самом деле верная и на самом деле справедливая) грань личной свободы, до которой можно (правовое полномочие), за которую нельзя (правовая запретность) и поддерживать которую должно (правовая обязанность). Смутное «осязание» в своем внутреннем опыте этой незримой, но объективно-верной грани — и есть первичное проявление правосознания, его «протофеномен».

Если внимательно отнестись к этому брежущему в душе «осязанию», чаще и бескорыстнее испытывать его и укреплять его в себе, то в душе обнаружится духовная функция, которую можно назвать правою совестию или голосом здорового, нормального правосознания. По мере укрепления предметного интереса к нему, по мере сосредоточения внимания на нем, по мере жизненного осуществления его зова, всякий человек убеждается в том, что правосознание живет в людях постоянно; что показания его имеют устойчивое и определенное содержание; что оно имеет волевую и притом духовно-волевую природу; что поэтому оно открывает свой предмет и показывает его в виде единой, высшей цели и, соответственно, в виде верных путей и средств, ведущих к ее осуществлению; наконец, что опыт правосознания имеет особое, верное,—надлежащее и обязательное,—строение, приближение к которому приближает и к самому предмету этого опыта.

Понятно, что чем зреее, крепче и глубже правосознание, тем определеннее и вернее оно направляет всю общественную жизнь человека,—и в договоре с соседом, и в тягании на суде, и в уплате налога, и в гражданской службе, и в политических выборах, и в искушениях кривды, взятки, укрывательства и войны. Вся общественная жизнь пропитана правосознанием, несомна им, только через него и осуществляется; так, что каждый заработок и каждая покупка осуществляются в функции правосознания не менее, чем газетная инсинуация, международное предательство или ограбление растрелянного. Понятно также, что патриотический подвиг и уголовное злодейство, одинаково проявляя правосознание человека, проявляют правосознание не одинаковое по строению и по духовному качеству, не равноценное и не равно-созидательное.

И вот, каждый человек, каждый народ и все человечество имеют задачу: воспитывать в себе верный правовой опыт, т. е. нормальное правосознание, построенное на целостной преданности некоторой высшей цели и делающее человека личностью с ее самостоятельными убеждениями, с ее духовным самообладанием, с верным видением чести, свободы и справедливости.

Бывают эпохи, когда общества и народы быстро делают большие шаги по пути государственного «прогресса», иногда проходя в несколько десятков лет расстояние нескольких веков. Но беда, если эти успехи остаются внешними и поверхностными; если они не закрепляются самою глубиною души, теми основами ее, которые образуют ее иррациональную духовность; или, тем более, если эта драгоценная, одухотворенная глубина души пребывает в состоянии смуты или разложения. Тогда поверхностная гражданская цивилизация отрывается от глубокой политической культуры; правовая жизнь мелеет, формализуется, сводится к внешним процедурам и механизмам. Поколение поколению начинает передавать все более вырождающийся правовой опыт; человек привыкает воспринимать право, как что-то внешнее, формальное, насильственное; он перестает сочувствовать ему, дорожить им, уважать его, и, если борется за «права», то не за предметную и содержательную правоту жизни, а за внешнее формальное развязание своей силы и закрепление своего влияния. Тогда правовая жизнь, постепенно отрываясь от глубоких, религиозно-священных родников духа и от высших, религиозно-священных целей духа, вырождается—и в пренебреженном содержании и в жизненно-воспитывающей силе своей. Человек перестает присутствовать самою глубокою иррациональною духовностью в правовой жизни. Благородные струи душевной жизни или иссыкают, или текут в сторону, прочь от правовых устоев бытия. Право остается без духовного наполнения, без живоносной плэромы (полноты бытия) и превращается сначала в необлагороживаемую, хотя все еще общественно-организованную силу, а потом и неизбежно в свирепое и дезорганизованное насилие.

III

Именно на этом пути возник и современный правовой кризис, ныне изживаемый нами вместе с другими народами.

Этот кризис исторически связан с процессом секуляризации и всей духовной культуры, с процессом отмирания в ней религиозного духа.

Такой кризис наблюдается в мировой истории не впервые. Когда, с разложением языческой религиозности, поколебались и разложились основы античного правосознания, римская государственность прошла через трагический период дли-

тельного замешательства, смуты, гражданских войн и бессилия перед лицом надрывшихся варваров. Религиозная беспечность неизбежно породила общедуховную и общественную беспринципность; индифферентизм естественно заострился в нигилизм и вызвал к жизни разнузданное посягание. Религиозно-беспечное правосознание оказалось неспособным поддерживать общественный порядок и монументальную государственность Рима.

Однако в явном распадении старого общественного уклада уже слагался и креп тот новый религиозный опыт, на котором суждено было возрасти и окрепнуть новому христианскому правосознанию.

Христианская религия учила человека новому отношению к Богу и к людям. Она призывала его к живому единению с Божеством в акте целостного боголюбия и к живому единению с ближним в акте целостного боголюбивого человеколюбия. Здесь не было еще никакого прямого учения о праве и государстве, о законах и суде, о «правах» и «сословиях»; мало того, здесь было некоторое отодвигание всех этих предметов на второй план, а в понимании первых веков даже отвержение их. И тем не менее в христианском откровении был некий глубочайший религиозно-этический дух, искреннее пребывание в котором усваивало человеку особый подход ко всему миру, а потому и к праву, и к государственной жизни. В человеческой душе раскрывалось глубокое и чистое средоточие любви, обновлявшее все ее духовные акты, сообщавшее им новые цели и новые силы.

Христианство учило, что божественное выше человеческого и духовное выше материального. Но божественное не противостоит человеческому в недостижимом удалении; оно таинственно вселяется в человеческую душу, одухотворяет ее и заставляет ее искать подлинного совершенства на всех земных путях. Что бы ни делал христианин, он ищет прежде всего живого единения с Богом, Его совершенной воли, чтобы осуществить ее, как свою собственную. Жизнь христианина не может быть поэтому ни бесцельною, ни страстно-слепой: он во всем обращен к Богу, поставляя Его выше всего прочего, подчиняя Ему все, и в себе, и в делах своих. Его внутренняя направленность — религиозна; его религиозная направленность — всепроникающая.

Эта религиозная обращенность естест-

венно и неизбежно вносила в общение людей и в процесс общественной организации особый дух, дух глубокого и чистого христианского правосознания. Полнота боголюбия и боговнимания приковывала волю человека к единой, высшей и объективной цели, научала его ставить духовное выше материального и подчинять личное, как начало посягания, своекорыстия и гордости, сверхличному, как началу достоинства и совершенства. Этим правосознание прикреплялось к своим аксиоматическим основам: достоинству, самообладанию и общительности. Полнота любви, всюду, где она благодатно расцветала, порождала полноту совместного доброжелательства, примиряющей справедливости, жертвенной щедрости. И, когда христиански верующий человек, поборов в себе склонность к общественному мироотвержению, стал утверждать себя, как субъекта права, он внес в это гражданское самоутверждение начала самообуздания, скромности и отречения. Он уже впитал в себя глубокую бессознательную уверенность в том, что необходимо подавлять в себе беспредметное честолюбие, жадность, враждование, склонность к озлобленному напору и отпору; его правосознание уже привыкло квалифицировать эти противоправные влечения, как греховные; а на этом пути человек осознал миро-творческую функцию права. Христианство вносило в душу гражданина дух миролюбия и братства, дух не формальной, не всеуравняющей, живой справедливости. Оно приучало его не видеть в подчинении ненавистного бремени, и в то же время воспринимать власть как великое бремя ответственности. Давая ему объективное мерило человеческого совершенства, оно научало его отличать лучших людей от худших; указуя ему высшую цель властвования и подчинения, оно тем самым определяло, кто именно способен стоять во главе. Христианство учило гражданина любви; любви и доверию к соподчиненным гражданам; любви, и доверию, и уважению к подлежащим властям. Так пропитывало оно общественный строй духом лояльности и солидарности, тем духом органического единения, который углубляет, накапливает и сосредоточивает национальную силу и политическую гениальность народа.

Именно с этим связана та выношенная средними веками уверенность, согласно которой государство имеет религиоз-

ное задание — служить своею властью Божьему делу на земле. Это задание церковь то указывала государству, то пыталась взять в свои руки; а государство религиозно понимало свою высшую цель даже тогда, когда эмансипировалось от церкви. В те времена человек, делая государственное дело, созерцал, как умел, высшее; и делал, как мог, религиозно осмысленное дело. Теократия не осуществлялась или осуществлялась дурно; но правосознание, приемля бремя властной борьбы с человеческою слабостью и порочностью, не растворяясь в нравственном делании и не совпадая с христианскою добродетелью, имело глубокую и могучую религиозную основу; и на этой основе государству удавалось ограждать и растить всю духовную культуру. Христианство своим религиозным светом осмысливало и облагораживало дело права и государства; и в то же время оно утверждало в человеческой душе такую благодатную природу, оно пробуждало в ней такую силу, которая вдохновляла правосознание и придавала ему некую неразложимую, абсолютную опору.

IV

В общем процессе обособления духовной культуры от христианской церкви, от ее влияний и от духа христианского учения, — в так называемом процессе секуляризации, — обособилось и правосознание; оно провозгласило свою самостоятельность и утвердилось на светских началах. Но, подобно всей духовной культуре, не просто освободившейся от прямого подчинения церкви, но порвавшей с духом Христова учения и вообще утратившей религиозный смысл, ушедшей в безрелигиозную мертвенность и пустоту, — и правосознание оторвалось от всякой абсолютной основы, забыло о своей единой и высшей цели, заглушило в себе голос своих аксиом и развеяло творческий дух христианства. Став безрелигиозным, оно стало в высшем смысле бессмысленным и беспочвенным, оно обмелело, утратило свою благородную направленность, растеряло свои принципы и, естественно, подчинилось духу противоположному.

Безрелигиозное правосознание неизбежно выветрило религиозный дух и смысл из всей правовой и политической жизни. Оно переродило самую обращенность человека к человеку, а вместе с нею самую скрепу государственного бытия, весь живой ритм политического

тела. Все то, что христианство с таким вдохновением и трудом взращивало в душе, будило в чувствовании и влагало в волю человека, — все стало отмирать и вырождаться в безрелигиозном правосознании. Самый способ воспринимать право и государство стал иным. Правосознание мало-помалу стало жертвою политического релятивизма и государственной беспринципности, и, далее, духовного нигилизма и прямой порочности.

Этот дух жил и креп не только бессознательно и не только в массах. Сочетаясь с течениями слепого материализма и узкого, духовно наивного, но самодовольного чувственного позитивизма, этот дух, от Макиавелли до Маркса, не раз находил себе идеологов и апологетов, с тем, чтобы в начале двадцатого века найти себе свирепых и последовательных в своей порочности осуществителей.

Деятнадцатый век, выдвинувший целый ряд глубокомысленных обоснований права и государства, но не возродивший вместе с ними и через них здоровых глубин правопереживания, явил невиданный расцвет отвлеченной юридической науки и подготовил небывалый кризис правосознания. Развертывая и осуществляя свой основной духовный недуг, он формулировал основы нового, секуляризованного и противорелигиозного правосознания: так: государство есть условное механическое равновесие равных человеческих атомов, подлежащих чисто материалистическому рассмотрению и чисто количественному расцениванию, разделяющихся по имущественному принципу на классы, борющихся друг с другом, класс против класса, на жизнь и на смерть за обладание земными благами и влекущихся через угашение духовно- и хозяйственно-самобытной личности к свободному от всяких неравенств и различий потребительному благополучию.

Это новейшее правосознание слепо по существу, преступно по форме и немощно по силе. Строго говоря, оно имеет только видимость правосознания. Само же оно считает себя просвещенным и предназначенным к водительству. Будучи «просвещенным», оно не верит в «старые сказки» и сентиментальности. Оно верит в силу, в организованный напор, в массу, в количество; оно ценит накопление, захват, власть и ловкость;

оно борется всеми средствами, — посулом, клеветой, подкупом, рекламой, интригой, террором. Оно ищет победы на демагогической трибуне, в техническом прогрессе, в международной или гражданской войне; оно рассматривает общественную жизнь, как беспринципную конкуренцию своекорыстных волей; оно предпочитает опираться не на право, а на требование, подкрепленное угрозой, на софистическое истолкование своих и чужих слов, на тяжелую артиллерию.

Но главное не в этом: общественный разброд, мятежи и войны вспыхивали во все времена. Главное в том, что современное правосознание лучшего и не видит, и не хочет, и не ищет: оно не стыдится открыто выговаривать, что в этом и состоит сущность права и государства; оно «научно» «доказывает», что право есть сила; оно учит строить власть на расчете, на подкупе и страхе; оно находит угодливых софистов, восхваляющих злодейство, как достижение, или доказывающих, что всякий договор обязателен только *rebus sic stantibus*.

Не естественно ли, неизбежно ли, что в наши дни государственный строй насыщается духом гражданской войны, политика становится чуть ли не синонимом обмана и подкупа, а патриотизму противопоставляется, как высшее, классовый и личный интерес?.. Не неизбежно ли такому правосознанию извратить всякое право и унижить государственность?.. Что может спасти его от конечного разложения в международных и гражданских войнах и революциях?.. Осуществляемое и руководимое таким правосознанием, чем же может стать современное государство, как не орудием массовых страстей и личных интриг, как не орудием классовой злобы и разрушения, т. е. орудием зла и гибели?..

V

Кризис современного правосознания прошел через три последовательных этапа; и ко всем этим этапам было приобщено наше поколение. Каждый из них связан с предшествующим связью преемственности и причинности; каждый последующий, predeterminedенный в своем составе и развитии, сохраняет все вывихи и недостатки предшествующего, усиливает их, раскрывает их по-своему и придает им характер зрелости. Но все эти этапы являют цельную картину единого крушения и вырастают на почве единого духовного недуга.

I. Первый этап, подготовлявший бурное течение кризиса, был длительным и сложным процессом, с критической вспышкой в виде первой французской революции и наглядным назреванием в течение девятнадцатого века.

В девятнадцатом веке, с одной стороны, падает сила и сопротивляемость секуляризирующегося духа; с другой стороны, безмерно возрастает бремя тех задач, которые встают перед слабеющим и расшатывающимся правосознанием. Открытия естествознания, рост промышленной техники и развитие путей сообщения; выступление и расцвет промышленного капитала; развитие мирового торгового оборота; потребность в рынках и колониях — все это вызывало к жизни новую, обостренную классовую и государственную дифференциацию и предъявляло к правосознанию, строящему общественную жизнь, неизмеримо более сложные требования.

С одной стороны, хозяйственный интерес принимает форму государственного размежевания и, вследствие этого, взаимная конкуренция государств приобретает остро выраженный экономический характер. Междугосударственная борьба обостряется и это требует от граждан особой патриотической дисциплины и спайки, т. е. особенно сильного и духовно-обоснованного правосознания. А между тем государства оказываются, как никогда, атомистически распыленными и расщепленными на противоборствующие классы; во всех государствах имеется сложившийся рабочий класс, достаточно открепленный от собственности, чтобы стать духовно беспочвенным, достаточно зависимый и неудовлетворенный, чтобы стать озлобленным, достаточно многочисленный, чтобы осознать свое вождение и стать разрушительной силой. Можно ли ожидать от беспочвенного и озлобленного правосознания сверхклассовой мудрости и патриотического героизма?

С другой стороны, хозяйственный интерес, выходящий в жажду богатства и потребительного благополучия и сплетаясь с классовою и расовою борьбою за власть и влияние, принимает форму междугосударственной, «интернациональной» организованности, то явной, то прикровенной. Пересекая вертикальное деление человечества на государства, слагаются горизонтальные объединения лиц и классов, принадлежащих к различным государственным образованиям. Социальная дифференциация творит новые деления и новые союзы; и эти новые союзы то пыта-

ются не считаться с вертикальным делением, то силятся прямо разрушить его. В наши дни мир кишит людьми, которые или фактически не имеют родины, или пытаются уверить себя, что они ее не имеют. И деятельность этих людей и классов подрывает последнюю основу секуляризованного правосознания — патриотизм.

Беспочвенное правосознание девятнадцатого века перед лицом новой, обостренной социальной дифференциации, отвергающей и попирающей самые принципы прежнего единения, оказалось беспомощным, неспособным не только к творческому обновлению, но и к борьбе с надвинувшимися искушениями. Оно не сумело вернуться к созерцанию своей высшей цели и, утратив свою опытно-интуитивную глубину, предалось юридическому формализму. Оно привыкло рассматривать право, как привлеченную форму, как логическую категорию, как внешний порядок жизни, как механизм поступков, как организованную силу. Оно привыкло рассматривать право в отрыве от внутренних мотивов, от духовных побуждений, от его аксиом и от его цели. Оно привыкло к беспредметному и беспринципному обхождению с правом.

Это означает, что в правосознании девятнадцатого века все более исчезало верное строение и искажалась верная направленность; все более водворялось пренебрежение к предметно-верному содержанию. Самая лояльность становилась все более формальной, культивируя букву закона, а не дух и не цель права; и внешняя видимость правопорядка не покоилась на подлинном и предметном правовом опыте.

Понятно, что это несоответствие между заданиями правосознания и его духовными силами само по себе уже предreshало и ускоряло надвигающуюся катастрофу.

II. Разразившаяся мировая война, доньше продолжавшаяся в новых и скрытых формах, явилась воплощением этого расшатанного, формализовавшегося и, во всеобщей конкуренции, ожесточившегося правосознания; она довершила его разложение и образовала второй этап кризиса.

Эта война, как и всякая война, открыто превратила вопрос права в вопрос силы; она превратила борьбу в насилие и указала для конкуренции исход в истреблении.

Заменить вопрос права вопросом силы — значит погасить в правосознании идею верного, справедливого размежевания интересов, сняв проблему правового обоснования и доказательства, заглушить волю к мирному, братскому сожительству;

это значит объявить несущественным различие правового добра и зла.

Превратить борьбу и соревнование в насилие и истребление, значит, погасить в правосознании идею взаимного признания, подавить склонность ко взаимному уважению и доверию, объявить праздными начала договорной верности и гуманности; это значит развязать в глубине души зверя и утопить правосознание в его неистовых порывах.

Понятно, к каким последствиям это должно было повести. Правосознание открытыми повелениями отрывалось от своих аксиоматических основ; его главный верный источник, — воля к цели права, — отстал, как ненужный и неприменимый в жизни; его верная санкция, — испытание своей предметной правоты, — устранилась, как излишняя. Самая воля к праву и вера в право начинали казаться пустыми предрассудками. Грани допустимого и недопустимого стирались и утрачивались. Война искушала беспочвенное правосознание такими соблазнами и «противоречиями», которые могут быть по плечу только духовно зрячему и зрелому человеку: обязательность и доблесть убийства, этого тягчайшего и неоправдываемейшего из всех правопорядков, — и недопустимость беспорядка в одежде; разрешенность военной добычи, — и запрещенность мародерства, кражи и взятки; правомерность военной конфискации, — и преступность самочинного имущественного захвата; все это развинчивало и притупляло правосознание в захваченных войною массах, и все это довершалось длительностью войны, ее исторически небывалой интенсивностью, ее психически потрясающими внешними формами.

В судорогах промышленно-торговой конкуренции, взаимно добываясь изнеможения и упадка, народы боролись на смерть, истощая свой уже расшатанный патриотизм и свою уже непрочную государственную спяность; разоряясь духовно и материально; подрывая ради своего упрочения главную основу государственной прочности — духовно могучее правосознание; пропагандируя в международном мировом масштабе идею вседозволенности, — то в форме голодной блокады, то в форме взаимного заражения революционной чумой.

III. Воплощением этого правосознания, оторвавшегося от правовых аксиом, от мотива, обоснования и санкции, не различающего добро и зло, окончательно уверовавшего в насилие и захват, упоенного идеей вседозволенности, — явилась революция. Она образует третий этап кризиса.

Революция явила в невиданных еще человечеством формах и размерах разложение духа и правосознания. Да и могло ли быть иначе?

Революция никогда не была и не будет признаком государственного здоровья; напротив, ее приближение всегда свидетельствует о том, что в развитии государственного организма не обретаются и не строятся здоровые правотворческие пути; а это означает, что правосознание руководящих групп не умеет оформить и оздоровить мутящееся правосознание масс. И, если революция фактически разражается, то она всегда является разрушительным эксцессом болеющего правосознания.

Революция всегда была попранием права; не «этого» только, исторически данного, положительного права данной страны, но самого существа права: ибо в самое основное существо права входит эта способность — мирно обновляться и совершенствоваться на своих правовых путях через блюение драгоценной лояльности.

Революция есть всегда отказ от социального мира, от мирного спора о правах, от обоснования, доказательства, от единения, сговора. Она есть выпадение из права и предпочтение праву — факта и силы. Именно поэтому она погрывает со всею основною формою правовой жизни; вне которой правопорядок невозможен. Источник права перестает быть единственным; их оказывается два, три, множество; он распыляется, он атомизирован; индивидуум объявляет «правом» свое хотение, — и право исчезает. Компетентность правоустановителя не определяется уже конститутивною нормою; она определяется посяганием, захватом и силою; компетентен всякий; и мера его компетентности измеряется только его властолюбием и напором. Порядок правоустановления не регулируется уже законом; он определяется фактически, «на местах», инерциею массы и изобретательностью авантюриста; он становится безразличен; все гарантии падают — и право отмирает.

Самая сущность революции направлена против права и правосознания, ибо она есть принципиальное провозглашение и фактическое водворение произвола, — произвола лица, лиц, группы или класса. И действительно, революция осуществляет режим, построенный на системе норм произвола или «произвольных норм».

Произвольная норма устанавливается фактическим захватчиком власти. Приспекая из неправомерного источ-

ника, она не блюдет и правомерности по существу. Она не связывает самого правоустановителя и он не признает своей обязанности блюсти ее: он может применить ее, но, по усмотрению, он может и не применить ее; а может применить и не ее, а такую «норму», которая совсем не была установлена; он может, не отменяя первую норму, установить наряду с нею другую, ей противоречащую, но с тем, чтобы, по усмотрению, не применять и ее; он может прямо нарушать и попираť свои собственные веления и запреты; и вот, ссылаясь на свое «революционное самосознание», он фактически провозглашает, что сущность революции состоит в непрерывном нарушении всякого права, и даже права, ею только что установленного.

Естественно, что такие нормы не вычерчивают ни для кого никаких определенных полномочий, обязанностей и запретностей: дозволенное всегда может оказаться в то же самое время запрещенным; запрещенное оказывается предписанным, и никакая жизненная одинаковость двух случаев не влечет за собою одинаковой квалификации. Правовое равенство одинакового перед лицом закона отмечается и попирается; устанавливается произвольное уравнение неодинакового и произвольное различие подобного. Предметно немотивированный произвол ищет себе реальных мотивов и, предоставленный самому себе и своему революционному изволению, развертывает невиданную картину всеобщей революционной продажности...

Для здорового правосознания в этом режиме конечно нет права: это нагромождение правовых идиотизмов; это попрание аксиом логики, совести и правосознания; это бредовые эксцессы разложившегося духа... И, тем не менее, это есть строй, остановивший и продливший, стабилизировавший революцию, — задержавший и закрепивший кипение вскипевшего хаоса.

Это восстание хаоса, этот напор замутившегося и ожесточившегося духа, это влечение заменить право самозванным произволом, нападением, попранием и захватом — отнюдь не есть случайная черта или несущественность в революции; напротив, в этом ее подлинная природа. Это кипение посягающего и попирающего массового правосознания может быть во времени длительнее и короче; изоляция, запугание, одоление законной власти может не удалиться; разрушения в праве и в жизни могут не получить катастрофического характера, — но историче-

ская и политическая сущность революции всегда была именно такова: саморазрушение больного правосознания, судорога ожесточившейся слепоты...

Естественно, что современная революция, сложившаяся на почве исторически недугующего и сокрушенного войною правосознания, явила свое отвратительное лицо с особою наглядностью и химерической резкостью. Задуманная в атмосфере безбожия и духовного нигилизма, разразившаяся в среде с незрелым и перутомленным правосознанием, она выговорила и осуществила идею революционной вседозволенности, установив это разнуздание в виде особой привилегии для максимально порочных лиц и групп населения. Она сознательно работала над тем, чтобы расшатать в душах все нравственные и культурные сдержки, чтобы окончательно разложить правосознание, извратить патриотизм, истребить лучших людей и осуществить в небывалом еще масштабе кощунственное вторжение черни в святилища...

Таков третий этап современного кризиса.

VI

Современное правосознание должно быть поставлено в фокус научного внимания, анализа и диагноза. Это есть одно из основных условий и требований общечеловеческого исцеления и возрождения.

Разложение современного правосознания так велико, и коренится оно столь глубоко, что продолжение этого процесса грозит всей цивилизации и всей культуре реальною гибелью. На наших глазах началось и открыто подготавливается мировое восстание завистливого, жадного и злобного Нибелунга; я разумею не промышленный пролетариат; нет, это название служит только для прикрытия,— а безобидную и хищную порочность.

Мы, воспринимавшие это конечное разложение правосознания на самом дне революции, в самой лаборатории озлобленного порока,— мы имеем некий драгоценный духовный опыт, познавательное исчерпание которого вменено нам в священную обязанность перед нашей родиной, перед человечеством и перед грядущими поколениями. Нам необходимо поставить перед вниманием недугующих народов проблему правосознания во всем ее размере: проблему его истории, его нормального строения, его недугов и его обновления. Нам надо соблести, осмыслить и передать наш трагический духовный опыт молодым поколениям России и вместе с ними приступить к осознанию новых задач юриспруденции и правотворчества.

Необходимо поставить перед собою задачу верного воспитания верного правосознания в наших детях и в детях наших детей; чтобы избавить их и их внуков от того горя и того стыда, в котором ныне медленно сгорают наши души.

Здесь, в стенах Русского Научного Института, суждено нам, изгнанникам, начать это дело. Отсюда должен зазвучать наш свободный академический голос, исследующий и учащий.

И пусть главным источником нашего вдохновения в этом трудном и ответственном деле будет глубокая и предметная любовь к нашей чудесной и страдающей России!..

Публикация И. Хабарова

Критика

Евгений Марголит

ПРОЩАНИЕ С «УХОДЯЩЕЙ НАТУРОЙ»

По своей стремительности расцвет национальных кинематографий в советском кино 60-х может быть сравним лишь с их же упадком. Причем приглядевшись, мы обнаруживаем любопытную подробность: эти два момента по времени совпадают. Это конец 60-х годов.

Действительно, традиционное деление на центр и окраины решительно неприменимо к кино этого периода. Активно формирующиеся школы вели энергичный диалог между собой, диалог совершенно равноправный; и равноправие это всеми, кажется, воспринималось с особым удовольствием, как и то, что национальные школы в большинстве случаев создавали кинематографические «варяги».

«Варяжская» ситуация кинематографу союзных республик (особенно среднеазиатских и прибалтийских) прекрасно знакома. Это были метры, командированные в послевоенную Прибалтику внедрять киноканоны социалистического реализма, равнодушные к национальному материалу, или вечные вторые режиссеры, которые оказались в Средней Азии в надежде переломить неслыхавшиеся творческие судьбы.

Не стоит, однако, винить каких-то конкретных людей. Таков был кинематограф их поколения — внациональный по своей сути. Кинематограф, вовсе не открывавший, тем более не наблюдавший новый материал, но непосредственно создавший новую реальность на экране. В таком своем качестве наш кинематограф прямо противостоял культурной традиции. Еще в 1925 году корреспондент «Берлинер Тагблат» Пауль Шеффер, вошедший в историю советского кино благодаря подробнейшему описанию знаменитых кулешовских «фильмов без пленки», писал: «Фильм, изготовленный государством, служит для отображения еще не существующего мира и как предписание житейских правил в таком идеальном совершенстве...»*

Формулировка поразительная по точности, тем более поразительная, что возникла, как бы опережая реальность: появился совершенно парадоксальный кинематограф, объявивший своим кредо «презрение к материалу», по выражению Эйзенштейна. Если учесть, что основными зрителями отныне являлись самые широкие массы, с кинематографом до того незнакомые, само существование «чуда XX века» оказывалось для них символом невиданной доселе новой жизни. Сам технический характер «чуда» определял отбор материала. Все это прекрасно понимал В. И. Ленин, именно потому и отметивший первостепенную важность кино в системе искусств как средства агитации, подчеркивая, что наибольший успех эта агитация будет иметь именно там, где с кинематографом не знакомы, — «в деревнях и на Востоке».

Только чисто просветительская вера в действенность таких методов, вера, порождающая религию интернационализма, создала, скажем, фантастический феномен среднеазиатского кинематографа, где кинематографисты, приглашенные из центра, ставили и разыгрывали истории «на местном материале». Впрочем, в картинах, сделанных в Средней Азии, местные пейзажи и жители являлись как бы фоном. Смогла же, например, база белорусского кино более десяти лет, до конца 30-х годов находиться в Ленинграде! Как парадокс это никем не воспринималось, ибо сюжетные схемы были едины для всех республиканских кинематографий, а воспроизведение этих схем являлось главной задачей для каждой из них. Соотнесение с национальной культурно-исторической традицией не то чтобы не поощрялось (заметьте, на протяжении истории советского кино родоначальники

его удостоивались самых разнообразных обвинений, чаще всего — в злом формализме и субъективизме, но никто — за исключением Довженко — в национализме), но считалось личной проблемой творчества художника, принадлежностью его производу, так сказать, программы. Потому могли существовать Довженко, Кавалеридзе, Бек-Назаров — художники разного масштаба, но все — откровенно национальные, однако не существовало ни украинской, ни армянской национальной кинематографической традиции как факта кинопроцесса (возможность такой традиции существовала, но это выяснилось уже при ретроспективном взгляде, брошенном из 60-х годов).

В 60-е годы меняется, кажется, решительно все. Кино открывает окружающую его реальность как подтверждение реальности экранного идеала. Возникает необходимость в выражении своего радостного и безоговорочного доверия именно к реальности идеала. XX съезд порождает не только и не столько тягу к углубленному анализу пройденного исторического пути, сколько ощущение окончательного возвращения легендарных «ленинских норм нашей жизни». В своей ортодоксальности, как точно заметил недавно В. Трояновский, этот период нимало не уступает предыдущему, просто ортодоксальность приобретает как бы интимный характер. Не случайно одна из самых популярных песен 60-х — это «комиссары в пыльных шлемах» Булата Окуджавы.

Упрочилось доверие к генеральной идее. Упрочилось доверие к действительности. Отсюда используемый в самых разнообразных вариантах прием: мир, увиденный как бы впервые, как бы заново, непосредственно, как бы глазами ребенка. В такой ситуации национальным кинематографам оказывается необходимым именно... «варяг», который привычную, «некиногенную» обыденность увидел бы свежим оком. Поэтому неопытный, юный энтузиаст-виговец предпочтительнее профессионала.

Расчет верен. «Варяги» этих лет открывали национальной культуре ее кинематограф. Так произошло в Молдавии, которую открыли режиссер М. Калик и оператор В. Дербенев. Сюжет общий для истории большинства национальных кинематографий: первооткрывателей-«варягов» в конце концов выживали вместе с их покровителями — местными киноорганизаторами (это поистине героическое племя подвижников и рыцарей национального кино еще ждет своего историка). Калика вытолкнули из Молдавии в 1962-м после

* Киноведческие записки: Вып. 6. — М., ВНИИК, 1990.

третьей сделанной здесь картины «Человек идет за солнцем». Но традиция создана: в режиссуру уходит Дербенев, за ним появляются В. Гажиу, Э. Лотяну, Г. Водэ, за камерой — Д. Моторный, В. Калашников, В. Чуря, П. Балан — и на десять лет обеспечен удивительно живой и своеобразный кинематограф. На десять лет. А дальше... Или еще один вариант: киргизский. Собираются молодые энтузиасты — документалисты и игровики, режиссеры и операторы, вгиковцы и журналисты — и начинают экспериментировать. Возникает едва ли не самая яркая в те годы школа кинодокументалистики. Чуть ли не каждый фильм становится лауреатом крупнейших международных кинофестивалей. В игровом кино начинают с экранизаций повестей Чингиза Айтматова. Постановщики — дебютанты: Л. Шепитько, А. Михалков-Кончаловский. Вслед за ними к игровому кино обращаются «местные кадры», прошедшие курс на экспериментах «варягов»: М. Убукеев, Т. Океев, Б. Шамшиев. Не успев даже толком сформироваться, студия «с ходу», что называется, берет уровень международного класса. Критики пишут о «киргизском чуде».

Собственно говоря, самый эталонный, быть может, вариант «варяга» — это Сергей Параджанов, открывший Украину для себя и нескольких молодых киевских кинематографистов, составивших затем легендарную «школу».

Сразу отметим, что «варяжский» вариант отнюдь не обязателен для всего национального кинематографа той поры. Литовское кино обошлось исключительно своими силами — и как обошлось! — еще и другие студии снабжало «звездами» и у нас, и за рубежом. В Армении и особенно в Грузии сам тип культуры и уровень ее создал устойчивую кинематографическую традицию, а общий всплеск общественной жизни периода «оттепели» породил ситуацию, напавшую отчасти 20-е годы: интерес к кино виднейших представителей национальных культур. Интенсивнейшим образом работали в кино литераторы — достаточно припомнить роль Ч. Айтматова в развитии киргизского кино, И. Драча — украинского, Г. Матевосяна — армянского, братьев Ибрагимбековых и Анара — азербайджанского. Для литовского кино во многом решающим оказался интерес к кинематографу Паневежисского драматического театра под руководством Ю. Мильтиниса. Однако суть не в этих примерах, но в той атмосфере, которая порождала феномен национального кино 60-х. Это постоянное ожидание новых и новых восхождений, едва ли не очередной вариант «невиданного расцвета», это ожидание все новых чудес, новых имен буквально пронизывает 60-е годы,

и естественно, что ожидания не могут не сбыться в этой атмосфере.

Выразительность фактур, ошеломившая искусственного кинозрителя в фильмах 60-х, объясняется, конечно же, не просто их «киногеничностью», а уж тем более не экзотикой. Перед нами мир, освоение которого сформировало историю и культуру того или иного народа, его национальный характер.

Отсюда и поразительный документализм, которым закономерно отмечены произведения, принадлежащие скорее к «поэтическому», чем к бытовому кино, ибо фиксируется не быт, но бытие. Именно оно составляет предмет наблюдения камеры, стремящейся «уловить в объектив вечность», по выражению одного из французских восторженных критиков. Конкретное событие непременно обретает оттенок действия. Потому, кстати, изобразительный ряд кино 60-х, особенно его национальных вариантов, сопоставим не только с фотографией, бурно развивавшейся в те годы, но и с национальной живописью, переживающей столь же стремительный взлет, особенно в восточных республиках, где она, по сути, так же вновь, как и кинематограф.

Мир фильмов составляют именно предметные реалии национальной культуры, реалии жизни народного духа. Собственно, и стремление сюжета к открытию своего фольклорного истока (что особенно характерно для образцов «поэтического кино») означает опять-таки восприятие его как реалии народного духа (вспомним хотя бы «Состязание» Б. Мансурова, «Белую птицу с черной отметиной» и «Вечер накануне Ивана Купала» Ю. Ильенко, где стоит подзаголовок «По мотивам повести Н. В. Гоголя и украинских народных легенд»).

Выразительное подтверждение находим у С. Параджанова в статье о работе над «Тенями забытых предков» — экранизацией повести М. М. Коцюбинского: «Мы действительно где-то отступили от Коцюбинского — и, наверное, не могли иначе. Мы хотели пробиться вглубь, к истокам повести — к той стихии, которая породила ее. Мы намеренно отделились материалу, его ритму и стилю, чтобы литература, история, этнография, философия слились в единый кинематографический акт...»*

Пафос «приобщения к истокам» как своеобразный вариант традиционному коллективистского пафоса нашей отечественной культуры в преломлении 60-х не мог не вызвать к жизни феномен национального кино. И где же было искать образец тотального растворения человека в мире, как не в фольклоре, в народно-поэтическом

* Параджанов С. Вечное движение.— Искусство кино, 1966, № 1, с. 165.

творчестве? С восторженным изумлением кино открывало один за другим заповедники патриархальности: Буковина, Гуцульщина, Приднестровье, Хевсуретия, Сванетия, Среднерусская возвышенность. Героем кинематографа, особенно кинематографа «поэтического», оказывалась, по убеждению восторженных критиков, Жизнь, а не какой-либо отдельный персонаж. Жизнь торжествовала в каждом кадре, поверх сюжетов, драм, перипетий. Потому вряд ли будет когда-нибудь превзойдена пресловутая фактурность кино 60-х: операторски это вообще уже что-то из области волхования, магии и чародейства, ибо из мистической области — сама задача — открыть в пейзаже, вещах общую с человеком душу и на этом основании соединить их в единое органическое целое. Только в 60-х (но уже за их пределами) мог возникнуть феномен Параджанова, его кинематограф одушевленных вещей. По-существу, именно из обрядово-ритуального действия и выводится такой подход к предметному миру на экране — именно в обряде на первый план выходит магическая функция предмета, а бытовая, прагматическая уходит в тень, на второй план. Подлинность предметного мира удостоверяется жестом человека. В его обращении с вещью открывается ее полифункциональность. Потому, кстати, национальное кино 60-х очень активно использовало исполнителей-непрофессионалов, на что центральные студии решались с оглядкой. Участие в съемках местных жителей не просто придавало убедительность повествованию — массовка корректировала исходный замысел произведения.

В уже цитированных заметках, написанных вскоре после выхода на экран «Теней...», Параджанов рассказывал об этом так: «Уже уйдя в глубину, уже достигнув, казалось, дна, мы все-таки стали снимать как-то очень оперно, очень традиционно. «Киношное» мышление, чуждое материалу, постоянно напоминало о себе. Все время хотелось редактировать природу. Но, к счастью, сами гуцулы, которые снимались у нас в картине, не давали нам выскочить на поверхность. Они требовали абсолютной правды. Любая фальшь, любая неточность коробила их...»

Единственный аналог этому феномену — эпохи советского классического кино — история создания «Земли» А. П. Довженко, где активно снимались жители села Ярьески. И так же, как во время съемок «Земли», кинематограф врывался в размеренный уклад жизни, меняя ее ход. Сам процесс съемок побуждал их участников, местных жителей, взглянуть на свой уклад со стороны, извне. Тем самым кино оказывалось средством национального само-

сознания или даже самопознания. И в этом смысле — некоей чертой, подводимой под пройденным этапом, хотя бы этим этапом оказался всего лишь съемочный период.

На передний план в кинематографе 60-х выходит герой социальной драмы на материале борьбы за Советскую власть в той или иной союзной республике — в этом жанре, который был оригинальной модификацией историко-революционного фильма, национальное кино тех лет добилось официального успеха.

Это уже не персонаж кино 20-х: темный человек, осознающий свою классовую принадлежность. Это и не герой 30-х: человек из героической легенды, признанный лидер, воплощение революционной энергии безоговорочно поддерживающих его масс. Нынешний герой, как и его предшественники, — плоть от плоти народного коллектива, он воплощает в себе идею революционного переустройства мира, изменения традиционного миропорядка. Но в этом своем качестве он противостоит теперь не только классовым врагам, но и коллективу, массе, его породившей, которую он отталкивает от себя именно требованием немедленного и решительного пересоздания мира. Сюжет по сути заключается в том, что масса не узнает поначалу в герое своих собственных устремлений, и движение сюжета составляет постепенное узнавание. Этот сюжет объединяет такие разные вещи, как «Никто не хотел умирать» В. Жалкаявичюса, «Первый учитель» А. Михалкова-Кончаловского, «Чрезвычайный комиссар» и «Без страха» А. Хамраева.

Герой выступает здесь как орудие слома патриархальной целостности, но слома, совершаемого волей истории во имя воцарения новой целостности, более совершенной. Слом признается драмой (чего нет в традиционных канонических вещах предшествующего периода), потому что является болезненным, но необходимым этапом на пути к новому единству, новой целостности и монолитности. Так прочитывался этот сюжет в 60-е — как еще одна вариация на традиционнейшую тему «старое и новое».

Нам же важен мотив отрыва героя от целого, выпадения его из общего ритма. Мир, возникающий на экране, принадлежит прошлому, определен прошлым — и такое восприятие мира принадлежит герою, с которым авторы, как правило, солидарны. Отсюда уже отмечавшаяся нами черта «поэтического кино»: большинство произведений, основанных на фольклорных сюжетах, представляет собой экранизацию их литературных интерпретаций. Безличное, фольклорно-мифологическое сознание поверяется здесь сознанием лич-

ностным: один культурный слой — другим.

Общий сюжет кино 60-х годов: осознание героем своего индивидуального «я». Искусство, особо ценное системой как наиболее совершенное воплощение тотально коллективистского сознания, искусство, главным достижением которого считалась его массовость, ныне предлагало произведения с названиями: «Я шагаю по Москве», «Я родом из детства», «Я, бабушка, Илико и Илларион», «Я все помню, Ричард», «Мне двадцать лет» и т. д. Естественно, что национальный кинематограф в этот период оказался на гребне кинопроцесса, особенно «поэтическое кино». И пресловутая выразительность фактуры этого кинематографа находит еще одно объяснение. Что бы ни запечатлевалось — на экране оказывается «уходящая натура». Происходит нечто подобное археологии, когда вещь, извлеченная на поверхность, на глазах утрачивает свою живую яркость и рассыпается в прах. Реалии повседневного быта также превращаются на наших глазах в раритеты, памятники культуры — в приметы культуры ушедшей. Это происходит не только с вещами, но и с пейзажами (те, кому довелось видеть пробы натуры к «Поэме о море», сделанные самим Довженко, рассказывают о кадре, где традиционной украинский сельский пейзаж наполовину отхвачен, сгрызен экскаваторами, работающими в котловане), с лицами (так снимает сельские посиделки Шукшин, так всматривается в лица Михалков-Кончаловский во всех своих фильмах, снятых в Советском Союзе, начиная с «Истории Аси Клячиной...», так разыгрывают проводы односельчанина в Канаду западноукраинские крестьяне, снятые в «Каменном кресте» Л. Осыкой).

Вообще кино 60-х, до конца еще не догадываясь о смысле своего открытия, обнаруживает, опережая «деревенскую» прозу, жуткий сюжет превращения живого человека в знак — знак уходящей эпохи. Исполненный трагической значительности — прямая антитеза многочисленным Шукарям всевозможных творений «про колхозную деревню» — он пытается из последних сил предотвратить неотвратимое: преодолеть силы, разбросавшие детей по миру.

Наиболее известны Евгений Лебедев в «Последнем месяце осени» Дербенева по Иону Друцэ и Всеволод Санаев в картинах Шукшина. Но был и Дмитро Милютенко, один из последних уцелевших питомцев Лесья Курбаса, в «Роднике для жаждущих» Ю. Ильенко, был неистовый Хикмат Латыпов в картинах А. Хамраева «Белые-белые аисты», «Без страха», «Триптих». Был, наконец, Ходжом Овезгеленов — непрофессионал, открытый Мансуровым в «Состязании»

и поразивший всех в «Невестке» Х. Нарлиева. Впрочем, не в перечислении дело. А в том ощущении, которое Г. Малян в пронзительнейшем своем «Треугольнике» попытался передать в финале метафорой — не метафорой, символом — не символом. Мастера из кузницы отца провозжают учиться мальчика, идут по улице, все в ряд, потом кузнецы отстают, потом застывают стоп-кадром, отделенные какой-то условной дымкой, а мальчик — в том же кадре — продолжает идти, удаляясь от них.

Но специфика кино, помимо прочего, состоит и в том, что объектив запечатлевает на пленке не только то, что видит в данный момент снимающий, но и то, чего он не видит, а обнаруживает, лишь проявив пленку: сюжет «Блоу ап», который в те годы киношники и киноманы взахлеб пересказывали друг другу. В самом деле, смена поколений непреложна, как смена времен года. В торжественном акте смены видится отсвет вечности. Между тем повествователь — важнейшая в национальных кинематографиях 60-х годов фигура — «лицо секретное и фигуры не имеет», подобно поручику Кижэ. Он неизменный младший сын, последний в роду. Но род-то уходит. Уходящий род сверхматериален, уплотнен простирающимся уходом. А повествователь — бесплотен. Он лишен возможности отдельной, независимой от рода судьбы. Он — тень, которую отбрасывает ушедшее. Потому он скорее элегический ракурс камеры, свободный ассоциативный монтаж эпизодов, чем реально действующий на экране герой.

Если образ мира уходящего, остающегося лишь в воспоминаниях, занимает все пространство повествования, то мир современный, которому, по идее, принадлежит повествователь, не возникает на экране вообще. Он так же чужд повествователю, как и его героям («Мы и наши горы» Г. Маляна с их зачином из кадров «безумного мира» или «Печки-лавочки» В. Шукшина). У повествователя нет своего оформившегося мира. Только стоп-кадр, в котором запечатлелись «тени забытых предков». За ним — пустота, зияние. Котлован, разверзшийся за традиционным пейзажем, наполовину съеденным ковшами экскаваторов.

Подспудное, подсознательное ощущение отрыва, обрыва — в пустоту, в никуда и было реальной подоплекой истового пафоса «приобщения», пафоса слияния с миром, сознательного и добровольно избранного (это подчеркивалось) растворения в нем. Но несмотря на стремление запечатлеть незыблемые основы народной жизни, на экране отпечаталась необратимость распада связей, неизбежность ухода

в прошлое тех основ, на которых строилась народная жизнь.

Так что в этом контексте социальная драма на национальном материале, воспевающая новый коллективизм — гуманный, учитывающий индивидуальное начало, предстает всего лишь как частный случай общего сюжета прощания. И если неизбежность и закономерность слома патриархальной целостности уже хотя бы по причине ее ограниченности, сковывающей человека, и на рубеже 70-х остается для национального кинематографа вне сомнений, то апофеоз нового единства представляется все более проблематичным. Результатом слома в пределах фильма оказывается обезудившее пространство, по которому уже в совершенно непонятном направлении движутся красноармейские и агитационные отряды («Бумбараш» Н. Рашеева и А. Народицкого, «База страха» и «Седьмая пуля» А. Хамраева).

Поэтому праздник всеобщего единения, всеобщего узнавания, который переживали герои «Заставы Ильича» или «Истории Аси Клячиной...», оказывался последним для этой человеческой общности, для людей, составляющих единое целое, перед тем как потерять друг друга навеки в стремительно расширяющемся пространстве.

Преобразование пространства очень показательно. В социальной драме расширение пространства, преодоление его замкнутости означает приобщение к Большой истории через включение в революционные преобразования, предпринимаемые СССР (большинство этих картин сделано на материале республик, присоединенных в 1940 году). Герой-коммунист — выходец из этих мест или просто советский солдат — выступает как посланец Большой истории, его антагонист обречен исторически при всей искренности устремлений и бескорыстной преданности своей узконациональной идее.

Но в стороне от историко-революционного жанра решение образа пространства может быть иным. Расширяющееся пространство уносит детей («Ваш сын и брат» В. Шукшина, «Последний месяц осени» В. Дербенева, «Родник для жаждущих») и ставит родовое гнездо — тот самый «исток» — на грань исчезновения. Уход из родных мест фактически равен смерти. Видение необъятного, неосвоенного и оголенного пространства, равнин, намертво схваченных стужей, становится кошмаром, который неотвязно встанет перед глазами кинематографа «застойной» эпохи от «Истории Аси Клячиной...» до «Моего друга Ивана Лапшина». Это же пространство, поставленное вертикально, оказывается стеной,

заполняющей весь финальный кадр («Чувства» А. Грикявичюса — едва ли не лучший литовский фильм 60-х). Уже в 1968 году появляется фильм о человеке, кончающем жизнь самоубийством, не вынесающего пустоты этих пространств («Скуки ради» Артура Войтецкого, один из «неведомых шедевров» той поры, поставленный по одноименному рассказу М. Горького, но совершенно в чеховской интонации).

Человек распавшегося мира оказывается низринут из родового космоса в хаос, который возникает на месте предполагавшегося нового космоса.

И тот изысканный язык метафор, символов и аллегорий, так восхищавший тогдашних зрителей, настораживавший критиков и уверенно зачисленный исследователями непосредственно по ведомству фольклора, на самом деле был уже прямой противоположностью фольклорной анонимности. Это был смутный, полный мрачных прорицаний язык, на котором с человеком говорил мир, внезапно ставший чужим и угрожающим. Собственно, фильм, послуживший отправной точкой «поэтического кино», — «Тени забытых предков» — есть полное и всестороннее обоснование такого рода поэтики. Кульминация картины — смерть героя, где ритуальный погребальный обряд, воспроизведенный с этнографической точностью, начинает смотреться как надругательство над умершим героем, потому что для языческого безличностного сознания драма героя, мучающегося потерей единственной своей возлюбленной, попросту не существует*.

Пожалуй, универсальный принцип поэтики национального кино 60-х — перемещение точки зрения на мир изнутри материала. И непременно возникает некий промельк ужаса в момент, когда привычное, знакомое приобретает очертания необычные. Если не угрожающие, то тревожащие, вселяющие ощущение острейшей дисгармонии. Так, в знаменитом эпизоде «Одиночество», когда для героя, утратившего возлюбленную, выцветают краски мира, одновременно почти утрачивает смысл и речь окружающих — в тексте резко увеличен удельный вес диалектизмов. Так, на месте истекающей соком земляники в сцене любовного свидания появляются бусины Палагны — нелюбимой жены, падающие сквозь пальцы героя с мертвым сухим стуком. Первый образ — классический фольклорный, второй — производный от него, но чисто метафорический, субъективный.

* Примечательно, что именно эта специфика языческого погребального обряда, поразившая Коцюбинского, послужила, по свидетельству писателя, первоотчетком к написанию повести.

При всей яркости своей, при всей выразительности язык «поэтического кино» возникает из невозможности героя адекватно выразить происходящее с ним. В «Тенях...» на языческом материале развертывается христианская коллизия — личностная: одно сознание пытается выразить себя языком другого. Традиционное сознание разрушается, и в процессе разрушения, распада модель его приобретает причудливые и прихотливые формы. Но все они неизменно про м е ж у т о ч н ы е. В украинском кино этот вариант наиболее острое воплощение нашел в химерических видениях ранних картин Ю. Ильенко, а в грузинском, конечно же, у Т. Абуладзе. Мир, где сохранить свое «я» можно лишь ценою добровольно избранной гибели, а подчинение чужой воле, отказ от выбора ведет к безумию — то есть к окончательному отказу от попыток осмыслить мир.

Понятно, что украинский вариант был встречен настороженно. Он не вызвал того энтузиазма, с которым восприняли лирические-элегические «молодежные фильмы» Э. Ишмухамедова «Нежность» и «Влюбленные» или «Листопад» О. Иоселиани. В украинском кино спасительная уравновешенность интонации, дающая повод к идиллической трактовке, напрочь отсутствовала. Вообще «поэтическое кино» казалось слишком экспрессивным, взвинченным, как жесты человека, не способного объяснить окружающим причину своего потрясенного состояния, убедить в значительности происшедшего с ним.

Быть может, именно в этой надсадной экспрессивности, в недоверии к слову, в воспаленной цветовой насыщенности фильмов «поэтического кино» наиболее выразительно сказалась эта невоплощенность, или, точнее, н е д о в о л о щ е н н о с т ь героя, отсутствие пространства для его становления, самореализации. Для него, отпавшего от одного мира и не ощутившего своим никакой другой, нет нормального сюжета — только внутренняя маета, только этот отчаянный взгляд (уже почти потусторонний) на происходящее вокруг, смысл которого становится все более чужд ему и невнятн.

И точно так же, как не находит для себя воплощения в границах этой реальности (языческой и безличной) пробудившееся личностное начало, так не находит и своего развития национальное начало внутри «Союза нерушимого».

«Поэтическое кино» угасает уже в начале 70-х годов. По поводу картины «Наперекор всему», сделанной вскоре после «Белой птицы...», Юрий Ильенко самокритично и мрачно съязвил, что она сделана «в жанре харакири». Это определение мож-

но отнести к любой попытке (пускать подчас даже героической, какой были фильмы А. Хамраева второй половины 70-х: «Человек уходит за птицами», «Триптих», или «Аист» В. Жереги) воскресить эту поэтику в 70-е годы. Она умерла тогда, когда ее приемы окончательно оформились как средства сугубо авторского самовыражения. Соответственно с исчезновением героя, чье присутствие обозначала эта поэтика, ушла и драма невоплощенности. Потому при всей внешней экспрессивности все попытки «поэтического кино» 70-х академичны (как, например, «Напет» Г. Маляна) либо просто сваливаются в оголтелый кич (самый яркий пример — мосфильмовская продукция Э. Лотяну).

Наиболее последовательные и исчерпывающие варианты развития национального кино дали Параджанов и Михалков-Кончаловский.

В фильмах Параджанова, которые ему удалось снять после «Теней...», мир предметов есть единственная безусловная реальность, дошедшая до нас из прошлого. В вещах Параджанов ловит живую душу той жизни, которая некогда породила их, по ним он стремится воскресить людей, миру которых эти вещи принадлежали. Отсюда эффект его лент, где люди напоминают графические силуэты на фоне сверхплотного мира вещей. Воистину в каждой картине Параджанова люди лишь «тени забытых предков».

Взгляд Параджанова, как заметил недавно М. Черненко, это неизменно взгляд извне, с границы двух культур, двух эпох, двух религий. Он изначально пограничен, переходен. Потому сегодня некогда сверхвлиятельная поэтика существует в единственном числе как сугубо индивидуальная, авторская.

Настоящее, становящееся прошлым, — главный сюжет фильмов А. Михалкова-Кончаловского и основа его поэтики — идет ли речь о дворянских гнездах, русской деревне XX века или старом московско-коммунальном доме, обнаруживающем черты все той же родовой общины, перед тем как отойти в небывтие. Предметом оказывается единое коллективное целое накануне распада и гибели. Отсюда превращение среды по мере движения его авторского кинематографа из мира живых полнокровных вещей в набор знаков или попросту в свалку раритетов, за которой проступает все то же апокалипсически пустое и бесконечное пространство.

Весь ужас ситуации состоял в том, что новое единство не возникало и возникнуть не могло, поскольку весь уклад системы этому успешно противостоял. «Пространство для маневра» к концу 60-х было освоено

кинематографом вдоль и поперек. Границы национальной культурно-исторической традиции в современной действительности выявлены. Но как только они были выявлены, стало ясно, что дальнейшее развитие внутри этой системы невозможно.

То, что в 60-е существовало как смутное ощущение, стало фактом в следующее десятилетие. Фактом, требующим от кинематографа выражения своего отношения к нему. Подчеркнем: от потрясенного кинематографа. Без этого дополнения кино 70-х не может быть понято.

В принципе распад связей человека с миром мог бы стать непосредственным предметом изображения где-нибудь в середине 70-х. Естественно, кинематографические надзиратели как могли сдерживали этот процесс, но самое большее, что было в их силах, — скорректировать внутреннюю его логику. Навязать свою они не могли.

Для того чтобы «чернуха» возникла как жанр, была необходима не столько перестройка (термин, кстати, возник в коридорах Госкино задолго до перестройки), сколько опыт отстранения от материала. В этом процессе дробления, распада, принявшем всеобщий характер, зал должен был окончательно отделиться от экрана, художник — от материала.

Кинематограф 70-х проходил эту школу отстранения, решительно сопротивляясь накапливавшемуся опыту.

Если с некоторой претензией на научность дать примерную периодизацию советского кинематографа с национальной точки зрения, то можно определить период до 60-х годов как «интернациональный» (или «вненациональный», поскольку проблема соотношения современного материала с национальным культурно-историческим опытом для этого кинематографа не существует). В 60-е годы национальный кинематограф впервые возникает как феномен (и это одна из важнейших черт периода, как считает, например, В. Баскаков). Последующий период можно назвать «постнациональным».

И дело не только в санкциях, примененных местными властями к национальным кинематографам в эпоху застоя. К тому времени, когда гонения начались, кризис национальных кинематографий был уже налицо. Внутренний кризис. Неудачи художников — это реакция на открывшуюся суть ситуации, в которой оказалась национальная культура. Для кинематографа 60-х национальная самобытность была безусловной данностью, величиной постоянной. Формы воплощения могли измениться, но

суть оставалась неизменной. Авторы и не подозревали, какую реальность, какие процессы запечатлел их кинематограф. А когда догадались, то появились картины, где это вечно-незыблемое было запечатлено напрямую, в надежде противопоставить его надвигающемуся распаду. Но на экране предстала откровенная бутафория. На документализм не осталось и намека.

«Захар Беркут» Л. Осыки, превознесенный официальной критикой, — такая же вяло этнографическая костюмная картина, как и пышные сериалы Б. Кимягарова по мотивам «Шах-намэ» Фирдоуси или «Кыз-Жибек» С. Ходжикова. В конце застойной эпохи попытка возродить «поэтическое» или по крайней мере «живописное» кино на Украине приводит к тем же результатам Г. Кохана (снявшего в конце 60-х небезынтересную картину «Хлеб и соль») в «Ярославе Мудром» и Ю. Ильенко в «Лесной песне». Причем бутафорией в первую очередь отдает образ коллектива, рода, чью мощь и непременную в конечном счете правоту воспевают киноэпос.

На материале, условно говоря, современным возникает не менее любопытная тенденция. Центральным персонажем, краеугольным камнем в системе ценностей к началу 70-х становится женщина, хранительница очага. Сменяя на рубеже 60—70-х стариков-отцов, она возникает, как бы в противовес им (встревоженным, предчувствующим беду), олицетворенным воплощением стабильности и всеохватности. Женщина-мать (реже — верная жена) идентифицируется с Родиной. («Время ее сыновей» В. Турова, «Мечтать и жить» Ю. Ильенко, «Встречи и расставания» Э. Ишмухамедова, «Если хочешь быть счастливым» Н. Губенко). Отсюда и оглушительный официальный успех «Невестки» Х. Нарлиева. Изящная камерная история была прочитана именно в таком ключе. Это тот случай, когда смысл был, что называется, вчитан в картину. (Интересно, что когда режиссер попытался действительно внести в последующие свои работы этот смысл, его картины стали тяжеловесны и ходульны.)

Есть в кинематографе той поры картина, которая могла быть рассмотрена как метафора судьбы национальных кинематографий 70-х. Речь идет о «Комиссарах» Н. Мащенко. Герой — комиссар-еретик отстаивает право на сомнение, даже не на сомнение в общей вере, а на ее индивидуальное переживание. Но дойдя до некоего символического рубежа, за которым простирается уже мир идейного противника, он поворачивает обратно, возвращаясь в лоно партии. Фильм — не конъюнктурная поделка. Напротив, это одна из наиболее острых и искренних историко-революцион-

ных картин той поры, несомненно стоящая в ряду, начатом «Шестым июля» (кстати, это доказывает и участь «Комиссаров»: картина через некоторое время была запрещена к демонстрации). Но при всей ее остроте и искренности она конформистская по сути своей, по исходным установкам. Подобно герою «Комиссаров» большинство режиссеров национального кино, дойдя до определенной черты, в искреннем ужасе повернуло обратно. Жест, подобный финальному жесту героя «Полетов во сне и наяву»: от неприкаянности в мире начинают судорожно сооружать себе некое подобие материнского лона. Художники сохраняют верность исходным установкам, и вот результат: те, кто в 60-е годы определял лицо национальных кинематографий, в 70-е нередко оказываются не более чем мастерами. В этом смысле наше кино 70-х — быстро растущее кладбище индивидуальностей.

М. Стамболцян, выразительно продемонстрировавший драматичный и печальный механизм этого процесса в статье о кинематографе Г. Маляна, писал о «Наапете»: «В "Наапете" "простые" истины вновь становятся законом мироздания. Выстраивая внешний мир по этому закону, Малян вынужденно упрощает этот мир, идеализирует его. И лишь такой ценой мир "Наапета" обретает гармоничность и целостность»*.

Быть может, для того чтобы двигаться дальше, нужна была не только художественная зоркость, но и мужество во всем довериться своему зрению. Это видно на примерах кино Тарковского, Михалкова-Кончаловского, Шукшина, Иоселиани — мастеров, живущих национальной культурной традицией, составляющей, по существу, их индивидуальность. Отсюда обостренно личный характер переживания судьбы этой традиции в их фильмах. И если традиция уходит, то художник уходит вместе с ней, ибо от нее неотделим. Быть единым целым, составить единое целое со своим материалом — закон творчества. Отстранение, отчуждение от материала для художников этого типа невозможно. Скорее он может предпринять попытку найти себя в другом материале (как правило, безуспешную), но не отстранить его.

«Живое», неофициозное кино эпохи застоя при том, что удельный вес его от общего числа продукции очень невелик, все же куда более безыллюзорно, чем в «либеральные» 60-е, более бескомпромиссно. Его пронизывает атмосфера социального беспокойства, нестабильности, дух не-

устроенности. Оно впервые освободилось от мифов. Но при всей жесткой трезвости взгляда осталось острее, почти иррациональное ощущение единства художника с его материалом. Недаром венцом этого кино стал «Мой друг Иван Лапшин» А. Германа, совершенно отчетливо продемонстрировав непригодность эпохи «великих строек» для нормального человеческого существования. И тем не менее она была увидана откровенно нежным, ностальгическим взглядом, потому что это мир, из которого вышел автор. Трудно сказать, то ли этот мир — часть автора, то ли автор — часть воскресенного им на экране мира, но очевидно одно: чем дальше уходит в прошлое этот мир, тем сильнее художник чувствует свою принадлежность ему. Прощаясь с ним, художник прощается с самой собой. Настоящего времени он, по сути, не знает. Для него настоящее время — это время переживания прошлого, это вспышка, соединяющая разрозненные воспоминания. К концу 70-х этот кинематограф обнаруживает, что стал жирной итоговой чертой, проведенной под исчерпавшей себя социальной системой, частью которой был сам. Становится ясно, что распад культурных систем совершается в пространстве распада системы социальной. Потому, например, в «Романсе о влюбленных» бытовой мелодраматический сюжет органически превращался на экране в некий аналог «Теней...», выстраиваясь по всем канонам «поэтического кино» на фольклорно-мифологическом материале, а мифологемы повести Гранта Матевосяна «Хозяин» на экране очень естественно обрели форму социально-публицистической драмы в интерпретации одного из ближайших учеников Тарковского Б. Оганесяна. Герои, как и их авторы, оказывались в мире, который на глазах из привычного становился чужим.

Но именно в этом качестве — привычный мир, который начинает восприниматься как чужой, — реальность оказалась интересной следующему кинематографическому поколению, ставшему активным действующим лицом уже в 70-е.

Превращение мира, которое для предыдущего поколения было источником потрясения, источником драмы, для следующего становится печальной данностью. Не исток и результат процесса превращений занимают это кино, не прошлое и будущее, а настоящее. Поэтому кино 70-х, создаваемое молодым поколением, при всей нервной напряженности общей интонации — удивительно изысканное, «цветовое», его пронизывает атмосфера игры. Это кино, так сказать «феллиниевского» склада, где подоб-

* Стамболцян М. «Простые» истины Генриха Маляна. — В кн.: Кинопанорама. М.: Искусство, 1981, вып. 3, с. 178.

ная атмосфера возникает из предкризисной общественной ситуации. И найти совершенно неожиданный ракурс ситуации, сделать ее материалом для игры видится победой над этой ситуацией. Нарядность, эффективность лент Н. Михалкова и С. Соловьева, Р. Балаая и В. Рубинчика, как и жесткий бытовой натурализм быта в картинах Д. Асановой, начиная с «Беды», в определенном смысле идентичны: и то и другое есть экзотика, отстранение от себя обыденного, привычного. Эффект превращения бытовой драмы в притчу имеет самостоятельный смысл и для кинематографа Абдрашитова — Миндадзе.

Естественно, что героем такого кинематографа становится человек переходный — не столько превращающийся, сколько превращаемый, больной мучительным ощущением скрытой общественной нестабильности. Но если само это состояние, а не происхождение интересует авторов, то и проблема принадлежности героя к той или иной культуре отпадает. Никому он не принадлежит. Даже самому себе. Он — социальная единица, и это единственно внятное его определение. Это роднит персонажей Гостюхина и Янковского, Приемыхова и Колтакова — чудовищная закупоренность в настоящем.

Характерная деталь: интересные и яркие имена, возникающие в эту кинематографическую эпоху, говорят от своего лица, а не от лица национальной культуры, как в 60-е. Они принадлежат эпохе и только ей. На той же Украине: Балаая, Беликов, Ершов, Криштофович, Итыгилов — художники, чье творчество вряд ли может быть как-то объяснено принадлежностью к украинской культуре.

Почему так происходит? Когда тот же Балаая снимает по мотивам рассказа И. С. Тургенева своего «Бирюка», то, естественно, можно говорить о принадлежности героя к конкретной культуре. Соответственно, связь этой картины с традициями украинского кино 60-х просматривается без особого труда. Но можно ли определить принадлежность конкретной национальной культуре героя «Полетов во сне и наяву» и что-то объяснить в нем этой принадлежностью? Или героя Л. Филатова в «Грачах» К. Ершова? Это все люди, по удачному выражению Л. Аннинского, «съехавшие с корня». Люди, катастрофически не прикрепленные, не имеющие постоянного места в пространстве.

«Бескорневое» существование, мельтешение «социальных единиц» и есть тот результат, к которому пришла система. Сам способ существования, возникший в результате ее эволюции, попросту снимает вопрос о специфике национальной культуры в этих условиях. На таком уровне ее просто не существует. «Постнациональный» кинематограф — последний вариант интернационального кино: способ существования (или; точнее, прозябания) человека настолько унифицирован, что никаких различий специфических не осталось. Можно сравнить, например, «Астенический синдром» и «Конечную остановку», чтобы подтвердить существование «постнационального» кинематографа. Воистину общие условия для всех породили в конце концов общий кинематограф, окончательно стерший национальные различия. Вывод однозначен: внутри этой системы возрождение национальной культуры, равно как и национальной жизни, — невозможно.



От редакции

В № 5 нашего журнала за прошлый год опубликован литературный сценарий Н. Покорной «Не рыдай меня Мати». Действие в нем разворачивается в доме ребенка. Создавая свое произведение на основе художественного вымысла, автор указала место действия, которое совпало с прежним адресом одного из подобных московских учреждений. Редакция сообщает, что это обстоятельство является случайным, и приносит извинения коллективу дома ребенка № 14 за невольное совпадение.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЧИТАЙТЕ:

С. ПОПОВ «УЛЫБКА»

— ...Но вот они наконец вдвоем, они уже отчаялись от долгого ожидания, они даже бегут по берегу к тому месту, они уже недалеко, туда, где они наконец будут вместе, вдвоем, и никто в мире не увидит, не осудит, не помешает, словно нет ни самого мира, ничего, кроме них. И теперь мир, который даже еще не был сотворен, может возникнуть, начаться... — он замолчал, смотрел на нее, спросил: — Знакомые слова? — улыбнулся...

С. ПОПОВ «ТРАВА МОЯ ЗЕЛЕНАЯ»

— ... Я не обижаюсь... Я сначала обиделась. Потом еще кто-то лез в форточку, лаял, пытался замок сбить. Я кричала. Потом ждала вас. Потом стала вас ненавидеть, потом вспомнила, что вы меня спасли и что я уже была бы мертвая, и что ничего последующего не было бы, и что весь этот лай и сбивание замка, и крики даны были мне, чтобы я ощутила жизнь, пусть в такой форме, пусть...

С. ВАЛЯЕВ, А. ХВАН «ФУРИЯ»

—...Ну что, доигралась, тварь?.. Я ведь могу-у-у! — Он не заметил, как угодил в ловушку-петлю. От неверного, панического движения петля хлестко затянулась вокруг шеи, вздернула тело. Преступник хрипел и царапал пальцами стальной трос, стоя на цыпочках...

— Где мой сын? — рука женщины держала рычаг подъема-спуска механизма.

— Отпусти-и,— сипел Спортсмен... глаза вываливались из орбит... — Скажу-у-у!..

М. КУРАЕВ «СНЫ И ПРОБУЖДЕНИЯ ПИЛОТА ОЛЬГИ АРЖАНЦЕВОЙ»

— ... Идите быстрее. Не останавливаться и к пассажирам не обращаться.

На откидных десантных креслицах дремали, закутавшись в тулупы, четыре пассажира. Из-под тулупов выглядывала немецкая форма. Синий свет дежурных лампочек делал пространство кабины каким-то фантастическим. Странность картины дополнялась еще и конструкцией из трубок посередине кабины, на которой сидел стрелок, верхней частью туловища спрятавшийся в прозрачном колпаке со своим укрепленным на турель пулеметиком.

Ольга быстро прошла вдоль свободного левого борта и скрылась в конце кабины...

К. КАРАКОЗОВ «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»

...Рука мамы разжалась, и мы с Нурланом понеслись по улице. Фонари отлетали от нас в разные стороны и со стуком валились сзади. За нами мчались машины и не могли догнать. Я бежал, и мне было страшно. Неужели, мы в чем-то виноваты, что наш маленький, веселый и смешной братишка уходит от нас? Он лежит один в белой пустоте, и лабиринт трубок злобно впивается в его ручонку...

Б. СААКОВ «ЦАРЬ-ДЕРВИШ»

... Халиф вонзил нож в днище корзины, торопливо стал распарывать прутья.

Раздался треск, днище из ивовых прутьев лопнуло, и халиф вывалился под ноги верблюду.

Первым заметил его карлик.

Он вскрикнул и от обиды запрыгал в своей походной кошелке.

Халиф ринулся в толпу, сбив ненароком огнедышащего мага.

— Хватайте! Хватайте его! — пришел наконец в себя карлик...

А. ХИЧКОК «КОРОТКАЯ НОЧЬ»

... Бреннан (читает заголовки): Вот послушай-ка: «Предатель Бранд совершает побег из тюрьмы Скрабс. Гэвин Бранд, офицер контрразведки, занимавшийся шпионской деятельностью в пользу русских...»

Бранд: Я сам умею читать.

Бреннан: Взгляни-ка на свою фотографию. Иди, посмотри.

Бранд: Плевал я на газеты. Пишут всякую чушь.

Бреннан: А как их мои цветочки заинтриговали. «Ключ — таинственные хризантемы». Они меня, видать, за ботаника сочли...

НАШИ АВТОРЫ

АЛИЕВ АРИФ ТАГИЕВИЧ (род. в 1960 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1990 г. (мастерская Н. Фигуровского). Автор сценариев «Последний танец» (1987 г.), «Преждевременные воспоминания об армейской службе» (1988 г.), «В чистом поле — четыре воли» (1990 г.), «Настойчивые поиски первой любви» (1988 г.), «Три дня на срочной службе» (1989 г.), «Чужие головы для Шабёрова» (1989 г.).

БЕРТОЛУЧЧИ БЕРНАРДО (род. в 1941 г.). Итальянский режиссер и сценарист. Среди наиболее известных фильмов — «Стратегия паука», «Конформист» (оба 1970 г.), «Последнее танго в Париже» (1972 г.), «XX век» (1976 г.), «Луна» (1979 г.). В работе над сценариями этих фильмов сотрудничал со сценаристом Франко Аркалли. В 1987 г. снял картину «Последний император», в 1990 г. — «Чаепитие в Сахаре».

ИЛЬИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1883—1954). Выдающийся русский ученый, религиозный философ, литературный критик и публицист. Закончил юридический факультет Московского университета. В 1922 г. был приговорен к смертной казни, которая была заменена высылкой в Германию. До 1934 г. преподавал в Русском научном институте в Берлине. Автор книг «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека», «Религиозный смысл философии», «Путь к очевидности», «О сопротивлении злу силою», «Аксиомы религиозного опыта», «Основы христианской культуры», «Основы искусства», «О совершенном в искусстве», «О тьме и просветлении», «Русские писатели, литература и худо-

жество», «О сущности правосознания», «О монархии и республике», «Путь духовного обновления», «Мир перед пропастью», «Развязывание преисподней», «Творческая идея нашего будущего», «Основы борьбы за национальную Россию», «Сущность и своеобразие русской культуры», «Пророческое призвание Пушкина», «Поющее сердце» и др.

МАРГОЛИТ ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1950 г.). Закончил Ворошиловградский педагогический институт в 1976 г. Научный сотрудник ВНИИ киноискусства. Автор статей по истории советского кино.

ПУЖИЦКИЙ ЯН — см. «Киносценарии», № 6, 1990 г.

РОШАЛЬ ЛЕВ МОИСЕЕВИЧ (род. в 1936 г.). Закончил Московский государственный историко-архивный институт в 1959 г. Старший научный сотрудник ВНИИ киноискусства, доцент МГИА. Автор сценариев документальных фильмов «Пирамида» (1985 г.), «Соло трубы» (1986 г.), «Площадь Революции» (1989 г.) — реж. А. Иванкин; сценарий «Площадь Революции» опубликован в журнале «Киносценарии» № 4, 1989 г., «Взлеты и посадки» (1990 г., реж. А. Добровольский), а также книг «Мир и игра», «Дзига Вертов», сборника сценариев и статей по различным проблемам киноискусства.

ЧЕЧУЛИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ — см. «Киносценарии», № 4, 1990 г.

2р.00к.
70434

1

КИНОСЦЕНАРИИ

1991